This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Saltykov-M. E.

БЛАГОНАМѢРЕННЫЯ РѢЧИ

ТОМЪ II

сочиненія

М. Е. Салтыкова (Щедрина)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
Въ типографіи А. А. Краевскаго (Литейная, № 38)
1876

PG 3361
S3B5
1876
v.2

ОПЯТЬ ВЪ ДОРОГѢ.

Какъ-то не вѣрится, что я снова въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были свидѣтелями моего дѣтства. Природа ли, люди ли здѣсь измѣнились, или я слишкомъ долго велъ бродячую жизнь среди иныхъ людей и иной природы — какъ бы то ни было, но я съ трудомъ узнаю родную окрестность.

Съ освобожденіемъ крестьянъ помѣщиками овладѣло какое-то страстное желаніе ликвидировать. Безденежье, неумѣлость, неприготовленность, гнетъ старыхъ привычекъ и пріемовъ—все соединилось, чтобы поддерживать въ нихъ это стремленіе. Выраженіе: «у насъ все свое, некупленное» сдѣлалось уже преданіемъ. Теперь у всѣхъ все купленное, и, притомъ, въ три-дорога, потому что сдѣлать нужныя закупки оптомъ, въ свое время и въ своемъ мѣстѣ нѣтъ средствъ, а мѣстный торговецъ-монополистъ на все назначаетъ цѣну по душѣ. Доходы же приходится собирать двугривенными и пятаками, да при этомъ имѣть еще разговоръ съ мировымъ судьей. Какъ будто впервые всѣхъ поразила мысль, что существуетъ какой-то процессъ, безъ котораго пашня не производитъ хлѣба, ну-

га — травы. Прежде, все это производилось безъ всякаго процесса, такъ какъ-то само собой; теперь — нѣтъ. Побьется, побьется помѣщикъ и придетъ къ убѣжденію, что единственный для него выходъ — ликвидировать. А такъ какъ помѣщикъ здѣсь изстари былъ властелиномъ лѣсовъ, полей, луговъ и всего, что̀ на землѣ, и всего, что̀ подъ землею, то и выходитъ, что какъ будто вся мѣстность разомъ ликвидируетъ...

Въ настоящее время — все составляетъ бремя для помѣщика: и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящій въ разрушеніе домъ. Пашни лежатъ запустѣлыя, потому что хотя и пробовали сгоряча на первыхъ порахъ пахать, но напахали себѣ въ карманъ, и бросили. Луга заѣзжены и потравлены, потому что прежнее властное слово «не смѣть!» никого ужь не сдерживаетъ. Пустоши никому ненужны и поросли чортъ знаетъ чѣмъ. Естественно, что при такомъ положеніи дѣла нѣтъ иного спасенія, кромѣ ликвидаціи. Но — вопросъ: ка̀къ ликвидировать? Продать землю? — за землю даютъ грошъ, да и тотъ съ разсрочкой. Воспользоваться выкупною ссудой? — она давно ужь пущена въ оборотъ, на затычку старинныхъ помѣщичьихъ легкомысленностей. И вдругъ всѣ какъ-то разомъ прозрѣли: нашлась статья настоящая, серьёзная — лѣса̀. Лѣса̀ здѣсь были сплошные, береженые; на лѣсъ не было покупателя, потому что нечего было съ нимъ дѣлать. Лѣсомъ исключительно и, притомъ, безпошлинно пользовались крѣпостные крестьяне, которые курили смолу, сидѣли деготь, дѣлали кадки, чашки, ложки и другой щепной товаръ. Теперь, въѣздъ въ помѣщичій лѣсъ крестьянамъ возбраненъ, лѣсной промыселъ палъ, и, конечно, надолго остался бы лѣсъ мертвымъ капиталомъ и для помѣщиковъ, и для края, еслибъ на выручку не подоспѣли желѣзныя дороги, которыя значи-

тельно приблизили пункты сбыта. Вмѣстѣ съ первымъ слухомъ о желѣзныхъ дорогахъ, появились и личности изъ мѣстныхъ прасоловъ, кабатчиковъ, бывшихъ прикащиковъ, бурмистровъ и прочаго деревенскаго дѣловаго люда, которыя начали неутомимо разъѣзжать на бѣговыхъ дрожкахъ отъ помѣщика къ помѣщику, предлагая свое содѣйствіе по устройству ликвидаціи. Помѣщики ободрились. «Продать! продать!» завопили они хоромъ: «продать, и затѣмъ бѣжать!»

Я ѣду и положительно ничего не узнаю. Вотъ здѣсь, на самомъ этомъ мѣстѣ, стояла сплошная стѣна лѣса; теперь, по обѣимъ сторонамъ дороги, лежатъ необозримыя пространства, покрытыя пеньками. Помѣщикъ зря продалъ лѣсъ; купецъ зря срубилъ его; крестьянинъ зря выпустилъ на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядываетъ въ будущее; всякій спѣшитъ сорвать все, что̀ въ данную минуту сорвать можно. И вотъ, давно ли началась эта вакханалія, а окрестность уже имѣетъ обнаженный, почти безнадежный видъ. Пенькѝ, пенькѝ и пенькѝ; кой-гдѣ тощій лознякъ.

— Не хороши наши мѣста стали, неприглядны, говоритъ мой спутникъ, старинный житель этой мѣстности, знающій ее, какъ свои пять пальцевъ: — покуда лѣса были цѣлы — жить было можно, а теперь словно послѣднія времена пришлѝ. Скоро, ни гриба, ни ягоды, ни птицы — ничего не будетъ. Пошли сиверки, холода, бездождица; земля трескается, а пару не даетъ. Шутка сказать, май въ половинѣ, а изъ полушубковъ не выходимъ!

И точно: холодный вѣтеръ пронизываетъ насъ насквозь, и мы пожимаемся, не смотря на то, что небо безоблачно, и солнце заливаетъ блескомъ окрестные пенькѝ и побѣлѣвшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть

пробиваются тощія свѣжія травинки. Вотъ замъ и радошный май. Прежде, въ это время скотина была ужь сыта въ полѣ, лѣса стонали птичьимъ гомономъ, воздухъ былъ тихъ, влаженъ и нагрѣтъ. Выйдешь, бывало, на балконъ — такъ и обдаетъ тебя душистымъ паромъ распустившейся березы или смолистымъ запахомъ сосны и ели.

— Помнишь, Софронъ Матвѣичъ, въ прежнее время, бывало, въ семицскій четвергъ дѣвки вѣнки завивали? обращаюсь я къ моему спутнику.

— Да и вы, чай, помните, какъ въ троицынъ день въ бѣленькихъ панталонцахъ, съ цвѣточками въ рукахъ, въ церковь хаживали?

Да̀, все это было. И дѣвки вѣнки завивали, и дворянскія дѣти, съ букетами піоновъ, нарцисовъ и сирени, ходили въ троицынъ день въ церковь. Теперь не то, что піона, а̀ и дворянскаго дитятю по всей окрестности днемъ съ огнемъ не отыщешь! Теперь, семикъ на дворѣ, и не то, что цвѣтка не съищешь, а скотина ходитъ въ полѣ голодомъ!

— Вонъ она, Григорій Александровичева усадьба-то! говоритъ, между тѣмъ, Софронъ Матвѣичъ: — была усадьба, а ныньче смотри, какъ изныла!

Въ сторонѣ стоитъ что̀-то длинное, черное, домъ не домъ, казарма не казарма. По одному наружному виду этого жалкаго строенія можно объ закладъ побиться, что въ немъ нѣтъ ни единой живой половицы, что въ щели стѣнъ его дуетъ, что на стѣнахъ этихъ обои повисли клочьями. Половина оконъ (въ бывшихъ парадныхъ комнатахъ) закрыта ставнями; на другой половинѣ ставни открыты, но едва держаться на петляхъ, вздрагиваютъ и колотятся объ стѣны, чуть посильнѣе подуетъ вѣтеръ. Ни одного цѣльнаго стекла, а въ иныхъ мѣстахъ, вмѣсто

стеколъ, вмазана синяя сахарная бумага. Нигдѣ — ни плетня, ни изгороди. Бывшій передъ домомъ палисадникъ невѣдомо куда исчезъ — тоже, должно быть, изнылъ; бывшій «проспектъ» на половину вырубленъ; бывшій прудъ заросъ и покрытъ плѣсенью, а берега изрыты копытами домашнихъ животныхъ; отъ плодовитаго сада остались двѣ-три полувымерзшія яблони, едва показывающія признаки жизни...

Усадьба эта и въ цвѣтущія свои времена не могла назваться красивою, но за то она постоянно кипѣла млекомъ и медомъ. Григорій Александрычъ Гололобовъ, стараго закала помѣщикъ, не заботился ни о красотѣ, ни объ удобствахъ, но за то его домъ уподоблялся трактирному заведенію, въ которомъ всякій «прилично одѣтый» могъ съ утра до вечера пить и ѣсть. Онъ даже не былъ особенно богатъ, и я очень хорошо помню, что сосѣди удивлялись, какимъ образомъ Григорій Александрычъ отъ какихъ-нибудь ста душъ могъ такъ роскошествовать. Но онъ, повидимому, слишкомъ хорошо постигъ тайны крѣпостнаго права, и на всѣ удивленія относительно его житья-бытья объяснялся такъ:

— Сто душъ — большое, батенька, дѣло! Сто душъ — это сто хрѣбтовъ-съ!

И продолжалъ кормить и поить до тѣхъ поръ, пока не ударилъ грозный часъ...

— А живъ еще Григорій Александрычъ? спрашиваю я.

— Живетъ! Вонъ, окно-то — тамъ и ютится. Былъ и у него намеднись, нагажено у него, насорено въ горницѣ-то! Ни у дверей, ни у конъ настоящихъ запоровъ нѣтъ; войди къ нему ночью, задуши — никто три дня и не провѣдаетъ! Да и самъ-то онъ словно ужь не въ умѣ!

— Старъ!

— Одно дѣло, старъ, другое дѣло — разоренье. Теперь онъ, можно сказать, весь обнажился; нѝ у него хлѣба, нѝ травы — хуже, нечѣмъ у иного мужика!

— Чтò такъ?

— Да сначала, какъ уставную-то грамоту писалъ, перестарался ужь очень. Землю, коя получше, за собой оставилъ, анъ дача-то и вышла у него клочьями. Тоже плутъ, вѣдь, онъ! думалъ: коли я около самой ихней околицы землю отрѣжу, такъ имъ и курицы нѐкуда будетъ выпустить! — анъ вышло, что курицы-то и зàвсе у него въ овсѣ!

— Чай, судится съ крестьянами-то?

— Пыталъ тоже судиться, да смѣхъ одинъ вышелъ: хоть каждый день ты съ курицей судись, а она все пойдетъ, гдѣ ей лакомо. Надзору у него нѣтъ; самому досмотрѣть нѣтъ возможности, а управителя нанять — три полсотни отдать ему надо. Да и управителю тутъ ни въ жизнь не углядѣть, потому въ одномъ мѣстѣ онъ смотритъ, а въ другомъ, гляди, озоруютъ!

— На чемъ же онъ порѣшилъ?

— Да не поймешь его. Сначала куда какъ сердитъ былъ, и суды-то трѐклялъ: «какіе, говоритъ, это праведные суды, это притоны разбойничьи! а нынче, слышь, надѣяться началъ. Все около своихъ бывшихъ крестьянъ похаживаетъ, лаской ихъ донять хочетъ, литви съ ними пьетъ. «Мы, говоритъ, всѣ нынче на равной линіи стоимъ; я васъ не замаю, и вы меня не замайте». Все, значитъ, на счетъ потравъ проситъ, чтобъ потравъ у него не дѣлали.

— Ну, и чтò жь, крестьяне... чувствуютъ?

— Нельзя сказать, чтобъ очень. Намеднись, одинъ мужичекъ при мнѣ ему говоритъ: «ты, говоритъ, Григорій Александрычъ, нече сказать, нынче парень отмѣн-

ный сталъ, не обидчикъ, не наругатель, не что; а прежнее-то, по твоему, какъ?» — А прежнее, говоритъ, простить надо!

— Отчего жь бы и не простить, въ самомъ дѣлѣ!

— Отчего не простить! Вотъ и я въ тѣ поры тоже подумалъ: «старъ, молъ, ты старъ, а тоже знаешь, гдѣ раки зимуютъ! Прежнее чтобы простить, а впередъ чтобы опять по прежнему!» Да вотъ, никакъ и самъ онъ!

Смотримъ: невдалекѣ отъ дороги, у развалившихся воротъ, отъ которыхъ остались одни покосившіеся на бокъ столбы, стоитъ старикъ въ засаленномъ стеганномъ архалукѣ, изъ котораго мѣстами торчитъ вата, и держитъ руку щиткомъ надъ глазами, всматриваясь въ насъ. На головѣ у него теплый картузъ, щеки и губи обвисли, борода не брита, жидкіе волосы развѣваются по вѣтру; въ лѣвой рукѣ березовая палка, которую онъ тщетно старается установить.

— Неужто это Григорій Александрычъ? спрашиваю я, до такой степени изумленный, что мнѣ не приходитъ даже на мысль остановить лошадей, чтобъ поздороваться съ маститымъ свидѣтелемъ игръ моего дѣтства.

— Онъ самый и есть. Смотри, какъ палка-то у него въ рукахъ прыгаетъ; съ палкой совладать ужь не можетъ.

— Господи! а какой былъ прежде бѣлый да румяный!

— Былъ румянъ, поколь свои мужики на барщину ходили, а теперь вонъ какой сталъ. Сердитыя ныньче, сударь, времена настали.

— Чѣмъ же такъ ужь очень сердиты?

— Да тѣмъ, что спустя-то рукава ныньче ужь, видно, рѣдко кому прожить приведется!

— Ну, что жь такое! стало быть, дѣло надо дѣлать — вотъ и все.

— Да и на дѣло-то нынѣшнее посмотришь, такъ словно бы оно на мошенничество похоже стало. Прежде совсѣмъ дѣловъ не было, а ныньче ужь слишнимъ ихъ много, а настоящаго, постояннаго дѣла, всетаки, нѣту — все съ наскоку. Перервалъ горло, утащилъ, надулъ — и убёгъ. Вотъ нынѣшнее дѣло. Настоящій-то, постоянный-то человѣкъ промежь дошлыхъ и пропадетъ. Со всѣхъ сторонъ его окружили, нигдѣ ни расчету, ни суда ему нѣтъ. Да и соблазнъ великъ. Станетъ человѣкъ постоянное-то дѣло дѣлать — анъ тутъ его сейчасъ лукавый смутитъ! Зачѣмъ, скажетъ, работать, коли обманомъ да колотырничествомъ жить можно! А иной съ непривычки и обмануть-то путемъ не умѣетъ! Смотришь, анъ современемъ или по судамъ его таскаютъ, или онъ въ кабакѣ смёртную чашу пьетъ!

— Такъ неужто жь прежде лучше было?

— Лучше не лучше, только прежде мы объ своихъ качествахъ-то помалчивали да потихоньку ихъ прикапливали. При крѣпостномъ-то правѣ мы словно въ тюрьмѣ сидѣли, и каки-таки были у насъ добродѣтели — никому о томъ было невѣдомо. А теперь всѣ свои капиталы вдругъ объявили. А и капиталовъ-то у насъ всего два: жрать да баклуши бить. Жрать хочется, а работать не хочется (прежде, должно быть, при крѣпостномъ правѣ вдосталь наработались!) — ну, и ищутъ, какъ бы вьюномъ извернуться. Иной всю жизнь безъ штановъ жилъ, да и дѣла отродясь въ глаза не видалъ — анъ, смотришь, онъ въ трактирѣ чай пьетъ, поддёвку себѣ изъ синаго сукна сшилъ! Спроси его, что̀ онъ сработалъ, откуда у него что̀ проявилось—онъ не то, что тебѣ, да и себѣ-то настоящаго отвѣта дать не съумѣетъ! Такъ, маклаченьемъ, да карманной выгрузкой и живетъ. Да что̀ и говорить!

всякаго спроси, всякій скажетъ: сердитыя нынче времена пришли!

— Богъ милостивъ, Софронъ Матвѣичъ! Перемелется— все мукà будетъ!

— Извѣстно, Богъ не безъ милости! Однако вотъ пошли пожàры, падежи — значитъ же это чтò-нибудь!

— Да, вѣдь, и прежде это не въ рѣдкость было!

— Было и прежде, да прежде-то отъ глупости, а нынче все отъ ума. Воровать сталъ народъ, началъ самъ себя узнавать. Вонъ она, деревня-то! смотри, много ли въ ней старыхъ домовъ осталось!

Мы въѣхали въ довольно большую деревню, въ которой было два порядка избъ; одинъ изъ нихъ былъ совершенно новый, частью даже не вполнѣ достроенный; другой порядокъ тоже не успѣлъ еще почернѣть отъ времени.

— Прошлаго года въ Покровъ сгорѣли: престольный праздникъ у нихъ тутъ; а три года назадъ другой порядокъ горѣлъ! А сибирская язва и не переводится у насъ. Въ иной деревнѣ чтò ни годъ, то половину стада выхватитъ!

— Божья воля, Софронъ Матвѣичъ, вотъ и все!

— Божья воля — само собой. А главная причина, строгія времена пришли. Всякому чужого хочется, а между прочимъ, никому никого не жаль. Возьмемъ хоть Григорья Александрыча. Ну, подумалъ ли онъ, какъ уставную-то грамоту писалъ, что мужика обездоливаетъ? подумалъ ли, что мужику либо землю пахать, либо за курами смотрѣть? Нѣтъ, онъ ни крошки объ этомъ не думалъ, а напротивъ того, еще надѣялся: то-то, молъ, я штрафòвъ съ мужиковъ наберу!

— А, вѣдь, самое это выгодное дѣло, Софронъ Матвѣичъ, съ мужиковъ штрафы брать!

— Выгодное — какъ не выгодное. Теперича, ежели мужика со всѣхъ сторонъ запереть, чтобъ ему ни входу, ни выходу — чего еще выгоднѣе! Да, вѣдь, расчетъ-то этотъ нужно тоже съ умомъ вести, сосчитать нужно, стòитъ ли овчинка выдѣлки! Ну, а Григорій Александрычъ не сосчиталъ, думалъ, что штафы-то сами къ нему въ карманъ полѣзутъ — анъ вышло, что за ними тоже походить надо!

— Чай, и кается же онъ теперь?

— Каяться, какъ не каяться, да потому только и кается, что выдумка его не удалась. А кабы удалась, такъ и онъ бы теперь пироги съ начинкой ѣлъ.

— Видишь, стало быть, не всегда это вѣрно на чужой-то карманъ разсчитывать!

— Какъ вамъ сказать, сударь! Григорій Александрычъ тутъ не примѣръ. У него, хоть и не задашный, а все свой кусъ есть. Вотъ онъ теперь и казнится на него, думаетъ: лучше было бы, кабы побожески по первоначалу поступить! Ну, а другому и каяться-то резону нѣтъ. Народъ ноньче все гольтепа, бездомовый пошелъ: на чтò ни пустись — все ему хуже прежняго не будетъ. Хоть лишнюю рюмку вина выпьетъ — и то въ барышахъ. Скажемъ теперича хоть про престольные праздники. Найдетъ тутъ народу въ деревню видимо-невидимо, и всякій вина проситъ. Не далъ ты ему вина — онъ тебя съ сердцовъ спалилъ, да и сосѣдей твоихъ заурядъ!

— Не можетъ быть! изъ такихъ пустяковъ!

— Вѣрное слово говорю. Чтобы ему на умъ пришло, что онъ чужое добро жжетъ — ни въ жизнь! Иной даже похваляется, чтобъ его боялись. И не томка что похвальба эта съ рукъ ему сходитъ, а еще каждый день пьянъ бываетъ!

— Ну, а падежи-то отчего жь?

— Да тоже главная причина та, что всякій норовитъ поскорѣй нажиться. У насъ въ городѣ и сейчасъ всѣ лавки больной говядиной полнехоньки. Торговецъ-то не смотритъ на то, какой отъ этого раззоръ будетъ, а норовитъ, какъ бы ему барыша поскорѣй нажить. Мужикъ купитъ на праздникъ говядинки, привезетъ домой, вымоетъ, помои выплеснетъ, корова понюхаетъ — и пошла язва косить!

— Однако, не хороши у васъ дѣла!

— Чего хуже! День живемъ, а завтра, что̀ будетъ — не вѣдаемъ.

— А знаешь, вѣдь, насъ учатъ, что нигдѣ не такъ крѣпко на счетъ собственности, какъ между крестьянами!

— Вѣдомое дѣло, кому своего не жаль!

— Нѣтъ, не на счетъ только «своей» собственности, а вообще. У васъ, говорятъ, и запоровъ въ заводѣ нѣтъ!

— Не знаю, какъ въ другихъ мѣстахъ, а у насъ на этотъ счетъ строго. У насъ, тѣхъ, которые чужое-то добро жалѣютъ, дураками величаютъ — вотъ ка̀къ!

— Да, вѣдь, не пойдешь же, напримѣръ, *ты* за чужимъ добромъ?

— Мнѣ что̀! у меня свое есть!

— Представь себѣ, однако, что у тебя своего или нѣтъ, или мало: неужто же ты...

— Зачѣмъ представлять! что̀ вы!

— Ну, да представь же!

— Пустое дѣло вы говорите! зачѣмъ я стану представлять, чего нѣтъ!

Вопросъ этотъ такъ и остался неразрѣшеннымъ, потому что въ эту минуту на встрѣчу намъ попались бѣговыя дрожки. На дрожкахъ сидѣлъ верхомъ мужчина въ нѣмецкомъ платьѣ, не то мѣщанинъ, не то бывшій барскій прикащикъ, и самъ правилъ лошадью.

— Хрисанфъ Петровичъ! куда? кричитъ Софронъ Матвѣичъ, высовываясь всѣмъ корпусомъ изъ тарантаса и даже привставая въ немъ.

Проѣзжій отвѣчаетъ что̀-то, указывая рукой по направленію Гололобовской усадьбы.

— Ну, такъ и есть, къ Гололобову ѣдетъ. То-то Григорій Александрычъ высматривалъ. Это онъ его поджидалъ. Ну, и окрутитъ же его Хрисашка!

— Развѣ дѣла у нихъ есть?

— Лѣску у Гололобова десятинъ съ полсотни, должно быть, осталось — вотъ Хрисашка около него и похаживаетъ. Лѣсокъ нешто̀, на худой конецъ, по нынѣшнему времени, тысячъ пятокъ надо взять, но только Хрисашка теперича такъ его опуталъ, такъ опуталъ, что ни въ жизнь ему больше двухъ тысячъ не получить. Даже всѣхъ прочихъ покупателевъ отъ него отогналъ!

— Кто же этотъ Хрисашка? давно онъ въ здѣшнихъ мѣстахъ?

— Хрисанфъ Петровичъ господинъ Полушкинъ-съ? Да у Бакланихи, у Дарьи Ивановны прикащикомъ былъ — неужто жь не помните! Онъ еще при мужѣ имѣньемъ-то управлялъ, а послѣ, какъ мужъ-то померъ, сластить ее сталъ. Только до денегъ очень жаденъ. Сначала тихонько поворовывалъ, а послѣ и нахаломъ брать зачалъ. А обравши, бросилъ ее. Ныньче усадьбу у Коробейникова, у Петра Ивановича, на Воплѣ на рѣкѣ, купилъ, живетъ себѣ помѣщикомъ, да лѣсами торгуетъ.

— Хрисаша! помню! помню! какой прежде скромный былъ!

— Былъ скромный, а теперь выше лѣсу стоячаго ходитъ. Медаль, сказываетъ, во снѣ видѣлъ. Всю здѣшнюю сторону подъ свою державу подвелъ, ни одинъ помѣщикъ *дыхнуть безъ его воли* не можетъ. У насъ, у Николы

на Воплѣ, амвонъ себѣ въ церкви устроилъ, гдѣ прежде дворяне-то стаивали, алымъ сукномъ обилъ — стоитъ да охорашивается!

— Вотъ какъ!

— Ужь такая-то выжига сдѣлался — наскрозь на четыре аршина въ землю видитъ! Хватаетъ, словно у него не двѣ, а четыре руки. Лѣсами торгуетъ — разъ, двѣнадцать кабаковъ держитъ — два, да при каждомъ кабакѣ у него лавочка — три. И вездѣ обманываетъ. А всетаки, помяни ты мое слово, не бывать тому, чтобъ онъ самъ собой отъ сытости лопнулъ! И ему тоже голову свернутъ!

— Проворуется, значитъ?

— Не то, что проворуется, а нынче этихъ прожженыхъ, словно воронья, развелось. Кусковъ-то про всѣхъ не хватаетъ, такъ изо рту другъ у дружки рвутъ. Сколько ихъ въ здѣшнемъ мѣстѣ за послѣдніе года лопнуло, сколько черезъ нихъ, канальевъ, народу по міру пошло, такъ, кажется, кто самъ не видѣлъ — не повѣритъ!

— А у насъ, братъ, толкуютъ, что въ русскомъ человѣкѣ предпріимчивости мало! А какъ тебя послушаешь, такъ, пожалуй, ея даже больше, чѣмъ слѣдуетъ!

— Ужь на что̀ вороватѣе. Завелось, напримѣръ, нынче арендателевъ много: зѐмли снимаютъ, мельницы, скотные дворы, словомъ, всю помѣщичью угоду въ свои руки забрали. Спроси ты у него, кто онъ таковъ? Придетъ онъ къ тебѣ: въ карманѣ у него грошъ, на лицѣ званія нѣтъ, а тысячнымъ дѣломъ орудовать берется. Одно только и держитъ на умѣ: возьму, раззорю и убѣгу! И точно, въ два-три года все до нитки спуститъ: скотину выпродастъ, стройку сгноитъ, поля выпашетъ, даже кирпичъ, какой есть — и тотъ выломаетъ и вывезетъ. А подъ конецъ и самъ въ трубу вылетитъ!

— Такъ, значитъ, на счетъ собственности-то и у васъ не особенно крѣпко? Ну, по крайней мѣрѣ, хоть на счетъ чистоты нравовъ... надѣюсь, что въ этомъ отношеніи...

— Это на счетъ снохачей, что̀ ли?

— Какіе тутъ снохачи... снохачи—это, братецъ, исключеніе... Я не объ исключеніяхъ тебѣ говорю, а вообще...

— А вообще—такъ у насъ французская болѣзнь есть. Ныньче ея во всякой деревнѣ довольно завелось.

— Какъ же это такъ, однакожь! Ни къ собственности уваженія, ни къ нравственности! Согласись, что этакъ, наконецъ, жить нельзя!

— Да кабы не палка—и то давно бы оно врозь пошло.

— Позволь! ты говоришь: кабы не палка! Но, вѣдь, нельзя же вѣкъ свой съ палкой жить! Представь себѣ, что палки нѣтъ... вѣдь, можно себѣ это представить?

— Никакъ этого представить нельзя!

— Ну, да представь, однако! Все только палка да палка—это даже безнравственно! *Должно* же когда-нибудь это кончиться! Что̀ жь будетъ, если палку, наконецъ, сократятъ!

— А то и будетъ, что все врозь пойдетъ!

— Послушай! Да какой же еще больше розни, чѣмъ та, которая, по твоимъ же словамъ, теперь идетъ! Ни собственности, ни нравственности... французская болѣзнь... чего хуже!

— Это такъ точно!

— Такъ что же палка-то твоя дѣлаетъ? отчего жь она никого не исправляетъ?

— Ну, все же поберегаются!

— *Поберегаются*... Хрисашка, напримѣръ! И вѣдь, по-

ди, чай, этотъ самый Хрисашка, если нетолько-что украсть у него, а даже если при немъ на счетъ собственности что̀-нибудь неладно сказать — поди, чай, какъ завопитъ!

— Само собой завопитъ!

— А онъ, какъ ты самъ говоришь, чуть не по̀ходя воруетъ. Вотъ и теперь, пожалуй, Гололобову въ карманъ руку запускаетъ!

— Запущаетъ — это вѣрно. Трещитъ Григорій Александрычъ, да еще его же, подлеца, безпремѣнно водкой поитъ!

— А коли ты знаешь, что онъ подлецъ, зачѣмъ же ты подлецу кланяешься? зачѣмъ картузъ передъ нимъ снимаешь?

Софронъ Матвѣичъ при этомъ вопросѣ на минуту словно опѣшилъ, но тотчасъ же, впрочемъ, опять оправился.

— Позвольте-съ! Какъ же я ему не поклонюсь, отвѣтилъ онъ мнѣ уже совершенно резонно: — коли онъ у насъ теперь въ окру̀гѣ первый человѣкъ?

— Нѣтъ, ты не виляй! ты отвѣть, что̀ все это значитъ?

— А то и значитъ, что «не пойманъ — не воръ»!

И такъ, изрѣченіе «не пойманъ — не воръ», какъ замѣна гражданскаго кодекса, и французская болѣзнь, какъ замѣна кодекса нравственнаго... ужели это и есть та таинственная подоплека, то искомое «новое слово», по поводу которыхъ въ свое время было писано и читано столько умильныхъ рѣчей? Гдѣ же основа и краеугольные камни? Ужели они сосланы на огородъ и стоятъ тамъ въ видѣ пугалъ... для «дураковъ»?

Григорій Александрычъ обездоливаетъ крестьянъ; Хри-

сашка обездоливаетъ Григорія Александрыча; пропоецъ, изъ-за рюмки водки, обездоливаетъ цѣлую деревню; мѣщанинъ-мясникъ, изъ-за грошоваго барыша, обездоливаетъ цѣлую палестину... Никому ничего не жаль, никто не заглядываетъ впередъ, всякій ищетъ, какъ бы сорвать сейчасъ, сію минуту, и потомъ... потомъ и самому, пожалуй, вылетѣть въ трубу.

Еслибъ мнѣ сказалъ это человѣкъ легкомысленный — я не повѣрилъ бы. Но Софронъ Матвѣичъ нетолько человѣкъ, вполнѣ знакомый со всѣми особенностями здѣшнихъ обычаевъ и нравовъ, но даже въ нѣкоторомъ родѣ столпъ. Онъ консерваторъ, потому что у него есть кубышка, и въ то же время либералъ, потому что ни подъ какимъ видомъ не хочетъ допустить, чтобъ эту кубышку могли у него отнять. Какихъ еще столповъ надо!

Но, всетаки, должно сознаться, что и въ разсказахъ Софрона Матвѣича есть слабая сторона. Если довѣриться ему безусловно со всѣми выводами, какіе онъ дѣлаетъ, то непонятно было-бы, какимъ образомъ люди живутъ. А между тѣмъ, люди нетолько живутъ, но и преуспѣваютъ. Ясно, что Софронъ Матвѣичъ слишкомъ исключительно моралистъ, и въ то же время не менѣе ясно и то, что мораль его имѣетъ довольно узкую исходную точку. Онъ самъ аккуратенъ и требуетъ такой-же аккуратности отъ другихъ — развѣ такая низменная мораль можетъ быть навязана міру, какъ общеобязательный жизненный принципъ?

То, въ чемъ онъ видитъ развращеніе нравовъ, есть собственно безтолочь, происшедшая вслѣдствіе смѣшенія понятій, уже извѣстныхъ, отвержденныхъ, съ понятіями искомыми, еще неимѣющими на рынкѣ опредѣленнаго курса. Человѣкъ чувствуетъ себя спутаннымъ, и вмѣсто того, чтобъ искать этихъ путъ около себя, шаритъ ру-

ками въ пространствѣ. Человѣкъ ищетъ гдѣ лучше, но, не имѣя даже приблизительныхъ свѣдѣній на счетъ того, гдѣ раки зимуютъ, естественнымъ образомъ вынуждается безпрестанно перебѣгать изъ области дозволеннаго въ область запретнаго и наоборотъ. Если его ограбятъ, онъ старается изловить грабителя, и буде изловитъ, то говоритъ: стой! законами грабить не позволяется! Если онъ самъ ограбитъ, то старается схоронить концы въ воду, и если ему это удастся, то говоритъ: какіе такіе ты законы для дураковъ нашелъ! для дураковъ одинъ законъ: учить надо! И всѣ кругомъ смѣются: въ первомъ случаѣ смѣются тому, что дурака поймали, во второмъ— тому, что дурака выучили. Что̀ можетъ тутъ сдѣлать мораль, когда ея отправные пункты давнымъ-давно всѣми внутренно осмѣяны и оставлены, въ видѣ реторической шумихи, въ назиданіе... дуракамъ! Но даже и для дураковъ они страшны лишь потолику, поколику за ними стоитъ острогъ...

Должно быть, иначе ужь нельзя жить, коли люди такъ живутъ и впредь такъ жить надѣются. Ворчитъ Софронъ Матвѣичъ (хоть онъ же, вмѣстѣ съ тѣмъ, сознается, «что не пойманъ — не воръ»), а Хрисашки свое дѣло дѣлаютъ. Видно, они ужь раскинули умомъ, что не такъ черенъ чортъ, какъ его малюютъ. А въ дѣлѣ воровства— это главное. По началу, воровать дѣйствительно страшно: все кажется, что чужой рубль жжется; а потомъ, какъ увидитъ человѣкъ, что чужой рубль имѣетъ лишь то свойство, что легче всего другого обращается въ свой собственный рубль, станетъ и по̀ходя поворовывать. Точно также и насчетъ чистоты нравовъ; только сначала есть опасеніе, ка̀къ бы бока не намяли, а потомъ, какъ убѣдится человѣкъ, что и противъ этого есть мѣры, и что за симъ, кромѣ сладости, ничего тутъ нѣтъ — ста-

нетъ и почаще въ чужое гнѣздо заглядывать. «Заведи свою жену! заведи свой рубль!» говоритъ негодующій Софронъ Матвѣичъ; а Хрисашка ему въ отвѣтъ: «а зачѣмъ мнѣ заводить, коли ты для меня и жену и рубль припасъ!»

Нѣкоторые видятъ въ подобныхъ фактахъ войну и протестъ. Это, дескать, война незваныхъ противъ званыхъ, это глухой протестъ обдѣленныхъ противъ общественной несправедливости. А по моему, такъ тутъ и войны никакой нѣтъ. Еслибъ въ область запретнаго врывались одни обдѣленные, тогда еще можно было бы, хоть съ натяжкою, сказать: да̀, это протестъ! Но, вѣдь, сплошь и рядомъ, званые-то еще ходчѣе въ эту область заглядываютъ. Стало быть, нетолько незванымъ, но и званымъ туго пришлось. Да и какъ, наконецъ, опредѣлить, кто обдѣленъ, кто не обдѣленъ? Конечно, сытому воровать стыднѣе, нежели голодному, и Сафронъ Матвѣичъ, я знаю, первый упрекнетъ сытаго: «не стыдно ли тебѣ, скажетъ: добро бы у тебя своего куска не было!» А Хрисашка ему въ отвѣтъ: «а ты мой аппетитъ знаешь? мѣрялъ ты мой аппетитъ?»

Я не говорю, что Хрисашка представляетъ собой образецъ добродѣтели; я знаю, что онъ кругомъ виноватъ, а напротивъ того, критикъ его, Софронъ Матвѣичъ (впрочемъ, снимающій передъ Хрисашкой картузъ), кругомъ правъ. Но я знаю также, что Софронъ Матвѣичъ влачитъ свое сѣренькое существованіе съ грѣхомъ пополамъ, между тѣмъ, какъ Хрисашка блеститъ паче камня самоцвѣтнаго, и, конечно, не всуе видитъ во снѣ медаль. Софронъ Матвѣичъ придетъ въ церковь, станетъ скромненько въ уголокъ, и попъ не назоветъ его ни истиннымъ сыномъ церкви, ни ангельскаго житія ревнителемъ и не вынесетъ просфоры. А Хрисашка взойдетъ

въ церковь, такъ словно свѣтлѣе въ ней сдѣлается; взойдетъ, и полѣзетъ прямо на свой собственный, крытый алымъ сукномъ амвонъ. И попъ скажетъ ему притчу, начнетъ съ «яко солнцу просіявающу» и кончитъ: «тако да возсіяешь ты добродѣтелями во вѣкъ», а въ заключеніе самъ вручитъ ему просфору. По выходѣ же изъ церкви, Софрону Матвѣичу поклонится развѣ рѣдкій аматёръ добродѣтелей (да и то, можетъ быть, въ томъ расчетѣ, что у него, всетаки, кубышка водится), а Хрисашкѣ *всѣ* поклонятся, да не просто поклонятся, а со страхомъ и трепетомъ. Ибо въ рукахъ у Хрисашки хлѣбъ *всѣхъ*, всей этой чающей и не могущей наѣсться до сыта братіи, а въ рукахъ у Софрона Матвѣича — только собственная его кубышка.

«Я въ трубу не вылечу, а Хрисашка—вотъ помяните мое слово! — не долго нагуляетъ!» говорилъ мнѣ Софронъ Матвѣичъ. Прекрасно: но для Хрисашки это, всетаки, доводъ неубѣдительный. Развѣ ты когда-нибудь жилъ, Софронъ Матвѣичъ? Развѣ ты испыталъ, какое значеніе имѣютъ слова: «пожить въ свое удовольствіе»? Нѣтъ, ты не жилъ, а только уберегался отъ жизни, да поученья себѣ читалъ. Захочется тебѣ иной разъ во всѣ лопатки ударить (я знаю, и у тебя эти порывы-то бывали!) — анъ ты: нѣтъ, погоди — вотъ ужò! Ужò да ужò — такъ ты и прокисъ, и кончилъ на томъ, что ухватился обѣими руками за кубышку, да брюзжишь на Хрисашку, а самъ ему-же кланяешься! А у Хрисашки кубышки и въ заводѣ нѣтъ, ему нѐ надъ чѣмъ дрожать, потому что у него деньга вольная. Всякая деньга — его деньга: и та, которая у тебя въ карманѣ тщетно хоронится отъ его прозорливости, и та, которая скрывается въ груди, въ мышцахъ, въ спинѣ вотъ у этого прохожаго, который съ пилой да съ заступомъ на плечѣ пробирается путемъ-

дорогой на промыселъ. Или опять на счетъ чистоты нравовъ — развѣ ты настоящей сладости-то вкусилъ? Приглянется тебѣ, бывало (еще при крѣпостномъ правѣ это было), Дунька, старостина жена, а ты: нѣтъ, погоди! не равно староста обидится! Погоди да погоди, и дожилъ до того, что теперь нечего тебѣ другого и сказать, кромѣ: «хорошо дома; пріѣду къ Маремьянѣ Маревнѣ, постелимся на печи, да и захрапимъ во всю ивановскую!» А у Хрисашки и тутъ все вольное: и своя жена вольная, и чужая жена вольная — какъ подойдетъ! Безнравственъ Хрисашка, прелюбодѣй онъ и воръ—что говорить! И въ трубу вылетитъ, и въ острогъ попадетъ — это вѣрно. Но и въ острогѣ ему будетъ чѣмъ свою жизнь помянуть да поразсказать «прочіимъ каторжнымъ», какъ попъ его истиннымъ сыномъ церкви величалъ, да просфорами жаловалъ, а ты и на теплой печи, съ Маремьяной Маревной лежа, ничего, кромѣ распостылаго острога, не обрѣтешь!

Ты говоришь: «попъ завидущъ; захочу, десять рублей пошлю — онъ и не такую притчу мнѣ взбодритъ!» Знаю я это. Но вспомни, что, вѣдь, ты добродѣтельный, а Хрисашка воръ и прелюбодѣй. Если объ тебѣ и за десять копеекъ попъ скажетъ, что ты ангельскаго житія ревнитель — онъ немного солжетъ; а каково объ Хрисашкѣ-то это слышать! Хрисашка, сіяющій добродѣтелями! Хрисашка, аки благопотребный дождь, упояющій ниву, жаждущу, како освѣжитися! Слыхана ли такая вещь! А развѣ ты не слыхалъ?

Да взгляни же ты, наконецъ, на Хрисашку, какъ онъ невозмутимъ, спокоенъ, самодоволенъ! Съ какимъ неизрѣченнымъ состраданіемъ взираетъ онъ съ своего амвона на тебя, героя собственной кубышки, поборника невоспрещеннаго закономъ храпѣнья на собственной печкѣ

возлѣ собственной Маремьяны Маревны! Именно съ состраданіемъ, даже не съ ироніей. Не тебя жалѣетъ онъ, а твою кубышку, держа которую ты такъ сладко похрапываешь на собственной печи, въ свободные отъ копленія часы! «Эхъ, думается ему, кабы эту самую кубышку да въ настоящія руки... задали бы ей копоти!» Всмотрись же въ Хрисашку пристальнѣе и крѣпче прижми къ груди кубышку, потому что съ такимъ озорникомъ всяко случиться можетъ: вздумается—и отниметъ!

Да̀, Хрисашка еще слишкомъ добръ, что онъ только поглядываетъ на твою кубышку, а не отнимаетъ ея. Еслибъ онъ захотѣлъ, онъ взялъ бы у тебя все: и кубышку, и Маремьяну Маревну на придачу. Хрисашка! воспрянь — чего ты робѣешь! Воспрянь, и плюнь въ самую лохань этому идеалогу кубышки! Воспрянь, и бери у него все: и жену его, и вола его, и осла его—и пусть хоть однажды въ жизни онъ будетъ приведенъ въ необходимость *представить себѣ*, что у него *своего* или ничего, или очень мало!

И такъ, всякій хочетъ жить — вотъ общій законъ. Если при этомъ встрѣчаются на пути краеугольные камни, то стараются умненько ихъ обойти. Но съ мѣста ихъ, всетаки, не сворачиваютъ, потому что подобнаго рода камень можетъ еще и службу сослужить. А именно: онъ можетъ загородить дорогу другимъ и тѣмъ значительно сократить размѣры жизненной конкурренціи. Стало быть: умѣлый пусть пользуется, неумѣлый — пусть колотится лбомъ о краеугольные камни. Вотъ и все.

Между тѣмъ, какъ я предавался этимъ размышленіямъ, лошади какъ-то сами собой остановились. Выглянувши изъ тарантаса, я увидѣлъ, что мы стоимъ у такъ-называемаго постоялаго двора, на дверяхъ котораго красуется надпись «распивочно и на выносъ». Ямщикъ разнузды-

ваетъ лошадей, которыя трясутъ головами и громыхаютъ бубенчиками.

— Лошадей хочу попоить! обращается къ намъ ямщикъ.

— Чего «лошадей попоить»! вижу я, куда у тебя глаза-то скосило! ворчитъ Софронъ Матвѣичъ.

— Что̀ жь, на свои деньги и самъ выпить могу!

— То-то «самъ»... до мѣста-то, видно, нельзя подождать! на пароходъ опоздаемъ!

— На пароходъ еще за сутки пріѣдемъ. Ты, чай, и и выпилъ, и закусилъ дома «съ бариномъ», а я на пустыхъ-то щахъ только зубы себѣ нахлопалъ!

Дверь кабака визжитъ и ямщикъ скрывается за нею.

— А много пьютъ? спрашиваю я.

— Такъ довольно, такъ довольно, что если, кажется, еще немного, совсѣмъ наша сторона какъ дикая сдѣлается. Многіе даже заговариваться стали.

— То-есть, какъ же это — заговариваться?

— Совсѣмъ не тѣ слова говоритъ, какія хочетъ. Хочетъ сказать, къ примѣру, стѣна, а говоритъ телега. Иного и совсѣмъ не поймешь. Не знаетъ даже, что̀ у него подъ ногами: земля ли, крыша ли, рѣка ли. Да вонъ, смотрите, черезъ поле молодецъ бѣжитъ... ишь поспѣшаетъ! Это сюда, въ кабакъ.

И дѣйствительно, черезъ нѣсколько секундъ, съ нашимъ тарантасомъ поровнялся рослый мужикъ, имѣвшій крайне озабоченный видъ. Лицо у него было блѣдное, глаза мутные волоса, взъерошенные, губы сочились и что̀-то безъ умолку лепетали. Въ каждой рукѣ у него было по подковѣ, которыми онъ звякалъ одна объ другую.

— Давно не пивалъ, почтенный? обратился къ нему Софронъ Матвѣичъ.

— Завтра пивалъ!.. Регово̀но табѣ... талды!.. Веней

пина! Зарррокъ, бормоталъ мужикъ, остановившись и словно испуганный человѣческою рѣчью.

— Вотъ и разговаривай съ нимъ, какъ этакой-то къ тебѣ въ работники наймется! А что̀, почтенный, тебѣ бы и въ кабакъ-то ходить не дляче? Ты только встряхнись— безъ вина пьянъ будешь!

Мужикъ стоялъ, блуждая глазами по сторонамъ, и какъ бы нѣчто соображая.

— Подковы-то укралъ поди! чужія, небось!

— Ч-ч-чіи! веней пина... реговоно... толды!

— Ну, ну! ступай своей дорогой!

— Веней! крикнулъ мужикъ не своимъ голосомъ, дѣлая всѣмъ корпусомъ движеніе въ нашу сторону.

— Ступай, ступай! не хорошо! видишь—баринъ!

Мужикъ плюетъ («какіе грубіяны»! вертится у меня въ головѣ) и обращается къ кабаку. Опять визжитъ дверь, принимая въ свои объятія новаго потребителя.

— Хороши наши палестины? подсмѣивается Софронъ Матвѣичъ.

— Чудакъ ты, однакожь! Говоришь такъ, какъ будто ужь всѣ заговариваются!

— Всѣ не всѣ, а что многіе въ винѣ занятіе находятъ — это вѣрно. Да вотъ увидите. Версты съ четыре проѣдемъ, тутъ въ деревнѣ черезъ Воплю перевозъ будетъ, а при перевозѣ, какъ и слѣдуетъ, кабакъ. Паро̀мишка ледащій, телега съ нуждой уставится, не то, что экипажъ, вотъ они и пользуются. Какъ есть, у кабака вся деревня ждетъ. Чуть покажемся — всѣ высыплютъ. На рукахъ тарантасъ на паро̀мъ спустятъ, весь переѣздъ заднія колеса на вѣсу держать будутъ—все за двугривенный. Получатъ двугривенный—сейчасъ въ кабакъ. И идетъ у нихъ съ утра до вечера веселье, даже вчужѣ завидно!

— Однако, славно ты земляковъ-то своихъ рекомендуешь!

— Распостылые они мнѣ—вотъ что̀! всякая пакость—все черезъ нихъ идетъ! Попы носъ задираютъ, чиновники тиранятъ, Хрисашки грабятъ—все не черезъ кого, а черезъ нихъ! Ощирина Павла Потапыча знавали?

— Это Владыкинскаго? молодого?

— Какой онъ молодой—сорокъ лѣтъ слишкомъ будетъ! Пріѣхалъ онъ сюда, жилъ смирно, къ помѣщикамъ не ѣздилъ, хозяйствомъ не занимался, землю своимъ же бывшимъ крестьянамъ почесть за ничто сдавалъ — а выжили!

— Какъ такъ!

— Да такъ и выжили, зачѣмъ въ церковь рѣдко ходитъ! Попъ, вишь, къ нему повадился гостить: сегодня пришелъ, завтра пришелъ — ну, Павлу Потапычу это и не понравилось. Сгрубилъ, что̀ ли, онъ попу, только попъ обидѣлся, да не будь простъ, и науськалъ на него мужиковъ. И въ Бога, говоритъ, не вѣритъ, и въ церковь не ходитъ — фармазонъ. Пошла-это слава, провѣдали помѣщики, а спустя время и исправникъ пріѣхалъ. Какой такой вы примѣръ мужикамъ подаете?.. Ну, посмотрѣлъ-посмотрѣлъ Павелъ Потапычъ, плюнулъ и уѣхалъ. Да нынче по веснѣ приказъ съ Москвы прислалъ: обрыть всю землю канавой, а крестьянъ, чтобы ни ногой! А они его землей только и жили!

— Ну, это-то ужь лишнее! крестьяне, вѣдь, по невѣжеству!

— Знамо, что не по вѣжеству! А поколь у нихъ невѣжество будетъ, стало быть, подражать имъ надо? Ну, хорошо, будемъ такъ говорить: надо ихъ учить, надо школы для нихъ заводить. А поколь ка̀къ? А поколь онъ тебя стоялому жеребцу за косушку продастъ, да когда

тебя къ чертовой матери, невѣдомо за что̀, ссылать будутъ, онъ надъ тобой же глумиться станетъ! Нѣтъ, нынче постоянные-то люди сторониться начали! Больше все изъ столицъ пишутъ: школы, молъ, устроивать надо! а сами что̀-то и носу не показываютъ! Только тотъ и остался здѣсь, который съ мужика послѣднюю рубашку снять разсчитываетъ, или тотъ, кому — вотъ какъ Григорью Александрычу — свѣтъ клиномъ сошелся, нѐкуда, кромѣ здѣшняго мѣста, бѣжать!

Совершивши выпивку, ямщикъ сдѣлался замѣтно развязнѣе. Посвистывалъ, помахивалъ кнутомъ, передергивалъ коренную, крутилъ пристяжную въ кольцо и безпрестанно оборачивался на насъ. Да и дорога пошла повеселѣе, все озимями и яровою пашней; пространства, усѣянныя пеньками, встрѣчались рѣже, горизонтъ сдѣлался шире и чище; по сторонамъ виднѣлись церкви, помѣщичьи усадьбы, деревни. Поровнявшись съ одной усадьбой, ямщикъ взмахнулъ кнутомъ, гикнулъ, во весь опоръ промчался мимо воротъ господскаго дома и какимъ-то неестественнымъ голосомъ крикнулъ:

— Ахъ, сахарница ты наша... любе-е-зная!

— Кого это онъ такъ величаетъ? спросилъ я Софрона Матвѣича.

— Вдова тутъ, Меропа Петровна Кучерявина живетъ: видно ее. А что̀, Иванъ, сладка?

— Ужь такъ сладка! такъ сладка! Мероша! Мерончикъ!

— Да ты-то изъ чего себѣ кишки надрываешь? чай, по усамъ текло, а въ ротъ не попало?

Ямщикъ весело взглянулъ Софрону Матвѣичу въ лицо.

— Знаешь, что̀ я тебѣ, Софронъ Матвѣичъ, скажу? молвилъ онъ.

— Сказывай, только не ври.

— Зачѣмъ врать! Намеднись, везу я ее въ этомъ са-

момъ тарантасѣ... Только везу я, и пришла мнѣ въ голову блажь. Дай, думаю, попробую. А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что̀ я вамъ скажу? Сказывай, говоритъ.—Скажу я тебѣ, говорю, что хоша я и мужикъ, а въ иномъ разѣ противъ двухъ генераловъ выстою!

— Такъ-таки и сказалъ?

— Вотъ-те Христосъ! Сказалъ, знаешь, а самъ боюсь. Однако, ничего, молчитъ. Только проѣхали и еще версты съ двѣ, я опять: право, говорю, выстою!—а самъ полегоньку съ козелъ въ тарантасъ... словно какъ не нарокомъ. И вдругъ, братецъ ты мой, какъ свиснетъ она меня по рылу кулакомъ... инда звѣзды въ глаза вступили!

— Строга, значитъ?

— Не то, что строга, а не по порядку, стало быть, дѣло повелъ...

— Кто такая эта Кучерявина? обращаюсь я къ Софрону Матвѣичу.

— А былъ тутъ помѣщикъ... въ родѣ, какъ полоумненькій. Женился онъ на ней, ну и выманила она у него векселей, да изъ дому и выгнала. Умеръ ли, живъ ли онъ теперь — неизвѣстно, только она вдовой числится. И кто только въ этой усадьбѣ не отдыхалъ—и старъ, и младъ! Теперь на попа сказываютъ...

— Да ты постой, дай досказать-то! снова вступился ямщикъ.—Обидно мнѣ стало, и Боже мой, какъ обидно! Ѣду я, и смотрѣть на нее не хочу. Постой, думаю, я-те уважу! я-те въ канаву вывалю! А знаешь-ли, говорю, Меропа Петровна, что я тебя могу въ канаву сейчасъ вывалить!—Не смѣешь, говоритъ.—Смѣлости, говорю, теперь во мнѣ очень довольно, а ты мнѣ вотъ что̀ скажи: чѣмъ я хуже попа?—Ну, ну, ври больше! говоритъ.—Нѣтъ, не ври, а вѣрное дѣло, что я ничѣмъ твоего попа не хуже... даже званіе у насъ съ нимъ одно! И я

изъ простыхъ, и онъ изъ простыхъ, и я сапоги дегтемъ смазываю, и онъ сапоги дегтемъ смазываетъ .. И началъ я, значитъ, ее урезонивать. Ѣду, и все резоны говорю: сякая ты, молъ, такая, за что̀ человѣка обидѣла! И не замѣтилъ, какъ къ городу, къ самой околицѣ подъѣхали...

— А въ городу-то кутузка, слышь, есть...

— Стой... да ты не загадывай впередъ... экой ты, братецъ, непостоянной! Ѣдемъ мы это городомъ, а я тоже парень бывалый, про кутузку-то слыхивалъ. Подъѣхали къ постоялому, я ее, значитъ, за ручку высаживаю, жду... И вдругъ, братецъ ты мой, какую перемѣну слышу! А что, говоритъ, Иванъ, я здѣсь только ночь переночую, а завтра опять къ себѣ въ усадьбу—доставилъ бы ты меня!

— Вотъ такъ важно!

— И что̀ послѣ того у насъ съ ней было! что̀ только было! Только сказывать не велѣла!

— То-то ты и помалчиваешь!

— Тебѣ-то! Тебѣ я все одно, что отцу духовному! Только ты ужь помалчивай, Христа ради!

Въ это время дорога сдѣлала крутой загибъ и кучерявинская усадьба снова очутилась у насъ въ глазахъ, какъ на ладони.

— Сахарница! завылъ опять ямщикъ.

— Сахарница-то сахарница, а ужь выжига какая—не приведи Богъ! обратился ко мнѣ Софронъ Матвѣичъ.— Ты только погости у ней—не выскочишь! Все одно, что въ Москвѣ на Дербеновкѣ: тамъ у тебя бумажникъ оберутъ, а она тебя напоитъ, да вексель подсунетъ!

— И сходитъ съ рукъ?

— Ничего. Взыщетъ деньги—и полно. Хо̀шь—и опять пріѣзжай гостить, и опять допоитъ до того, что вексель подпишешь! И вездѣ ей почетъ, всѣ къ ней ѣздятъ, мно-

гіе даже руки цѣлуютъ. Теперь, слышь, генерала Голозадова обсахариваетъ.

— Это кто? фамилія, что ли, такая?

— Древняя, сказываетъ. Еще дѣдушки его кантонистами были. Вонъ и усадьба его, вонъ на горѣ! Недавно у насъ поселился, а ужь мужичекъ одинъ отъ него повѣсился.

— Какъ такъ?

— Да пустосвятъ онъ и кляузникъ, Голозадовъ-то. На всѣхъ прошенія пишетъ, и хоть нигдѣ ему, ни въ какихъ мѣстахъ, резону ныньче не даютъ, а онъ все пишетъ. Ну, и изымалъ онъ этта мужичка въ потравѣ, и пошла у него мельница въ ходъ. Къ мировому — отказъ, на съѣздѣ—отказъ. Въ сенатъ, въ Петербургъ—тамъ прицѣпу выдумали, велѣли съизнова судить. Опять къ мировому, къ другому, за сорокъ ужь верстъ — отказъ; на съѣздъ — отказъ; въ сенатъ — прицѣпу выдумали, въ третій разъ судить велѣли. Намеднись ѣду: на четырехъ подводахъ народъ встрѣчу ѣдетъ. — Чьи такіе? — Генерала Голозадова, говорятъ, свидѣтелей изъ города веземъ. — Рѣшили ли дѣло-то? — Чего, говоритъ, рѣшать, Андрей-то Герасимовъ удавился!

— Однако, братъ, это штука!

— Да ужь гдѣ только эта кляуза заведется — пиши пропало. У насъ до Голозадова на счетъ этого тихо было, а поселился онъ—того и смотри, не подъ судъ, такъ въ свидѣтели попадешь! У всякаго, сударь, свое дѣло есть, у него у одного нѣтъ; вотъ онъ и разсчитываетъ: я, молъ, на гулянкахъ-то такъ его доѣду, что онъ послѣднее отдастъ, отвяжись только!

— Ну, этого, по крайней мѣрѣ, не уважаютъ, ты говоришь?

— Покамѣсть, еще не уважаютъ; а вотъ, какъ одинъ

повѣсится, да другой повѣсится—не мудрено, что и уважать будутъ!

— А тамъ вонъ, влѣво, чья усадьба?

— Талалыкина господина. Онъ у насъ въ тѣ поры, какъ наши въ Крыму воевали, предводителемъ былъ, да сапоги для ополченія ставилъ. Самъ поставщикъ, самъ и пріемщикъ. Ну, и не доглядѣлъ, значитъ, что подошвы-то у сапоговъ картонныя!

— Тсс... видно, у васъ и на счетъ отечества-то... не шибко-таки любятъ!

— Какъ не любить! любятъ, коли другого не предвидится... Только вотъ ежели сапоги или полушубки ставить... это ужь шабашъ! Самый здѣсь, сударь, народъ на счего этого легкій!

Въ воздухѣ чуется близость большой рѣки. Вѣтеръ свѣжѣетъ, дорога идетъ поймою; мѣстами, сквозь купы кустовъ, показывается сверкающій изгибъ Волги. Вдали, на крутомъ берегу рѣки, то вынырнетъ изъ-за холма, то опять нырнетъ въ яму торговое село К. съ каменными домами вдоль набережной и обширнымъ пятиглавымъ соборомъ надъ самою пароходною пристанью. Исколесивши вавилонами верстъ пять по поемному берегу, мы останавливаемся, наконецъ, у перевоза, прямо противъ села. Паромъ на другой сторонѣ, то-есть, по обыкновенію, тамъ, гдѣ его не нужно, а между тѣмъ, по случаю завтрашняго базара, на луговомъ берегу уже набралась цѣлая вереница возовъ, ожидающихъ переправы. Значительное число расшивъ и судовъ покрываетъ рѣку; однѣ бросили якорь, другія медленно двигаются вверхъ по рѣкѣ съ помощью бичевы. На противоположной сторонѣ, на пристани идетъ суета; нагружаются и разгру-

жаются воза съ кладью; взбираются по деревянной лѣстницѣ въ гору крючники съ пятипудовыми тяжестями за плечьми. Воздухъ, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, насыщенъ сквернословіемъ.

— Мать-мать-мать-ма-а-ть! словно горохъ перекатывается отъ одного берега до другого.

— Дедюхинскіе — что̀ ротъ-то разинули! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Вороти носовую! мать-мать-ма-ать!

Поощряемый этими возгласами, нашъ ямщикъ, въ свою очередь, во всю силу легкихъ горланитъ:

— Перевозчики! заснули! мать-мать-ма-ать!

— Лодку не вскричать ли? обращается ко мнѣ Софронъ Матвѣичъ.

— Да, на лодкѣ скорѣе бы переѣхали.

И вотъ мой цѣломудренный спутникъ, поборникъ копилки и чистоты нравовъ, ни мало не смущаясь, вопіетъ:

— Лодку подавай! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

И вдругъ вся собравшаяся на берегу ватага обозчиковъ, словно остервенившись, возглашаетъ:

— Паро̀мъ давай! перевозъ! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Сейчасъ! черти! что̀ ругаетесь! Мать-мать-ма-а-ать! слабо доносится съ другого берега.

— Однако, братъ, насчетъ сквернословія-то у васъ здѣсь свободно! обращаюсь я къ одному изъ обозчиковъ.

— Отъ самаго Селижарова и вплоть до Астрахани у насъ эта рѣчь идетъ!

— И понимаете другъ друга?

— Въ лучшемъ видѣ!

Наконецъ, мы убѣждаемся, что паро̀мъ отчаливаетъ отъ другого берега. Наступаетъ внезапное затишье, прерываемое лишь посвистываніемъ бурлаковъ на лошадей, тянущихъ бичеву. Страшно смотрѣть. Изможенныя,

сплеченныя животныя то карабкаются на крутизну, то спускаются внизъ въ рытвины, скользятъ, падаютъ на переднія ноги и вновь вскакиваютъ подъ градомъ ударовъ кнута.

— Вотъ ты давича увѣрялъ, говорю я Софрону Матвѣичу:—что народъ отъ работы отбился! А это, по твоему, не работа?

— Эти не дошли! отвѣчаетъ онъ съ самоувѣренностью истиннаго моралиста: — да, надо полагать, и не дойдутъ никогда!

— Богъ труды любитъ! сентенціозно вмѣшивается одинъ изъ хозяевъ обозчиковъ, мелочной торговецъ:—это имъ, значитъ, отъ Бога назначено, чтобы завсегда въ трудѣ время проводить!

— Кому же это «имъ»?

— Простонародью, чернеди-съ, отвѣчаетъ обозчикъ, не моргнувъ глазомъ.

— И прочіимъ всѣмъ трудиться назначено, поправляетъ другой обозчикъ:—да у иного достатки есть, такъ онъ удовольствіе доставить себѣ можетъ, а у нихъ нѣтъ достатковъ! Поэтому, они преимущественно...

Но вотъ приволокли и парòмъ, а лодки не подали. Пришлось переправляться вмѣстѣ съ возами. Покуда парòмъ черепашьимъ ходомъ переплываетъ на другую сторону, между переправляющимися идетъ оживленный разговоръ:

— Сапогъ въ заминкѣ (эта мѣстность славится производствомъ громаднаго количества сапоговъ)! совсѣмъ сапогъ остановился! говоритъ одинъ.

— Сердитыя времена настали! отзывается другой. — Сочти, сколько теперь народу безъ хлѣба осталось!

— Чтò, видно, въ чувство пришли! иронически замѣчаетъ Софронъ Матвѣичъ.

— Будешь чувствовать, почтенный, какъ ѣсть нѐчего.

— Зачѣмъ же прежде не чувствовали?

— Чувствовали и прежде, да ничего такого не было... Линія, значитъ, тогда была одна, а теперь—другая!

— Да что̀ же такое случилось, что здѣшній сапогъ остановился? любопытствую я.

— Аршавскій сапогъ въ ходъ пошелъ—вотъ что̀!

— Какъ будто это причина? Почему же варшавскій сапогъ перебилъ дорогу вашему, а не вашъ варшавскому?

— Пошелъ аршавскій сапогъ въ ходъ — вотъ и вся причина!

— Ловки ужь очень они стали! объясняетъ Софронъ Матвѣичъ:—прежде хоть кардону не жалѣли, а ныньче и кардону жаль стало: думали, вовсе безъ подошвы сойдетъ! Анъ и не угадали!

— Много ты смыслишь! вмѣшивается изъ толпы недовольный голосъ.

— Ты и больше моего смыслишь, да не все сказываешь!

— Нѐчего сказывать-то! Извѣстно, отъ начальства поддержки не видимъ — вотъ и бѣдствуемъ!

— По твоему, значитъ, всѣхъ надо заставить въ вашихъ сапогахъ ходить?

— Зачѣмъ заставлять! Тебѣ, къ примѣру, и въ лаптяхъ ходить—въ самую препорцію будетъ! А надо аршавскій сапогъ запретить — вотъ что̀!

— Какія же такія права ты для этой выдумки отыскалъ?

— А такія права, что мы сапожники старинные, извѣчные. И отцы, и дѣды наши изстари землю покинули и никакого у нихъ, кромѣ сапога, занятія не было. Стало быть, съ голоду намъ теперича, по твоему, по*мирать?*

— А вы бы не фальшивили. По чести бы дѣлали.

— И, всетаки, скажу тебѣ: говоришь ты, ровно балалайка бренчишь, а ничего въ нашемъ дѣлѣ не смыслишь. У насъ колесо-то съ какихъ поръ заведено? Ты знаешь ли?

— Здѣшній житель—кàкъ не знать! Да не слишкомъ ли шибко завертѣлось оно у васъ, колесо-то это? Вамъ только бы сбыть товаръ, а про то, что другому, за свои деньги, тоже въ сапогахъ ходить хочется, вы и забыли совсѣмъ! Сказалъ бы я тебѣ одно слово, да боюсь, не обидно ли оно для тебя будетъ!

— Слово—брехъ; и я, пожалуй, слово знаю...

— Знаешь, такъ говори!

— Ты свое прежде скажи!

— Нѣтъ, ты мое угадай, а я твое слово давно угадалъ! Намъ, молъ, умныимъ, чай надо пить, а вы, дураки, не велики бàры: и за деньги босикомъ проходите!

Разговоръ въ этомъ тонѣ и духѣ продолжался почти во все время переправы. Какъ я ни старался вникнуть въ смыслъ этого сапожнаго кризиса, но изъ перекрестныхъ мнѣній не могъ извлечь никакого другого практическаго вывода, кромѣ того, что «отъ начальства поддержки нѣтъ», что «варшавскій сапогъ истребить надо» и что «стариннымъ сапожникамъ слѣдуетъ предоставить вести заведенное колесо на всей ихъ волѣ». Эти виды и предположенія обсуждались на всѣ лады, перемежаясь вздохами, ахами, напоминаніями о сердитыхъ временахъ и извѣстіями о новыхъ пожарахъ, происшедшихъ въ разныхъ деревняхъ по случаю Николина дня.

— Каюрово-то, слышь, выгорѣло!

— А въ нашей сторонѣ Мокряги опять до тла сгорѣли!

. . . . . .

Публика въ каютѣ перваго класса была немногочисленна: всего человѣкъ семь-восемь. Изъ К. ѣхала депутація отъ дворянъ, съ цѣлью, какъ потомъ оказалось, ходатайствовать «въ губерніи» объ удаленіи изъ уѣзда одного изъ мировыхъ судей за вредный образъ мыслей и строптивый нравъ. Два помѣщика отправлялись въ Т., чтобы ликвидировать, и въ ожиданіи минуты, когда нужно будетъ предстать передъ очи старшаго нотаріуса, пропускали по маленькой и съ какимъ-то блаженнымъ видомъ сообщали другъ другу предполагаемые результаты ликвидаціи. Двѣ заспанныя личности уныло слонялись между диванами и отъ времени до времени вопіяли: господа! въ табельку! по маленькой! Наконецъ, тутъ же сидѣли: педагогъ и адвокатъ. Педагогъ имѣлъ видъ скорбный, какъ будто даже здѣсь, на пароходѣ, вдали отъ классической гимназіи, его угнетала мысль, нельзя ли кого-нибудь притѣснить, или огорошить такимъ вопросомъ, который сразу бы поставилъ человѣка въ безпомощное положеніе. Напротивъ того, отъ адвоката такъ и отдавало внутреннимъ ликованіемъ. Лицо его сіяло и онъ съ какимъ-то безапелляціоннымъ легкомысліемъ, быстро и рѣшительно, выбрасывалъ изъ себя одинъ афоризмъ за другимъ, повидимому, даже не допуская мысли, чтобы можно было что-нибудь ему возразить.

— Въ гражданскихъ дѣлахъ нѣтъ безотносительной истины, говорилъ адвокатъ, продолжая начатый до прихода моего разговоръ. — Когда мнѣ поручаютъ веденіе процесса, я не имѣю никакой надобности заглядывать въ совѣсть моего довѣрителя. Я говорю себѣ: онъ начинаетъ дѣло, стало быть, онъ искренно думаетъ, что онъ правъ. Анализировать его побужденія—значило бы возбуждать въ его совѣсти такія сомнѣнія, которыя, быть *можетъ, и не* будутъ оправданы дальнѣйшимъ ходомъ

дѣла. Поэтому, я ставлю вопросъ гораздо проще; я спрашиваю себя: можетъ ли поручаемый мнѣ процессъ быть выигранъ, или нѣтъ—и только. И согласно съ тѣмъ или другимъ рѣшеніемъ этого вопроса, принимаю веденіе процесса, или не принимаю его.

— Но, вѣдь, такимъ образомъ и адвокатъ противной стороны... вѣдь, и онъ, пожалуй, можетъ имѣть подобный же упрощенный взглядъ на юридическую истину? возразилъ педагогъ.

— Нетолько можетъ, но и обязанъ-съ. Въ этомъ отношеніи, юридическая практика требуетъ, чтобы стороны признавали другъ за другомъ самую широкую свободу. Еслибъ не было полной свободы воззрѣній на гражданскую истину, не существовало бы цѣлой громады сочиненій по каждому вопросу гражданскаго права, не было бы, наконецъ, и самаго процесса. Въ вопросахъ гражданскаго права все зависитъ отъ обстановки, отъ умѣнья пользоваться ошибками противника и отъ способности дѣлать именно тѣ выводы, которые наиболѣе отвѣчаютъ интересамъ кліента. Если мое дѣло обставлено прочно, если я не лишенъ дара противопоставлять выводамъ моего противника другіе, еще болѣе логичные выводы, и если, при этомъ, я умѣю одни обстоятельства оставить въ тѣни, а на другія бросить яркій свѣтъ— я заранѣе могу быть увѣренъ, что дѣло мое будетъ выиграно. Но не слѣдуетъ думать, что это вещь легкая. Независимо отъ ума, ловкости, знанія законовъ и въ особенности кассаціонныхъ рѣшеній, тутъ необходима и извѣстная доля самопожертвованія. Кліентъ требователенъ, господа, и часто даже несправедливъ и горячъ. Вотъ объ чемъ не слѣдуетъ забывать при обсужденіи дѣятельности адвоката!

— Ну, да ужъ это само собой. Умѣешь менеаж

брать — умѣй и шпаги глотать! не прогнѣвайся! безцеремонно вмѣшивается одинъ изъ депутатовъ по части истребленія вредныхъ мыслей.

— Если вы подъ этимъ разумѣете гонораръ, то считаю не лишнимъ объяснить вамъ, что размѣръ его исключительно обусловливается высшимъ или низшимъ уровнемъ юридическаго развитія общества. Высокое вознагражденіе за адвокатскую услугу есть налогъ на юридическое невѣжество общества — и ничего болѣе.

— Ну, батенька, про юридическое или тамъ другое развитіе вы намъ не разсказывайте! Знаемъ мы васъ, мудрецовъ! Не тамъ подписалъ «къ сему» да не на той гербовой бумагѣ подалъ... вотъ тебѣ и юридическое развитіе!

— Съ одной стороны, въ послѣднее время все это значительно упрощено, и нынче меньше, нежели когда-нибудь, мы вправѣ отговариваться невѣдѣніемъ законовъ. Съ другой стороны, повѣрьте, что еслибъ законодатель не оградилъ гражданскаго процесса извѣстными формальностями, то шансы на достиженіе юридической истины, конечно, были бы еще болѣе сомнительными, нежели даже въ настоящее время. Tout se lie, tout s'enchaine dans ce monde, сказалъ одинъ знаменитый философъ, и сказалъ великую истину. Отмѣните, напримѣръ, апелляціонные и кассаціонные сроки — и передъ вами хаосъ, передъ вами бездна, на поверхность которой, навѣрное, не всплыветъ ни одного рѣшеннаго дѣла!

— Но, позвольте, однакожь! какъ же это такъ: въ гражданскихъ дѣлахъ нѣтъ истины?! гм... нѣтъ истины?! недоумѣвалъ педагогъ.

— Я не говорю: нѣтъ истины; я говорю только: нѣтъ *безотносительной* истины. Если угодно, я поясню вамъ это примѣромъ. Недавно у меня на рукахъ было одно

дѣло по завѣщанію. Купецъ отказалъ женѣ свое имѣніе, но при этомъ употребилъ въ завѣщаніи слѣдующее выраженіе: «женѣ моей, такой-то, за ея любовь, отказываю *въ вѣчное владѣніе* то-то и то-то». Какъ, по вашему мнѣнію, слѣдуетъ ли считать жену покойнаго собственницею завѣщаннаго имѣнія?

— Кажется, что слѣдовало бы... а впрочемъ...

— Чего «впрочемъ»! Просто чортъ ногу переломитъ— и все тутъ!

— Вотъ видите, вы сомнѣваетесь сами. Это ужь признакъ очень важный. Вы говорите: кажется, слѣдуетъ, а впрочемъ... не доказываетъ ли это съ осязательностью неопровержимѣйшей истины, что въ гражданскихъ вопросахъ нѣтъ ничего безотносительно вѣрнаго? Тѣмъ неменѣе, въ данномъ случаѣ, я остановился на той мысли, что кліентку мою *слѣдуетъ* признать собственницею завѣщаннаго. Я сказалъ себѣ: моя кліентка желаетъ быть собственницею—ma foi, постараемся устроить дѣло такъ, чтобъ она была удовлетворена. И чтобъ достичь этого результата, я употребилъ довольно оригинальный пріемъ. Я обратился къ вопросу, что̀ такое завѣщаніе? — и на этомъ простомъ вопросѣ, играя имъ, такъ сказать, во всѣхъ направленіяхъ, я въ буквальномъ смыслѣ слова кругомъ пальца обвертѣлъ все дѣло. Въ самомъ дѣлѣ, господа, что̀ такое завѣщаніе?—завѣщаніе, говорите вы, есть выраженіе воли завѣщателя. Это ясно и съ этимъ вполнѣ согласенъ и я. Но въ чемъ преимущественно выражается воля завѣщателя? въ буквѣ ли завѣщанія, или въ смыслѣ его? Опять вопросъ, на который, я надѣюсь, вы отвѣтите: конечно, не въ буквѣ, а въ смыслѣ, и даже не въ томъ внѣшнемъ смыслѣ, который водитъ неопытною рукою какого-нибудь невѣжественнаго купца, а въ томъ интимномъ смыслѣ, который соприсутствуетъ его

мысли, его, такъ сказать, намѣренію! Утверждать противное — значитъ допускать въ судебную практику прецедентъ въ высшей степени странный и отчасти даже скабрёзный. И такъ, до сихъ поръ мы были съ вами согласны. Но вотъ вы приступаете къ самому разбору завѣщанія и говорите: тѣмъ не менѣе, *вѣчное* владѣніе невозможно. Вѣчна собственность, говорите вы, но владѣніе, по самому существу своему, есть нѣчто временное, почти эфемерное. Прекрасно, отвѣчаю я, я первый соглашаюсь съ вами, я даже иду далѣе васъ и утверждаю, что совмѣстное существованіе такихъ представленій, какъ вѣчность и владѣніе, есть не что иное, какъ неестественнѣйшій конкубинатъ. Допустить подобный конкубинатъ, говорю я, значило бы потрясти самое основаніе собственности, а кто же изъ насъ не остановится въ ужасѣ передъ подобнымъ предположеніемъ! Mais entendons nous, messieurs! не будемте торопливы, постараемтесь проникнуть въ самое сердце вопроса и лишь тогда рѣшимтесь произнести ему окончательный приговоръ! А чтобы легче достигнуть этого, я попрошу васъ припомнить исходный пунктъ, изъ котораго вышло дѣло, подавшее поводъ для нашихъ разногласій. Припоминаемъ, и находимъ, что этотъ исходный пунктъ таковъ: завѣщаніе есть выраженіе воли завѣщателя. Ни больше, ни меньше. Опредѣленіе это до такой степени вѣрно, что тутъ нельзя ни убавить, ни прибавить ни одного слова, ни одной буквы, ни одной іоты. Завѣщаніе есть выраженіе воли завѣщателя — этимъ все сказано. Затѣмъ, намъ ничего другого не остается, какъ идти далѣе и постараться отыскать ту *волю* завѣщателя, которой выраженіемъ должно служить его завѣщаніе. Чтобъ отыскать эту волю, мы обращаемся, какъ уже сказано выше, не *къ буквѣ завѣщанія*, а къ внутреннему смыслу его. Къ

тому смыслу, который несомнѣнно соприсутствовалъ завѣщателю во все время, употребленное имъ на составленіе завѣщанія, къ тому смыслу, который былъ ясенъ и для лицъ, подписавшихъ завѣщаніе, въ качествѣ свидѣтелей, и для жены завѣщателя. И вотъ здѣсь-то, на первыхъ порахъ, мы встрѣчаемся съ словами: *вѣчное* владѣніе! Кто писалъ эти слова, милостивые государи?— Ихъ писалъ человѣкъ, съ одной стороны не искусившійся въ юридическихъ тонкостяхъ, но который, съ другой стороны, несомнѣнно бы содрогнулся, еслибъ понималъ всю необъятность бездны, раздѣляющей такія понятія, какъ «вѣчность» и... «владѣніе»! Эти слова писалъ простой купецъ, который не имѣлъ въ жизни инаго культа, кромѣ культа собственности. Невѣрная, быть можетъ, изможденная болѣзнью рука его (завѣщаніе было писано на одрѣ смерти при общемъ плачѣ друзей и родныхъ... когда же тутъ было думать о соблюденіи юридическихъ тонкостей!) писала выраженіе, составляющее нынѣ предметъ споровъ, но бодрая его мысль несомнѣнно была полна другимъ выраженіемъ — выраженіемъ, на счетъ котораго, къ счастію для человѣчества, не можетъ быть двухъ разныхъ мнѣній. Нужно ли говорить здѣсь, какое это выраженіе? Я, съ своей стороны, находилъ бы это излишнимъ, такъ какъ оно и безъ того, конечно, вертится у каждаго на языкѣ. Но если уже непремѣнно нужно произнести его, ежели этого во что бы ни стало требуетъ противная сторона — извольте, я не отступлю и передъ этою обязанностью! Я произнесу это интересующее васъ выраженіе, произнесу его скромно, но увѣренно, безъ ненужнаго паѳоса, но во всеуслышаніе! Выраженіе это, которое такъ сильно васъ интригуетъ, господинъ повѣренный противной стороны... это страшное для васъ выраженіе—есть СОБСТВЕННОСТЬ!!

Подъ конецъ, адвокатъ, очевидно, забылся и повторилъ недавно сказанную имъ на судѣ рѣчь. Онъ дѣлалъ такъ-называемые красивые жесты и даже наскакивалъ на педагога, мня видѣть въ немъ противную сторону. Когда онъ умолкъ, въ каютѣ на нѣсколько минутъ воцарилось всеобщее молчаніе; даже ликвидаторы какъ будто усомнились въ правильности задуманныхъ ими ликвидацій и, съ безпокойствомъ взглянувъ другъ на друга, разомъ, для храбрости, выпили по большой.

— Да-съ, батенька, ежели такимъ манеромъ... да ежели при этомъ еще ночнымъ временемъ... это точно, что безъ мыла куда хочешь влѣзть можно! процѣдилъ депутатъ-помѣщикъ, когда улеглось общее изумленіе, произведенное внезапнымъ пролитіемъ словеснаго дождя.

— И выиграли-съ? въ свою очередь, какъ-то отрывисто, спросилъ педагогъ.

— Выигралъ-съ. Но, съ другой стороны, я очень хорошо понимаю, что на дѣло моей довѣрительницы можно было взглянуть и съ иной точки зрѣнія. (Поощренный успѣхомъ, адвокатъ до того разъигрался, что съ самою любезною откровенностью, казалось, всѣмъ и каждому говорилъ: я шалопай очень разносторонній, господа! я и не такія штуки продѣлать согласенъ!) Какъ я уже имѣлъ честь объяснить, господа, главная обязанность адвоката относительно поручаемыхъ ему дѣлъ — это обстановка, ловкость и умѣнье освѣтить предметъ тѣмъ свѣтомъ, который наиболѣе благопріятствуетъ интересамъ его кліента. Въ подтвержденіе этой мысли, я могъ бы привести вамъ множество разнообразнѣйшихъ случаевъ, но остановлюсь на одномъ, подобномъ сейчасъ же разсказанному мной дѣлѣ, въ которомъ я игралъ уже роль не отвѣтчика, а истца. Точь-въ-точь такой же купецъ и точь-въ-точь такое же завѣщаніе. Но тутъ я, конечно,

уже остерегся отъ обращенія къ вопросу, что̀ такое духовное завѣщаніе, а прямо поставилъ дѣло на почву строгой законности, на почву несовмѣстимости понятія о владѣніи съ понятіемъ о собственности. Господа! говорилъ я: — не будемъ обманываться! взглянемъ на предметъ спора прямо, безъ адвокатскихъ увертокъ и въ особенности безъ такъ-называемыхъ цвѣтовъ краснорѣчія! Передъ нами два выраженія: «владѣніе» и «собственность». Чтобы опредѣлить ихъ, намъ сто̀итъ только заглянуть вотъ въ эту книгу (я поднимаю десятый томъ и показываю публикѣ), и мы убѣдимся, что владѣніе, какими бы эпитетами мы ни сдобривали его, нетолько не однородно съ собственностью, но даже исключаетъ послѣднюю. Признаки того и другого до такой степени различны, и различіе это такъ наглядно, почти осязаемо, что никто не въ правѣ его игнорировать. Здѣсь больше, нежели гдѣ-нибудь, умѣстна угроза закона: никто не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ закона. Допустить смѣшеніе въ такомъ основномъ вопросѣ—значитъ допустить, чтобы обществу постоянно угрожала очень существенная опасность. Единственный оплотъ противъ подобной опасности—это судъ, который, конечно, и не допуститъ, чтобы законъ былъ обойденъ и намѣренія законодателя попраны. Къ нему мы и обращаемся; къ его помощи мы взываемъ, чтобы оградить оскорбленную правду. Намъ говорятъ, что *вѣчное* владѣніе и собственность — одно и то же; но, спрашиваю я васъ, что̀ же станется съ священнымъ принципомъ собственности, если мы допустимъ подобную юридическую ересь? Намъ говорятъ еще, что завѣщатель былъ невѣжественъ, что онъ не получилъ юридическаго образованія, что онъ только *не умѣлъ* различить «вѣчнаго владѣнія» отъ «собственности», но что мысль его несомнѣнно тяготѣла къ сей послѣдней. Но

остережемся, милостивые государи! Спросимъ себя прежде всего, имѣемъ ли мы право отдавать на поруганіе невѣжеству самыя дорогія основы нашей гражданственности! До сихъ поръ невѣжество считалось однимъ изъ неудобствъ общежитія; теперь насъ хотятъ увѣрить, что это—привиллегія! Привиллегія—въ отношеніи къ чему?—въ отношеніи къ священнѣйшему изъ всѣхъ правъ человѣческихъ, къ праву собственности! Не чувствуете ли вы какую-то неловкость при подобномъ неслыханномъ притязаніи? Не чувствуете ли вы себя незащищенными, свою жизнь—отданною на произволъ всевозможнымъ случайностямъ? Невѣжество имѣетъ привиллегію попирать собственность, невѣжество имѣетъ привиллегію игнорировать ее, невѣжество имѣетъ привиллегію упразднить ее и на мѣсто ея поставить нѣчто фантастическое и призрачное! Не правда ли, какая кровавая иронія! Къ счастью, у насъ есть судъ, который не допуститъ этого! Вмѣстѣ съ нимъ мы станемъ на стражѣ у входа величественнаго храма собственности и скажемъ. юридическая ересь не имѣетъ права войти сюда! Господа! не будемъ обманывать себя! Свойства юридическихъ ересей таковы, что они неслышно проникаютъ въ самыя сокровенныя святилища и, разъ проникнувъ, утверждаются тамъ навсегда. Кто знаетъ? быть можетъ, благодаря этимъ неслышнымъ вторженіямъ, уже колеблется и тотъ всѣмъ намъ дорогой храмъ собственности, о которомъ я сейчасъ говорилъ. и на стражѣ котораго мы стоимъ... Быть можетъ, въ то самое время, когда мы сбираемъ рать на защиту его—его ужь нѣтъ... онъ потрясенъ! Вотъ почему, въ данномъ случаѣ, я прошу, чтобы за выраженіемъ «собственность» было оставлено то чистое, строгое представленіе, которое имѣлъ объ немъ самъ законодатель. Требуя этого, я не высказываю никакой дерзкой самонадѣ-

янности, а только, по мѣрѣ моихъ слабыхъ силъ, защищаю общество отъ грозящей ему опасности! Я кончилъ, господа.

Всѣ тоскливо переглянулись. Казалось, надъ всѣми тяготѣла мысль: да, этотъ обчиститъ! хоть и не яко разбойникъ, а всетаки... Педагогъ потиралъ себѣ колѣнки; помѣщики-депутаты переглядывались между собой, какъ бы говоря: ужь на что мы ловки, а противъ этого, братъ—ау! ликвидаторы, какъ встрепанные, выбѣжали изъ каюты. Послѣдовалъ за ними на палубу и я. Тамъ, въ самомъ уголку носовой части, спиной къ вѣтру, расположились двое Хрисашекъ, повидимому, еще не выросшихъ въ мѣру настоящаго Хрисашки, и, разложивши на колѣняхъ синюю сахарную бумагу, раздирали руками вяленую воблу. Ликвидаторы подбѣжали къ нимъ и начали шептаться, по временамъ возвышая голосъ. Отрывки этого совѣщанія долетали и до меня.

— Въ судъ—чтобы ни-ни! аблакатовъ—ни-ни! восклицали ликвидаторы:—вести дѣло на чистоту!

— Зачѣмъ аблакатовъ! на что лучше, коли ежели дѣло на чистоту! успокоивалъ одинъ Хрисашка.

— Чистое-то дѣло—ровно какъ яичко облупленное! и глядѣть-то на него весело! присовокуплялъ другой Хрисашка.

Успокоенные ликвидаторы, потребовавъ на бѣгу еще графинъ очищенной, вновь скрылись въ каюту, и я за ними. Адвокатъ окончательно разъигрался и сыпалъ случаями изъ своей юридической практики. Онъ весь сіялъ; изъ каждой поры его организма, словно отъ свѣтящагося червячка, исходилъ загадочный свѣтъ.

— Вы удивляетесь, вы восклицаете: вотъ такъ «штука»! говорилъ онъ, когда мы вошли:—я тоже, въ свою очередь, скажу: да, это «штука», но въ томъ лишь смы-

слѣ, что здѣсь слово «штука» означаетъ побѣду знанія надъ невѣжествомъ, ума надъ глупостью, таланта надъ бездарностью. Недавно въ моей практикѣ былъ слѣдующій оригинальный случай, который я, можно сказать, не доводя до суда, устроилъ въ пользу моей кліентки. Является ко мнѣ дама и говоритъ, что у нея есть вексель отъ одного лица, уже не находящагося въ живыхъ. Мнѣ стòило бросить только одинъ взглядъ на эту даму, чтобы понять, что тутъ есть чтò-нибудь неладное. И въ самомъ дѣлѣ, взялъ въ руки вексель — чортъ знаетъ чтò! подпись не подпись, а такъ, какія-то каракули, навараканныя и вкривь и вкось. — Это собственноручная подпись должника? спрашиваю я. — Дà, это его подпись. — Но это *обыкновенная* его подпись? *всегда* онъ подписывался *такимъ образомъ?* — Нѣтъ... да... болѣзнь... — Слѣдовательно-съ?.. Баба мнется, краснѣетъ, блѣднѣетъ...— Достаточно, говорю я; я не желаю искушать вашу совѣсть. Я не знаю, выиграется ли *это* дѣло, но знаю, что *подобныя* дѣла выигрываются. Sur ce, я условливаюсь на счетъ гонорара, подаю вексель ко взысканію, а черезъ недѣлю уже удостоиваюсь посѣщенія наслѣдника должника. — Вы взыскиваете съ меня по векселю, говоритъ онъ мнѣ: — но это документъ фальшивый: вотъ настоящія и, притомъ, современныя документу подписи должника. — Не смѣю съ вами спорить, отвѣчаю я: — но согласитесь, что ежели дѣлать фальшивый документъ, то гораздо выгоднѣе поддѣлать подпись какъ слѣдуетъ, нежели такъ, какъ она въ настоящемъ случаѣ сдѣлана. Здѣсь самое неряшество подписи доказываетъ, что она дѣйствительная. — Словомъ сказать, отвѣчаетъ онъ мнѣ:— если бы подпись была хорошо поддѣлана, вы бы доказывали, что нельзя подписаться подъ чужую руку такъ отчетливо; теперь же, когда подпись похожа чортъ знаетъ

на что, вы говорите, что это-то именно и доказываетъ ея подлинность!—Не смѣю съ вами спорить, говорю я:—но мое убѣжденіе таково, что эта подпись подлинная.—Позвольте-съ! ну предположимъ! ну допустимъ, что подпись настоящая; но развѣ вы не видите, что она сдѣлана въ безсознательномъ положеніи и что вашъ документъ, во всякомъ случаѣ, безденежный?—Опять-таки, не смѣю спорить съ вами, но позволю себѣ замѣтить, что все это требуетъ доказательствъ и сопряжено съ нѣкоторымъ рискомъ... Затѣмъ, мы пожимаемъ другъ другу руки и разстаемся, какъ джентльмены. Черезъ недѣлю, онъ, однакоже, вновь удостоиваетъ меня посѣщеніемъ.—Слушайте! говоритъ:—я человѣкъ спокойный, въ судахъ никогда не бывалъ, и теперь долженъ судиться, нанимать адвокатовъ... поймите, какъ это непріятно!—Совершенно понимаю-съ, но интересы моихъ кліентовъ для меня священны, и я, къ сожалѣнію, ничего не могу сдѣлать для вашего спокойствія.—Позвольте! еслибы ваша кліентка сдѣлала уступку... еслибы, напримѣръ, половину... вѣдь, задаромъ и половину получить недурно... не правда ли, недурно!—Правда-съ; но извините, я не имѣю права даже останавливаться на подобномъ предположеніи; это была бы правда, еслибъ *было доказано*, что деньги, которыя вы изволите предлагать на мировую, *дѣйствительно* пріобрѣтаются *задаромъ*, а для меня это далеко не ясно.—Ну, такъ какъ же? нельзя, стало быть... задаромъ-то?—Извольте, я сдѣлаю, что отъ меня зависитъ, я переговорю съ моей довѣрительницей... И черезъ нѣсколько дней, дѣйствительно, устроиваю дѣло къ общему удовольствію!..

— То-есть, взяли деньги задаромъ? отрубилъ, одинъ изъ депутатовъ.

— Повторяю: я не считаю себя въ правѣ тяготѣть

надъ совѣстью моихъ кліентовъ. Въ настоящемъ случаѣ, моя роль была ясна: облегчить пути для мирнаго соглашенія, и я достигъ этого. Исполнивши это, я могъ бы счесть свои обязанности оконченными, но я пошелъ даже дальше. Во вниманіе къ тому, что противная сторона предупредительно избавила меня отъ грустной обязанности ходатайствовать предъ судомъ, я далъ ей полезный совѣтъ. Берегитесь! сказалъ я наслѣднику должника: — передъ вами еще цѣлыхъ десять лѣтъ, впродолженіи которыхъ васъ могутъ тревожить подобными документами!

Это было сказано такъ ясно, отчетливо и вразумительно, что депутатъ-помѣщикъ уже безъ всякой церемоніи запѣлъ:

— Но я-я-ко разбо-ойникъ!

Однакожь, педагогъ не унялся и рискнулъ возразить.

— Позвольте, сказалъ онъ: — не лучше ли возвратиться къ первоначальному предмету нашего разговора. Признаться, я больше на счетъ дѣточекъ-съ. Я воспитатель-съ. Есть у насъ въ заведеніи каѳедра гражданскаго права, ну, и разумѣется тутъ на первомъ мѣстѣ вопросъ о собственности. Но ежели возможенъ изложенный вами взглядъ на юридическую истину, если онъ, какъ вы говорите, даже обязателенъ въ юридической практикѣ... что̀ же такое послѣ этого собственность?

Вопросъ этотъ до такой степени изумилъ адвоката своею наивностью, что онъ смѣрилъ своего возражателя съ головы до ногъ.

— Собственность! отвѣтилъ онъ докторальнымъ тономъ: — но кто же изъ насъ можетъ имѣть сомнѣніе на счетъ значенія этого слова! Собственность — это краеугольный камень всякаго благоустроеннаго общества-съ. Собственность — это объектъ, въ которомъ человѣческая

личность находитъ наиудобнѣйшее для себя проявленіе-съ. Собственность — это та вещь, при несуществованіи которой человѣческое общество рисковало бы превратиться въ стадо дикихъ звѣрей-съ. Я полагаю, что для «дѣточекъ» этихъ опредѣленій совершенно достаточно!

Сказавъ это, онъ, не торопясь, всталъ съ мѣста и вышелъ на палубу.

Усталый послѣ безсонной ночи, проведенной въ тарантасѣ, я прилегъ на диванъ, съ намѣреніемъ заснуть, но выполнить это намѣреніе не представлялось никакой возможности. Съ уходомъ адвоката, въ каютѣ сдѣлалось какъ-то вольнѣе, какъ будто отсутствіе его всѣмъ развязало языки.

— Ушелъ! воскликнулъ одинъ изъ депутатовъ. — И чортъ его знаетъ... вотъ уже именно чортъ его знаетъ!!

— Необыкновенные нынче люди пошли, отозвался другой депутатъ: — глаза у него словно свёрла, языкъ суконный... что̀ захочетъ, то̀ на тебя и наплетётъ!

— Долго ли наплести!

— Вотъ хоть бы сейчасъ. Говорилъ-это, говорилъ... Только-что вотъ уцѣпишься за что̀-нибудь — глядь, онъ опять, шельма, изъ рукъ выскочилъ!

— И ка̀къ онъ это просто сказалъ: налогъ-дескать на ваше невѣжество! До сихъ поръ казна налоги собирала, а нынче, изволите видѣть, новые сборщики проявились!

— То ли дѣло прежніе порядки! Придешь бывало, къ секретарю, сунешь ему барашка въ бумажкѣ: плети не торопясь!

— А покуда онъ плететъ — ты переѣзжай изъ усадьбы въ усадьбу!

— Нѣтъ, этотъ и изъ-за тридевять земель выколупаетъ! отъ него ни горами, ни морями — ничѣмъ не загородишься!

Съ своей стороны, педагогъ былъ неутѣшенъ.

— Теперича, каѳедра гражданскаго права... какъ тутъ учить! Какъ я скажу дѣточкамъ, что въ гражданскомъ процессѣ нѣтъ безотносительной истины! Вѣдь, дѣточки— умные! А какъ же, скажутъ, ты давеча говорилъ, что собственность есть краеугольный камень всякаго благоустроеннаго общества?!

Одинъ изъ заспанныхъ праздношатающихся воспользовался этимъ смутнымъ настроеніемъ общества и, остановившись противъ педагога, сказалъ:

— Слушайте! давайте, ради Христа, въ преферансъ играть!

Педагогъ съ минуту колебался, но потомъ махнулъ рукой и согласился. Его примѣру послѣдовали и депутаты. Черезъ пять минутъ, въ каютѣ были раскинуты два стола, за которыми шла игра, перемежаемая бесѣдой по душѣ.

— А вы слышали, что лекарь-то нашъ женился?

— Не можетъ быть! неужто на предводительской француженкѣ!

— Вѣрно изволили угадать. Шестого числа у Петра Петровича въ Вороновѣ и свадьба была.

— Ну, едва ли, однакожь, нашъ эскулапъ въ расчетѣ останется!

— Чего въ расчетѣ! Сразу такъ и разъигралъ пословицу: по усамъ текло, въ ротъ не попало!

— Что вы!

— Такая тутъ у насъ вышла исторія! такая исторія! Надо вамъ сказать, что еще за недѣлю передъ тѣмъ встрѣчаетъ меня Петръ Петровичъ въ городѣ и говоритъ: пріѣзжай шестого числа въ Вороново, я Машу замужъ выдаю! Ну, я, знаете, изумился, потому ничего этакого не видно было...

— Помилуйте! какъ же не видно было! Да она съ эскулапомъ-то, говорятъ, ужь давненько!..

— Говорятъ-то говорятъ, а кто видѣлъ? Конечно, можетъ быть, она и приголубливала его, но чтобы дойти до серьёзнаго — ни-ни! Не такая это женщина, чтобъ стала изъ-за пустого каприза вѣрнымъ положеніемъ рисковать. Ну-съ, такъ слушайте. Пріѣзжаю я передъ вечеромъ, а они ужь и въ церковь совсѣмъ готовы. Да, надо вамъ, впрочемъ, сказать, что Петръ Петровичъ передъ этимъ въ нашу вѣру ее окрестилъ, чтобы послѣ, знаете, разговоровъ не было... Ну-съ, въ церковь... изъ церкви... шабашъ, значитъ! Въ десять часовъ ужинъ. Весела она, обольстительна — какъ никогда! Кружева, блонды, атласъ, брильянты: ну, думаю, кого-то ты, голубушка, будешь своими парюрами въ нашемъ городишкѣ прельщать? Хорошо. Не успѣли мы отъужинать, а у нихъ ужь и экипажи готовы: молодые — къ себѣ въ городъ, Петръ Петровичъ — въ Москву. И представьте, среди тостовъ, вдругъ встаетъ нашъ эскулапъ и провозглашаетъ: господа! до сихъ поръ шли тосты, такъ сказать, оффиціальные; теперь я предлагаю мой *личный*, задушевный тостъ: здоровье отъѣзжающаго! Это Петра Петровича-то!

— Отъѣзжающаго! ха-ха!

— Признаться, я тогда же подумалъ! не прогадай, mon cher! какъ бы не пришлось тебѣ пить за здоровье пріѣзжающаго... ну, да это такъ, къ слову... Часовъ этакъ въ одиннадцать ушли молодые переодѣться на дорогу, и Петръ Петровичъ за ними слѣдомъ. Черезъ полчаса возвращается эскулапъ: щегольская жакетка, сумка черезъ плечо... Понимаете, весь костюмъ для него Петръ Петровичъ въ Москвѣ заказывалъ... Только сидимъ мы еще полчаса — ни Марьи Павловны, ни Петра Петровича!

Ну, думаю, житейское дѣло: прощаются! Однако, проходитъ и еще время: эскулапъ мой начинаетъ ужь на часы поглядывать (Петръ Петровичъ ему великолѣпный хронометръ подарилъ!). Стало ужь и мнѣ его жалко; я, знаете, спроста и говорю лакею: голубчикъ! попросилъ бы ты Петра Петровича къ намъ! — Да они, говоритъ, ужь съ часъ времени съ Марьей Павловной въ Москву уѣхали!

— Вотъ такъ случай!

— Ну, мы всѣ, кто тутъ былъ — поскорѣе за шапки. А ужь онъ какъ до города добрался — этого не умѣю сказать!

— Однакожь!.. исторія!!

— И представьте, только тѣмъ и попользовался, что хронометръ да двѣ пары платья получилъ!

— А не дуракъ, вѣдь!

— Какой же дуракъ! Какія въ нынѣшнемъ году, во время рекрутскаго набора, симфоніи разъигрывалъ — геніальнѣйшій человѣкъ-съ! А тутъ вотъ слѣпота нашла.

— Да знаете, не мудрено и опростоволоситься-то. Вѣдь, еслибъ онъ съ купцомъ дѣло имѣлъ, а то, вѣдь, Петръ Петровичъ... вѣдь, благороднѣйшій человѣкъ-съ!

— Такъ-то такъ... слова нѣтъ; Петръ Петровичъ...

— Если онъ ему обѣщалъ... положимъ, десять или пятнадцать тысячъ... ну, какимъ же образомъ онъ этакому человѣку вѣры не дастъ?! Вотъ такъ исторія!! Ну, а скажите, вы послѣ этого видѣли эскулапа то?

— Какъ же; встрѣтились. Ничего. «Погода, говоритъ, стоитъ холодная, прозябеніе развивается туго»...

— Это онъ, должно быть, еще въ Вороновѣ наблюдалъ... ха-ха!

— Ха-ха... пожалуй! Ха-ха... пожалуй, что и такъ!

— *Господа!* что-нибудь одно: либо въ карты играть,

либо анекдоты разсказывать! тоскливо восклицаетъ одинъ изъ играющихъ: — пасъ!

Нѣкоторое время въ каютѣ ничего не слышно, кромѣ: пасъ! куплю! мизеръ! семь! и т. д. Но, мало-по-малу, душевный разговоръ опять вступаетъ въ свои права.

— Впрочемъ, я ужь не разъ замѣчалъ, что какъ-то плохо расчеты-то эти удаются. Вотъ еще недавно въ Москвѣ съ княземъ Зубровымъ случай былъ...

— Какой это князь Зубровъ? что̀-то не слыхалъ такой фамиліи?

— Литовская-съ. Ихъ предокъ князь Зубръ, въ Литвѣ былъ — еще въ Бѣловѣжской пущѣ имѣніе у нихъ... Пото̀мъ, они возсоединились, и изъ Зубровъ сдѣлались Зубровыми, настоящими русскими. Только раззорились они нынче, такъ что и Бѣловѣжскую-то пущу у нихъ въ казну отобрали... Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый князь Андрей Зубровъ... Была въ Москвѣ одна барыня: сначала она въ арфисткахъ по трактирамъ пѣла, потомъ на воздержанье попала... Какъ баба, однакожь, не глупая, скопила капиталецъ, и открыла номера...

— Позвольте! это не та ли, что̀ въ гостинницѣ «Неаполь» номера снимаетъ? Варвара Ивановна!

— Ну, такъ-такъ-такъ! Она самая!

— И ка̀къ до сихъ поръ сохранилась!

— Ничего, въ тѣлахъ барыня. Только какъ открыла она номера, князь Зубровъ — въ ту пору онъ студентомъ былъ — и сталъ, знаете, около нея похаживать. То въ корридорѣ встрѣтится — помычитъ, то въ контору придетъ — лбомъ въ нее уставится. Видитъ Варвара Ивановна, что дѣло подходящее: князь, молодой человѣкъ, статьи хорошія, образованный... стала его приголубливать. Только все, знаете, пустячками: рюмку водки изъ собственныхъ рукъ поднесетъ, буттерброддемъ попот-

чуетъ. Словомъ сказать, всякую аттенцію оказываетъ, а настоящаго дѣла не открываетъ. Задумался мой князёкъ: въ настоящемъ — ничего, въ будущемъ — еще того меньше. Женюсь! Разумѣется, главный расчетъ — деньги: женюсь, говоритъ, и буду съ деньгами отдыхать! Что̀ жь— и женился-съ! Только что̀ бы вы думали? — отвела она ему номеръ... ну, разумѣется, обѣдъ тамъ, чай, ужинъ, а денегъ — ни-пи! И такимъ манеромъ идетъ у нихъ и по сейчасъ! Ни его ни къ кому, ни къ нему никого! А себѣ, между прочимъ, орденскаго драгуна завела! Такъ вотъ они, каковы эти расчеты-то̀ бываютъ!

— Ужь очень, должно быть, простъ вашъ князёкъ?

— Простъ-то простъ. Представьте себѣ, украдется какъ-нибудь тайкомъ въ общую залу, да и разсказываетъ, какъ его Бобоша обдѣлала! И такъ его многіе за эти разсказы полюбили, что даже потчуютъ. Кто пива бутылку спроситъ, кто графинчикъ, а кто и шампанскаго. Ну, а ей это на̀ руку: пускай-молъ болтаютъ, лишь бы вина больше пили! Я даже подозрѣваю, не съ ея ли вѣдома онъ и вылазки-то̀ въ общую залу дѣлаетъ!

— Да, съ этими барынями... ой-ой, нужно ухо востро держать!

— Вотъ кабы векселя... это такъ! Тогда, по крайней мѣрѣ, въ уздѣ ее держать можно. Обмунштучилъ, знаете... пляши! Вотъ у меня сосѣдка, Кучерявина, есть, такъ она все мужа водкой поила да векселя съ него брала. Набрала сколько ей нужно было, да и выгнала изъ имѣнія!

— Господа! сдѣлайте ваше одолженіе! мы въ карты играемъ! Держу семь въ бубнахъ!

— Позвольте-съ! двадцать-двѣ копейки выигралъ — и за карты долженъ платить! гдѣ же тутъ справедливость? протестуетъ за другимъ столомъ педагогъ.

Начинается споръ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ. Я убѣж-

даюсь, что спать мнѣ не суждено, и отправляюсь вверхъ, на палубу.

Осьмого половина; солнце уже низко; вѣтеръ крѣпчаетъ; колеса парохода мѣрно разсѣкаютъ мутныя волны рѣки; раздается троекратный неистовый свистъ, возвѣщающій близость пристани. Виднѣется сѣренькій городишко, у котораго пароходъ долженъ, по положенію, имѣть получасовую остановку. Пассажиры третьяго класса какъ-то безнадежно слоняются по палубѣ, и между ними, накинувъ на плеча пледъ и заложивъ руки въ карманы пальто, крупными шагами расхаживаетъ адвокатъ.

— Вы въ Петербургъ? спрашиваетъ онъ, подходя ко мнѣ.

— Да̀, въ Петербургъ.

— Я тоже. Чортъ знаетъ, какъ этотъ проклятый пароходъ тихо двигается. Просто не знаешь, какъ время убить. А завтра еще въ Т. полсутокъ поѣзда дожидаться нужно.

— Вы бы въ карты... въ каютѣ играютъ ужь...

— Ну ихъ. Я и то раскаяваюсь, что давича погорячился. Пожалуй, еще на шпіона наткнешься.

— Ну вотъ! еслибъ на всѣ пароходы шпіоновъ посылать, такъ тутъ никакого бюджета бы не хватило!

— Нѣтъ, батенька, вы не знаете. У насъ тѣмъ-то и скверно, что добровольныхъ, безплатныхъ шпіоновъ не оберешься! А скажите, я давича не проврался?

— Ничего, кажется, все какъ слѣдуетъ. А закончили даже отлично.

— Это на счетъ краеугольныхъ камней-то? А что̀, развѣ вы не согласны?

— Помилуйте! что̀ вы! да я на томъ стою! Въ «нашей уважаемой газетѣ» я только объ этомъ и пишу!

— Да̀? такъ вы тоже писатель?

— Еще бы. Вотъ эти статьи, въ которыхъ говорится: «съ одной стороны должно признаться, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться» — это мои!

— Такъ позвольте мнѣ рекомендовать себя: мы борцы одного и того же лагеря. Если вы читали статьи подъ названіемъ: «Еженедѣльные плевки въ пустопорожнее мѣсто» — то это были мои статьи!

Мы обнялись. Быть можетъ, въ другомъ мѣстѣ, мы не сдѣлали бы этого, но здѣсь, въ виду этого поганаго городишки, въ средѣ этихъ людей, считающихъ лакомствомъ вяленую воблу, мы, забывъ всякій стыдъ, чувствовали себя далеко нешуточными дѣятелями русской земли. Хотя мы оба путешествовали по дѣламъ, отъ которыхъ зависѣлъ только нашъ личный интересъ, но, въ то же время, насъ не на минуту ни покидала мысль, что, кромѣ личныхъ интересовъ, у нашей жизни есть еще высшая цѣль, извѣстная подъ названіемъ «украшенія столбцовъ». Онъ мечталъ о томъ, какъ бы новымъ «плевкомъ» окончательно загадить пустопорожнее мѣсто, я же, съ своей стороны, обдумывалъ обременительнѣйшій рядъ статей, изъ которыхъ каждая начиналась бы словами: «съ одной стороны нужно признаться» и оканчивалась бы словами: «объ этомъ мы поговоримъ въ другой разъ»...

Въ отличнѣйшемъ расположеніи духа мы воротились въ каюту. На одномъ столѣ игра еще продолжалась; кончившіе игру сидѣли тутъ же и наблюдали.

— Вы въ Т. ѣдете? спросилъ педагогъ у одного изъ депутатовъ.

— Мы туда всѣ четверо по одному и тому же дѣлу.

— Къ господину губернатору?

— *Да*, депутаціей отъ уѣзда. Негодяй одинъ у насъ

завелся. Собственности не признаетъ, надъ семействомъ издѣвается... такъ мы его пробрать хотимъ!

— И проберемъ-съ.

— Молодой человѣкъ?

— Какъ вамъ сказать... онъ у насъ мировымъ судьей служитъ. Да онъ здѣсь, съ нами же ѣдетъ, только во второмъ классѣ. Почуяла кошка, чье мясо съѣла — предупредить грозу хочетъ! Да ничего: спѣши! поспѣшай! мы свое дѣло сдѣлаемъ!

— Пропаганда, стало быть, съ его стороны была?

— И пропаганда, и все — мы ужь разскажемъ! Мы все, какъ на картинѣ, изобразимъ! Вотъ какъ придется ему холодные-то климанты посѣтить, кровь-то у него и поостынетъ!

Говоря это, депутатъ взялъ взятку и съ такимъ судорожнымъ движеніемъ щелкнулъ ею по столу, что даже изогнулъ карты.

— Ну что! я вамъ говорилъ! шопотомъ замѣтилъ мнѣ адвокатъ: — каковъ народецъ! Кому-нибудь судья-то отказалъ, дѣло рѣшилъ не въ пользу — сейчасъ и доносъ! Повѣрьте мнѣ, батенька...

Но я уже не слушалъ; я какъ-то безучастно осматривался кругомъ. Въ глазахъ у меня мелькали огни разставленныхъ на столахъ свѣчей, застилаемые густымъ облакомъ дыма; въ ушахъ раздавались слова: «пасъ», «проберемъ», «не признаетъ собственности, семейства»... И въ то же время, въ головѣ какъ-то назойливѣе обыкновеннаго стучала излюбленная фраза: «съ одной стороны должно сознаться, хотя съ другой стороны нельзя не признаться»...

На другой день, съ почтовымъ поѣздомъ я возвращался въ Петербургъ. Дорогой, я опять слышалъ «благонамѣренныя рѣчи», и мчался дальше и дальше, съ твердою надеждой, что и впредь, гдѣ бы я ни былъ, куда бы ни кинула меня судьба, всегда и вездѣ будутъ преслѣдовать меня *благонамѣренныя рѣчи*...

ПО ЧАСТИ ЖЕНСКАГО ВОПРОСА.

Я возвращался съ вечера, на которомъ былъ свидѣтелемъ споровъ о такъ-называемомъ женскомъ вопросѣ. Говоря по совѣсти, это были, впрочемъ, не споры, а скорѣе обрывки всевозможныхъ предположеній, пожеланій и устремленій, откуда-то внезапно появлявшихся и куда-то столь же внезапно исчезавшихъ. Говорили всѣ вдругъ, говорили громко, стараясь перекричать другъ друга. Въ сознаніи не сохранилось ни одного, ясно формулированнаго вывода, но, взамѣнъ того, передъ глазами такъ и мелькали живые образы спорящихъ. Вотъ кто-то вскакиваетъ, кричитъ-крикомъ, захлебывается, жестикулируетъ, а рядомъ, какъ бы соревнуя, вскакиваютъ двое другихъ, и тоже начинаютъ захлебываться и жестикулировать. Вотъ четыре спорящія фигуры заняли середину комнаты и одновременно пропекаютъ другъ друга на перекрестномъ огнѣ восклицаній, а въ углу безнадежно выкрикиваетъ нѣкто пятый, котораго осаждаютъ еще трое ораторовъ и, буквально, не даютъ сказать слова. Всѣ глаза горятъ, всѣ руки въ движеніи, всѣ голоса надорваны и тянутъ какую-то недостижимо высокую

ноту; во всѣхъ горлахъ пересохло. Среди моря гула, слухъ поражаютъ фразы, скорѣе имѣющія видъ междометій, нежели фразъ.

— Хоть бы позволили въ медико-хирургическую академію поступать! восклицаютъ одни.

— Хоть бы позволили университетскіе курсы слушать! отзываются другіе.

— Не доказали ли телеграфистки? убѣждаютъ третьи.

— Наконецъ, кассирши на желѣзныхъ дорогахъ, наборщицы въ типографіяхъ, сидѣлицы въ магазинахъ — все это не доказываетъ ли? допрашиваютъ четвертые.

И въ заключеніе, склоненіе: Суслова, Сусловой, Суслову, о Суслова! и т. д.

Наконецъ, когда всѣ пожеланія были высказаны, когда исчерпались всѣ междометія, пренія упали сами собою, и всѣ стали расходиться. Въ числѣ прочихъ, вышелъ и я, сопутствуемый другомъ моимъ, Александромъ Петровичемъ Тебеньковымъ.

Я либералъ, а между «своими» слыву даже «краснымъ». «Наши дамы», разумѣется, въ шутку, но, тѣмъ не менѣе, такъ мило называютъ меня Гамбеттой, что я никакъ не могу сердиться на это. Скажу по секрету, названіе это мнѣ даже льститъ. Что̀ жь, думаю, Гамбетта такъ Гамбетта — не повѣсятъ же въ самомъ дѣлѣ за то, что я Гамбетта, переложенный на русскіе нравы! Не знаю, по какому̀ поводу пришло ко мнѣ это прозвище, но предполагаю, что я обязанъ ему не столько революціонернымъ моимъ наклонностямъ, сколько тому, что съ измалѣтства сочувствую «благимъ начинаніямъ». Въ сороковыхъ годахъ, я съ увлеченіемъ апплодировалъ Грановскому и зачитывался статьями Бѣлинскаго. Въ срединѣ пятидесятыхъ годовъ, я помню одну ночь, которую я всю напролетъ прошагалъ по Невскому и чувствовалъ, какъ

все мое существо словно уноситъ куда-то высоко, на встрѣчу какой-то зарѣ, которую совершенно явственно видѣлъ мой умственный взоръ. Въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, я просто-на-просто ощущалъ, что подо мною горитъ земля. Я не жилъ въ то время, а рѣялъ и трепеталъ при звукахъ «гласность», «устность», «свобода слова», «вольный трудъ», «независимость суда» и т. д., которыми былъ полонъ тогдашній воздухъ. Въ довершеніе всего, я былъ мировымъ посредникомъ. Даже и нынѣ, когда все уже совершилось и желать больше нѐчего, я, всетаки, не прочь посочувствовать тѣмъ людямъ, которые продолжаютъ нѣчто желать. По старой привычкѣ, мнѣ все еще кажется, что во всякихъ желаніяхъ найдется хоть крупица чего-то подлежащаго удовлетворенію (особливо, если тщательно разсортировывать желанія настоящія, разумныя, отъ излишнихъ и неразумныхъ, какъ это дѣлаю я), и что если я люблю на досугѣ послушать, какія бываютъ на свѣтѣ вольныя мысли, то, вѣдь, это, ни въ какомъ случаѣ, никому и ничему повредить не можетъ. Вѣдь, я не выхожу съ оружіемъ въ рукахъ! Вѣдь, я люблю вольныя мысли лишь по стольку, по скольку онѣ представляютъ matière à discussion! Будемте спорить, господа! raisonons, messieurs, raisonons! Но чтобы, съ Божьею помощью, выйти съ вольными мыслями куда-нибудь на площадь... Нѣтъ, это ужь позвольте, господа! Это запрещено-съ!

А такъ какъ «наши дамы» знаютъ мои мирныя наклонности и такъ какъ онѣ очень добры, то прозвище «Гамбетта» звучитъ въ ихъ устахъ скорѣе ласково, чѣмъ сердито. Къ тому же, быть можетъ, и домашніе Руэры нѣсколько понадоѣли имъ, такъ что въ Гамбеттѣ онѣ подозрѣваютъ что̀-нибудь болѣе пикантное. Какъ бы то ни было, но наши дамы всегда спѣшатъ взять меня подъ

свое покровительство, какъ только услышатъ, что на меня начинаютъ нападать. Такъ что, когда, однажды, князь Левъ Кирилычъ, выслушавъ одну изъ моихъ «благоначинательныхъ» діатрибъ, воскликнулъ:

— Вы, мой любезнѣйшій другъ — человѣкъ очень добрый, но никогда никакой карьеръ не достигнете! Потому что вы есть «красный»!

То княгиня Наталья Борисовна очень мило заступилась за меня, сказавъ:

— Ce pauvre Gambetta! Il est dit qu'il restra toujours méconnu et calomnié! Et il ne deviendra ni sénateur, ni membre du Conseil de l'Empire!

Однимъ словомъ, я представляю собой то, что въ нашемъ кружкѣ называютъ «un liberal très prononcé», или, говоря другими словами, я человѣкъ, котораго никто никогда не слушаетъ и которому, еслибъ онъ сунулся къ кому-нибудь съ совѣтомъ, безцеремонно отвѣтили бы: mon cher! vous divaguez! И я сознаю это; я понимаю, что я не способенъ, и что въ мнѣніи моемъ дѣйствительно никому существенной надобности не предстоитъ. Такъ что однажды, когда два дурака, изъ породы умѣренныхъ либераловъ (то-есть, два такіе дурака, о которыхъ даже пословица говоритъ: «два дурака съѣдутся — инно лошади одурѣютъ»), при мнѣ вели между собой одушевленный обмѣнъ мыслей о томъ, слѣдуетъ ли или не слѣдуетъ принять за благопріятный признакъ для судебной реформы то обстоятельство, что тайный совѣтникъ Проказниковъ не получилъ къ празднику никакой награды, то одинъ изъ нихъ, видя, что и я горю нетерпѣніемъ посодѣйствовать разрѣшенію этого вопроса, просто-напросто сказалъ мнѣ: mon cher! ты можешь только запутать, помѣшать, но не разрѣшить! и я нетолько не обидѣлся этимъ, но простодушно отвѣтилъ: да, я могу

только запутать, а не разрѣшить!—и скромно удалился, оставивъ дураковъ переливать изъ пустого въ порожнее на всей ихъ волѣ...

Но какъ ни велико мое сочувствіе благимъ начинаніямъ, я не могу выносить шума, я страдаю, когда въ ушахъ моихъ раздается крикъ. Я росъ и воспитывался въ такой средѣ, гдѣ такъ-называемыя «рѣзкости» считаются первымъ признакомъ неблаговоспитанности. Поэтому, когда передо мной начинаютъ «шумѣть», мнѣ дѣлается не по себѣ, и я способенъ даже потерять изъ вида предметъ, по поводу котораго производится «шумъ». Случалось, что я отворачивался отъ многихъ «благихъ начинаній», къ которымъ я несомнѣнно отнесся бы благосклонно, еслибъ не примѣшались тутъ «шумъ» и «рѣзкости». «Помилуйте!» говорю я: «развѣ можно имѣть дѣло съ людьми, у которыхъ губы дрожатъ, глаза выпучены и руки вертятся, какъ крылья у мельницы? Съ людьми, которые не демонстрируютъ, а кричатъ? Сядемте, господа! будемте разговаривать спокойно! сперва пусть одинъ скажетъ, потомъ другой пусть выскажется, послѣ него третій и т. д. Тогда я, конечно, готовъ и выслушать, и взвѣсить, и сообразить, а ежели окажется возможнымъ и своевременнымъ... отчего же и не посочувствовать! Но вы хотите кричать на меня! вы хотите палить въ меня, какъ изъ пушки — ну, нѣтъ-съ, на это я не согласенъ!»

А такъ какъ только-что проведенный вечеръ былъ отъ начала до конца явнымъ опроверженіемъ той теоріи поочередныхъ высказовъ, которую я, какъ либералъ и, притомъ, «красный», считаю необходимымъ условіемъ истиннаго прогресса, то, очевидно, что впечатлѣніе, произведенное на меня всѣмъ слышаннымъ и видѣннымъ, не могло быть особенно благопріятнымъ.

Но еще болѣе неблагопріятно подѣйствовалъ вечеръ на друга моего Тебенькова. Онъ, который обыкновенно бывалъ словоохотливъ до болтливости, въ настоящую минуту угрюмо запахивался въ шубу, и лишь изрѣдка, изъ-подъ воротника, разрѣшался афоризмами, въ родѣ: «quel taudis! Tudieu, quel éxécrable taudis» или: «ah, pour l'amour du ciel! où me suis-je donc fourré!» и т. д.

Тебеньковъ — тоже либералъ, хотя, разумѣется, не такой красный, какъ я. Я — Гамбетта, то-есть, человѣкъ отпѣтый и не признающій ничего святого (не понимаю, какъ только земля меня носитъ!). «Наши» давно махнули на меня рукой, да и я самъ, признаться, начинаю подозрѣвать, что двери сената и государственнаго совѣта заперты для меня навсегда. Я могъ бы еще поправить свою репутацію (да и то едва ли!), написавъ, напримѣръ, вторую «Парашу Сибирячку», или что̀-нибудь въ родѣ «Съ бѣлыми Борей власами», но, вопервыхъ, все это ужь написано, а вовторыхъ, къ моему несчастію, въ послѣднее время меня до того одолѣла оффенбаховская музыка, что какъ только я размахнусь, чтобъ изобразить монологъ «Неизвѣстнаго» (воображаемый монологъ этотъ начинается такъ: «И я могъ усумниться! О, судебная реформа! о, земскія учрежденія! И я могъ недоумѣвать!») или, что̀ одно и то же, какъ только приступлю къ написанію передовой статьи для «Старѣйшей Россійской Пѣнкоснимательницы» (статья эта начинается такъ: «Есть люди, которые не прочь усумниться даже передъ такими безспорными фактами, какъ, напримѣръ, судебная реформа и наши все еще молодыя, все еще неокрѣпшія, но, тѣмъ не менѣе, чреватыя благими начинаніями земскія учрежденія» и т. д.) такъ сейчасъ, словно буря, въ мою голову вторгаются совсѣмъ неподходящіе стихи:

Je suis gai!
Soyez gais!
Il le faut!
Je le veux!

И далѣе я уже продолжать не могу, а прямо бѣгу къ фортепьяно и извлекаю изъ клавишъ цѣлое море веселыхъ звуковъ, которое сразу поглощаетъ всѣ горькія напоминанія о необходимости монологовъ и передовыхъ статей...

Совсѣмъ другое дѣло — Тебеньковъ. Вопервыхъ, онъ, какъ говорится, toujours à cheval sur les principes; вовторыхъ, не прочь отъ «святого» и выражается о немъ такъ: «convenez, cependant, mon cher, qu'il y a quelque chose, que notre pauvre raison réfuse d'approfondir», и втретьихъ, пишетъ и монологи, и передовыя статьи столь неослабно, что никакой Оффенбахъ не въ силахъ заставить его положить оружіе, покуда существуетъ хоть одинъ не сраженный врагъ. Поэтому, хотя онъ въ настоящую минуту и не у дѣлъ, но считаетъ карьеру свою далеко неоконченною, и когда проѣзжаетъ мимо сената, то всегда хоть однимъ глазкомъ да посмотритъ на него. Въ сущности, онъ даже не либералъ, а фрондеръ, или, выражаясь иначе: почтительно, но съ независимымъ видомъ, лающій русскій человѣкъ.

Происхожденіе его либерализма самое обыкновенное. Кто-то, когда-то сдѣлалъ что-то не совсѣмъ такъ, какъ онъ имѣлъ честь почтительнѣйше полагать. По настоящему, ему тогда же слѣдовало, не конфузясь, объяснить недоразумѣніе и возразить: да я именно, ваше превосходительство, такъ и имѣлъ честь почтительнѣйше полагать! — но, къ несчастію, обстоятельства какъ-то такъ сложились, что онъ не успѣлъ ни назадъ отступить, ни броситься въ сторону, да такъ и остался съ почтитель-

нѣйшимъ докладомъ на устахъ. Вотъ съ этихъ поръ онъ и держитъ себя особнякомъ и не безъ дерзости доказываетъ, что еслибъ вотъ тутъ на вершокъ убавить, а тамъ на вершокъ прибавить (именно какъ онъ въ то время имѣлъ наглость почтительнѣйше полагать), то все было бы хорошо и ничего бы этого не было. Но, въ то же время, онъ малый зоркій и очень хорошо понимаетъ, что будущее еще не ускользнуло отъ него.

— Я теперь въ загонѣ, mon cher, откровенничаетъ онъ иногда со мной: — я въ загонѣ, потому что вѣтеръ дуетъ не съ той стороны. Теперь—честь и мѣсто князю Ивану Семенычу: c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tant qu'il reste là, je m'éclipse—et tout est dit. Но это не можетъ продолжаться. Cette bagarre gouvernementale ne saurait durer. Придетъ минута, когда вопросъ о князѣ Львѣ Кирилычѣ самъ собою, такъ-сказать, силою вещей, выдвинется впередъ. И тогда...

Дойдя до этого «тогда», онъ скромно умолкаетъ, но я очень хорошо понимаю, что «тогда»-то именно и должно наступить царство того серьёзнаго либерализма, который понемножку да помаленьку, съ Божьею помощью, выдастъ сто одинъ томъ «Трудовъ» съ таковымъ, притомъ, заключеніемъ, чтобы всѣмъ участвовавшимъ въ «Трудахъ», въ вознагражденіе за рвеніе и примѣрную твердость спинного хребта, дать въ вѣчное и потомственное владѣніе хотя по одной половинѣ уѣзда въ плодороднѣйшей полосѣ Россійской Имперіи и затѣмъ уже всякій либерализмъ навсегда прекратить.

За всѣмъ тѣмъ, онъ человѣкъ добрый, или, лучше сказать, мягкій, и тѣ вершки, которые онъ предлагаетъ здѣсь убавить, а тамъ прибавить, всегда свидѣтельствуютъ скорѣе о благосклонномъ отношеніи къ жизни, нежели объ ожесточеніи. Выраженія: согнуть въ бараній

рогъ, стереть съ лица земли, вырвать вонъ съ корнемъ, зашвырнуть туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ — никогда не принимались имъ серьёзно. По нуждѣ, онъ, конечно, терпѣлъ ихъ, но никакъ не могъ допустить, чтобъ они могли служить выраженіемъ какой бы то ни было административной системы. Онъ былъ убѣжденъ, что даже въ простомъ разговорѣ не лишнее ихъ избѣгать, чтобы какъ-нибудь по ошибкѣ, вслѣдствіе несчастнаго lapsus linguae, въ самомъ дѣлѣ, кого-нибудь не согнуть въ бараній рогъ. Первая размолвка его съ княземъ Иваномъ Семенычемъ (сначала, они нѣкоторое время служили вмѣстѣ) произошла именно по поводу этого выраженія. Князь утверждалъ, что «этихъ людей, mon cher, непремѣнно надобно гнуть въ бараній рогъ», Тебеньковъ же имѣлъ смѣлость почтительнѣйше полагать, что самое выраженіе «гнуть въ бараній рогъ», est une expression de nationalgarde, à peu près vide de sens.

— Смѣю думать, ваше сіятельство, доложилъ онъ: — что и заблуждающійся человѣкъ можетъ, отъ времени до времени, что-нибудь полезное сдѣлать, потому что заблужденія не такая же спеціальность, чтобы человѣкъ только и дѣлалъ всю жизнь, что заблуждался. Франклинъ, напримѣръ, имѣлъ очень многія и очень вредныя заблужденія, но по прочему по всему и онъ былъ человѣкъ не безполезный. Стало быть, еслибъ его въ то время взять и согнуть въ бараній рогъ, то хотя бы онъ и прекратилъ по этому случаю свои заблужденія, но, съ другой стороны, и полезнаго ничего бы не совершилъ!

Выслушавъ это, князь обрубилъ разомъ. Онъ всталъ и поклонился съ такимъ видомъ, что Тебенькову тоже ничего другого не оставалось, какъ, въ свою очередь, встать, почтительно расшаркаться и выйти изъ кабинета. Но оба вынесли изъ этого случая надлежащее для

себя поученіе. Князь написалъ на бумажкѣ: «Франклинъ—имѣть въ виду, какъ одного изъ главныхъ зачинщиковъ и возмутителей»; Тебеньковъ же, воротясь домой, тоже записалъ: «Франклинъ—имѣть въ виду, дабы на будущее время избѣгать разговоровъ объ немъ».

Такимъ образомъ, Тебеньковъ очутился за предѣлами жизненнаго пира и началъ фрондировать. Съ этихъ поръ, репутація его, какъ либерала, дотолѣ мало замѣтная, утвердилась на незыблемомъ основаніи. Идетъ ли рѣчь о женскомъ образованіи — Тебеньковъ тутъ какъ тутъ; напишетъ ли кто статью о преимуществахъ реальнаго образованія передъ классическимъ — прежде всего спѣшитъ прочесть ее Тебенькову; задумается ли кто-нибудь о средствахъ къ устраненію чумы рогатаго скота—идетъ и передъ Тебеньковымъ изливаетъ душу свою. Народныя чтенія, читальни, изданіе дешевыхъ книгъ, распространеніе въ народѣ здравыхъ понятій о томъ, что ученье свѣтъ, а неученье тьма—вездѣ съумѣлъ пріютиться Тебеньковъ и во всемъ даетъ чувствовать о своемъ присутствіи. Здѣсь скажетъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ, тамъ — подаритъ десятирублевую бумажку. И вмѣстѣ съ тѣмъ, добръ, ну такъ добръ, что я самъ однажды видѣлъ, какъ одна нигилисточка трепала его за бакенберды и онъ ни однимъ движеніемъ не далъ почувствовать, что это его безпокоитъ. Словомъ сказать, человѣкъ хоть куда, и я даже очень многихъ знаю, которые обращаютъ къ нему свои взоры съ гораздо бо̀льшею надеждою, нежели ко мнѣ...

Но, подобно мнѣ, Тебеньковъ не выноситъ «шума» и «рѣзкостей».

— Зачѣмъ они такъ кричатъ! à quoi mènent toutes ces crudités! жалуется онъ иногда:—зачѣмъ онѣ привскакиваютъ, когда говорятъ! Премиленькія — а вотъ этого

не понимаютъ, что надобно, чтобъ сперва одинъ высказался, потомъ другой бы представилъ свои соображенія, потомъ третій бы присовокупилъ... право! И какіе у нихъ голоса—точь-въ-точь, какъ у актрисъ въ александринкѣ! Тоненькіе — вотъ какъ булавка! Послушай, напримѣръ, какъ Паскà говоритъ — вотъ это голосъ! А наши — ну, ни дать, ни взять, шавочки: амъ-амъ-амъ! — хоть ты чтò хочешь, ничего не разберешь!

И такъ, мы возвращались домой. Покуда я вдыхалъ всѣми легкими свѣжій воздухъ начинающейся зимы, мнѣ припоминались тѣ «кабы позволили», да «когда же, наконецъ, позволятъ», которые, впродолженіи нѣсколькихъ часовъ, преслѣдовали мой слухъ.

Мнѣ казалось, что я цѣлый вечеръ видѣлъ передъ собой человѣка, который зашелъ въ безконечный, темный и извилистый корридоръ, и ждетъ чуда, которое вывело бы его оттуда. Съ одной стороны, его терзаетъ мысль: а чтò, если мнѣ всю жизнь суждено бродить по этому корридору? Съ другой — стремленіе увидѣть свѣтъ само по себѣ такъ настоятельно, что оно, даже въ виду полнѣйшей безнадежности, нѣтъ-нѣтъ, да и подскажетъ: а вотъ, погоди, упадутъ стѣны по обѣ стороны корридора, или снесетъ маніемъ волшебства потолокъ, и тогда...

Я знаю, что въ корридоры никто собственною охотой не заходитъ; я знаю, что есть корридоры обязательные, которые самою судьбою устроиваются въ виду извѣстныхъ вопросовъ; но положеніе человѣка, поставленнаго въ необходимость блуждать и колебаться между страхомъ гибели и надеждой на чудесное паденіе стѣнъ, отъ этого отнюдь не дѣлается болѣе яснымъ. Это, всетаки, положеніе человѣка, котораго умъ поглощенъ не дѣйствинымъ предметомъ извѣстныхъ и ясно сознанныхъ стремленій, а тѣми несносными околичностями, которыя, Богъ

вѣсть, откуда легли на пути и ни нà волосъ не приближаютъ къ цѣли.

Такого рода именно положеніе, совершенно отчетливо рисовалось мнѣ посрединѣ этихъ, безпрестанно повторявшихся двухъ фразъ, изъ которыхъ одна гласила: «неужели жь, наконецъ, не позволятъ?», а другая: «а чтò, если не позволятъ»?

«Чтò, ежели позволятъ?» думалось, въ свою очередь, и мнѣ. «Вѣдь, начальство—оно снисходительно; оно, чего добраго, все позволитъ, лишь бы ничего изъ этого не вышло. Чтò тогда будетъ? Будутъ ли *онѣ* усердны въ исполненіи лежащихъ на нихъ обязанностей?—Конечно, будутъ, ибо не доказываютъ ли телеграфистки? Окажутъ ли себя способными охранять казенный интересъ?—Конечно, окажутъ, ибо не доказываютъ ли кассирши на желѣзныхъ дорогахъ!»

Въ моихъ глазахъ, это было такъ ясно, что, еслибъ зависѣло отъ меня, я, конечно, ни одной минуты не колебался бы: я бы позволилъ...

Скажите, какой вредъ можетъ произойти отъ того, что въ Петербургѣ, а, быть можетъ, и въ Москвѣ явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдущихъ казенный интересъ?—женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобъ восклицать: «bonjour, chère mignonne! какое вчера на princesse N. платье было!», будутъ говорить: «а чтò, mesdames, не составить ли намъ компанію для защиты мясниковскаго дѣла»?

Какая опасность можетъ предстоять для общества отъ того, что женщины желаютъ учиться, стремятся посѣщать медико-хирургическую академію, слушать университетскіе курсы! Допустимъ даже самый невыгодный исходъ этого дѣла: что онѣ *ничему* не научатся и потратятъ

время *задаромъ*—всетаки, спрашивается: кому отъ этого вредъ? Кто пострадаетъ отъ того, что онѣ задаромъ проведутъ свое и безъ того даровое время?

Какъ ни повертывайте эти вопросы, съ какими іезуитскими пріемами ни подходите къ нимъ, а отвѣтъ, всетаки, будетъ одинъ: нѣтъ ни опасности, ни вреда не предвидится никакихъ... За что̀ же это жестокое осужденіе на безсрочное блужданіе въ корридорѣ, которое, представляя собою фактъ безпричинной нетерпимости, служитъ, кромѣ того, источникомъ «шума» и «рѣзкостей»?

Я знаю, многіе полагаютъ, будто женская работа не можетъ быть такъ чиста, какъ мужская. Но, вопервыхъ, мы этого еще не знаемъ. Мы даже приблизительно не можетъ опредѣлить, какимъ образомъ женщина обработала бы, напримѣръ, мясниковское дѣло, и не чище ли была бы ея работа противъ той мужской, которую мы знаемъ. Вовторыхъ, мы забываемъ, что опрѣделеніе степени чистоты работы должно быть вполнѣ предоставлено давальцамъ: не станетъ женщина чисто работать—растеряетъ давальцевъ. Втретьихъ, наконецъ, не напрасно же сложилась на міру пословица: не боги горшки обжигаютъ — а чѣмъ же, кромѣ «обжиганія горшковъ», занимается современный русскій человѣкъ, къ какому бы онъ полу или возрасту ни принадлежалъ?

Я знаю другихъ, которые не столько опасаются за чистоту работы, сколько за «возможность увлеченій». Но эти опасенія ужь просто не выдерживаютъ никакой критики. Что женщина охотно увлекается — это правда, но не менѣе правда и то, что она всегда увлекается въ извѣстныхъ границахъ. Начертивъ себѣ эти границы, она все пространство, въ нихъ заключающееся, наполнитъ благодарнымъ энтузіазмомъ, но только *это* пространство — ни больше, ни меньше. Она извлечетъ весь

сокъ изъ даннаго «позволенія», но извлечетъ его лишь въ предѣлахъ самаго *позволенія* — и отнюдь не дальше. Если даже мужчина способенъ упереться лбомъ въ уставы судопроизводства и не идти никуда дальше, то женщина упрется въ нихъ тѣмъ съ бо̀льшимъ упоеніемъ, что для нея это дѣло вновѣ. Она и дома, и на улицѣ будетъ декламировать: «Кто похититъ или съ злымъ умысломъ повредитъ или истребитъ», и ежели вы прервете ее вопросомъ: какъ здоровье мамаши?—то она на̀скоро отвѣтитъ (словно отъ мухи отмахнется): «благодарю васъ», и затѣмъ опять задекламируетъ: «если вслѣдствіе составленія кѣмъ-либо подложнаго указа, постановленія, опредѣленія, предписанія или иной бумаги и т. д.»

Нѣтъ, какъ хотите, а я бы позволилъ. Ужь одно то, что онѣ будутъ у дѣла и, слѣдовательно, не останется повода ни для «шума», ни для «рѣзкостей» — одно это ужь представило бы для меня несомнѣнное основаніе, чтобы не медлить разрѣшеніемъ. Но, кромѣ того, я увѣренъ, что тутъ-то именно, т. е. въ средѣ женщинъ, которымъ *позволено*, я и нашелъ бы для себя настоящую опору, настоящихъ столбовъ. Не спорю, есть много столбовъ и между мужчинами, но, ради Бога, развѣ мужчина можетъ быть настоящимъ, то-есть, пламеннымъ, исполненнымъ энтузіазма, столбомъ? Нѣтъ, онъ и на это занятіе смотритъ равнодушно, ибо знаетъ, что оно ему разрѣшено искони и что никто его права быть столбомъ не оспориваетъ. То ли дѣло столбъ, который еще самъ хорошенько не знаетъ, столбъ онъ или нѣтъ, и потому пламенѣетъ, славословитъ и изъявляетъ желаніе сложить свою жизнь! И за что̀ готовъ сложить жизнь? за то только, что ему «позволено» быть столбомъ наравнѣ съ мужчинами!

Ну, просто, дозволилъ бы—и дѣлу конецъ!

Разумѣется, еслибы меня спросили, достигнется ли черезъ это «дозволеніе» разрѣшеніе такъ-называемаго «женскаго вопроса», я отвѣтилъ бы: не знаю, ибо это не мое дѣло.

Еслибы меня спросили, подвинется ли хоть на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣчный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество — я отвѣтилъ бы: опять-таки, это не мое дѣло.

Но потому-то именно я, кажется, даже еще охотнѣе позволилъ бы. Какъ либералъ, какъ русскій Гамбетта, я люблю, чтобъ вопросы стояли особняками, каждый въ своихъ собственныхъ границахъ, и смотрю съ нетерпѣніемъ, когда они слишкомъ цѣпляются другъ за друга. Я представляю себѣ, что я начальникъ (опять-таки, какъ русскій Гамбетта, я не могу представить себѣ, чтобъ у какого бы то ни было вопроса не имѣлось подлежащаго начальника) и что нѣсколько десятковъ женщинъ являются утруждать меня по части улучшенія женскаго быта. Прежде всего, какъ galant homme, я принимаю ихъ съ утонченною вѣжливостью (я на столько благовоспитанъ, что во всякой женщинѣ вижу женщину, а не кобылицу изъ татерсаля).

— Mesdames! charmé de vous voir! чѣмъ могу быть полезенъ? спрашиваю я.

— Намъ хотѣлось бы посѣщать университетскіе курсы, ваше превосходительство.

— Прекрасно-съ. Сядемте и будемте обсуждать предметъ вашихъ желаній со всѣхъ сторонъ. Но прежде всего прошу васъ: будемте обсуждать именно тотъ вопросъ, по поводу котораго вы удостоили меня посѣщеніемъ. Остережемся отъ набѣговъ въ область другихъ вопросовъ, ибо наше время не время широкихъ задачъ. Будемъ скромны, mesdames! Не станемъ расплываться! И такъ,

вы говорите, что вамъ угодно посѣщать университетскіе курсы?

— Точно такъ, ваше превосходительство.

— Извольте-съ. Я готовъ дать соотвѣтствующее по сему предмету предписаніе. (Я звоню; на мой призывъ прибѣгаетъ мой главный подчиненный). Ваше превосходительство! потрудитесь сдѣлать надлежащее распоряженіе о допущеніи русскихъ дамъ къ слушанію университетскихъ курсовъ! И такъ, сударыни, по надлежащемъ и всестороннемъ обсужденіи, ваше желаніе удовлетворено; но я надѣюсь, что вы воспользуетесь даннымъ вамъ разрѣшеніемъ не для того, чтобы сѣять сѣмена революцій, а для того, чтобы оправдать доброе мнѣніе объ васъ начальства.

— Рады стараться, ваше превосходительство!

— Вы рады, а я въ восторгѣ-съ. Я всегда и вездѣ говорилъ, что вы скромны. Вы по природѣ переводчицы—я это знаю. Поэтому, я всѣхъ, всегда и вездѣ убѣждалъ: господа! дадимте имъ книжку—пусть смотрятъ въ нее! Не правда ли, mesdames?

— Точно такъ, ваше превосходительство!

И еслибъ въ это время отдѣлился какой-нибудь робкій голосъ, чтобъ замѣтить:

— Но женскій вопросъ, ваше превосходительство...

Я сейчасъ же остановилъ бы возражательницу, сказавъ ей:

— Позвольте-съ. Мы условились не выходить изъ предѣловъ вопроса, подлежащаго нашему обсужденію, а вопросъ этотъ таковъ: предоставить женщинамъ посѣщать университетскіе курсы. Вы скажете, можетъ быть, что, кромѣ этого, есть еще много другихъ, не менѣе важныхъ вопросовъ—я знаю это, милостивыя государыни! Я знаю, что вопросовъ существуетъ больше, чѣмъ нужно! Но знаю

также, что всякому вопросу свой чередъ — да-съ! Впослѣдствіи, идя постепенно, потихоньку да помаленьку, исподволь да не торопясь, мы, съ Божьею помощью, всѣ ихъ по очереди переберемъ, а быть можетъ, по каждому издадимъ сто одинъ томъ «Трудовъ», но теперь мы должны проникнуться убѣжденіемъ, что намъ слѣдуетъ глядѣть въ одну точку, а не во множество-съ. Вы желаете посѣщать университетскіе курсы—я удовлетворилъ вашему желанію! затѣмъ, я больше не имѣю причинъ васъ задерживать, mesdames! Прощайте, и Богъ да просвѣтитъ сердца ваши!

И только. Въ результатѣ оказалось бы, что я позволилъ бы женщинамъ учиться, что допустилъ бы ихъ въ званіе стенографистокъ и что, въ то же время, съ Божьею помощью, на долгое время эскамотировалъ «женскій вопросъ!»

Такъ было бы, еслибъ я «позволилъ»...

«Но еслибъ я не позволилъ?» мелькнуло у меня въ головѣ. «Что было бы тогда!»

Да очень ясно, что было бы! Было бы то, что есть и теперь, а именно, что, въ качествѣ либерала и русскаго Гамбетты, я былъ бы обязанъ ходить по «умнымъ вечерамъ» и выслушивать безнадежные: «ахъ, кабы позволили!» да «не доказали ли телеграфистки?» и т. д.

Конечно, и «позволь» я, и «не позволь»—ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ общественное спокойствіе не было бы нарушено, но развѣ это достаточный резонъ, чтобы непремѣнно *не* дозволять? Уже ли же перспектива пріобрѣсти либеральную репутацію имѣетъ въ себѣ такъ мало заманчиваго, чтобы предпочитать ей перспективы, обѣщаемыя хладнымъ и безплоднымъ восклицаніемъ «цыцъ»?

Но въ эту минуту размышленія мои были прерваны восклицаніемъ Тебенькова:

— Какіе, однако, это неблагонамѣренные люди!

Признаюсь, со стороны Тебенькова высказъ этотъ былъ такъ неожиданъ, что я нѣкоторое время стоялъ молча, словно ошибенный.

— Тебеньковъ! ты! либералъ! и ты это говоришь! наконецъ, произнесъ я.

— Дà, я. Я либералъ, mais entendons nous, mon cher. Въ обществѣ я, конечно, не высказалъ бы этого мнѣнія; но не высказалъ бы его именно только потому, что я представитель русскаго либерализма. Какъ либералъ, я, ни въ какомъ случаѣ, не могу допустить аркебузированья ни въ видѣ частной мѣры, ни въ видѣ общаго мѣропріятія. Но внутренно, я, всетаки, долженъ сказать себѣ: дà, это люди неблагонамѣренные!

— Но, чтò же тебя такъ поразило во всемъ, чтò мы слышали?

— Все! и эта дерзкая назойливость (ces messieurs et ces dames ne demandent pas, ils commendent!), и это полупрезрительное отношеніе къ авторитету благоразумія и опытности, и, наконецъ, это поруганіе всего, чтò есть для женщины драгоцѣннаго и святого! Все!

— Надъ чѣмъ же поруганіе, однакожь?

— Надъ женскимъ стыдомъ, сударь! Если ты не хочешь понимать этого, то я могу тебѣ объяснить: надъ женскою стыдливостью! надъ цѣломудріемъ женскаго чувства! надъ этимъ милымъ невѣдѣніемъ, ce je ne sais quoi, cette saveur de l'innocence, которые душистымъ ореоломъ окружаютъ женщину! Вотъ надъ чѣмъ поруганіе!

Я зналъ, что для Тебенькова всего дороже въ женщинѣ — ея невѣдѣніе и что онъ стоитъ на этой почвѣ тѣмъ болѣе твердо, что она уже составила ему репутацію въ глазахъ «нашихъ дамъ». Поэтому, я даже не пытался возражать ему на этомъ пунктѣ.

— Страшно! продолжалъ онъ между тѣмъ: — не за *нихъ* страшно (les pauvres! elles ont l'air si content en débitant leurs mésquineries, qu'il serait inutile de les plaindre!), но за *женщину!*

— Позволь, душа моя! Если ты всего больше цѣнишь въ женщинѣ ея невѣжество...

— Не невѣжество-съ, mais cette pieuse ignorance, ce dilicieux parfum d'innocence qui fait de la femme le chef d'oeuvre de la création! Вотъ что̀-съ!

— Ну, хорошо, не будемъ спорить. Но, всетаки, гдѣ же ты видишь неблагонамѣренность?

— Вездѣ-съ. По вашему, подкапываться подъ драгоцѣннѣйшее достояніе женщины — это благонамѣренность? По вашему, топтать въ грязь авторитеты, подкапываться подъ священнѣйшія основы общества — это благонамѣренность? Ces gens... эти люди... ces gens, qui trainent la femme dans la fange... по вашему, они благонамѣренны? Поздравляю-съ.

— Да, но, вѣдь, это еще вопросъ: что̀ собственно составляетъ «драгоцѣннѣйшее достояніе» женщины?

— Нѣтъ-съ, это не вопросъ. На этотъ счетъ сомнѣнія непозволительны-съ!

Сказавъ это, Тебеньковъ взглянулъ на меня такъ строго, что я счелъ не лишнимъ умолкнуть. Увы! наше время такъ грозно насчетъ «принципій», что даже узы самой испытанной дружбы не гарантируютъ человѣка отъ вторженія въ его жизнь выраженій въ родѣ «неблагонадежнаго элемента», «сторонники выдохшагося радикализма» и проч. Тебеньковъ уже измѣнилъ «ты» на «вы» — кто же могъ поручиться, что онъ вдругъ, въ виду городоваго (не съ намѣреніемъ, конечно, а такъ, невзначай), не начнетъ обличать меня въ безвѣріи и попраніи авторитетовъ? Долгое время мы шли молча, и я ничего дру-

гого не слышалъ, кромѣ того, какъ изъ взволнованной груди моего друга вылетало негодующее фырканье.

— Нѣтъ, ты замѣть! наконецъ, произноситъ онъ, опять измѣняя «вы» на «ты»: — замѣть, какъ *она* это сказала: «а вы, говоритъ, милый старецъ, и до сихъ поръ думаете, что Ева изъ Адамова ребра выскочила?» И изъ-за чего она меня огорошила! Изъ-за того только, что я осмѣлился выразиться, что съ одной стороны исторія, а съ другой стороны священное писаніе... Ah, sapristi! Les gueuses!

— Но, вѣдь, это, наконецъ, твои личные счеты, мой другъ...

— А эта... маленькая... продолжалъ онъ, не слушая меня: — эта... въ букляхъ! Замѣтилъ ты, какъ она подскакивала! «Подчиненность женщины... я говорю, подчиненность женщины... если, съ другой стороны, мужчины... если, какъ говоритъ Милль, вѣковой деспотизмъ мужчинъ...» Au nom de Dieu!

— Но скажи, гдѣ же, всетаки, тутъ неблагонамѣренность?

— Эго дерзость-съ, а дерзость есть уже неблагонамѣренность. «Женщина порабощена!» Женщина! этотъ живой ѳиміамъ! эта живая молитва человѣка къ Богу! Она — «порабощена»! Кто имъ это сказалъ? Кто позволилъ имъ это говорить!

— Стало быть, ты, просто-на-просто, не признаешь женскаго вопроса?

— Нѣтъ-съ... то-есть, да-съ, признаю-съ. Но признаю совсѣмъ въ другомъ смыслѣ-съ. Я говорю: женщина — это святыня, которой не долженъ касаться ни одинъ нечистый помыселъ! Вотъ *мой* женскій вопросъ-съ! И мужчина, и женщина — это, такъ сказать, двоица; это, *какъ говоритъ поэтъ*, «Ладъ и Лада», которымъ сужде-

но взаимно другъ друга восполнять. Они гуляютъ въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ пѣніе соловья. Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ друга — и, наконецъ, устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говоритъ: ré-posons nous! Ладъ же отвѣчаетъ: ce que femme veut, Dieu le veut! и ведетъ ее подъ сѣнь деревъ... A mon avis, toute la question est là!

— Да, хорошо тебѣ говорить: ce que femme veut, Dieu le veut! Согласись, однако, что и пословицы не всегда говорятъ правду! Вѣдь, для того, чтобъ женщина дѣйствительно достигла, чего желаетъ, ей нужно, даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, лукавить и дѣйствовать изподтишка!

— Не изподтишка-съ, а съ соблюденіемъ приличій-съ.

— Но «приличія»... что̀ же это такое? вѣдь, приличія... это, наконецъ...

— Приличія-съ! вы не знаете, что̀ такое приличія-съ! Приличія — это, государь мой, основы-съ! приличія — это краеугольный камень-съ. Отбросьте приличія — и мы всѣ очутимся въ анатомическомъ театрѣ... que dis-je! не въ анатомическомъ театрѣ — это только первая ступень! — а въ воронинскихъ баняхъ-съ! Вотъ что̀ такое эти «приличія», о которыхъ вы изволите такъ иронически выражаться-съ!

Однимъ словомъ, мой либеральный другъ такъ разгорячился, началъ говорить такія непріятныя вещи, что я не въ шутку сталъ бояться, какъ бы не произошелъ въ немъ какой-нибудь «спасительный» кризисъ! А ну, какъ онъ вдругъ, пользуясь симъ случаемъ, возьметъ да и повернетъ оглобли? Хотя и несомнѣнно, что онъ повздорилъ съ княземъ Иваномъ Семенычемъ — это съ его стороны былъ очень замѣчательный гражданскій подвигъ! — но кто же знаетъ, что онъ не тоскуетъ по этой

размолвкѣ? Что̀, ежели онъ ищетъ только повода, чтобъ прекратить безплодное фрондерство, а затѣмъ явиться къ князю Ивану Семенычу съ повинной, сказавъ: «la critique est aisée, mais l'art est difficile — ваше сіятельство, я вчера окончательно убѣдился въ святости этой истины»? Что̀ будетъ, если это случится?! Вѣдь, Тебеньковъ — это столбъ современнаго русскаго либерализма! Вѣдь, если онъ дрогнетъ, что̀ станется съ другими столбами? Что̀ станется съ княземъ Львомъ Кирилычемъ, который въ Тебеньковѣ видитъ своего вѣрнѣйшаго выразителя? Что̀ станется съ тою массой серьёзныхъ людей, которые выбрали либерализмъ, какъ временный modus vivendi, въ ожиданіи свободнаго пропуска къ пирогу? Что̀ станется, наконецъ, съ «Старѣйшею Всероссійскою Пѣнкоснимательницей», этимъ лучшимъ проводникомъ тебеньковскихъ либеральныхъ идей?

— Другъ мой! воскликнулъ я почти умоляющимъ голосомъ:—сообрази, однакожь! вѣдь, *онѣ* только въ медико-хирургическую академію просятся!

— Да-съ, въ академію, отвѣчалъ онъ мнѣ сухо: — въ академію-съ, но только не художествъ, а въ медико-хирургическую. Знаю-съ. Я самъ смотрѣлъ на это снисходительными глазами... до нынѣшняго вечера-съ! Они топтали въ грязь авторитеты — и я молчалъ; они подрывали общественныя основы — и я не противорѣчилъ. Я говорилъ себѣ: эти люди заблуждаются, но заблужденія — вѣдь, это, наконецъ, въ вѣдомствѣ князя Ивана Семеныча! Пусть онъ и вразумитъ ихъ — je m'en lave les mains! Но женщина-съ! Но бракъ-съ! Но святость семейныхъ узъ-съ! Это ужь превосходитъ все! Женщина! эта святыня! это благоуханіе! этотъ кристаллъ! Et l'on veut trainer tout ça dans la fange! Въ медико-хирургическую академію! Vous êtes bien bonnes, mesdames!

Сказавши это, онъ холодно кивнулъ головой и, даже не пожавъ мнѣ руки, исчезъ въ темнотѣ переулка.

Въ теченіи ночи, мои опасенія на счетъ того, что въ Тебеньковѣ, чего добраго, произойдетъ «спасительный кризисъ», послѣдствіемъ котораго будетъ соглашеніе съ княземъ Иваномъ Семенычемъ, превратились въ жгучее, почти несносное безпокойство. Если это соглашеніе состоится, думалось мнѣ, то все кончено — либеральнымъ идеямъ капутъ. Нашъ юный либерализмъ такъ слабъ, такъ слабъ, что только благодушіе Тебенькова и поддерживаетъ его. Откажись Тебеньковъ — и все это зданіе, построенное на песцѣ, рухнетъ, не оставивъ послѣ себя ничего, кромѣ пыли, способной возбудить одно чиханіе. Тебеньковъ тѣмъ опасенъ, что онъ знаетъ (или, по крайней мѣрѣ, убѣжденъ, что знаетъ), въ чемъ суть либеральныхъ русскихъ идей, и потому, если онъ разъ рѣшится покинуть гостепріимныя сѣни либерализма, то, сильный своими познаніями по этой части, онъ на всѣ резоны будетъ уже отвѣчать одно: «Нѣтъ, господа! меня-то вы не надуете! я самъ былъ «онымъ»! я знаю»! И тогда вы нетолько ничего съ нимъ не подѣлаете, а напротивъ того, дождетесь, пожалуй, того, что онъ, просто изъ одного усердія, начнетъ открывать либерализмъ даже тамъ, гдѣ есть лишь невинность.

А для князя Ивана Семеныча это возсоединеніе Тебенькова будетъ настоящимъ кладомъ. До сихъ поръ князь былъ силенъ не столько основательностью, сколь живостью своихъ намѣреній. На практикѣ, его намѣренія очень рѣдко получали надлежащее осуществленіе, и это происходило именно вслѣдствіе того, что, по неполному знанію признаковъ русскаго либерализма, князь

довольно часто попадалъ, какъ говорится, пальцемъ въ небо. Такъ случилось, напримѣръ, съ распоряженіемъ о розъисканіи Франклина, въ которомъ этотъ послѣдній былъ названъ сначала «эмиссаромъ», потомъ «человѣкомъ, потрясшимъ западную Европу» и, наконецъ, просто «злодѣемъ». Конечно, въ этомъ прежде всего виноватъ секретарь князя, который не досмотрѣлъ (онъ былъ немедленно за это уволенъ), но, всетаки, даже въ клубахъ всѣ ахнули, когда узнали, что ищутъ «эмиссара» Франклина, а Тебеньковъ прямо такъ-таки и выразился: ça fait pitié! Теперь Тебеньковъ всѣ эти смѣшенія устранитъ. Онъ прямо въ настоящую точку ударитъ; онъ сдѣлаетъ это уже по тому одному, что самое возсоединеніе его въ лоно князя Ивана Семеныча можетъ произойти лишь цѣною сожженія тебеньковскихъ кораблей. Сколько погибнетъ тогда невинныхъ людей! Сколько несчастныхъ, никогда не имѣвшихъ въ головѣ другой идеи, кромѣ: какъ прекрасенъ божій міръ съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ существуютъ земскія учрежденія!—вдругъ вынуждены будутъ убѣдиться, что это идея позорная, потрясшая западную Европу, и потому достойная аркебузированья! Да, Тебеньковъ будетъ и аркебузировать, несмотря на то, что до сихъ поръ онъ горячо ратовалъ противъ аркебузированія! Онъ скажетъ: «mon cher! я самъ былъ противъ этого, но—que veux tu!—у насъ такъ мало средствъ, что это, всетаки, одно изъ самыхъ подходящихъ»! И напрасно будутъ молить его «невинные», напрасно будутъ они сплетничать на другихъ солибераловъ, напрасно станутъ клясться и доказывать свою невинность! На всѣ извороты ихъ Тебеньковъ дастъ одинъ холодный и ясный отвѣтъ: «господа! вы меня не надуете! я самъ былъ «онымъ»! я знаю»!

Понятно, что, въ виду такого темнаго будущаго, я рѣ-

шился во что̀ бы ни стало, даже съ пожертвованіемъ своего самолюбія, воспрепятствовать союзу Тебенькова съ княземъ. При одной мысли, что въ адъ реакціи проникнетъ этотъ новый Орфей и начнетъ пѣть тамъ свои чарующія пѣсни, въ умѣ моемъ рисовались самыя мрачныя перспективы. Поэтому, я принялъ всю вину на себя, я сдѣлалъ видъ, что не Тебеньковъ говорилъ мнѣ вчера колкости, но я, по своей необдуманности и неопытности, былъ виною происшедшаго скандала. И вотъ, на другой день, около полудня, я уже былъ у моего друга.

— Тебеньковъ! привѣтствовалъ я его: — ужели изъ-за того, что̀ произошло вчера, изъ-за нѣсколькихъ необдуманныхъ съ моей стороны выраженій, ты захочешь разорвать со мною!

Мой другъ дрогнулъ. Я очень ясно прочиталъ на его лицѣ, что у него ужь готовъ былъ вицъ-мундиръ, чтобъ ѣхать къ князю Ивану Семенычу, что опоздай я еще минуту — и кто бы поручился за то, что̀ могло бы произойти! Однако, замѣшательство его было моментальное. Раскаяніе мое видимо тронуло его. Онъ протянулъ мнѣ обѣ руки, и мы долгое время стояли рука въ руку, чувствуя, по взаимнымъ трепетнымъ пожиманіямъ, ка̀къ сильно взволнованы были наши чувства.

— Разорвать! Съ тобой, мой Гамбетта! наконецъ, произнесъ онъ: — никогда!

— Но... съ либерализмомъ?! спросилъ я, почти задыхаясь отъ страха.

Онъ дрогнулъ опять. Идея, что вицъ-мундиръ вычищенъ и что, затѣмъ, сто̀итъ только взять извощика и ѣхать — видимо угнетала его. Но такова сила либеральнаго прошлаго, что оно, даже въ виду столь благопріятныхъ обстоятельствъ, откликнулось и восторжествовало.

— Никогда! воскликнулъ онъ совершенно твердымъ голосомъ. —Plutôt la mort que le déshonneur!

— La mort—c'est trop dire! Но подумай, однакожь, мой другъ! вотъ ты ждалъ къ празднику черезъ плечо... вотъ это какъ бы...

— A bah! ça viendra! сказалъ онъ весело, и махнулъ рукою.

Затѣмъ, мы обнялись, Тебеньковъ велѣлъ сервировать завтракъ и всѣ недоразумѣнія были сейчасъ же покончены.

— Мнѣ—разорвать съ либерализмомъ! мнѣ! говорилъ мой другъ, покуда мы дегюстировали какой-то необыкновенной красоты лафитъ:—но развѣ ты не понимаешь, что это значило бы разбить въ дребезги всю мою жизнь! Знаешь ли ты, съ которыхъ поръ я либералъ? ты еще въ рубашечкахъ ходилъ, какъ я ужь былъ испытаннѣйшимъ либераломъ въ цѣломъ Петербургѣ! Уже тогда я проектировалъ всѣ тѣ идеи, которыми теперь нашъ общій другъ, Менандръ Прелестновъ, волнуетъ умы въ «Старѣйшей Русской Пѣнкоснимательницѣ!» Покойный князь Ѳедоръ Ѳедорычъ не даромъ говаривалъ: Тебеньковъ тѣмъ болѣе опасенъ, что никогда нельзя понять, чего собственно онъ добивается! Ты понимаешь! Это была цѣлая система, именно въ томъ и заключавшаяся, чтобъ никто ни въ чемъ не могъ уличить, а между тѣмъ, всякій бы чувствовалъ, что нѣчто есть, и только вотъ теперь эта система пошла настоящимъ образомъ въ ходъ! Либерализмъ, mon cher, это для меня цѣлое семейное преданіе! C'est tout un culte. Мой отецъ, моя мать, мой дѣдъ... всѣ были либералы! Мой отецъ первый подалъ мысль объ обязательномъ посѣвѣ картофеля... tu sais, потомъ изъ этого еще произошли знаменитыя «картофельныя войны»? Моя мать еще въ 1818 году порѣшила

съ женскимъ вопросомъ, выйдя, при живомъ мужѣ, замужъ за моего отца! И ты могъ думать, что я измѣню этимъ преданіямъ! Mon cher! позволь тебѣ сказать: ты грубо, ты непростительно грубо ошибался.

Тебеньковъ такъ былъ взволнованъ, говоря это, что даже закусилъ нижнюю губу.

— Тебеньковъ! Я ошибался! я глубоко, грубо, непростительно ошибался! я сознаю это! лепеталъ я.

— Постой! я не все сказалъ. Возьми мои теперешнія связи — онѣ всѣ до одной либеральныя. Отъ кого я жду обновленія Россіи — отъ князя Льва Кирилыча! Какую газету я читаю — «Старѣйшую Всероссійскую Пѣнкоснимательницу»! J'espère que c'est assez concluant! Учрежденіе читалень, лекцій, народнаго театра, распространеніе полезныхъ знаній — во всемъ и вездѣ я играю первую роль! Я всегда и вездѣ говорилъ: господа! не полагайте движенію препонъ, но умѣйте овладѣть имъ. Овладѣйте, господа! дайте движенію надлежащее направленіе — et alors tout ça ira comme sur des roulettes! Только овладѣйте! Сколько я потерялъ черезъ это — ты знаешь самъ. Ты знаешь очень хорошо, чѣмъ бы я могъ быть, еслибъ принялъ въ то время предложеніе князя Ивана Семеныча! Онъ предлагалъ мнѣ Анны... Ты понимаешь! святыя Анны... помимо Станислава! въ мои лѣта! Ah! c'était bien joli! Но я сказалъ прямо: еслибы къ этому прибавили три тысячи аренды, то и тогда я еще подумаю! Почему я такъ смѣло отвѣтилъ? а потому, мой другъ, что, вопервыхъ, у меня есть своя административная система, которая несомнѣнно когда-нибудь понадобится, а вовторыхъ, и потому, что я знаю навѣрное, что отъ меня мое не уйдетъ. Система моя очень проста: *никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать*. C'est simple comme bonjour. Но чтобы

ты могъ лучше понять мой административный идеалъ, я попрошу тебя вообразить себѣ, что въ настоящую минуту я нахожусь у дѣлъ. Первое, что̀ я дѣлаю—это ослабляю бразды. Хотя, въ сущности, въ этомъ еще нѣтъ ничего опредѣленнаго, но для насъ, русскихъ, уже одно это очень и очень важно. Мы такъ чувствительны къ браздамъ, что малѣйшее измѣненіе въ манерѣ держать ихъ уже цѣнится нами. И вотъ, когда я ослабилъ бразды, когда всѣ почувствовали это—вдругъ начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai festin d'idées libérales. Литература ликуетъ, студенты ликуютъ, женщины ликуютъ, всѣ вообще, какъ бы сговорившись, выходятъ на Невскій съ папиросами и сигарами въ зубахъ! И замѣть: я ничего *прямо* не дозволялъ, я *только ничего прямо* не воспрещалъ! Я, съ своей стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивныя, малымъ довольныя лица, я указываю на нихъ и говорю: вотъ доказательства разумности моей системы! J'éspère que j'ai bien mérité mon cordon rouge de s-te Anna! Такимъ образомъ, проходитъ годъ, а можетъ быть, и два; я все продолжаю мою систему, то-есть, ничего прямо не дозволяю, но и ничего прямо не воспрещаю. Тогда начинаются тамъ и сямъ прорываться проявленія такъ-называемой licence. Подчиненные Держиморды бѣгутъ ко мнѣ въ ужасѣ и докладываютъ, что такого-то числа въ Канонерскомъ переулкѣ, въ домѣ подъ № такимъ-то, шла рѣчь о непризнаніи авторитетовъ. Но я еще не раздѣляю опасеній моихъ сослуживцевъ и настаиваю на томъ, что мѣръ кротости совершенно достаточно, чтобъ обратить заблудшихъ на путь истины. Pas trop de zèle, messieurs, говорю я, surtout pas trop de zèle! Затѣмъ, я призываю зачинщиковъ и келейнымъ образомъ дѣлаю имъ внушеніе. «Господа! *говорю я,* вы должны понять, что у насъ безъ авторите-

товъ нельзя! Если вы хотите, чтобъ я имѣлъ возможность защитить васъ, то поберегите и меня! если не хотите, то скажите прямо — я удалюсь въ отставку!» Разумѣется, моя угроза дѣйствуетъ. Всѣ кричатъ: осторожнѣе! осторожнѣе! потому что, если оставитъ насъ Тебеньковъ, — мы погибли! Такъ проходитъ, быть можетъ, еще цѣлый годъ. Mais hélas! les idées subversives — c'es quelque chose de très peu solide, mon cher! Съ ними никогда нельзя быть увѣреннымъ, гдѣ онѣ остановятся, и не перейдутъ ли ту границу «недозволеннаго», но и «невоспрещеннаго», въ прочномъ установленіи которой и заключается вся задача истиннаго либерализма. И вотъ, по прошествіи извѣстнаго времени, la licence relève la tête, и прямо утверждаетъ, что «невоспрещеніе» равняется «дозволенію». Начинается шумъ, mesquineries, рѣзкости, въ родѣ тѣхъ, которые мы слышали вчера вечеромъ. Тогда, я говорю уже прямо: messieurs! je m'en lave les mains! и уступаю мое мѣсто князю Ивану Семенычу. Hein? tu comprends?

— Гм... да... это въ своемъ родѣ...

— Не правдали? Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit! И такъ, на мое мѣсто приходитъ и начинаетъ оперировать князь Иванъ Семенычъ. Собственно говоря, я ничего не имѣю противъ князя Ивана Семеныча, и даже, въ ряду прочихъ феноменовъ, признаю его далеко не безполезнымъ. Въ общей административной экономіи такіе люди необходимы. Въ минуты, когда дурныя страсти доходятъ до своего апогея, всегда являются такъ-называемые божіи бичи и очищаютъ воздухъ. Не нужно только, чтобъ они слишкомъ долго оставались въ должности воздухоочистителей, потому что тогда это дѣлается, наконецъ, скучнымъ. Но по временамъ очищать воздухъ — небезполезно. Такимъ образомъ, покуда князь

Иванъ Семенычъ выполняетъ свое провиденціальное назначеніе, я остаюсь въ сторонѣ; я только слѣжу за нимъ и слегка критикую его. Этою критикою я, такъ сказать, напоминаю о себѣ; я не даю забыть, что существуетъ и другая система, которая состоитъ не столько въ очищеніи воздуха, сколько въ умѣренномъ пользованіи его благорастворенiями. И дѣйствительно, не проходитъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ страсти уже утихли, волненія отчасти усмирены, отчасти подавлены, и существованіе князя Ивана Семеныча само собой утрачиваетъ всякій raison d'être. Напрасно старается онъ устроивать бури въ стаканѣ воды: его время прошло, онъ не нуженъ, онъ надоѣлъ, онъ даже незабавенъ. Тогда опять прихожу я, и опять приношу съ собой свою систему... И, такимъ образомъ, мы чередуемся: сперва я, потомъ князь Иванъ Семенычъ, потомъ опять я, опять князь Иванъ Семенычъ и такъ далѣе... Mais n'est-ce pas que c'est le vrai système?

— Дà; это система... я назвалъ бы ее системою равновѣсія! твердо замѣтилъ я.

— Именно такъ. Именно система равновѣсія. C'est toi qui l'as dit, Gambetta! Pauvre ami! tu n'as pas de système à toi, mais tu as quelquefois des révelations! Ты иногда однимъ словомъ опредѣляешь цѣлое положеніе! Система равновѣсія—c'est le mot, c'est le vrai mot! Сегодня я, завтра опять Иванъ Семенычъ, послѣ завтра опять я — какого еще равновѣсія нужно! Mais revenons à nos moutons, то-есть, къ цѣли твоего посѣщенія. И такъ, ты находишь, что вчера я былъ *къ нимъ* слишкомъ строгъ?

— Дà, строгонекъ-таки...

— Нельзя, mon cher! Ты забываешь, что я имъ же добра *хочу. Нельзя этого* допустить... ты понимаешь: нельзя!

— Но, вѣдь, ты самъ же сейчасъ говорилъ, что твоя «система», между прочимъ, заключается въ томъ, чтобъ «не воспрещать»?

— Ah, mais entendons nous, mon cher! *Прямо* не воспрещать, но и *прямо* не дозволять — voici la formule de mon système. Сверхъ того, ты забываешь еще, что, какъ поправку къ моей системѣ, я допускаю періодическое вмѣшательство князя Ивана Семеныча — а это очень важно! Ah, c'est très grave, mon cher! потому что безъ князя Ивана Семеныча tout mon système s'écroule et s'évanouit! Я необходимъ, но и князь Иванъ Семенычъ... o! онъ тоже въ своемъ родѣ... ah! c'est une utilité! c'est une très grande utilité!

— Послушай, однакожь! Сообрази, чего же онѣ собственно хотятъ?

— Онѣ хотятъ извратить характеръ женщины—excusez du peu! Представь себѣ, что онѣ достигнутъ своей цѣли, что всѣ женщины вдругъ разбредутся по академіямъ, по университетамъ, по окружнымъ судамъ... что̀ тогда будетъ? Où sera le plaisir de la vie? Что̀ станется съ нами? съ тобой, со мной, которые не можемъ существовать безъ того, чтобъ не *баловать* женщину?

Вопросъ, предложенный Тебеньковымъ, нѣсколько сконфузилъ меня. Признаюсь, онъ и мнѣ нерѣдко приходилъ въ голову, но я какъ-то всегда отлынивалъ отъ его разрѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ станется со мной, если женщины будутъ пристроены къ занятію? Кого я буду баловать? Теперь, покуда женскій вопросъ еще находится на старомъ положеніи, я знаю, гдѣ мнѣ «въ минуту жизни грустную» искать утѣшенія. Когда мнѣ горько жить, или просто когда мое сердце располагается къ чуствительности, я ищу женскаго общества, и знаю навѣрное, что тамъ обрѣту забвеніе всѣхъ несносностей, которыя

отуманиваютъ мое существованіе ici-bas. Тамъ я найду ту милую causerie, полную неуловимыхъ petits riens, которая, не прибавляя ничего существеннаго къ моему благополучію, тѣмъ не менѣе, разливаетъ извѣстный bien-être во всемъ моемъ существѣ и помогаетъ мнѣ хоть на время забыть, что я не болѣе, какъ печальный осколокъ сороковыхъ годовъ, живущій воспоминаніемъ прошлыхъ лучшихъ дней и тщетно усиливающійся примкнуть къ настоящему, съ его «шумомъ» и его «crudités». Тамъ, я отдохну душой, въ самомъ изящномъ значеніи этого слова. Тамъ, на этихъ волнахъ кружевъ и блондъ, на этомъ граціозномъ смѣшеніи бархата и атласа мой взоръ успокоится отъ сермяжныхъ впечатлѣній дѣйствительности. Тамъ, я найду тотъ милый обманъ, то чудесное смѣшеніе идеальнаго и реальнаго, котораго такъ жаждетъ душа моя и котораго, конечно, не дадутъ никакіе диспуты о прародителяхъ человѣка. Тамъ все уютно, все тепло; тамъ и свѣтъ не рѣжетъ глазъ, и тѣни ложатся мягче, ровнѣе. И всего этого вдругъ не будетъ?! И на мой вопросъ: дома ли Катерина Михайловна? — Мнѣ отвѣтятъ: Онѣ сегодня въ окружномъ судѣ мясниковское дѣло защищаютъ!? Что̀ со мной станется, когда всѣ эти petits riens исчезнутъ, уступивъ мѣсто крикливымъ возгласамъ о фаллопіевыхъ трубахъ и объ околоплодной жидкости? Кого я буду баловать? Передъ кѣмъ стану сжигать ѳиміамъ моего сердца? Кому буду дарить конфекты? Кого стану называть «belle dame»?

Но развѣ надо мной однимъ стрясется бѣда — что̀ будетъ съ литературой, съ романомъ? Если бездѣлица отойдетъ на второй планъ, о чемъ будутъ трактовать романисты? Что̀ ни говори, ка̀къ ни притворяйся романистъ публицистомъ и гражданиномъ, ему никогда не скрыть, *что настоящая болячка* его сердца — это, всетаки, улуч-

шеніе быта бездѣлицы. Не будетъ дѣвицъ, томящихся подъ сѣнью развѣсистыхъ липъ въ ожиданіи ковалеровъ, не будетъ дамъ, изнемогающихъ въ напрасной борьбѣ съ адюльтеромъ—не будетъ и романа! Вотъ что̀ ясно для меня, какъ дважды-два. Но, ради самого Бога, что̀ же тогда будетъ? Кто меня утѣшитъ? кто заставитъ пролить слезу! Нѣтъ! ежели не ради себя, то ради романа, ради «изящной словесности» — я протестую!! Возьмите все, что̀ угодно! Попирайте авторитеты! подкапывайтесь подъ основы! Оспоривайте русское происхожденіе Микулы Селяниновича! но сохраните дѣвицъ, глядящихъ на большую дорогу, по которой имѣютъ обыкновеніе пріѣзжать кавалеры, и дамъ, выходящихъ на борьбу съ адюльтеромъ! Ah, c'est si joli — une femme qui reste indécise entre le devoir et l'adultère! Сколько тутъ перипетій! сколько непредвидѣннаго! Какая горькая, почти безнадежная борьба! Даже суровые моралисты—и тѣ поняли, какъ великъ предстоящій въ этомъ случаѣ женщинѣ жизненный подвигъ, и потому назвали побѣду надъ адюльтеромъ — *торжествомъ добродѣтели.* Вотъ эта женщина «добродѣтельна», говорятъ они, ибо съ успѣхомъ боролась въ Чугуевѣ съ цѣлымъ штабомъ военныхъ поселеній. А вотъ эта женщина не можетъ быть названа «добродѣтельною», потому что не могла устоять передъ настойчивостью одного землемѣра... Однимъ словомъ, всякая женская «добродѣтель» заключена тутъ, въ этомъ ограниченномъ, завѣтномъ кругѣ...

— И за всѣмъ тѣмъ, я, всетаки, снисходителенъ, продолжалъ мой другъ: — до тѣхъ поръ, пока онѣ разглагольствуютъ и сотрясаютъ воздухъ междометіями, я готовъ смотрѣть на ихъ домогательства сквозь пальцы. Mais malheur à elles, если онѣ начнутъ обобщать эти домо

гательства и пріискивать для нихъ надлежащую формулу... ah, qu'elles y prennent garde.

— Но, вѣдь, онѣ ничего же и не формулируютъ?

— Гм... ты думаешь! Ты полагаешь, что женскій вопросъ, по ихъ мнѣнію, въ томъ только и состоитъ, чтобъ женщины получили доступъ въ телеграфистки и къ слушанію университетскихъ лекцій? Ты серьёзно такъ полагаешь?

— Позволь! дѣло не въ томъ, какъ я или онѣ полагаютъ, а въ томъ, чѣмъ онѣ *ограничиваютъ* свои домогательства!

— A d'autres, mon cher! Un vieux sournois comme moi ne se laisse pas tromper si facilement! Сегодня къ вамъ лѣзутъ въ глаза съ какою-нибудь медико-хирургическою академіею, а завтра на сцену выступитъ уже вопросъ объ отношеніяхъ женщины къ мужчинѣ и т. д. Connu!

— Да не выступитъ этотъ вопросъ! А ежели и выступитъ, то именно только, какъ теоретическій вопросъ, который нелишне обсудить! Ты знаешь, какъ онѣ охотно становятся на отвлеченную точку зрѣнія! Вѣдь, въ ихъ глазахъ, даже мужчина—только вопросъ, и больше ничего!

— Дà; но вотъ это-то именно и опасно. C'est justement là que git le danger. Въ твоихъ глазахъ, абстрактность — смягчающее обстоятельство, въ моихъ — это обстоятельство усугубляющее. Еслибъ онѣ разрѣшили этотъ вопросъ практически, каждая сама для себя — ça serait une question de tempérament, et voilà tout. Но онѣ хотятъ, чтобъ имъ разрѣшеніе на бумажкѣ было написано! Онѣ *законовъ* требуютъ! Понимаешь ли: онѣ хотятъ, чтобъ законодатель взялъ въ руки перо и написалъ: позволяется à ces demoiselles и т. д. Нѣтъ-съ! Этого *нельзя-съ!*

Опять мысль, и опять откровеніе! Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, *онѣ* какъ будто о томъ больше хлопочутъ, чтобъ было что̀ то на бумажкѣ написано? Ихъ интригуетъ не столько фактъ, сколько то, что вотъ въ такой-то книжкѣ объ этомъ такъ-то сказано! Спрашивается: необходимо ли это, или же представляется достаточнымъ, просто безъ всякихъ законовъ, признать совершившійся фактъ, да и дѣло съ концомъ?

— Наши дамы давно ужь порѣшили съ этимъ вопросомъ, и міръ ни мало не пострадалъ отъ этого! продолжалъ ораторствовать Тебеньковъ.—Надняхъ, la princesse Nathalie—tu sais qu'il lui arrive quelquefois d'avoir des moments de charmante intimité avec ses amis!—сказала мнѣ: mon cher! nous autres, femmes du monde, nous avons depuis longtems tranchée la question! Nous ne faisons pas de radottages, mais nous agissons!

— La princesse Nathalie! est-ce possible? Une «sainte»!

— Да-съ, une «sainte»! Et elle a parfaitement raison, la belle princesse! Потому что, вѣдь, ты понимаешь, что ежели извѣстныя формы общежитія становятся слишкомъ узкими, то весьма естественно, что является желаніе расширить ихъ. Не объ этомъ споръ: это давно всѣми признано, подписано и рѣшено. Saperlotte! не дѣлаться же монахиней изъ-за того только, чтобъ князь Левъ Кирилычъ имѣлъ удовольствіе свободно надѣвать на голову свой ночной колпакъ! Но *какъ* расширить эти формы—вотъ въ чемъ весь вопросъ! Voici la grrande, la grrrandissime quéstion!

— Стало быть, по твоему, лучшее средство—это протестовать на манеръ «Belle Helène»?

— А ты шутишь съ «Belle Helène»? Нѣтъ, ты подумай! Вотъ онъ, протестъ-то, съ которыхъ поръ начался! и замѣть: въ этой формѣ никто никогда не видѣлъ въ

немъ ни малѣйшей опасности. Еще во времена троянской войны женскій вопросъ былъ уже рѣшенъ, но рѣшенъ такъ ловко, что это затрогивало только одного Менелая. Ménélas! on s'en moque—et voilà tout! Всѣ эти Фрины, Лаисы, Аспазіи, Клеопатры — что̀ это такое, какъ не прямое разрѣшеніе женскаго вопроса? А *они* волнуются, требуютъ какихъ-то разъяснительныхъ правилъ, говорятъ: напишите намъ все это на бумажкѣ! Согласись, что это нѣсколько странно? Согласенъ?

— Да̀... для «Belle Helène»... дѣйствительно, едва ли требуются разъяснительныя правила!

— Ну, вотъ видишь! А *они* сохнутъ о правилахъ! Мы всѣ, tant que nous sommes, понимаемъ, что первозданная Таутова азбука отжила свой вѣкъ, но, какъ люди благоразумные; мы говоримъ себѣ: зачѣмъ подрывать то, что̀ и безъ того стоитъ еле живо, но на чемъ покуда еще виситъ проржавѣвшая отъ времени вывѣска съ надписью: «Здѣсь начинается царство запретнаго»? Зачѣмъ публично и съ какимъ-то дурнымъ шикомъ вторгаться въ предѣлы этого царства, коль скоро мы всѣмъ этимъ quasi-запретнымъ можемъ пользоваться подъ самыми удобными псевдонимами? Для бо̀льшей вразумительности, приведу тебѣ хоть слѣдующій примѣръ. И ты, и я; и всѣ мы, люди современной интеллигенціи, любимъ отъ времени до времени посѣщать театръ Берга. Для чего мы ѣздимъ туда? что̀ привлекаетъ насъ?—Это, конечно, наше личное дѣло. И вдругъ, выискивается какой-нибудь intrus и выпаливаетъ намъ въ упоръ: вы, господа, ѣздите къ Бергу смотрѣть, какъ француженки юпки поднимаютъ! Согласись, что это было бы крайне непріятно! По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я сразу осадилъ бы наглеца. «Нѣтъ, милостивый государь! *сказалъ бы я,* вы ошибаетесь! я хожу къ Бергу

совсѣмъ не для юпокъ и проч., а для того, чтобъ видѣть французскую веселость, la bonne et franche gaité française!» Понимаешь? *Онъ* сказалъ: юпки поднимаютъ, а *я* ему отвѣтилъ: французская веселость. Вотъ это-то и есть псевдонимъ, одинъ изъ тѣхъ псевдонимовъ, которые позволяютъ намъ не слишкомъ тяготиться игомъ первозданной Таутовой азбуки!

Тебеньковъ говорилъ такъ убѣдительно и, въ то же время, такъ просто и мило, что мнѣ оставалось только удивляться: гдѣ почерпнулъ онъ такія разнообразныя свѣдѣнія о Таутѣ, Фринѣ, Клеопатрѣ и проч.? Ужели все въ томъ же театрѣ Берга, который уже столь многимъ изъ насъ послужилъ отличнѣйшею воспитательной школой?

— Жизнь наша полна подобнаго рода экскурсій въ область запретнаго, или, лучше сказать, вся она — не что̀ иное, какъ сплошная экскурсія. Азбука говоритъ, напримѣръ, очень ясно, что всѣ дѣти имѣютъ равное право на заботы и попеченія со стороны родителей, но еслибы я или ты дали одному сыну рубль, а другому грошъ, то развѣ кто-нибудь позволилъ бы себѣ сказать, что подобное дѣйствіе есть прямое отрицаніе семейственнаго союза? Нѣтъ, всякій сказалъ бы себѣ: это только экскурсія въ область запретнаго, экскурсія, въ которой всякій смертный можетъ встрѣтить нужду! Другой примѣръ: кто не знаетъ, что похищеніе чужой собственности есть прямое нарушеніе гражданскихъ законовъ, но ежели бы X., благодаря какимъ-нибудь формальнымъ упущеніямъ со стороны Z., оттягалъ у послѣдняго съ плечъ рубашку, развѣ кто нибудь скажетъ, что такой исходъ процесса есть отрицаніе права собственности! Нѣтъ, всякій выразится, что и это только экскурсія, въ которой каждый смертный можетъ встрѣтить нужду! Представь же

себѣ теперь, что вдругъ выступаетъ впередъ наглецъ и, заручившись этими фактами, во все горло оретъ: господа! посмотрите-ка! вѣдь, собственность-то, семейство-то, основы-то ваши... фюью! Не вправѣ ли мы будемъ замазать этому человѣку ротъ и сказать: «дуракъ! чему обрадовался! догадался?! велика штука! ты догадался, а мы и подавно! Только мы не хотимъ, чтобъ ты насъ безпокоилъ! Не безпокой насъ, ибо дураковъ-горлановъ на цѣпь сажаютъ!» Но, впрочемъ, pardon, cher! Я, кажется, слишкомъ заболталъ тебя этими mesquineries, которыя слывутъ у насъ подъ пышнымъ именемъ «вопросовъ».

— Ахъ, нѣтъ! нѣтъ! сдѣлай милость! Съ твоей стороны это такая откровенность! такая, можно сказать, драгоцѣннѣйшая откровенность!

— Итакъ, continuons. Я самъ не дорого цѣню эту первозданную азбуку, и очень хорошо понимаю, что стòитъ ткнуть въ нее пальцемъ—и она развалится сама собой. Но для черни, mon cher, это неоцѣненнѣйшая вещь! Представь себѣ, что вдругъ *всѣ* сказали бы, что запретнаго нѣтъ — вѣдь, это было бы новое нашествіе печенѣговъ! Вѣдь, они подвергли бы домà наши разграбленію, они осквернили бы нашихъ женъ и дѣвъ, они уничтожили бы всѣ памятники цивилизаціи! Но, Dieu merci, этого нѣтъ и не будетъ, потому что это запрещено. Они знаютъ, saperlotte! что въ каждой губерніи существуетъ окружной судъ, а въ иныхъ даже по два и по три, и что при каждомъ судѣ имѣется прокуроръ, который относительно печенѣговъ неумолимъ. Вотъ это-то именно и заставляетъ меня видѣть въ первозданной азбукѣ нѣкотораго рода палладіумъ. Я говорю себѣ: свойства этой азбуки таковы, что для меня лично она можетъ служить только огражденіемъ отъ печенѣжскихъ на-

бѣговъ — съ какой же стати я буду настаивать на ея упраздненіи?

— Позволь, душа моя! Я понимаю твою мысль: если *всѣ* захотятъ имѣть безпрепятственный входъ къ Бергу, то, понятно, что твои личныя желанія въ этомъ смыслѣ уже не найдутъ такого полнаго удовлетворенія, какое они находятъ теперь. Но, признаюсь, меня страшитъ одно: а что̀ если они, то-есть, печенѣги... тоже начнутъ вдругъ настаивать?

— Impossible! это именно тотъ предразсудокъ, который уже не разъ ввергалъ въ бездну гибели цѣлыя націи. Съ тѣхъ поръ, какъ печенѣги перестали быть номадами, ихъ нѐчего опасаться. У нихъ есть осѣдлость, есть домъ, поле, домашняя утварь, и хотя все это, вмѣстѣ взятое, сто̀итъ двугривенный, но, вѣдь, для человѣка, невидавшаго ни гроша, и двугривенный уже представляетъ довольно солидную цѣнность. Сверхъ того, они «боятся», и что̀ всего замѣчательнѣе, боятся именно того, что̀ всего менѣе способно возбуждать страхъ въ мыслящемъ человѣкѣ. Они боятся грома, боятся домовыхъ, боятся свѣтопреставленія. Et plus ils sont bêtes, plus ils sont souples. Слѣдовательно, самая лучшая внутренняя политика относительно печенѣговъ — это разъ навсегда сказать себѣ: чѣмъ меньше имъ давать, тѣмъ больше они будутъ упорствовать въ удовольствіи. Я либералъ, но мой взглядъ на печенѣговъ до такой степени ясенъ, что самъ князь Иванъ Семенычъ, конечно, позавидовалъ бы ему, если онъ могъ понять, въ чемъ состоитъ настоящій, разумный либерализмъ. Печенѣгъ смиренъ, покуда ему ничего не даютъ. Какъ только ему попало что̀-нибудь на зубы—онъ дѣлается ненасытенъ, et puis — c'est fini! L'histoire des peuples est là pour attester la vérité de ce que j'avance!

— Такъ ли это, однакожь? Вотъ у меня былъ знакомый, который тоже такъ думалъ: попробую-молъ я не кормить свою лошадь: можетъ быть, она и привыкнетъ! И точно, дней шесть не кормилъ, и только-что, знаешь, успѣлъ сказать: ну, слава Богу! кажется, привыкла!—анъ лошадь-то возьми да и издохни!

— Гм... да... ты все смѣешься, Гамбетта! А знаешь ли ты, что эта смѣшливость очень и очень тебѣ вредитъ! Tu ne parviedras jamais—и я первый объ этомъ жалѣю, parceque tu as quelque fois des idées. Даже наши либералы, и тѣ выражаются о тебѣ: ce n'est pas un homme sérieux! Разумѣется, я заступаюсь за тебя, сколько могу. Я всѣмъ и всегда говорю: въ государствѣ, господа, и въ особенности въ государствѣ обширномъ, и Гамбетта имѣетъ право на существованіе! — но, вѣдь, противъ общаго установившагося мнѣнія и мое заступничество безсильно!

Сдѣлавши этотъ выговоръ, Тебеньковъ такъ дружескимило подалъ мнѣ руку, что я самъ созналъ все неприличіе моего поведенія и далъ себѣ слово никогда не разсказывать анекдотовъ, когда идетъ рѣчь о выѣденномъ яйцѣ.

— Затѣмъ, возвратимся вновь къ такъ-называемому женскому вопросу и постараемся придти къ заключенію. Я утверждалъ, что вопросъ этотъ давнымъ-давно разрѣшенъ, и берусь подтвердить эту мысль примѣрами. Оглянись кругомъ: la princesse de P., baronne de K., наконецъ, Катерина Михайловна, наша добрѣйшая Катерина Михайловна — развѣ не разрѣшили онѣ этого вопроса совершенно и опредѣленно и къ полному своему удовольствію? Что онѣ не посѣщаютъ медико-хирургической академіи — mais c'est sinmplement parcequ'elles s'en moquent bien... de l'academie! А еслибы захотѣли, то и въ

академію бы ѣздили и никто бы не имѣлъ ничего сказать противъ этого! А почему никто ничего не сказалъ бы? потому просто, что всякій понялъ бы, что это одинъ изъ тѣхъ jolis caprices de femme, которымъ уже потому одному нельзя противорѣчить, что ce que femme veut, Dieu le veut.

— Но коли такъ, то почему же не удовлетворить желанію этихъ demoiselles, которыхъ ты слышалъ вчера?

— Да именно потому, что въ первомъ случаѣ c'est un de ces jolis caprices, que toute femme a le droit d'avoir. Женщина, и въ особенности хорошенькая, имѣетъ право быть капризною — это ея привилегія. Если она можетъ *вдругъ* пожелать парюру въ двадцать тысячъ, то почему же *вдругъ* не пожелать ей посѣтить медицинскую академію? И вотъ она желаетъ, но желаетъ такъ мило, что достоинство женщины ни мало не терпитъ отъ этого. Напротивъ, тутъ-то именно, въ этомъ оригинальномъ желаніи, и выступаетъ та женственность, которую мы, мужчины, такъ цѣнимъ. La baronne de K., слушающая господина Сѣченова—можно ли вообразить себѣ quelque chose de plus gracieux, de plus piquant?! Поэтому, я нетолько не буду препятствовать желанію баронессы, но самъ поѣду сопровождать ее, самъ предупрежу господина Сѣченова. Monsieur! lui dirai-je, la baronne est bonne fille! Elle ne déteste point les crudités, mais à condition qu'on sache leur donner une forme piquante, qui permette à son sentiment de femme de ne pas s'en formaliser! Затѣмъ, мы ѣдемъ, мы беремъ съ собой Катерину Михайловну и ея jeunes gens, мы садимся на тройки, устроиваемъ quelque chose comme un piquenique, и выслушиваемъ курсъ физіологіи à l'usage des dames et des demoiselles, который г. Сѣченовъ прочтетъ намъ. Оттуда — къ Дороту, или въ другой какой-нибудь каба-

чекъ. Вотъ и все. О томъ, чтобъ интернировать господина Сѣченова въ сердцахъ нашихъ дамъ, о томъ, чтобы сдѣлать его лекціи настольной книгой нашихъ будуаровъ, о томъ, чтобъ укоренить въ нашихъ салонахъ физіологическій жаргонъ — нѣтъ и помину. Мы разрѣшили женскій вопросъ, мы узнали comment cela leur arrive — этого съ насъ довольно! Напротивъ того, дѣвицы, въ обществѣ которыхъ мы находились вчера, о томъ только и думаютъ, чтобы навсегда интернировать господина Сѣченова въ своемъ домашнемъ обиходѣ. Чистота женскаго чувства, ce sentiment de pudeur qui fait monter le feu au visage d'une femme, это благоуханіе невѣдѣнія, эта прелесть непочатости — elles mettent tout ça hors de cause! Онѣ требуютъ господина Сѣченова tout de bon, et elles trainent le reste dans la fange! Halte là, mesdames!

— Но, всетаки, нѣтъ же прямого повода называть ихъ неблагонамѣренными? Онѣ любятъ Сѣченова, но, вѣдь, онѣ не неблагонамѣренныя! Не правда ли? Вѣдь, ты согласенъ со мной?

— «Неблагонамѣренныя» — это слишкомъ сильно сказано, j'en conviens. Mais ce sont des niaises—отъ этого слова я никогда не откажусь. Это какія-то утопистки стенографистики и телеграфистики! А утопизмъ, mon cher, никогда до добра не доводитъ. Можно упразднять азбуку de facto: взялъ и упразднилъ—это я понимаю, но чтобъ придти и требовать какихъ-то законовъ объ упраздненіи— c'est tout bonnement exorbitant.

Я задумался. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ дожидаться закона объ упраздненіи, когда никто не препятствуетъ de facto совершить самый актъ упраздненія? Вѣдь, вотъ и la princesse de P. и la baronne de K. и, наконецъ, наша милѣйшая Катерина Михайловна — вѣдь, упраздняютъ же онѣ! О Надинька Лаврецкая! о Гапочка Перерепенко!

Вы, которыя чуть не пѣшкомъ прибѣжали въ Петербургъ изъ вашихъ захолустьевъ, ради разрѣшенія женскаго вопроса — вы не понимаете, что вопросъ этотъ разрѣшается такъ легко! Стòитъ только подобрать компанію jeunes gens bien, bien comme il faut, затѣмъ, нанять нѣсколько троекъ и покатить, съ бубенчиками, прямо въ театръ Берга, эту наицѣлесообразнѣйшую медико-хирургическую академію à l'usage des dames et des demoiselles! Тамъ дѣвица Филиппо прочтетъ вамъ лекцію: «L'impôt sur les celibataires», а дѣвица Лафуркадъ, пропѣвъ «A bas les hommes!», вмѣстѣ съ тѣмъ, провозгласитъ и окончательную эмансипацію женщинъ...

Тебеньковъ, между тѣмъ, торжествовалъ. Онъ замѣтилъ мое раздумье, и до того увѣровалъ въ неотразимую убѣдительность своихъ доводовъ, что все лицо его какъ бы сіяло вдохновеніемъ.

— Я не называю ихъ неблагонамѣренными, говорилъ онъ: — à Dieu ne plaise! Но полиція, mon cher! полиція не можетъ быть либеральною, какъ я, или ты! Она не имѣетъ права тернѣть, чтобъ общественная нравственность была подрываема,. такъ сказать, при свѣтѣ дня. Она смотритъ сквозь пальцы, она благосклонно толерируетъ, когда ты, я, всякій другой, наконецъ, разрѣшаемъ женскій вопросъ келейнымъ образомъ и на свой страхъ. Но когда мы выходимъ изъ нашей келейности и съ дерзостью начинаемъ утверждать, что разговоръ объ околоплодной жидкости есть единственный, достойный женщины разговоръ — alors la police intervient et nous dit: halte là, mesdames et messieurs! réspéctons la morale et n'embêtons pas les passans par des mesquineries inutiles! Согласись, что оно и не можетъ быть иначе!

— Да какъ бы тебѣ сказать... оно точно... на практикѣ оно такъ и бываетъ!

— Нѣтъ, не «бываетъ», а «должно быть», не можетъ иначе быть! Ты, Гамбетта, неисправимъ! Ты думаешь, что то, что̀ совершается такъ, а не иначе, совершается по какому-то озорству! Нѣтъ, оно совершается такъ, потому что не можетъ иначе совершиться. L'histoire a sa logique, mon cher, и для какихъ-нибудь двухъ-трехъ десятковъ дѣвицъ не можетъ измѣнить свое величественное теченіе! Не расплывайтесь, messieurs! Помните, что наше время — не время широкихъ задачъ! Вотъ лозунгъ, къ которому пришла вся наша либеральная партія, et tant qu'elle restera dans ces convictions, la police n'aura rien à y redire! Но, впрочемъ, къ чему продолжать безплодный разговоръ! Чтобъ убѣдить тебя нагляднымъ образомъ, на сколько эти дамы не правы, добиваясь какого-то разрѣшенія женскаго вопроса, тебѣ достаточно пройтись со мной по Невскому и потомъ зайти позавтракать къ Дюсо̀. Здѣсь, ты на каждомъ шагу десять разъ убѣдишься, что женскій вопросъ давнымъ-давно разрѣшенъ, и, притомъ, самымъ радикальнымъ образомъ. И такъ, идемъ. Кстати, ужь третій часъ, а это именно моментъ моей прогулки и моего завтрака... .

День стоялъ сѣрый, не холодный, но съ легкимъ морозцемъ, одинъ изъ тѣхъ дней, когда Невскій, около трехъ часовъ, гудитъ народомъ. Слышалось бряцаніе палашей, шарканье калошъ, постукиванье палокъ. Пестрая говорящая толпа наполняла тротуаръ солнечной стороны, сгущаясь около особенно бойкихъ мѣстъ и постепенно рѣдѣя по мѣрѣ приближенія къ Аничкину мосту. Тамъ и сямъ истово выступали «наши дамы», окруженныя молоденькими послѣдняго выпуска офицерами и сопровождаемыя лакеями въ богатыхъ ливреяхъ. Между ними, словно

ящерицы, проползали ревнительницы женскаго вопроса, по поводу которыхъ у насъ чуть-чуть не произошла ссора съ Тебеньковымъ, бойко стуча каблучками и держа подъ мышками книги. Сановники faisaient leur tournée de matin, и нѣкоторые изъ нихъ очень мило вставляли въ глазъ стеклышко и не безъ пріятности фредонировали: J'ai un pied qui r'mue! Четыре брата С. видѣлись на всѣхъ перекресткахъ и своимъ сходствомъ вводили проходящихъ въ заблужденіе. Дѣловой людъ не показывался, или жался къ стѣнамъ домовъ. Напротивъ, гулящій людъ шелъ вольно, цѣлыми шеренгами и партіями, заложивъ руки въ карманы и занимая всю середину тротуара. У Полицейскаго моста остановились два бывшіе губернатора и объясняли другъ другу, какъ бы они въ данномъ случаѣ поступили. Выходецъ изъ провинціи, въ фуражкѣ съ краснымъ околышкомъ, съ широкимъ затылкомъ, съ трепещущимъ подъ кашнѐ кадыкомъ и съ осовѣлыми глазами, уставился противъ елисеевскихъ оконъ и только-что не вслухъ думалъ: хорошо бы тутъ родиться, тутъ получить воспитаніе, тутъ жениться и тутъ умереть, буде безсмертіе не дано человѣку! Передъ магазиномъ эстамповъ остановилась цѣлая толпа и глядѣла на эстампъ, изображавшій дѣвицу съ поднятою до колѣнъ рубашкою; внизу эстампа было подписано: «L'oiseau envolé». Изъ ресторана Доминика выходили полинялыя личности, жертвы страсти къ билліярду и къ желудочной. По серединѣ улицы царствовала сумятица въ полномъ смыслѣ этого слова. Кареты, сани, дилижансы, желѣзнодорожные вагоны — все это появлялось и исчезало, какъ въ сонномъ видѣніи. Въ самомъ разгарѣ суматохи, рискуя передавить пѣшеходовъ, мчались на тысячныхъ рысакахъ молодые люди, обгоняя кокотокъ, которыхъ коляски и соболя зажигали неугасимое пламя зависти въ сердцахъ «нашихъ

дамъ». Газъ въ магазинахъ еще не зажигался, но по мѣстамъ изъ-за оконъ уже виднѣлась протягивающаяся къ газовому рожку рука. Еще минута — и весь Невскій загорится огнями, а вмѣстѣ съ огнями моментально исчезнетъ и та пестрая, фантастическая публика, которая переполняетъ теперь его тротуары...

Группа 1-я.

На углу Большой Конюшенной; шеренга изъ четырехъ молодыхъ людей неизвѣстнаго оружія.

1-й молодой человѣкъ (*докторальнымъ тономъ*). Чтобъ утверждать что̀-нибудь, надо прежде всего знать то, что̀ утверждаешь. Вѣдь, ты незнакомъ съ Муриными?

2-й молодой человѣкъ. Я... да... нѣтъ... но я слышалъ... quelqu'un qui est très intime dans la maison m'a raconté...

1-й молодой человѣкъ. Ну, вотъ видишь! ты только слышалъ, а утверждаешь! И что̀ ты утверждаешь? Qu'Olga est jusqu'à nos jours fidèle à son grand dadais de colonel! Olga! je vous demande un peu, si ça a le sens commun!

Группа 2-я.

У Казанскаго моста; трое штатскихъ молодыхъ людей.

1-й молодой человѣкъ. И представь себѣ: сразу!

2-й и 3-й молодые люди (*вмѣстѣ*). Pas possible!

1-й молодой человѣкъ. Я самъ не успѣлъ хорошенько понять, что̀ со мной дѣлается, какъ ужь былъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ!

Группа 3-я.

У Михайловской; два несомнѣнные кавалериста.

Первый. И мужъ, ты говоришь, въ сосѣдней комнатѣ.. *ха, ха!*

Второй. Да̀, въ сосѣдней комнатѣ, за преферансомъ сидитъ. И мы слышимъ, какъ онъ говоритъ: пассъ!!

Первый. Ah, c'est unique!

Группа 4-я.

У одной изъ Садовыхъ; начальникъ и подчиненный.

Подчиненный. Онъ, вашество, ка̀къ мѣсто-то получилъ? Вы Глафиру-то Ивановну изволите знать?

Начальникъ. Какъ же! какъ же! Хорошенькая! Ахъ! да, вѣдь, она съ графомъ Николаемъ Петровичемъ... по-ни-маю!

Подчиненный. Ну вотъ-съ! ну вотъ-съ! ну вотъ-съ!

Начальникъ. Пон-ни-маю!!

. . . . . .

Группа 5-я.

У подъѣзда Дюсо̀. Тебеньковъ и я.

Тебеньковъ. А ты еще сомнѣвался, что женскій вопросъ рѣшенъ! Давно, mon cher! Еще «Прекрасная Елена» — ужь та порѣшила съ нимъ!

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ.

21-го іюля, наканунѣ своихъ имянинъ, Марья Петровна Воловитинова съ самаго утра находится въ тревожномъ ожиданіи. Она лично надзираетъ за тѣмъ, какъ горничныя убираютъ комнаты и устроиваютъ постели для дорогихъ гостей.

— Пашенькѣ-то! Пашенькѣ-то! подушечку-то маленькую не забудьте подъ бочекъ положить! командуетъ она направо и налѣво.

— А Семену Иванычу гдѣ постелить прикажете? спрашиваетъ ее ключница Степанида.

— Ну, Сеничка пусть съ Петинькой поспитъ! отвѣчаетъ она послѣ минутнаго колебанія.

— А то, угольная порожнемъ стоитъ?

— Нѣтъ, пусть ужь, Христосъ съ нимъ, съ Петинькой поспитъ!.. Ѳединькѣ-то! Матрена! Ѳединькѣ-то не забудьте, чтобъ графинъ съ квасомъ на ночь стоялъ!

— А перинку какую Семену Иванычу прикажете?

— Попроще, Степанидушка, попроще! изъ тѣхъ... знаешь? отвѣчаетъ Марья Петровна, томно вздыхая.

Сдѣлавъ эти распоряженія, Марья Петровна удаляется

въ дѣвичью, гдѣ ждетъ ее поваръ съ разложенною на столъ провизіей.

— Я сегодня дорогихъ гостей къ себѣ жду, Аѳоня! говоритъ она повару.

— Слушаю-съ.

— Такъ какъ же ты думаешь, что̀ бы намъ такое сготовить, чтобъ дорогихъ гостей порадовать?

— На холодное галантиръ можно-съ.

— Что̀ это, Господи! только и словъ у тебя, что галантиръ да галантиръ!

— Какъ вамъ угодно-съ.

— Нѣтъ, ужь ты лучше... да что̀ ты жуешь? что̀ ты все жуешь? Аѳоня проворно подноситъ ко рту руку и что̀-то выплевываетъ.

— Тараканъ залѣзъ-съ! отвѣчаетъ онъ.

— Ахъ ты, дурной, дурной (Марья Петровна рѣшилась не омрачать праздника крѣпкими словами)! Вѣрно ужь клюкнулъ?

— Виноватъ-съ.

— Вотъ то-то вы, дурачки! огорчаете вы вашу старую барыню, а потомъ и заѣдаете всякой дрянью!

— Виноватъ-съ.

— Ты бы вотъ, дурачекъ, подумалъ, что завтра-молъ день барынина ангела: чѣмъ бы-молъ мнѣ ее, матушку, порадовать!

— Виноватъ-съ...

— Молчать! Что̀ ты, подлецъ, какую власть надо мной взялъ! я слово, а онъ два! я слово, а онъ два!.. Такъ вотъ ты бы и подумалъ: что бы-молъ такое сготовить, чтобъ барыни передъ дорогими гостями не совѣстно было! а ты, вмѣсто того, галантиръ да галантиръ!

— Можно ветчину съ горошкомъ подать-съ! отвѣчаетъ поваръ съ нѣкоторымъ озлобленіемъ.

— Ну да; ну, хоть ветчину съ горошкомъ... а съ боковъ-то котлеточекъ...

Марья Петровна высчитываетъ, сколько у нея будетъ гостей. Будутъ: Ѳединька, Митенька и Пашенька; еще будетъ Сеничка, но его Марья Петровна почему-то пропускаетъ.

— Такъ ты три котлеточки къ одному боку положи, говоритъ она: — ну, а на горячее что̀?

— Щи изъ свѣжей капусты можно сдѣлать-съ.

Марья Петровна разсчитываетъ; свѣжей капусты еще мало, а щи надобно будетъ всѣмъ подавать.

— Щи ты изъ крапивы сдѣлай! или нѣтъ, вотъ что̀: сдѣлай ты щи изъ крапивы для всѣхъ, да еще маленькой горшочекъ изъ свѣжей капусты... понимаешь?

— Слушаю-съ.

— А на жаркое сдѣлай-ты намъ баранинки, а съ боку положи три бекасика...

— Можно-съ.

— А пирожное, ужь такъ и быть, общее: малиновый пирогъ! И я, старуха, съ ними полакомлюсь!

Кончивши съ поваромъ, Марья Петровна призываетъ садовника, который приходитъ съ горшками, наполненными фруктами. Марья Петровна раскладываетъ ихъ на четыре тарелки, по ровну на каждую и въ заключеніе, отобравъ особо самые лучшіе фрукты, отправляется съ ними по комнатамъ дорогихъ гостей. Каждому изъ нихъ она кладетъ въ потаенное мѣсто по нѣскольку отборныхъ персиковъ и сливъ, исключая Сенички, около комнаты котораго Марья Петровна, хотя и останавливается на минуту, какъ бы въ борѣніи, но выходитъ изъ борьбы побѣдительницей.

Марья Петровна женщина очень почтенная; сосѣди знаютъ ее за чадолюбивѣйшую изъ матерей, а отецъ Пав-

линъ, мѣстный сельскій священникъ и духовникъ Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ея всегда съ благопоспѣшеніемъ стремится къ благоутѣшенію ближняго, а десница никогда не оскудѣваетъ благоготовностью къ благоукрашенію храмовъ Божіихъ. Марья Петровна сама знаетъ, что она хорошая женщина, и нерѣдко, находясь наединѣ съ самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразныхъ своихъ добродѣтелей. Сядетъ этакъ у окошечка, раздумается и даже всплакнетъ маленько. Все-то она устроила: Сеничку въ генералы вывела, Митеньку на хорошую дорогу поставила, Ѳединька давно ли изъ корпуса вышелъ, а ужь тоже штабсъ-ротмистръ, Пашенька выдана замужъ за хорошаго человѣка, одинъ только Петинька... «Ну, да этотъ убогонькій, за насъ Богу помолитъ!» думаетъ Марья Петровна: «надо же кому-нибудь и Богу молиться!..» И все-то она одна, все-то своимъ собственнымъ хребтомъ устроила, потому что хоть и былъ у ней мужъ, но покойникъ ни во что̀ не входилъ, кромѣ какъ подавалъ батюшкѣ кадило во время всенощной, да каждодневно вздыхалъ и за обѣдомъ, и за ужиномъ, и за чаемъ о томъ, что не можетъ самъ обѣдню служить. А храмы-то, храмы-то Божіи! тогда-то Марья Петровна пелену на престолъ пожертвовала, тогда-то воздухи прекрасные вышила, тогда-то паникадило посеребрила... Какъ вспомнитъ это Марья Петровна, да сообразитъ, что все это она, одна она сдѣлала и что вся жизнь ея есть не что̀ иное, какъ рядъ благопотребныхъ подвиговъ, такъ у ней все внутри и заколышется, и сдѣлается она тихонькая-растихонькая, Агашку называетъ Агашенькой, Степашку — Степанидушкой, и все-то о чемъ-то сокрушается, все-то благодушествуетъ.

У Марьи Петровны три сына: Сеничка, Митенька и

Ѳединька; были еще двѣ замужнія дочери, но обѣ умерли, оставивъ послѣ себя Пашеньку (отъ старшей дочери) и Петиньку (отъ младшей).

Сеничка, какъ сказано выше, уже генералъ (разумѣется, штатскій) и занимаетъ довольно видный постъ въ служебной іерархіи. Начальники Сенички не нахвалятся имъ; мало того, что онъ держитъ въ страхѣ своихъ подчиненныхъ, но, что̀ всего драгоцѣннѣе, самъ повиноваться умѣетъ. Окончивъ съ успѣхомъ курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, Сеничка съ гордостью могъ сказать, что ни одного чина не получилъ за выслугу, а все за отличіе, и, наконецъ, тридцати лѣтъ отъ роду довелъ свою исполнительность до того, что начальство нашлось вынужденнымъ наградить его чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Поздравляя его съ этой наградою, Сеничкинъ начальникъ публично улыбнулся и назвалъ его général-enfant, а Сеничка, съ своей стороны, разревновался до того, что въ одинъ годъ сочинилъ пять проектовъ, изъ коихъ два даже по совершенно постороннему вѣдомству. Начальство просто растерялось и не знало, какъ наградить молодаго генерала. Сеничка же, съ своей стороны, слушая со всѣхъ сторонъ себѣ похвалы, застѣнчиво краснѣлъ, что̀ придавало еще болѣе цѣны его усердію. Я не читалъ сочиненныхъ Сеничкою проектовъ, но, признаюсь, очень хотѣлъ бы почитать ихъ. А такъ какъ, съ другой стороны, я достовѣрно знаю, что всѣ они кончались словами: *вмѣнить начальникамъ губерніи въ обязанность* и т. д., то, положивъ руку на сердце, я съ увѣренностію могу сказать, что содержаніе ихъ мнѣ заранѣе извѣстно до точности, а слѣдовательно, и читать ихъ особенной надобности для меня не настоитъ.

И такъ, со стороны службы, Сеничка былъ счастливъ; онъ имѣлъ прекрасный шитый золотомъ мундиръ, былъ

баловнемъ своихъ начальниковъ, служилъ предметомъ зависти для сверстниковъ и примѣромъ подражанія для подчиненныхъ. Сверхъ того, онъ имѣлъ очень пріятную наружность и тѣ прекрасныя манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правовѣдѣнія. И въ наружности, и въ манерахъ его прежде всего поражала очень милая смѣсь откровенной преданности съ застѣнчивою почтительностью; сверхъ того, онъ имѣлъ постоянно бодрый видъ, а когда смотрѣлъ въ глаза старшимъ, то взглядъ его такъ отливалъ довѣрчивостью и признательностью, что старшіе, въ свою очередь, не могли оторвать отъ него глазъ, и по этой причинѣ называли его василискомъ благонравія. Замѣчательно, что до всего этого онъ дошелъ своимъ собственнымъ умомъ, безъ малѣйшей протекціи, потому что maman Воловитинова, хотя была женщина съ состояніемъ, но жила безвыѣздно въ деревнѣ и никакихъ знатныхъ связей не имѣла. Вообще, Сеничка могъ дерзать въ будущемъ очень далеко, и хотя предположеній своихъ по этому предмету не высказывалъ, но я знаю, что и онъ былъ не чуждъ мечтаній. Я знаю, напримѣръ, что нерѣдко ему снились мундиры самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ и покроевъ, но всегда съ великолѣпнымъ шитьемъ; однажды онъ даже увидѣлъ себя во снѣ сплошь утыканнымъ павлиными перьями, которыя такъ и играли на солнцѣ всевозможными радужными цвѣтами. Сонъ оказался вѣщунъ, потому что на другой же день его представили къ наградѣ. Повторяю: Сеничка былъ счастливъ. Однако, было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось въ томъ, что онъ никакъ не могъ плѣнить сердце маменьки Марьи Петровны. Повидимому, онъ заключалъ въ себѣ всѣ данныя для увеселенія материнскаго сердца; повидимому, онъ былъ и благонравенъ, и почтителенъ, не

пропускалъ ни одного праздника, чтобъ не пожелать милой маменькѣ «встрѣтить его въ полномъ душевномъ спокойствіи и въ той сердечной тишинѣ, которыхъ вы, милая маменька, вполнѣ достойны», однако, материнское сердце оставалось холодно къ нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не «утѣшалась» имъ: когда онъ въ первый разъ пріѣхалъ къ ней показаться въ генеральскомъ чинѣ, она даже потрепала его по щекѣ и сказала: «ахъ, ты мо-ой!», но денегъ не дала и ограничилась ласковымъ внушеніемъ, что люди для того и живутъ на свѣтѣ, чтобы другъ другу тяготы носить.

— Маменька, мнѣ надо будетъ мундиръ новый сшить! сказалъ Сеничка, думая деликатнымъ образомъ дать понять объ истинной цѣли своего посѣщенія.

— Сшей, душенька, сшей! снисходительно отвѣчала Марья Петровна, а денегъ такъ-таки и не дала.

Сосѣди всячески истолковывали себѣ причины холодности Марьи Петровны къ своему первенцу. Приплетали тутъ и какихъ-то двухъ офицеровъ пошехонскаго пѣхотнаго полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сеничка первый и единственный сынъ своего отца, и что Марья Петровна, не питавшая никогда нѣжности къ своему мужу, перенесла эту холодность и на сына...

Я, съ своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смѣя ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеровъ и аптекаря (потому что я и самъ этого обстоятельства не привелъ въ положительную извѣстность), я объясняю себѣ холодность Марьи Петровны нѣсколко иначе. Она была женщина простая, дѣятельная и весьма сообразительная; Сеничка же, напротивъ того, былъ молодой человѣкъ вычурный, лимфатическій и слегка словно пришибенный. Марья Петровна любила, чтобъ у нея дѣло въ рукахъ горѣло; Сеничка же любилъ всякое дѣло об-

судить, т. е. не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его съ три короба всякаго рода предварительныхъ пошлостей. Марья Петровна терпѣть не могла, когда къ ней лѣзли съ нѣжностями, и даже цѣлованіе руки считала хотя необходимою, но, всетаки, скучною формальностью; напротивъ того, Сеничка, казалось, только и спалъ, и видѣлъ, какъ бы влѣпить мамашѣ безешку взасосъ, и шагу не могъ ступить безъ того, чтобы не сказать: вы, милая маменька, или: вы, добрый другъ, моя дорогая маменька. Весьма натурально, что, будучи отъ природы нетерпѣлива и не видя конца рѣчи, Марья Петровна выходила, наконецъ, изъ себя и готова была выкусить языкъ этому «подлецу Сенькѣ», который прехладнокровно сидѣлъ передъ нею и размазывалъ цвѣты своего краснорѣчія. «Какъ начнетъ онъ это разводить, да размазывать, да душу изъ меня выматывать, какъ начнетъ-это свои слюни распускать, говаривала Марья Петровна по этому случаю: — такъ повѣрите ли, родная моя, я даже свѣту не взвижу; такъ бы, кажется, изодрала ему ротъ-то его поганый, чтобъ онъ кашу-то эту изъ себя скорѣй выблевалъ!» Когда Марья Петровна ѣла, то совсѣмъ не жевала, а проглатывала пищу, какъ щука; напротивъ того, Сеничка любилъ всякій кусокъ разсмотрѣть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцемъ, и, къ довершенію всего, разрѣзывалъ кушанье на маленькіе кусочки, а съ огурца непремѣнно срѣзывалъ кожу. Поэтому, когда имъ случалось вдвоемъ обѣдать, то у Марьи Петровны всегда до того раскипалось сердце, что она, какъ ужаленная, выскакивала изъ-за стола и, не говоря не слова, выбѣгала изъ комнаты, а Сеничка слѣдомъ за ней приставалъ: «кажется, я, добрый другъ, маменька, ничѣмъ васъ не огорчилъ?» Наконецъ, когда Марья Петровна утромъ просыпалась, то, сплеснувъ себѣ наскоро лицо и руки

холодною водой и накинувъ старенькую ситцевую блузу, тотчасъ же отправлялась по хозяйству и ужь затѣмъ цѣлое утро переходила отъ погреба къ конюшнѣ, отъ конюшни въ контору, а тамъ въ оранжерею, а тамъ на скотный дворъ. Сеничка, напротивъ того, и спалъ какъ-то не по-человѣчески: вопервыхъ, на ночь умащалъ свое лицо притираньями; вовторыхъ, проснувшись, цѣлый часъ разсматривалъ, не вскочило ли гдѣ прыщика, потомъ цѣлый часъ чистилъ ногти, потомъ цѣлый часъ изучалъ передъ зеркаломъ различнаго рода улыбки, при чемъ даже ротъ какъ-то на сторону выворачивалъ, словно выкидывалъ губами артикулъ. Хоть Марьѣ Петровнѣ до всего этого было очень мало дѣла, потому что она и не желала, чтобъ дѣти у ней въ домѣ чѣмъ-нибудь распоряжались, однако, она и на конюшнѣ, бывало, вспомнитъ, что вотъ «Сенька-ѳатюй» теперь передъ зеркаломъ гримасы строитъ, и даже передернетъ ее всю при этомъ воспоминаньи. Однимъ словомъ, встрѣчаясь въ жизни на каждомъ шагу, они нетолько не могли ни въ чемъ сойтись, но положительно и постоянно точили другъ друга. Ясно, что причина этого явленія лежала совсѣмъ не въ офицерахъ пошехонскаго полка, но объяснялась гораздо проще. Они видѣть другъ друга не могли безъ того, чтобъ мысленно не произнести — она: «ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ меня отъ одного твоего вида тошнитъ!» онъ: «ахъ, еслибъ ты знала, съ какимъ бы я удовольствіемъ ноги своей сюда не поставилъ, кабы только отъ меня это зависѣло!» Какой же тутъ аптекарь! тутъ просто люди не понимаютъ другъ друга, потому что говорятъ на разныхъ языкахъ!

Однажды Сеничка на смерть перессорился съ маменькой изъ-за бани. Пріѣхавши лѣтомъ въ отпускъ, вздумалъ онъ вымыться въ банькѣ, и пришелъ доложить объ этомъ

маменькѣ. Онъ тогда только что былъ произведенъ въ статскіе совѣтники и назначенъ вице-директоромъ какого-то департамента.

— У меня есть до васъ, милая маменька, большая просьба! приступилъ Сеничка, по своему обыкновенію, съ предисловія.

— Говори мой другъ!

— Вы меня извините, добрый другъ, маменька, я только-что пріѣхалъ, и рѣшаюсь уже васъ безпокоить...

— Говори, мой другъ!

— Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мнѣ расположеніе, и какъ вы всегда были снисходительны ко всѣмъ моимъ нуждамъ...

— Да говори же, дуракъ!

— Я, право, не знаю, дорогая маменька, чѣмъ я могъ заслужить вашъ гнѣвъ...

— Долго ли ты меня притѣснять будешь? долго ли тебѣ мной командовать?

— Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбѣжала изъ комнаты. Сеничка побрелъ къ себѣ, уныло размышляя по дорогѣ, за что̀ его наказалъ Богъ, что онъ ни подъ какимъ видомъ на маменьку потрафить не можетъ. Однако, Марья Петровна скоро обдумалась и послала дѣвку Палашку спросить «у этого, прости Господи, чорта», чего ему нужно. Палашка воротилась и доло̀жила, что Семенъ Иванычъ въ баньку желаютъ сходить.

— Натко! сказала Марья Петровна и показала при этомъ Палашкѣ указательный палецъ правой руки: — на дворѣ сѣнокосъ, люди въ полѣ, а онъ въ баньку выдумалъ! Поди, доложи, что нѐкому сегодня топить.

Однако, черезъ нѣсколько минутъ, Марья Петровна опять обдумалась, велѣла затопить баню и послала за Сеничкой.

— Ну, ступай въ баню, мой другъ, сказала она кротко.

— Но если это затрудняетъ васъ въ вашихъ распоряженіяхъ, милый другъ, маменька...

— Ступай въ баню, мой другъ, опять повторила Марья Петровна, и чтобъ не увлекаться, занялась раскладываніемъ гранъ-пасьянса.

— Если всѣ люди въ полѣ, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвѣчала, но, судорожно повертываясь на стулѣ, думала: «неужели я такого дурака родила»?

— Я не знаю, милая маменька, что̀ я такое сдѣлалъ, чѣмъ я могъ васъ огорчить?

Молчаніе.

— Я благонравіемъ своимъ заслужилъ любовь всѣхъ моихъ начальниковъ, нынѣ назначенъ уже вице-директоромъ и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена...

То же молчаніе, нарушаемое только шлепаньемъ картъ.

— Во всѣхъ семействахъ, первородные сыновья...

— Уйдешь ли ты въ баню, мерзавецъ! крикнула, наконецъ, Марья Петровна, но такимъ голосомъ, что Сеничкѣ стало страшно. И долго потомъ волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чемъ-то сама съ собой, и все повторяла: «лишу! ну, какъ Богъ святъ, лишу я этого подлеца наслѣдства! и передъ Богомъ не отвѣчу!» Съ своей стороны, Сеничка, хоть и пошелъ въ баню, но не столько мылся въ ней, сколько размышлялъ: «Господи, да отчего же я всѣмъ угодилъ, всѣмъ заслужилъ, только маменькѣ Марьѣ Петровнѣ ничѣмъ угодить и заслужить не могу!»

Второй сынъ Марьи Петровны, Митенька, дипломатъ. Онъ воспитывался въ лицеѣ, прекрасно владѣетъ французскимъ діалектомъ, смотритъ урожденнымъ камеръ-юнке-

ромъ и отлично танцуетъ. Лицо его выразительно, и напоминаетъ скорѣе прекрасный, худощавый итальянскій типъ, нежели нашъ мясистый русскій. Поговариваютъ, будто онъ пользуется значительными успѣхами у дамъ; тѣмъ не менѣе, онъ ведетъ себя очень осторожно, исторій, которыя могли бы его скомпрометировать, никогда не имѣлъ и, какъ видно, предпочитаетъ обдѣлывать свои дѣла полегоньку. Вообще, это малый, довольно глубокомысленный, понимающій, что счастье человѣческое заключается въ скромности, терпѣніи и небрезгливости, и, вслѣдствіе того, всегда предпочитающій даму опытную, знакомую съ жизненною дипломатіей какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но, въ то же время, неосновательной бабенкѣ. Носились слухи, что онъ съумѣлъ «сыскать» въ какой-то княгинѣ, знаменитой не столько настоящею, сколько прошедшею своею красотой; говорили, что онъ нетолько пользуется ея благосклонностью, но не пренебрегаетъ и другими, болѣе вещественными выгодами. Какъ бы то ни было, но квартира его была дѣйствительно отдѣлана какъ игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей разсчетливости, не слишкомъ-то щедро давала дѣтямъ денегъ на прожитіе; сверхъ того, княгиня почти публично называла его сынкомъ, давала ему цѣловать свои ручки и безъ устали напоминала Митенькинымъ начальникамъ, что это перлъ современныхъ молодыхъ людей. Мнѣ, какъ автору, кромѣ того, извѣстно, что однажды княгиня, въ порывѣ чувствительности, даже написала къ Марьѣ Петровнѣ письмо, въ которомъ называла ее доброю maman и просила благословенія. Это былъ единственный случай, когда Митенька вышелъ изъ своего обычнаго хладнокровія и чуть-было не поссорился съ своею покровительницей. Въ первомъ увлеченіи гнѣва, онъ нашелъ, что поступокъ этотъ через-

чуръ ужь нелѣпъ, que ça n'a l'air de rien, что это срамъ; однакожь, по зрѣломъ размышленій, успокоился, и даже разсудилъ, что нелѣпая сантиментальность княгини можетъ возвысить его въ мамашиныхъ глазахъ и, вмѣсто вреда, принести пользу. И дѣйствительно, почти вслѣдъ за тѣмъ, онъ получилъ отъ мамаши письмо, полное самыхъ шутливыхъ намековъ, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось порученіемъ поцѣловать милую княгиню и передать ей, что ея материнское сердце отнынѣ будетъ видѣть въ ней самую близкую, нѣжно любимую дочь. Разумѣется, Митенька порученія этого не исполнилъ.

Въ своемъ обществѣ, Митенька называлъ Марью Петровну ma bonne pâte de mère, и очень трогательно разсказывалъ, какъ она тамъ хозяйничаетъ въ деревнѣ, чтобъ прилично содержать своихъ дѣтей. Къ Сеничкѣ онъ относился дружелюбно, но видѣлся съ нимъ рѣдко и въ отношенія его къ матери не входилъ, ибо считалъ, что это не его дѣло. Онъ зналъ, что Сеничка не потеряется и въ концѣ-концовъ, всетаки, женится на купчихѣ, которая соблазнится его генеральствомъ. Ѳединьку, младшаго брата, онъ въ душѣ презиралъ и даже боялся, что онъ когда-нибудь непремѣнно или казенныя деньги украдетъ, или подъ судъ попадетъ, или получитъ непріятность по лицу. Тѣмъ не менѣе, это опасеніе, быть можетъ, было причиной, что онъ поддерживалъ съ Ѳединькой сношенія даже болѣе дѣятельныя, нежели съ Сеничкой: онъ надѣялся, что если и возникнетъ какая-нибудь непріятность, то можно будетъ своевременно-принятыми мѣрами предотвратить ее. Повторяю: это былъ малый очень глубокомысленный, принявшій свое положеніе въ томъ видѣ, въ какомъ оно дѣйствительно представлялось, и употреблявшій всѣ свои усилія на то, чтобъ вывернуться изъ него

какъ можно приличнѣе. Еслибъ можно было упечь Ѳединьку куда-нибудь подальше, но такъ, чтобы это было прилично (ему часто даже во снѣ видѣлось, что Ѳединька оказался преступникомъ и что его ссылаютъ въ Сибирь), то онъ бы ни на минуту не усомнился оказать въ этомъ дѣлѣ все своё содѣйствіе.

Съ своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одномъ его имени, она чувствовала какой-то паническій страхъ, точно вотъ онъ сейчасъ возьметъ да и проглотитъ ее. Митенька дома держалъ себя таинственно строго, съ матерью никогда не ссорился, но и въ откровенности не пускался. Въ сущности, онъ и Сеничка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основъ, то же отсутствіе всякой живой мысли, но, вслѣдствіе особенностей характера и жизненной выдержки, то, что̀ въ Сеничкѣ сказывалось прямою, неподкрашенною нелѣпостью, въ Митенькѣ являлось твердостью характера, переходившаго въ холодную и разсчетливую злость. Оба они говорили и дѣлали однѣ и тѣ же пошлости, но проводили эти пошлости въ жизнь совершенно различными путями. Сеничка суетился и сантиментальничалъ; онъ не смотрѣлъ на себя, какъ на государственнаго человѣка, но, надѣясь на милость начальства, былъ преданъ и выигрывалъ единственно усердіемъ и ничтожествомъ; взирая на него, какъ онъ хлопочетъ и надрывается, усматривая на каждомъ шагу несомнѣнныя доказательства его почтительности, начальство говорило: «о! это молодой человѣкъ вѣрный! этотъ не выдастъ!» Напротивъ того, Митенька былъ неприступенъ и непроницаемъ; онъ хранилъ свою пошлость про себя и совершенно искренно вѣрилъ, что въ ней заключаются истинные задатки будущаго государственнаго человѣка; онъ не хлопоталъ, не суетился, но

дѣлалъ свои маленькія нелѣпости серьёзно и методически и поражалъ при этомъ благородствомъ манеръ. Взирая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпійскаго спокойствія, начальство говорило: «да! это молодой человѣкъ положительный! этотъ не выдастъ!» Результаты въ обоихъ случаяхъ выходили одинаковые, и дѣйствительно, Митенька шелъ впередъ столь же быстрыми шагами, какъ и Сеничка, съ тою только разницей, что Сеничка могъ надѣятся всплыть наверхъ въ такомъ случаѣ, когда будетъ запросъ на пошлецовъ восторженныхъ, а Митенька въ такомъ, когда будетъ запросъ на пошлецовъ непромокаемыхъ. Марья Петровна радовалась успѣхамъ Митеньки, вопервыхъ, потому, что это не позволяло Сеничкѣ говорить: «всѣ у васъ дѣти пастухи — я одинъ генералъ!» и, вовторыхъ, потому, что Митенька одинъ умѣлъ сдерживать Ѳединьку, эту скорбь и, вмѣстѣ съ тѣмъ, радость и чаянье ея материнскаго сердца.

И дѣйствительно, Ѳединька представлялъ собою совершеннѣйшій типъ нетолько пустѣйшаго малаго, но и положительнаго ерыги. «Всѣ у него удовольствія какія-то неблагородныя! все-то у него либо подолъ поднять, либо рожу раскровянить!» часто думала втихомолку Марья Петровна про Ѳединьку, и болѣло же, охъ, болѣло! ея материнское сердце! И припоминала ей безпощадная память всѣ оскорбленія, на которыя былъ такъ щедръ ея любимчикъ; подсказывала она ей, какъ онъ однажды, пьяный, ворвался къ ней въ комнату и, ставши передъ ней съ кулаками, заревѣлъ: «сейчасъ послать въ городъ за шампанскимъ, не то весь домъ своими руками передушу!» И передушилъ бы! невольно повторяетъ Марья Петровна при этомъ воспоминаніи. Подсказывала ей память, какъ онъ въ другой разъ преданную ей ключницу *Степаниду сбирался* за что-то повѣсить, какъ онъ даже

вбилъ гвоздь въ стѣну, приготовилъ веревку и, наконецъ, заставилъ Степаниду стать на колѣни и молиться Богу. Подсказывала ей память, какъ онъ однажды дьячку потихоньку косу обстригъ, и какъ дьячекъ былъ отъ того въ великомъ смущеніи и хотѣлъ даже доходить до епархіальнаго начальства... Вообще, каждый пріѣздъ Ѳединьки въ родительскій домъ равнялся непріятельскому погрому, послѣ котораго обыватели долго не могли придти въ себя. Вопервыхъ, всѣхъ горничныхъ непремѣнно перепортитъ, и не то, чтобъ лаской или резоннымъ усовѣщиваньемъ, а все арапникомъ да нагайкой; вовторыхъ, божьяго дара не столько припьетъ-пріѣстъ, сколько озорствомъ разбросаетъ; втретьихъ, изо всего дома словно конюшню сдѣлаетъ. «Другая бы мать давно этакого молодца въ суздаль-монастырь упекла!» разсуждаетъ сама съ собой Марья Петровна, совершенно убѣжденная, что есть на свѣтѣ какой-то суздаль-монастырь, въ который чадолюбивые родители имѣютъ право во всякое время упекать ненравящихся имъ дѣтей. Никто въ домѣ не любилъ Ѳединьку; всѣхъ-то онъ или побилъ, или оборвалъ; только горничныя дѣвки оказывали какое-то трепетное малодушіе при одномъ его взглядѣ, не смотря на жестокое его обращеніе.

Тѣмъ не менѣе, сердце Марьи Петровны ни къ кому изъ дѣтей такъ не лежало, какъ къ Ѳединькѣ. Быть можетъ, ей именно то въ немъ и нравилось, что онъ такимъ коршуномъ налеталъ; «разбойникъ!» громко говорилъ ея разсудокъ; «молодецъ!» подсказывали внутренности, и, какъ и водится, послѣднія всегда одерживали побѣду въ этой неравной борьбѣ. Будучи сама характера рѣшительнаго и смѣлаго, она весьма естественно симпатизировала Ѳединькѣ, который ни передъ чѣмъ не задумывался, ничѣмъ не затруднялся. Никогда не имѣвъ слу-

чая испытать надъ собой гнетъ чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелѣвая, она исполнялась какимъ-то наивнымъ удивленіемъ передъ Ѳединькой, который сразу подчинялъ ее себѣ. Это былъ совсѣмъ не страхъ, въ родѣ того, который внушалъ ей Митенька, это именно было удивленіе. Митеньку она боялась, потому что знала, что ужь если этотъ человѣкъ чего захочетъ, то не станетъ много разговаривать, не станетъ горячиться, а просто ехиднѣйшимъ образомъ подкопается подо все существованіе и изведетъ, измучитъ въ конецъ, покуда не поставитъ на своемъ. Напротивъ того, Ѳединька, какъ буянъ по натурѣ, дѣйствовалъ убѣжденіемъ, такъ сказать, механическимъ: вспылитъ, подыметъ дымъ коромысломъ, порой чуть-чуть не убьетъ, но черезъ десять минутъ опять успокоится и опять пошолъ шутки шутить.

Ко всему этому, Ѳединька былъ и по наружности молодецъ молодцомъ. Высокій, плечистый, изкрасна бѣлокурый, онъ олицетворялъ собою типъ чисто русскій, мясистый типъ, отъ котораго млѣютъ и ноютъ неиспорченныя сердца русскихъ помѣщицъ и ихъ горничныхъ. Часто, глядя на него, Марья Петровна невольно думала: «Господи! да какъ же и противиться-то этакому молодцу!» и въ этомъ, быть можетъ, была вторая причина ея предпочтенія младшему сыну. Когда же, бывало, натянетъ онъ на себя свой кавалерійскій мундиръ, а на голову надѣнетъ мѣдную, какъ жаръ горящую, каску, да войдетъ этакимъ чудакомъ въ мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтобъ не упасть въ обморокъ отъ полноты чувствъ.

— Экъ! ужь и расползлись! скажетъ, бывало, Ѳединька, и дико-торжественно загогочетъ.

— Да помилуй, мой другъ! вымолвитъ только Марья Петровна и долго смотритъ на своего идола, смотритъ

безъ всякихъ мыслей, кромѣ одной: «Господи! да неужто же есть на свѣтѣ такая женщина, которая можетъ противиться моему молодцу!»

Кромѣ сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петинька. Пашенька—кругленькое, маленькое и мяконькое существо: вотъ все, что можно сказать объ ней; она менѣе года, какъ за мужемъ за «хорошимъ человѣкомъ», занимающимъ въ губернскомъ городѣ довольно видное мѣсто, котораго, однакожь, Ѳединька откровенно называетъ слюняемъ и фофаномъ; Марья Петровна души въ ней не слышитъ, потому что Пашенька любитъ копить деньги. Петинька—четырнадцатилѣтній мальчикъ, полуидіотъ и единственный постоянный собесѣдникъ Марьи Петровны, которая обращается съ нимъ снисходительно и жалуется только на то, что онъ, по своей нечистоплотности, слишкомъ много бѣлья изнашиваетъ. Единственный разсказъ, которымъ всѣхъ и каждаго потчивалъ Петинька, заключался въ томъ, какъ онъ однажды заблудился въ лѣсу, легъ спать подъ дерево, и на другой день, проснувшись, увидѣлъ, что кругомъ обросъ грибами.

— Что жь, ты, чай, такъ ихъ сырые и пріѣлъ? спрашивалъ его обыкновенно Ѳединька.

— *Ѣй!* отвѣчалъ Петинька, который, помимо малоумія, былъ до такой степени косноязыченъ, что трудно было понять, что онъ говоритъ.

— Ну, братъ, скотина же ты!

— *Кати*...

И такъ, вотъ то семейство, среди котораго Марья Петровна Воловитинова считала себя совершенно счастливою.

Часу въ первомъ, усмотрѣно было по дорогѣ первое облако пыли, предвѣщавшее экипажъ. Дѣвки засовались,

домъ наполнился криками: «ѣдутъ! ѣдутъ!» Петинька, на палочкѣ верхомъ, выѣхалъ на крыльцо и во все горло дралъ какую-то вновь сочиненную имъ галиматью: пати-маля, маля-тата-бумъ-бумъ! Марья Петровна тоже выбѣжала на крыльцо и по дорогѣ наградила Петиньку такимъ шлепкомъ по головѣ, что тотъ такъ и покатился. Первая прибыла Пашенька: она была одна, безъ мужа.

— Другъ ты мой! а что̀ же другъ-то твой, Максимъ Александрычъ, воскликнула Марья Петровна, заключая въ свои объятія возлюбленную внучку.

— Максиму Александрычу никакъ нельзя, милая бабинька; у насъ, бабинька, скоро торги, такъ онъ приготовляется! Здравствуй, Петька!

— *Пати-маля, маля-тата, бумъ-бумъ!*

— Это онъ что̀-то новое у васъ, бабинька, выучилъ!

— Не слыхала еще! сегодня, должно быть, выдумалъ! это онъ «репримандъ» дорогимъ гостямъ дѣлаетъ.

— А я, бабинька, полторы тысячи накопила! сообщаетъ Пашенька, какъ только унялись первые восторги.

— Ахъ ты моя ягодка! да никакъ ты тяжела!

— Я, милая бабинька, тяжела ужь съ одиннадцатаго февраля!

— Ахъ, малютка ты моя милая! гдѣ жь ты рожать-то будешь?

— Максимъ Александрычъ говоритъ, что у себя, въ городѣ.

— Да есть ли у васъ бабка-то тамъ?

— У насъ, бабинька, такая бабка... такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую изъ Петербурга прислали!

— Стало быть, у васъ губернаторша-то еще рожаетъ?

— Ахъ, бабинька! у насъ губернаторша... это ужасъ! Ужь не молодая женщина, а каждый годъ! каждый годъ!

— Ну, это хорошо, что бабка у васъ такая... Куда же ты деньги-то? положила?

— Нѣтъ, бабинька, Максимъ Александрычъ мнѣ класть не совѣтовалъ; проценты ныньче въ опекунскомъ совѣтѣ маленькіе, такъ я въ ростъ за большіе проценты отдала.

— Смотри, чтобъ онъ у тебя денегъ-то не выманилъ!

— Кто это?

— А Максимушка-то твой; бываютъ, Пашенька другъ, бываютъ такіе озорники, что и жену готовы живую съѣсть, только бы деньги изъ нея вымучить!

— Ну, ужь это, бабинька, тогда развѣ будетъ, когда онъ жилы изъ меня потянетъ!

— То-то, ты у меня смотри!

Бабинька смотритъ Пашенькѣ въ глаза и не налюбуется на нее; Пашенька, съ своей стороны, докладываетъ, что приходилъ къ ней недавно въ городъ мужикъ изъ Жостова, Михей Пантелѣевъ, просилъ оброкъ простить, потому что погорѣлъ, «да я ему, милая бабинька, не простила».

— Ну, душенька, иногда, по божески, нельзя и не простить! замѣчаетъ Марья Петровна.

— Ну, ужь нѣтъ, бабинька, этакъ они такъ объ себѣ возмечтаютъ, что послѣ съ ними и не сговоришь!

— Однако, душечка...

— Нѣтъ, бабинька, нѣтъ! Я ужь рѣшилась никогда никому никакихъ снисхожденій не дѣлать!

Потомъ Пашенька разсказываетъ, какой у нихъ въ городѣ домъ славный, какъ ихъ всѣ любятъ и какіе у Максима Александрыча доходы по службѣ прекрасные.

— Въ прошлый наборъ, бабинька, такъ это ужасти, сколько Максимъ Александрычъ пріобрѣлъ! говоритъ она.

— Да, это хорошо, коли въ домъ, а не изъ дому! Ты,

Пашенька, разузнавай подъ рукой про его доходы-то, а не то какъ разъ на сторонѣ метрессу заведетъ!

— Что̀ вы, бабинька, да я ему глаза выцарапаю!

— Ахъ ты, моя ягодка!

Пашенька чувствуетъ приливъ нѣжности, которая постепенно переходитъ въ восторгъ. Она ластится къ бабинькѣ, цѣлуетъ у ней ручки и глазки, называетъ царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хоть и порывается она замѣтить, по поводу Михея Пантелѣева, что, всетаки, слѣдуетъ иногда «этимъ подлецамъ» снисходить, но замѣтка эта утопаетъ въ другомъ разсужденіи, выражающемся словами: «а коли по правдѣ, что̀ ихъ, канальевъ, и жалѣть-то!» Такимъ образомъ время проводится незамѣтно до самаго пріѣзда дяденекъ.

Наконецъ, и они пріѣхали. Ѳединька, какъ соскочилъ съ телѣги, прежде всего обратился къ Пашенькѣ съ вопросомъ: «ну что̀, а слюняй твой гдѣ?» Петиньку же взялъ за голову и сряду три раза на ней показалъ, какъ слѣдуетъ ковырять масло. Но какъ ни спѣшилъ Сеничка, однако, всетаки, опоздалъ пятью минутами противъ младшихъ братьевъ, и Марья Петровна, въ радостной суетѣ, даже не замѣтила его пріѣзда. Безъ шума подъѣхалъ онъ къ крыльцу, слѣзъ съ перекладной, осыпалъ ямщика укоризнами и даже пригрозилъ отправить къ становому.

— Милости просимъ! милости просимъ! хоть и поздній гость! говоритъ ему Марья Петровна, когда онъ входитъ въ ея комнату.

— Я, милая маменька, выѣхалъ прежде всѣхъ...

— А ты умѣй послѣ всѣхъ выѣхать, да прежде всѣхъ пріѣхать! говоритъ Ѳединька: — право, мы выѣхали со станціи полчаса послѣ него: думаемъ, пускай его угодитъ

маменькѣ... Сеня! а, Сеня! признайся, вѣдь, тебѣ очень хотѣлось угодить маменькѣ?

Сеничка улыбается; онъ хочетъ притвориться, что Ѳединька и его фаворитъ и что, по любви къ нему, онъ смотритъ на его выходки снисходительно.

— Только на половинѣ дороги смотримъ, кто-то передъ носомъ у насъ трюхъ-трюхъ! продолжаетъ Ѳединька: — вѣдь, просто даже глядѣть было на тебя тошно, какимъ ты разуваемъ ѣхалъ! а еще генералъ... ха-ха!

— Ну, Христосъ съ нимъ, Ѳединька!

— Да нѣтъ, маменька! не могу я равнодушно видѣть... его, да вотъ еще Пашенькинова слюняя... Шипятъ себѣ да шипятъ втихомолку!

— Что̀ такое тебѣ мой слюняй сдѣлалъ? горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла къ этому прозвищу, что и сама нерѣдко, по ошибкѣ, называетъ мужа слюняемъ.

Митенька сидитъ и хмуритъ брови. Онъ спрашиваетъ себя, куда онъ попалъ? Онъ безъ ужаса не можетъ себѣ представить, что̀ сказала бы княгиня, еслибъ видѣла всю эту обстановку? и даетъ себѣ слово уѣхать изъ родительскаго дома какъ только будутъ соблюдены необходимыя приличія. Марья Петровна видитъ это дурное расположеніе Митеньки и принимаетъ мѣры къ прекращенію непріятнаго разговора.

— Ну, вы, пѣтухи индѣйскіе! какъ сошлися, такъ и наскочили другъ на друга! говоритъ она ласково: — разсказывайте-ка лучше каждый про свои дѣла̀! Начинай-ка, Ѳединька!

Митенька думаетъ про себя: «Господи, и слова-то какія! «пѣтухи индѣйскіе!» да куда жь это я попалъ!» Сеничка думаетъ: «а, вѣдь, это она не меня пѣтухомъ-то назвала! Это она все Ѳедьку да Пашку ласкаетъ!»

— Да что̀ я скажу! начинаетъ Ѳединька: — жуируемъ!

— Да ты разсказывай! настаиваетъ Марья Петровна.

— Недавно одну корифейку затравили!

— Что̀ ты!

— Уговаривали добромъ — не хотѣла, ну, и завели обманомъ въ одно мѣсто и затравили!

— Ахъ вы, бѣдокуры! бѣдокуры! говоритъ Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.

— Тебя, Ѳединька, за эти продѣлки непремѣнно въ солдаты разжалуютъ, очень серьёзно замѣчаетъ Митенька.

— Еще что̀!

— Ахъ, боюсь и я этого! боюсь я, что ты очень ужь шаловливъ сталъ, Ѳединька!

— Такъ неужто жь имъ спуску давать!

— Да ужь очень ты неосторожно, другъ мой! Чай, вѣдь, она, Ѳединька, плакала!

— Ну что̀ жь... и плакала! смотрѣть, что̀ ли, на ихнія слезы!

Марья Петровна опять вздыхаетъ, но въ этомъ вздохѣ не слышится ни малѣйшей укоризны, а скорѣе какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.

— Вотъ, еслибъ *онъ* вздумалъ такую продѣлку сдѣлать, продолжаетъ Ѳединька, указывая на Сеничку: — ну, это точно: сейчасъ бы его, раба божьяго, сграбастали... нѣтъ, да вѣдь я позабыть не могу, какимъ онъ фофаномъ давича ѣхалъ!

— Ну, гдѣ ужь ему!

— Нѣтъ, маменька, прерываетъ вдругъ Сеничка, которому хочется вступиться за свою честь: — я тоже однажды имѣлъ случай въ этомъ родѣ...

— Полно! полно хвастаться-то! ужь гдѣ тебѣ, убогому!

Сеничка стыдливо умолкаетъ и весь погружается въ *самаго себя;* онъ думаетъ, что̀ бы такое ему сказать прі-

ятное, когда маменька станетъ разспрашивать о его житьѣ-бытьѣ.

— Я, маменька, опять Эндоурова обыгралъ, продолжаетъ повѣствовать Ѳединька.

— Скажи, сдѣлай милость! и много выигралъ?

— Да тысячъ на пять обжегъ.

— Что̀ это за Эндоуровъ такой? должно быть, хорошій человѣкъ?

— Просто, филинъ... въ карты шагу ступить не умѣетъ—ну, и обжегъ! Не суйся впередъ, коли лапти плетешь!

— Ну, и за это тебя когда-нибудь въ солдаты разжалуютъ, хладнокровно замѣчаетъ Митенька.

— Ахъ, что̀ это ты, Митенька, точно ворона каркаешь! съ неудовольствіемъ отзывается Марья Петровна.

— Не тянуть же мнѣ канитель по двѣ копѣйки въ ералашъ, какъ Семену Иванычу, огрызается Ѳединька.

— Извините-съ, я ныньче по пяти играю, а не по двѣ-съ! отвѣчаетъ Сеничка не безъ волненія.

— Такъ ты по пяти играешь! ахъ ты, развратникъ! но только ты, всетаки, не повѣришь, какимъ ты фофаномъ давича ѣхалъ!

— Для тебя бы, Сеничка, такая-то игра и дорогонька! сухо замѣчаетъ Марья Петровна, и обращается къ Митенькѣ: — è ву, ля метрессъ... тужуръ бьенъ?

— Желалъ бы я знать, отчего вы вдругъ по-французски заговорили? угрюмо спрашиваетъ Митенька.

— Отчего жь мнѣ и не заговорить по-французски?

— Нѣтъ, я желалъ бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вотъ какъ вамъ взошла въ голову пакость, сейчасъ принялись за французскій языкъ?

— Ахъ, Господи! да неужто жь это преступленіе какое?

— И сколько я разъ говорилъ вамъ, чтобы вы со мной о подобныхъ предметахъ не заигрывали?

— Вѣдь, ты, чай, сынъ мнѣ! всякой матери лестно слышать, коли сынъ успѣхи имѣетъ!

— А я вамъ говорилъ, и вновь повторяю, что имѣю ли я успѣхи, или нѣтъ, это до васъ не касается!

— Ну, ужь не знаю...

— Такъ знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи...

Я не знаю, какъ вывернулась бы изъ этого пассажа Марья Петровна и съумѣла ли бы она защитить свое материнское достоинство, во всякомъ случаѣ, Сеничка оказалъ ей неоцѣненную услугу, внезапно фыркнувъ во всеуслышаніе. Вѣроятно, его точно такъ же, какъ и Митеньку, поразилъ французскій языкъ матери, но онъ нѣкоторое время крѣпился, какъ вдругъ Митенька своимъ вовсе неостроумнымъ сравненіемъ вызвалъ наружу всю накопившуюся смѣшливость.

— Ты еще что? стого обратилась къ нему Марья Петровна.

— Я, маменька, одинъ смѣшной случей вспомнилъ-съ...

— Надъ матерью-то посмѣяться тебя станетъ, а вотъ какъ заслужить чѣмъ-нибудь, такъ тутъ тебя нѣтъ!

— Я, маменька...

Но здѣсь опять, и, конечно, противъ всякаго желанія, Сеничка разразился самымъ неестественнымъ фырканьемъ, такъ что самъ понялъ все неприличіе своего поведенія и инстинктивно поднялся со стула.

— Поди въ свою комнату... очнись! говорила ему вслѣдъ до глубины души оскорбленная мать.

Только къ обѣду явился Сеничка, но и то единственно за тѣмъ, чтобъ испить до дна чашу униженія. За обѣдомъ все шло по сказанному; Марья Петровна сама вы-

бирала и накладывала лучшіе куски на тарелки Митенькѣ, Ѳединькѣ и Пашенькѣ, и потомъ, обращаясь къ Сеничкѣ, прибавляла: «ну, а ты, какъ старшій, самъ себѣ положишь, да кстати ужь и Петинькѣ наложи». Очевидно, что, при такой простотѣ обращенія, только относительно щей дѣло могло принять оборотъ нѣсколько затруднительный, но и тутъ обстоятельства выручили Марью Петровну, потому что Ѳединька, какъ воинъ грубый, предпочелъ крапивныя щи лѣнивымъ, и, вслѣдствіе этого, оказалось возможнымъ полтарелки послѣднихъ удѣлить Сеничкѣ. Наѣвшись баранины, Сеничка почувствовалъ такую тяжесть въ желудкѣ, что насилу дошелъ до своей комнаты и какъ снопъ свалился на постель; Ѳединька отправился послѣ обѣда на конюшню, Пашенька, какъ *тяжелая*, позволила себѣ часочекъ, другой отдохнуть. Марья Петровна осталась съ Митенькой наединѣ:

— Вотъ вы смѣетесь надо мной, мои друзья, сказала она въ видѣ предисловія: — а я, какъ мать, можно сказать, денно и нощно только объ васъ думаю.

Митенька молчалъ и думалъ про себя: «ну, вѣрно, по обыкновенію, пойдутъ разговоры объ завѣщаніи!»

— Вотъ я теперь и стара, и дряхла становлюсь, продолжала Марья Петровна: — мнѣ бы и объ душѣ пора подумать, а не то, чтобъ имѣніемъ управлять или свѣтскими дѣлами заниматься!

Митенька продолжалъ молчать, совершенно хладнокровно пуская ртомъ кольца дыма.

— Паче всего сокрушаюсь я о томъ, что для души своей мало полезнаго сдѣлала. Все за заботами, да за дѣтьми, анъ объ душѣ-то и не подумала. А надо, мой другъ, ахъ какъ надо! И какой это грѣхъ передъ Богомъ, что мы совсѣмъ-таки... совсѣмъ объ душѣ своей не рачимъ!

Но Митенька словно окаменѣлъ. Только чуть замѣтная ироническая улыбка блуждала на губахъ его.

— Вотъ я, мой другъ, и придумала... Да что̀ же ты, однако, молчишь? Я, какъ мать, можно сказать, передъ тобой свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!

— Вы объ завѣщаніи хотите говорить... я знаю! процѣдилъ сквозь зубы Митенька.

— Ну, да, объ завѣщаніи... можно бы, кажется, на слова матери вниманіе обратить!

— Говорите.

— Нѣтъ, это обидно! Я, какъ мать, покоя себѣ не знаю, все присовокупляю, все присовокупляю... кажется, щепочку на улицѣ увидишь, и ту несешь да въ кучку кладешь, чтобъ дѣтямъ было хорошо и покойно, да чтобъ нужды никакой не знали, да жили бы въ холѣ да въ нѣженьи...

— Да мы, маменька, очень вамъ благодарны...

— Нѣтъ, мнѣ, видно, Богъ ужь за васъ заплатитъ! Одинъ онъ, Царь Милосердый, все знаетъ и видитъ, какъ материнское-то сердце не то, чтобы, можно сказать, въ постоянной тревогѣ объ васъ находится, а еще пуще того объ судьбѣ вашей сокрушается... Чтобы жили вы, мои дѣти, въ веселостяхъ да въ нѣженьи, чтобъ и вѣтромъ-то на васъ какъ-нибудь неосторожно не дунуло, чтобъ и не посмотрѣлъ-то на васъ никто непривѣтливо...

— Да говорите же, маменька, я васъ слушаю.

Мало-по-малу, однакожь, Марья Петровна успокоилась. Она очень хорошо понимала, что весь этотъ разговоръ не что̀ иное, какъ представленіе, да, сверхъ того, понимала и то, что и Митенька знаетъ, что все это представленіе; но такова уже была въ ней потребность пори*соваться и посекретничать*, что не могла она лишить се-

бя этого удовольствія, не смотря на то, что оно, очевидно, не достигало своей цѣли.

— Ну такъ видишь ли, другъ мой, что̀ я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче ужь не то, что̀ прежде бывало; вотъ и хочется мнѣ теперь, чтобъ вы меня, старуху, успокоили, грѣхъ-то съ меня тотъ сняли, что вотъ я всю жизнь все объ мамонѣ, да объ мамонѣ, а на хорошее да на благочестивое — и нѣтъ ничего̀. Такъ снимите же вы, Христа ради, съ меня эту тягость; вѣдь, замучилась ужь я, день-деньской маявшись; освободите вы мою душу грѣшную отъ муки мученской! Вѣдь, ты знаешь ли, какой я себѣ грѣхъ беру на душу: кажется, и не отмолить мнѣ его во вѣкъ!

Марья Петровна даже прослезилась: такъ оно выходило хорошо да чувствительно. Нѣсколько минутъ она все вздыхала и вытирала платкомъ слезы, обильно струившіяся изъ глазъ. Но мысль ея не спала въ это время; странное дѣло, эта мысль подсказывала ей совсѣмъ не тѣ слова, которыя она произносила; она подсказывала: «да куда жь я, чортъ побери, дѣнусь, коли имѣніе-то все раздамъ! все жила, жила да командовала, а теперь, натко, на старости-то лѣтъ да подъ команду къ дѣтямъ идти!» И вслѣдствіе этого тайнаго разсужденія слезы текли еще обильнѣе, а материнское горе казалось еще горчѣе и безъисходнѣе.

— Такъ что̀ же вы предполагаете сдѣлать? спокойно спросилъ Митенька.

— Отдамъ! все отдамъ! съ какимъ-то почти злобнымъ крикомъ отвѣчала Марья Петровна: — нѣтъ моихъ силъ! нѣтъ моихъ силъ! Слушай ты меня: вотъ я какое завѣщаніе составила!

Марья Петровна отперла денежный ящикъ и вынула оттуда бумагу.

— Да, вѣдь, вы мнѣ ужь нѣсколько разъ это завѣщаніе читали, иронически замѣтилъ Митенька.

— Нѣтъ, это я другое... я то перемѣнила.

— Ну-съ, читайте.

— *Во имя*... ну, тамъ все, какъ слѣдуетъ, по старому... *первое*, сыну моему Семену, какъ непочтительному...

— Кто же вамъ повѣритъ, что Сеничка былъ къ вамъ непочтителенъ?

— Да мнѣ какое дѣло, повѣритъ ли кто, или нѣтъ; я мать, я и судья — имѣніе-то, чай, мое, благопріобрѣтенное...

— Ну-съ, хорошо-съ...

— «Сыну моему Семену — село Вырыпаево съ деревнями, всего триста пятьдесятъ пять душъ; второе, сыну моему Дмитрію — село Послѣдово съ деревнями, да изъ вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горѣлки, всего девятьсотъ шестьдесятъ одну душу»... Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотѣлось, чтобъ онъ хоть ручку у ней поцаловалъ, но тотъ даже не моргнулъ глазомъ. — Да что̀ же молчишь-то! что ты, деревянный, что̀ ли! почти крикнула она на него.

— Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.

— «Третье, сыну моему Ѳедору — сельцо Дятлово съ деревнею Околицей и село Нагорское съ деревнями, а всего тысяча сорокъ двѣ души».

Митенька пускалъ дымъ уже не кольцами, а клубами. Онъ зналъ, конечно, что всѣ эти завѣщанія вздоръ, что Марья Петровна пишетъ ихъ отъ нѐчего дѣлать, что она на слѣдующей же недѣлѣ, немедленно послѣ ихъ отъѣзда, *еще два завѣщанія* напишетъ, но какая-то робкая и, вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, безпокойная мысль шевелилась у него въ головѣ. «А ну, какъ она умретъ!» говорила эта мысль: «вѣдь, всѣ эти бредни, пожалуй, перейдутъ въ дѣйствительность». Справедливость, однакожь, заставляетъ меня сказать, что ни разу не пришло ему въ голову, что каково бы ни было завѣщаніе матери, все-таки, братьямъ слѣдуетъ раздѣлить имѣніе по ровну. Въ этомъ отношеніи, онъ очень хорошо понималъ, что долгъ его повиноваться волѣ матери, тѣмъ болѣе, что повиновеніе это для него выгодно.

— Ну-съ, сказалъ онъ.

— Вотъ и все; тамъ, обыкновенно, формальности разныя...

— А капиталъ?

— Какой же у меня капиталъ? а коли и есть капиталъ, такъ, вѣдь, надо же мнѣ, вдовѣ, прожить на что̀-нибудь до смерти!

— Да, вѣдь, это завѣщаніе, а не раздѣльный актъ...

— Неужто жь вы потребуете, чтобъ я послѣднее отдала? чтобъ я и рубашку съ себя сняла?

— Это завѣщаніе, маменька, а не раздѣльный актъ...

— Ну, нѣтъ! не ожидала я этого отъ тебя! что̀ жь, въ самомъ дѣлѣ, выгоняйте мать! И по дѣломъ старой дурѣ! по дѣломъ ей за то, что себѣ, на старость лѣтъ, ничего не припасала, а все дѣтямъ да дѣтямъ откладывала! пускай съ сумой по дворамъ таскается!

— Извините меня, маменька, но мнѣ кажется, что все это только фантазіи ваши, и напрасно вы съ этимъ дѣломъ обратились ко мнѣ («это она Ѳедькѣ весь капиталъ-то при жизни еще передать хочетъ!» шевельнулось у него въ головѣ)! Вы лучше обратились бы къ Сеничкѣ: онъ на эти дѣла мастеръ; онъ и пособолѣзновалъ бы съ ва-

ми, и натолковался бы до сыта, и предположеній бы всякихъ надѣлалъ!

И дѣйствительно, въ то самое время, какъ между Марьей Петровной и Митенькой происходила описанная выше сцена, Сеничка лежалъ на кровати въ Петинькиной комнатѣ, и не смотря на ощущаемую въ желудкѣ тяжесть, никакъ-таки не могъ сомкнуть глаза свои. Предположенія и планы, одинъ другого чуднѣе, одинъ другого разнообразнѣе, являлись его воображенію. То видѣлъ онъ, что Марья Петровна умираетъ, что онъ одинъ успѣлъ пріѣхать къ послѣднимъ ея минутамъ, что она прозрѣла и оцѣнила его любовь, что она цѣпенѣющею рукой указываетъ ему на шкатулку и говоритъ: «другъ мой сердечный! Сеничка, мой милый! это все твое!» То представлялось ему, что и маменька умерла, и братья умерли, и Петинька умеръ, и даже дядя, маменькинъ братъ, съ которымъ Марья Петровна была въ ссорѣ за то, что подозрѣвала его въ похищеніи отцовскаго духовнаго завѣщанія, и тотъ умеръ; и онъ, Сеничка, остался общимъ наслѣдникомъ... То видится ему, что маменька призываетъ его и говоритъ: «слушай ты меня, другъ мой сердечный, Сеничка! лѣта мои преклонныя, да и здоровье не то, что̀ было прежде»... и въ заключеніе читаетъ ему завѣщаніе свое, читаетъ безъ пропусковъ (не такъ, какъ Митенькѣ: «тамъ, дескать, извѣстныя формальности»), а сплошь, начиная съ *во имя* и кончая «здравымъ умомъ и твердою памятью», и по завѣщанію этоту оказывается, что ему, Сеничкѣ, предоставляется сельцо Дятлово съ деревнею Околицей и село Нагорное съ деревнями, а всего тысяча сорокъ двѣ души...

— А капиталъ, милый другъ мой, маменька? мысленно спрашиваетъ Сеничка.

— *А капиталъ*, другъ мой, Сеничка, я тебѣ при жиз-

ни изъ рукъ въ руки передамъ... Только успокой ты мою старость! Дай ты мнѣ, при моихъ немощахъ, угодникамъ послужить! Лѣта мои пришли преклонныя, и здоровье ужь не то, что прежде бывало...

Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всенощной. Въ образной никого изъ домашнихъ не было; отецъ Павлинъ, уже совершенно облаченный, уныло расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, по временамъ останавливаясь передъ иконостасомъ и почесывая въ бородѣ; пономарь раздувалъ кадило, и, повидимому, былъ совершенно доволенъ собой, когда отъ горящихъ въ немъ угольевъ внезапно вспыхивало пламя; дьячокъ шуршалъ замасленными листами требника и что̀-то бормоталъ про себя. Изъ залы долеталъ хохотъ Ѳединьки и Пашеньки.

— Съ дорогими гостями, привѣтствовалъ отецъ Павлинъ:—начинать прикажете?

— Начинай, батюшка, начинай! Да что̀ жь это Сенички нѣтъ! Дѣвки! позовите Семена Иваныча!

По обыкновенію, и въ этомъ случаѣ Сеничка служилъ, такъ сказать, очистительною жертвою за братьевъ. За всенощной онъ долженъ былъ молиться. Но на этотъ разъ ему какъ-то не молилось; машинально водилъ онъ рукой по груди и задумчиво вглядывался въ облака дыма, изобильно выходившія изъ батюшкинова кадила. Тщетно заливался дьячокъ, выводя руладу за руладой, тщетно вторилъ ему пономарь, заканчивая каждый кантъ какимъ-то тонкимъ дребезжаньемъ, очень похожимъ на дребезжанье, которымъ заканчиваетъ свой свистъ чижикъ; тщетно самъ отецъ Павлинъ вразумительно и ясно произносилъ возгласы:. Сеничка не внималъ ничему и весь былъ погруженъ въ мечтанія, мечтанія глупыя, но, тѣмъ не менѣе, отнюдь не имѣвшія молитвеннаго характера. Марья Пе-

тровна, любившая, чтобъ Сеничка за нее молился, тотчасъ же замѣтила это.

— Помилуй, мой другъ, сказала она ему: — что ты это рукою-то словно на балалайкѣ играешь! Или за мать-то и помолиться ужь лѣнь?

Вообще, весь вечеръ прошелъ какъ-то неудачно для Сенички, потому что Марья Петровна, раздраженная послѣобѣденнымъ разговоромъ, то и дѣло придиралась къ нему. Неизвѣстно съ чего вздумалъ вдругъ Сеничка вступить за чаемъ въ диспутъ съ батюшкой и сталъ доказывать ему преимущество католической вѣры передъ православною (совсѣмъ онъ ничего подобнаго и не думалъ, да вотъ пришла же вдругъ такая несчастная мысль въ голову!), и доказывалъ именно тѣмъ, что въ католической вѣрѣ просфоры пекутся прѣсныя, а не кислыя. Батюшка, съ своей стороны, разревновался и сталъ изобличать Сеничку въ ереси.

— Позвольте, говорилъ онъ: — вѣдь, такимъ манеромъ и лютерцевъ оправдывать можно!

— Я не объ лютеранахъ говорю...

— Нѣтъ, позвольте! я спрашиваю васъ, оправдываете ли вы лютерцевъ?

— Да вѣдь, ми...

— Нѣтъ, прошу отвѣтъ дать! заслуживаютъ ли лютерцы, по вашему мнѣнію, быть оправданными? повторялъ батюшка, и, повторяя, хохоталъ какимъ-то закатистымъ, веселымъ хохотомъ и выказывалъ при этомъ рядъ бѣлыхъ, здоровыхъ зубовъ.

— И охота тебѣ, батька, съ нимъ спорить! вмѣшалась Марья Петровна: — развѣ не видишь, что онъ съ ума сбрендилъ! Смотри ты у меня, Семенъ Иванычъ! ты, пожалуй, и дворню-то мнѣ всю развратишь!

Тѣмъ этотъ достославный споръ и кончился; Сеничка

думалъ удивить маменьку разнообразіемъ познаній и полетомъ фантазіи, но, вмѣсто того, осрамился прежде, нежели успѣлъ что̀-нибудь высказать. Послѣ того онъ нѣсколько разъ порывался ввернуть еще что̀-нибудь на счетъ эмансипаціи (блаженное время! ея тогда не было!), но Марья Петровна разъ навсегда такъ дико взглянула на него, что онъ едва-едва не проглотилъ языкъ.

Оставалась одна надежда на подарокъ, который Сеничка приготовилъ маменькѣ для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся онъ очень рано, да и вообще дурно спалъ ночь. Вопервыхъ, его осаждала прискорбная мысль, что всѣ усилія, какія онъ ни дѣлалъ, чтобъ заслужить маменькино расположеніе, остались тщетными; вовторыхъ, Петинька всю ночь метался на постели и испускалъ какое-то совсѣмъ неслыханное мычаніе; наконецъ, кровать его была до такой степени наполнена блохами, что онъ чувствовалъ себя какъ бы окутаннымъ крапивою и нѣсколько разъ не только вскакивалъ, но даже произносилъ какія-то непонятныя слова, какъ будто бы приведенъ былъ сильными мѣрами въ восторженное состояніе.

Узнавши, что маменька только-что встала, что къ обѣдни еще не начинали благовѣстить и что братцы еще почиваютъ, Сеничка осторожно вынулъ изъ чемодана щегольской бѣлый муаръ-антиковый зонтикъ и отправился къ маменькѣ. Но каково же было его удивленіе, когда онъ засталъ ее за письменнымъ столомъ въ созерцаніи цѣлыхъ трехъ зонтиковъ! Онъ сейчасъ же догадался, что это были подарки Митеньки, Ѳединьки и Пашеньки, которые наканунѣ еще распорядились о врученіи ихъ имянинницѣ, какъ только «душенька маменька» откроетъ глаза. Сеничка до того смутился, что даже вытаращилъ глаза и уронилъ зонтикъ.

— Здравствуй, другъ мой!... да что̀ жь ты на меня, вытараща глаза, смотришь! или на мнѣ грибы со вчерашняго дня выросли! привѣтствовала его Марья Петровна.

— Я, маменька... позвольте мнѣ, милый другъ мой, маменька, поздравить васъ съ днемъ ангела и пожелать провести оный среди любящаго васъ семейства въ совершенномъ спокойствіи, котораго вы вполнѣ достойны...

— Благодарствуй, благодарствуй! да что̀ это, ты, словно, уронилъ что̀-то?

— Это, милая маменька, я желалъ принести вамъ слабую дань моей благодарности за тѣ ласки и попеченія, которыми вы меня, добрый другъ, маменька, постоянно осыпаете!

— Да что̀ вы, взбѣсились ,что̀ ли? всѣ по зонтику привезли! напустилась на него Марья Петровна при видѣ новой прибавки къ коллекціи зонтиковъ, уже лежавшей на столѣ:—смѣяться, что̀ ли, ты надо мной вздумалъ?

— Я, милая маменька, всею душою...

— Сговориться вы, что̀ ли, между собой не можете, или, и въ самомъ дѣлѣ, вы другъ другу не братья, а звѣри, что никакой между вами откровенности нѣтъ?

— Я, милая маменька...

— Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! ты думаешь, на глупенькую напалъ? ты думаешь, что вотъ такъ сейчасъ и проведешь! такъ нѣтъ, ошибаешься, другъ любезный, я всѣ твои прожекты и вдоль, и поперегъ знаю... все вижу, все вижу, любезный другъ!

— Я, маменька, никакихъ прожектовъ не имѣю...

— Ты... ты... ты всей смутѣ заводчикъ! Еслибъ не доброта моя, давно бы тебя въ суздаль-монастырь упечь *надо! не* посмотрѣла бы, что ты генералъ, а такъ бы

вышколила, что позабылъ бы, да и другимъ бы заказалъ въ семействѣ смутьянничать! Натко, прошу покорно, въ одномъ городѣ живутъ, вмѣстѣ почти всю дорогу ѣхали и не могли другъ дружкѣ открыться, какой кто матери презентъ везетъ!

— Маменька! чѣмъ же я виноватъ, что Ѳединька не хочетъ мнѣ почтенія дѣлать?

— Да что̀ ты, обалдѣлъ, что̀ ли? Какое тебѣ почтеніе! Вѣдь, ты ему, чай, братъ!

— Я, маменька, старшій братъ, и Ѳединька обязанъ мнѣ почтеніе оказывать!

Богъ знаетъ, чѣмъ бы разъигралась эта исторія, еслибъ бъ въ эту минуту не заблаговѣстили къ обѣднѣ. Марья Петровна такъ и осталась съ раскрытымъ ртомъ, только махнула рукой на Сеничку. Но за то, послѣ обѣдни, она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьямъ разсказала, что Сеничка требуетъ, чтобъ ему было оказываемо почтеніе, но даже всѣхъ сосѣдей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей въ одинъ день, и всю вину складывала на Сеничку, который, какъ старшій братъ, обязанъ былъ уговориться съ младшими, какой презентъ маменькѣ сдѣлать. Вслѣдствіе этого, Ѳединька цѣлый день трунилъ надъ Сеничкой, называлъ его «вашимъ превосходительствомъ», привставалъ на стулѣ при его появленіи, и даже одинъ разъ бросился со всѣхъ ногъ, чтобъ пододвинуть ему кресло, но въ разсѣянности тотчасъ же выдернулъ его изъ подъ него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщій смѣхъ, къ которому оставался равнодушенъ только Митенька. И такимъ образомъ прошелъ цѣлый мучительный день, впродолженіи котораго Сеничка могъ въ сотый разъ убѣдиться, что подаваемые за обѣдомъ дупеля и бекасы составляютъ навсегда недостижимый для него идеалъ.

А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она въ жизни устроила, всѣхъ-то дѣтей въ люди вывела, всѣхъ-то на дорогу поставила. Сеничка вотъ ужь генералъ — того гляди, губернію получитъ! Митенька — поди-ка, какой случай имѣетъ! Ѳединька самъ по себѣ, а Пашенька за хорошимъ человѣкомъ замужемъ! Одинъ Петинька сокрушаетъ Марью Петровну, да, вѣдь, надо же кому-нибудь и Бога молить!

Съ своей стороны, Сеничка разсуждаетъ такъ: «коего чорта я здѣсь ищу! ну, коего чорта! начальники меня любятъ, подчиненные боятся... того гляди, губернаторомъ буду, да женюсь на купчихѣ Безселендеевой — ну, что̀ мнѣ еще надо!» Но какой-то враждебный голосъ такъ и преслѣдуетъ, такъ и нашептываетъ: «а ну, какъ она Дятлово да Нагорное-то подлецу Ѳедькѣ отдастъ!» — и опять начинаются мучительныя мечтанія, опять напрягается умственное око и представляетъ болѣзненному воображенію цѣлый рядъ мнимыхъ картинъ, героемъ которыхъ является онъ, Сеничка, единственный наслѣдникъ и обладатель всѣхъ материнскихъ имѣній и сокровищъ.

Пашенька на другой же день имянинъ уѣхала, но Сеничка все еще остается, все чего-то ждетъ, хотя ему до смерти надо въ Петербургъ, гдѣ ожидаютъ его начальники и подчиненные. Онъ ждетъ, не уѣдутъ ли Митенька съ Ѳединькой, чтобъ одному на просторѣ остаться съ маменькой и объяснить ей, какъ онъ ее обожаетъ. Но проходитъ пять дней, и ожиданія его напрасны. Мало того, что братья не уѣзжаютъ, но онъ видитъ, какъ мать безпрестанно съ ними о чемъ-то шушукается, и какъ только онъ входитъ, перемѣняетъ разговоръ и начинаетъ бесѣдовать о погодѣ. «Это они объ духовномъ *завѣщаніи* шепчутся!» думаетъ Сеничка, и въ то же время

невольно прибавляетъ: — да для какого же чорта я здѣсь живу! ну да! ну да!

Митенька первый сжалился надъ нимъ и предложилъ вмѣстѣ ѣхать въ Петербургъ. Ѳединька такъ и остался полнымъ властелиномъ материнскаго сердца.

Ѣдетъ Сеничка на перекладной, ѣдетъ и дремлетъ. Снится ему, что маменька костенѣющими руками благословляетъ его и говоритъ: «Сеничка, другъ мой! вижу, вижу, что я была несправедлива противъ тебя, но такъ какъ ты генералъ, то оставляю тебѣ... мое материнское благословеніе!» Сеничка вздрагиваетъ, кричитъ на ямщика «пошелъ!» и мчится далѣе и далѣе, до слѣдующей станціи.

ЕЩЕ ПЕРЕПИСКА.

«Наконецъ, chère petite mère, для меня началась упоительная жизнь полка.

«Я принятъ прекрасно, и совсѣмъ не жалѣю, что не попалъ въ гвардію. Это еще не уйдетъ, а покамѣстъ, право, мнѣ нѐчего завидовать тому, что мои товарищи по училищу сокращаютъ свою жизнь, дегюстируя коньяки и ликеры въ закусочной Одинцова. Правда, что К***, въ которомъ расположенъ нашъ полковой штабъ, городокъ довольно мизерный, но, по крайней мѣрѣ, я имѣю здѣсь просторъ и приволье, и узнаю на практикѣ ту поэтическую бивачную жизнь, которая производитъ героевъ. А главное, я вижу здѣсь настоящихъ женщинъ, des femmes à passions, а не какихъ-нибудь Эрнестинокъ, которыя, за умѣренную плату, показываютъ приходящимъ «l'amour — ce n'est que ça!»

«Я цѣлые дни въ движеньи. Утромъ — ученье; послѣ ученья — отдыхъ въ кругу товарищей, завтракѣ въ кабачкѣ, игра на билльярдѣ и проч.; обѣдъ — у полковаго командира; послѣ обѣда — прогулка верхомъ съ полковыми дамами, вечеромъ — въ гостяхъ, всего чаще опять

у полковаго командира. По временамъ, дежурство въ караулѣ: каска, мундиръ на всѣ пуговицы, кожанная подушка, жосткій диванъ и какой-то особенный солдатскій запахъ... Но даже и это имѣетъ свою прелесть, не говоря уже о томъ, что подобная суровая обстановка есть лучшая школа для человѣка, котораго назначеніе быть героемъ. Домой я захожу на самое короткое время, чтобъ полежать, потянуться, переодѣться и поругаться съ Ѳедькой, котораго, entre nous soit dit, за непотребство и кражу моихъ папиросъ, я уже три раза отсылалъ въ полицію для «наказанія на тѣлѣ» (сюда еще не проникла «вольность», и потому здѣшній исправникъ очень обязательно наказываетъ на тѣлѣ, если знаетъ, что его проситъ объ этомъ un homme comme il faut).

«Разумѣется, первою моею мыслью по пріѣздѣ въ К. была мысль о женщинѣ, cet être indicible et mystérieux, къ которому мужчина фаталистически осужденъ стремиться. Ты знаешь, что двѣ вещи: l'honneur et le culte de la beauté — всегда были краеугольными камнями моего воспитанія. Поэтому, ты безъ труда поймешь, какъ должно было заботить меня это дѣло. Но и въ этомъ отношеніи, все, повидимому, благопріятствуетъ мнѣ.

«Почти всѣ наши старшіе офицеры женаты; стало быть, еслибъ даже не было помѣщицъ (а ихъ, по слухамъ, достаточно, и, притомъ, бо̀льшая часть принадлежитъ къ числу такихъ, которымъ, какъ у насъ въ школѣ говаривали, ничто человѣческое не чуждо), то можно будетъ ограничиться и своими дамами. Nous en avons de tous les types, чему, конечно, не мало способствовала кочевая жизнь полка. Нашъ полкъ перебывалъ всюду, и вездѣ ремонтировался хорошенькими женщинами. Роскошныя малороссіянки, съ бѣлыми какъ кипень зубами, обаятельныя брюнетки-польки, мечтательныя воло-

токудрыя нѣмки, знойныя молдаванки, enfin tout ce que les diverses nationalités peuvent offrir d'exquis et de recherché en fait de femmes. У одного дивизіонера жена даже персіянка (говорятъ, съ пунцовыми волосами), но, къ сожалѣнію, онъ ее никому не показываетъ, а, по слухамъ, даже бьетъ нагайкой... le cher homme! Конечно, въ манерахъ нашихъ женщинъ (не всѣхъ, однакожъ; даже и въ этомъ смыслѣ есть замѣчательныя исключенія) нельзя искать той женственной прелести, ce fini, ce vaporeux, которые такъ поразительно дѣйствуютъ въ женщинахъ высшаго общества (tu en sais quelque chose, pauvre petite mère, toi, qui à trente six ans, as failli tourner la tête au philosophe de Chizzlhurst), но зато у нихъ есть непринужденность жеста и очень большая свобода слова, что̀, согласись, имѣетъ тоже очень большую цѣну. Эта свобода, въ соединеніи съ адскимъ равнодушіемъ мужей (представь себѣ, нѣкоторые изъ нихъ такъ-таки прямо и называютъ своихъ женъ «ѣзжалыми бабами»!), дѣлаетъ ихъ общество на столько пикантнымъ что, поневолѣ, забываешь столицу и ея увлеченія...

«Нашъ командиръ, полковникъ баронъ фонъ-Шпекъ, принялъ меня совершенно по-товарищески. Это добрый, пожилой и очень простодушный нѣмецъ, который изо всѣхъ силъ хлопочетъ, чтобъ его считали за русскаго, а потому принуждаетъ себя пить квасъ, ѣсть щи и кашу, а прелестную жену свою называетъ не иначе, какъ «мой бабъ».

«— Мы, ру̀сски, бѐзъ церемо̀ни! сказалъ онъ мнѣ съ перваго же раза: — въ три часа у насъ щи-каша — милости прошу! я васъ мой бабъ представлять буду!

«Разумѣется, я не заставилъ повторять приглашеніе, и *ровно* въ три часа былъ уже представленъ прелестной *командиршѣ*.

«Я не преувеличивая могу сказать, что это одна изъ очаровательнѣйшихъ женщинъ, какихъ я когда-либо видѣлъ въ своей жизни. Прежде всего, ей тридцать—тридцать пять лѣтъ, и она блондинка, почти съ такимъ же темно-золотистымъ отливомъ, какъ у тебя, petite mère. Ты знаешь, я никогда не былъ охотникъ ни до очень молоденькихъ женщинъ, ни до женщинъ съ черными волосами и темными глазами. Молоденькія бабенки глупы и надоѣдливы. Онѣ поминутно лѣзутъ цѣловаться, сами не понимая, зачѣмъ. Что̀ же касается до брюнетокъ, то хотя и говорятъ, будто онѣ страстны, но, по моему мнѣнію, c'est une réputation usurpée. Въ сущности, онѣ только деспотичны и рѣзки — вотъ что̀ многими принимается за страстность. Я, еще будучи въ училищѣ, изучилъ этотъ вопросъ à fond. Une brune est toujours froide et dénuée de ressources. Я не говорю уже о формахъ, которыя у брюнетки никогда не достигаютъ такой полноты и роскоши развитія, такой, если можно такъ выразиться, лучезарности, какъ у блондинки. Брюнетка пикантна—и ничего больше. Это не женщина наслажденія. Даже каштановая женщина, въ смыслѣ наслажденія, представляетъ передъ брюнеткой неоспоримыя преимущества. Dans sa façon d'aimer une femme maron a déjà quelque chose de blond. Но блондинка, настоящая блондинка — это масло...

«И такъ, она блондинка; глаза у нея большіе, сѣрые, и очень хорошо поставленные. Она не хуже любой Camille de Lyon умѣетъ подрисовать себѣ вѣки, и потому глаза ея кажутся, въ одно и то же время, и блестящими, и влажными. Носъ прелестный, съ тонкими, удивительно очерченными ноздрями. Ротъ съ нѣсколько вздернутой верхней губой, что придаетъ всей физіономіи вызывающее выраженіе. Подбородокъ круглый, мягкій, слегка пуши-

стый, съ ямочкой по серединѣ... on dirait, un nid d'amour! Уши маленькія, сухія, почти прозрачныя. Общій тонъ лица нѣжно золотистый, какъ у спѣлой сливы. Ничего розоваго, вульгарнаго, напоминающаго дурно свареннаго поросенка. Формы—роскошь, не доходящая, однакожь, до пресыщенія; ножка... но про ножку достаточно сказать, что она сама ею кокетничаетъ!

«Прибавь къ этому бездну женственности и того неуловимаго кокетства, которое всякую свѣтскую красавицу окружаетъ словно облакомъ аромата (она была въ гвардіи, прежде нежели попала сюда)—и ты получишь приблизительное понятіе о томъ сокровищѣ, которое я былъ такъ счастливъ найти въ одномъ изъ самыхъ мизерныхъ уголковъ нашего любезнаго отечества.

«Съ перваго же взгляда на эту женщину, я почувствовалъ въ сердцѣ неотразимое желаніе покорить ее.

«Не даромъ любовь правитъ міромъ, chère maman! Не даромъ она проникаетъ и въ раззолоченныя палаты владыкъ міра, и въ скромную хижину земледѣльца! Все живущее спѣшитъ покориться жестокимъ и въ то же время сладкимъ законамъ ея. Даже дикій звѣрь и тотъ, подъ вліяніямъ ея, забываетъ аппетитъ и сонъ! Вы видите бѣгущаго по лѣсу волка; пасть его открыта, языкъ высунутъ, глаза мутны; онъ рветъ землю когтями, бросается на своихъ собратовъ, грызетъ ихъ... à propos de quoi, je vous demande un peu? ужели только потому, что онъ видитъ передъ собой эту отвратительную волчицу, которая бѣжитъ впереди стада съ оскаленными зубами? — Да-съ, потому-съ! Ибо такова сила любовныхъ чаръ, таково могущество любви! Другой причины нѣтъ... и не можетъ быть!

«Quel mystère, chère maman!

«*Читайте* великихъ мастеровъ искусства: Paul de Kock,

Ponson du Terail, Feydeau... что̀ вы найдете у нихъ? — Любовь, любовь и любовь! Et «la belle Hélène» donc!

«Впрочемъ, повидимому, мое предпріятіе не обойдется безъ препятствій. Я уже намѣтилъ двухъ конкуррентовъ, борьба съ которыми обѣщаетъ не мало трудностей. Одинъ изъ нихъ предсѣдатель мѣстной земской управы Травниковъ; другой — полковой казначей, ротмистръ Цыбуля.

«Травниковъ — либералъ. Онъ выжилъ два года въ Парижѣ, гдѣ познакомился съ Бастіа̀, который, de vive voix, передалъ ему тайны своей науки. Это сдѣлало его до того обаятельнымъ между здѣшними гласными, что когда онъ, воротившись изъ Парижа, поселился въ своемъ имѣніи, то его единогласно выбрали предсѣдателемъ управы. Теперь онъ пропагандируетъ Бастіа̀ между полковыми дамами. Наружностью своей и манерами онъ напоминаетъ выцвѣтшаго трактирнаго маркёра. En somme, c'est un pauvre sire, и было бы даже удивительно, что Полина (c'est le petit nom de la dame en question) интересуется имъ, еслибъ онъ не былъ богатъ. Но это слово объясняетъ многое.

«Ротмистръ Цыбуля — неуклюжій малоросъ, который говоритъ «фостъ», вмѣсто «хвостъ». Но онъ тринадцати вершковъ роста и, притомъ, такъ крѣпокъ и силенъ, что, я увѣренъ, могъ бы свободно пройти сквозь строй черезъ тысячу человѣкъ...

«Повидимому, однакожь, и моя смиренная рожица произвела недурное впечатлѣніе. По крайней мѣрѣ, послѣ обѣда, когда Травниковъ и Цыбуля ушли къ полковнику въ кабинетъ, она окинула меня взглядомъ и сказала:

«— Какой вы молодой!

«На что̀ я поспѣшилъ отвѣтить, что молодое сердце, хотя и не можетъ похвалиться опытностью, но зато умѣ-

етъ горячо любить и быть преданнымъ. И отвѣтъ мой былъ выслушанъ благосклонно...

«Я впередъ предвижу, что будетъ. Сначала меня будутъ называть «сынкомъ», и на этомъ основаніи позволятъ мнѣ цѣловать ручки. Потомъ мнѣ дадутъ, въ награду за какую-нибудь дѣтскую услугу, поцѣловать плечико, и когда замѣтятъ, что это производитъ на меня эффектъ, то скажутъ: какіе, однакожъ, у тебя смѣшные глаза! Потомъ тррахъ!—et tout sera dit!

«Таковъ неумолимый законъ любвей!

«Я воротился домой очарованный, и весь вечеръ предавался возвышеннымъ мыслямъ. Ночь была тихая, теплая. Я сидѣлъ у растворенного окна, смотрѣлъ на полную луну, и мечталъ. Сначала, мои мысли были обращены къ *ней*, но, мало-по-малу, онѣ приняли серьёзное направленіе. Мнѣ живо представилось, что мы идемъ походомъ и что гдѣ-то, изъ-за лѣса, показался непріятель. Я, по обыкновенію, гарцую на конѣ, впереди полка, и даю сигналъ къ атакѣ. Тррахъ!.. ружейные выстрѣлы, крики, стоны, «руби»! «коли!» Et, ma foi! черезъ пять минутъ отъ непріятеля осталась одна окрошка!

«Вотъ первыя впечатлѣнія моей новой жизни. Я буду писать тебѣ часто, но надѣюсь, что «Butor» не узнаетъ объ нашей перепискѣ. Пиши и ты ко мнѣ какъ можно чаще, потому что твои совѣты теперь для меня, болѣе, нежели когда-нибудь, драгоцѣнны. Цѣлую тебя.

Сергій Проказнинъ».

«P. S. Противъ квартиры моей стоитъ большой каменный домъ. Сегодня утромъ, подойдя къ окну, я увидѣлъ на балконѣ этого дома очень недурную и еще молодую женщину. Не говоря худого слова, я взялъ бинокль и навелъ его на нее. Она не только не оскорбилась этимъ, *но даже слегка* усмѣхнулась, и поиграла въ мою сторону

глазками. Отъ Ѳедьки я узналъ, что это вдова купца Лиходѣева и что она ежегодно отправляетъ значительное число барокъ съ хлѣбомъ. Говорятъ также (все тотъ же Ѳедька, у котораго на этотъ счетъ изумительное чутье), что тутъ ужь примазался здѣшній исправникъ. И дѣйствительно, въ ту минуту, какъ я закрываю это письмо, его дрожки подъѣхали къ крыльцу Лиходѣевскаго дома».

«Vous êtes un noble coeur, Serge! ты понялъ меня! Ты понялъ, что мнѣ нужна переписка съ тобой, чтобъ отдохнуть отъ той безвыходной прозы, которая отнынѣ должна составлять все содержаніе моей бѣдной, неудавшейся жизни!

«Ахъ, какая это жизнь! Вежетировать изо дня въ день въ деревнѣ, видѣть налитую водкой физіономію Butor'a, слышать, какъ онъ, запершись съ Филаткой въ кабинетѣ, выкрикиваетъ кавалерійскіе сигналы, ежеминутно быть подъ страхомъ, что ему вдругъ вздумается сдѣлать нашествіе на мой будуаръ... Это ужасно, ужасно, ужасно!

«Представь себѣ, что̀ я узнала! До сихъ поръ я думала, что должна была оставить Парижъ, потому что Butor отказался присылать мнѣ деньги; теперь, мнѣ извѣстно, что онъ подавалъ объ этомъ оффиціальную записку, и въ этой запискѣ... просилъ о высылкѣ меня изъ Парижа *по этапу!!* L'animal!

«Eh moi qui croyais autrefois à l'idéal, au sublime, à l'infini... que sais-je! Я, которая думала, что вся моя жизнь будетъ непрерывнымъ гимномъ божеству! И что̀ жь! достаточно было прикосновенія грубой руки одного человѣка, чтобъ разбудить меня отъ моихъ золотыхъ грёзъ. И этотъ человѣкъ... c'est le Butor! Le sublime—et l'hor-

rible, le ciel — et l'enfer, l'ange — et le démon... какой поразительный урокъ!

«Я не знаю, что̀ сталось бы со мной, еслибъ я не нашла утѣшенія въ религіи. Религія — это наше сокровище, мой другъ! Безъ религіи, мы путники, колеблемые вѣтромъ сомнѣній, какъ говоритъ le père Basile, очень миленькій молодой попикъ, который недавно опредѣленъ въ нашъ приходъ и котораго нашъ Butor ужь успѣлъ окрестить именемъ Васьки-шалыгана. Я собственнымъ горькимъ опытомъ убѣдилась въ истинѣ этихъ словъ — и знаешь ли, гдѣ? Тамъ... въ Парижѣ! Сознаюсь, я въ то время жила... comme une payénne! Я ничего не понимала... c'était un rêve! И вдругъ, мнѣ объявляютъ, что если я завтра не выѣду изъ Парижа, то меня посадятъ въ Clichy! C'était comme un trait du lumière! Я сейчасъ же приказала уложить мои вещи... и съ этой минуты — ни малѣйшаго ропота, ни единаго горькаго слова! Я вдругъ преобразилась, почувствовала, что мнѣ легко. Paul de Cassagnac, Villeméssent, Détroyat, Tarbé, Dugué de la Fauconnerie *) — всѣ прибѣжали, всѣ хотѣли утѣшить меня, но я наотрѣзъ сказала: ni—ni, c'est fini! Que la volonté de Dieu soit faite! И когда, на другой день, я садилась въ вагонъ, Villeméssent, прощаясь со мной, сказалъ: vous êtes une sainte! c'est Villeméssent qui vous le dit!

«Но какъ онъ терзаетъ меня... le Butor! какъ онъ изобрѣтателенъ въ своихъ оскорбленіяхъ! какъ онъ умѣетъ повернуть ножъ въ незажившей еще ранѣ!

«Надняхъ — это было въ день моего рожденія (hélas! твоей pauvre petite mère исполнилось сорокъ лѣтъ, mon enfant!)—онъ является прямо въ мой будуаръ.

---

*) *Журналисты* мавританическаго оттѣнка.

«— Честь имѣю поздравить!

«Я молчу.

«— Сорокъ годковъ изволили получить! Самая, значитъ, пора!

«Я дѣлаю чуть замѣтный знакъ нетерпѣнія.

«— По Бальзаку, это именно настоящая пора любви. Удивительно, говорятъ, какъ у этихъ сорокалѣтнихъ бабъ оно знойно выходитъ...

«— Только не для васъ! холодно отвѣтила я, и, окинувъ его презрительнымъ взглядомъ, поспѣшила запереться у себя въ спальной.

«Я не знаю, какой эффектъ произвелъ на него мой отвѣтъ (Маша, моя горничная, увѣряетъ, что у него даже губы побѣлѣли отъ злости), но я очень отчетливо слышала, какъ онъ нѣсколько разъ сряду произнесъ мнѣ въ догонку:

«— Заставлю-съ! заставлю-съ! заставлю-съ!

«И такимъ образомъ — почти ежедневно. Я каждое утро слышу его неровные шаги, направляющіеся къ моей комнатѣ, и жду оскорбленія. Однажды — это былъ памятный для меня день, Serge! — онъ пришелъ ко мнѣ, держа въ рукахъ листокъ «Городскихъ и иногородныхъ афишъ» (c'est la seule nourriture intellectuelle qu'il se permet, l'innocent!)

«— Ну-съ, вотъ и Чизльгёрстскій философъ околѣлъ! сказалъ онъ, посылая мнѣ въ упоръ свою пьяную улыбку.

«— Какъ? кто? Онъ? только могла я произнести.

«— Да-съ! онъ-съ. Седанскій герой-съ; вашъ...

«Il a nommé la chose... le monstre! Онъ не пощадилъ ничего... даже этого славнаго воспоминанія моей жизни!

«Je le confesse, я была неделикатна. Я вцѣпилась ногтями въ его лицо, но, впрочемъ, сію же минуту опамятовалась и убѣжала отъ него. Я цѣлый часъ была какъ

сумасшедшая! Я думала, что онъ нарочно обманываетъ, дразнитъ меня! Но вслѣдъ затѣмъ — конечно, изъ жестокаго желанія не оставить во мнѣ никакого сомнѣнія— онъ прислалъ мнѣ съ Машей листокъ... Это была правда! Онъ умеръ! Сперва Морни, потомъ Персиньи... наконецъ, ОНЪ!!. Цѣлый рой сновидѣній пронесся предо мной... le rêve doré de mon passé! Я, какъ безумная, бѣгала по залѣ и все напѣвала: *ah! j'ai un pied qui r'mue* — мотивъ кадрили, которая *тогда* рѣшила мою участь. Я помню, на мнѣ было платье совсѣмъ какъ изъ воздуха: des bouillonées, des bouillonées, et puis encore des bouillonées, toujours des bouillonées... En un mot, tout-à-fait frou-frou... ОНЪ подошелъ ко мнѣ и сказалъ: quelle gorge adorable! — и только! Но при этомъ онъ посмотрѣлъ на меня, какъ только *онъ* одинъ умѣлъ смотрѣть... Это продолжалось не болѣе одной минуты, но участь моя была рѣшена... Я помню, это было въ сумерки, entre chien et loup... Но зачѣмъ растравлять воспоминаніемъ еще дымящуюся рану!... Однимъ словомъ, я до того увлеклась моими воспоминаніями, что даже не замѣтила, что Butor стоитъ въ дверяхъ и во все горло хохочетъ. У него все лицо распухло отъ царапинъ, которыя сдѣлали мои ногти; il était ignoble, dégoûtant, immonde...

«Вотъ моя жизнь! И представь себѣ, что иногда... бываютъ дни, когда этотъ человѣкъ объявляетъ о какихъ-то своихъ правахъ на меня... le butor!

«Послѣ всего этого, ты можешь себѣ представить, какое блаженство для меня твои письма. И что̀ придаетъ имъ еще больше прелести — это тайна и даже опасность, съ которыми сопряжено ихъ полученіе. Я получаю ихъ черезъ Машу, и иногда по цѣлымъ часамъ бываю *вынуждена держать* ихъ подъ корсажемъ, прежде нежели

прочитать. Тогда я воображаю себя въ пансіонѣ, гдѣ я впервые научилась скрывать письма (и представь себѣ, это были письма Butor'a, который еще въ пансіонѣ «сослѣдилъ» меня, какъ онъ выражался на своемъ грубомъ жаргонѣ), и жду, пока Butor не уляжется послѣ обѣда спать. Это пытка, мой другъ, это почти истязаніе, mais c'est égal, c'est plein de poésie! Иногда, онъ, какъ нарочно, медлитъ, и тогда я готова надѣлать глупостей отъ нетерпѣнія... Но вотъ раздался сигнальный храпъ— и я ужь за дѣломъ. Я запираюсь у себя въ комнатѣ и читаю и перечитываю твои письма... noble enfant de mon coeur!

«Я понимаю тебя и твои молодыя стремленія, мой другъ! Я, твоя бѣдная мать, эта сорокалѣтняя женщина, cette femme de Balzac, comme dit le Butor! И я была молода, и я увлекалась... ты знаешь, *кто* меня любилъ! Теперь *онъ* въ могилѣ... всѣ въ могилѣ, мой другъ! Morny, Persigny... Lui!! Одинъ Базенъ остался, и тотъ сидитъ на какомъ-то островѣ *), откуда онъ будетъ очень глупъ, ежели не бѣжитъ. Но я не забыла, я помню. Я *все* помню, и потому *все* могу понимать...

«Я отсюда вижу тебя и твою Полину... toi, plein de sève et de vigueur, elle—rayonnante de ce doux parfum d'abnégation amoureuse, qui est l'auréole et en même temps l'absolution de la pauvre femme... coupable! Tu es beau, elle est belle; вы оба молоды, сильны, оба горите избыткомъ жизни, оба чувствуете, какъ страсть катится по вашимъ жиламъ, давитъ васъ... Но отчего же признаніе дрожитъ на вашихъ губахъ — и не можетъ сказаться?.. Отчего глаза ваши ищутъ встрѣтить другъ друга — и, встрѣтившись, опускаются? Вы встревожены,

*) Писано до полученія извѣстія о бѣгствѣ Базена.

васъ волнуетъ какая-то горькая мысль... Она — съ трепетомъ вглядывается въ будущее, и падаетъ ницъ передъ идеею вѣчности... Ты — пугаешь себя ревнивыми воспоминаніями... Травниковъ, Цыбуля, даже самъ фонъ-Шпекъ!.. Ты никого не забылъ! *Послѣ* — ты все забудешь, все простишь. *Послѣ*, ты скажешь себѣ: и Травниковъ, и Цыбуля — все это естественныя послѣдствія фонъ-Шпека! *Послѣ* — но не теперь! *Теперь*, ты еще помнишь, хотя уже и жаждешь забыть.

«А покуда, я надѣюсь, что ты выслушаешь воркотню старухи-матери, рѣшающейся высказать нѣсколько совѣтовъ, которые, навѣрное, не будутъ для тебя безполезны.

«Любовь, мой другъ — это святыня, къ которой нужно приближаться съ осторожностью, почти съ благоговѣніемъ, и вотъ почему мнѣ несовсѣмъ нравится слово «тррахъ», которое ты употребилъ въ письмѣ своемъ. Можетъ быть, все такъ и произойдетъ, какъ ты писалъ, но уже потому одному, что оно именно *такъ* и произойдетъ, т. е. *сначала* назовутъ тебя «сынкомъ», *потомъ*, дадутъ ручку, etc. — ты всего менѣе въ правѣ употреблять ce malencontreux «тррахъ». Ça sent la caserne, mon cher, ça pue l'écurie, le fumier. Салонъ свѣтской женщины (ты именно такою описываешь мнѣ Полину) — не манежъ и не одно изъ тѣхъ жалкихъ убѣжищъ, въ которыхъ вы, молодые люди, къ несчастію, получаете первыя понятія о любви... Это мѣсто очень приличное, гдѣ требуются совсѣмъ другіе пріемы, нежели... ты понимаешь гдѣ?

«Помни, мой другъ, что любовь — все для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь. Что, стало быть, оскорбить ея любовь — значитъ оскорбить *ея все. Этого одного* достаточно, чтобы понять, почему

успѣхъ, въ бо̀льшей части случаевъ, достается совсѣмъ не тому, кто съ громомъ и трубами идетъ точно на приступъ, а тому, кто умѣетъ ждать. Вопервыхъ, всѣ эти самонадѣянные люди почти всегда нескромны и хвастливы, что̀ совсѣмъ не входитъ въ разсчеты замужней женщины, которая желаетъ сохранить les dehors. Вовторыхъ, женщины самолюбивы, и имъ всегда пріятно дать щелчекъ человѣку, у котораго на умѣ «труахъ» Втретьихъ — и это главное — женщины вовсе не такъ алчутъ грубыхъ наслажденій, какъ вы, мужчины, обыкновенно объ этомъ думаете.

«Женщина — это существо особенное, c'est un être indisible et mystérieux какъ ты самъ очень мило опредѣлилъ ее въ твоемъ письмѣ (какъ странно звучитъ твое «труахъ» рядомъ съ этимъ милымъ опредѣленіемъ!). Разумѣется, я говорю здѣсь не объ институткахъ, а о настоящихъ женщинахъ, о тѣхъ, которыя испытаны жизнью и къ числу которыхъ, повидимому, принадлежитъ и Полина. Такія женщины любятъ медлить. Elles aiment à savourer les préludes de l'amour. Эти таинственныя, безконечныя изліянія, въ которыхъ все отрывочно, недоконченно, неуловимо, но въ которыхъ каждое слово, каждый звукъ, каждая улыбка, каждый вздохъ имѣютъ глубокое значеніе. Женщина любитъ неслышно погружаться въ душистый паръ недоговоренныхъ словъ, затаенныхъ вздоховъ, взглядовъ, брошенныхъ украдкой. Она любитъ замѣнять слово «любовь» словомъ «дружба»... Это доставляетъ ей минуты того сладкаго головокруженія, которое у самаго паденія отнимаетъ все, что̀ въ немъ есть грубаго, сырого. Ce ne est pas une chûte grossière qu'elle ambitionne — c'est une *jolie* chûte.

«Вотъ почему женщинъ такъ увлекаютъ высокопоставленныя лица, даже старики. Съ точки зрѣнія матерья-

васъ волнуетъ какая-то горькая мысль... Она — съ трепетомъ вглядывается въ будущее, и падаетъ ницъ передъ идеею вѣчности... Ты — пугаешь себя ревнивыми воспоминаніями... Травниковъ, Цыбуля, даже самъ фонъ-Шпекъ!.. Ты никого не забылъ! *Послѣ* — ты все забудешь, все простишь. *Послѣ*, ты скажешь себѣ: и Травниковъ, и Цыбуля — все это естественныя послѣдствія фонъ-Шпека! *Послѣ* — но не теперь! *Теперь*, ты еще помнишь, хотя уже и жаждешь забыть.

«А покуда, я надѣюсь, что ты выслушаешь воркотню старухи-матери, рѣшающейся высказать нѣсколько совѣтовъ, которые, навѣрное, не будутъ для тебя безполезны.

«Любовь, мой другъ — это святыня, къ которой нужно приближаться съ осторожностью, почти съ благоговѣніемъ, и вотъ почему мнѣ несовсѣмъ нравится слово «труахъ», которое ты употребилъ въ письмѣ своемъ. Можетъ быть, все такъ и произойдетъ, какъ ты писалъ, но уже потому одному, что оно именно *такъ* и произойдетъ, т. е. *сначала* назовутъ тебя «сынкомъ», *потомъ*, дадутъ ручку, etc. — ты всего менѣе въ правѣ употреблять ce malencontreux «труахъ». Ça sent la caserne, mon cher, ça pue l'écurie, le fumier. Салонъ свѣтской женщины (ты именно такою описываешь мнѣ Полину) — не манежъ и не одно изъ тѣхъ жалкихъ убѣжищъ, въ которыхъ вы, молодые люди, къ несчастію, получаете первыя понятія о любви... Это мѣсто очень приличное, гдѣ требуются совсѣмъ другіе пріемы, нежели... ты понимаешь гдѣ?

«Помни, мой другъ, что любовь — все для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь. Что, стало быть, оскорбить ея любовь — значитъ оскорбить *ея все. Этого одного* достаточно, чтобы понять, почему

успѣхъ, въ бо̀льшей части случаевъ, достается совсѣмъ не тому, кто съ громомъ и трубами идетъ точно на приступъ, а тому, кто умѣетъ ждать. Вопервыхъ, всѣ эти самонадѣянные люди почти всегда нескромны и хвастливы, что̀ совсѣмъ не входитъ въ разсчеты замужней женщины, которая желаетъ сохранить les dehors. Вовторыхъ, женщины самолюбивы, и имъ всегда пріятно дать щелчекъ человѣку, у котораго на умѣ «ттрахъ» Втретьихъ — и это главное — женщины вовсе не такъ алчутъ грубыхъ наслажденій, какъ вы, мужчины, обыкновенно объ этомъ думаете.

«Женщина — это существо особенное, c'est un être indisible et mystérieux какъ ты самъ очень мило опредѣлилъ ее въ твоемъ письмѣ (какъ странно звучитъ твое «ттрахъ» рядомъ съ этимъ милымъ опредѣленіемъ!). Разумѣется, я говорю здѣсь не объ институткахъ, а о настоящихъ женщинахъ, о тѣхъ, которыя испытаны жизнью и къ числу которыхъ, повидимому, принадлежитъ и Полина. Такія женщины любятъ медлить. Elles aiment à savourer les préludes de l'amour. Эти таинственныя, безконечныя изліянія, въ которыхъ все отрывочно, недоконченно, неуловимо, но въ которыхъ каждое слово, каждый звукъ, каждая улыбка, каждый вздохъ имѣютъ глубокое значеніе. Женщина любитъ неслышно погружаться въ душистый паръ недоговоренныхъ словъ, затаенныхъ вздоховъ, взглядовъ, брошенныхъ украдкой. Она любитъ замѣнять слово «любовь» словомъ «дружба»... Это доставляетъ ей минуты того сладкаго головокруженія, которое у самаго паденія отнимаетъ все, что̀ въ немъ есть грубаго, сырого. Ce ne est pas une chûte grossière qu'elle ambitionne — c'est une *jolie* chûte.

«Вотъ почему женщинъ такъ увлекаютъ высокопоставленныя лица, даже старики. Съ точки зрѣнія матерья-

листической, это кажется страннымъ, но дѣло въ томъ, что эти люди въ высшей степени обладаютъ тайною de la jolie seduction. Tout en causant, они неслышно подходятъ къ женщинѣ, неслышно овладѣваютъ ея вниманіемъ, и потомъ — неслышно же берутъ ее. Все — en causant. La femme adore la causerie, les phrases bien tournées, les fines réparties, enfin tout ce joli caquetage qui rend la vie facile et charmante.

«Я знаю, есть женщины, которымъ нравится грубость, которыя даже любятъ, чтобъ ихъ мальтретировали. Но это или очень молодыя бабёнки, или такія бабы, которымъ совсѣмъ нѐчего терять. Я и сама когда-то увлекалась butor'омъ потому только, что онъ гремѣлъ шпорами, вертѣлъ зрачками и какъ-то иньобельно причмокивалъ, quand j'avais le sein trop decouvert; но, вѣдь, я тогда была дѣвчонка, и положительно ничего не смыслила dans les jolis raffinements du sentiment.

«Быть можетъ, ты съ нетерпѣніемъ читаешь мое письмо, и даже удивляешься, съ какой стати я принялась тебя морализировать. Но, рискуя даже надоѣсть тебѣ, прошу выслушать меня до конца.

«Я сказала сейчасъ, что женщины любятъ то, что̀ въ порядочномъ обществѣ извѣстно подъ именемъ causerie. Наединѣ съ женщиной мужчина еще можетъ, à la rigueur, ограничиться вращаніемъ зрачковъ, но въ обществѣ онъ *непремѣнно* долженъ умѣть говорить, или, точнѣе — занимать. Поэтому, ему необходимо *всегда* имѣть подъ руками приличный сюжетъ для разговора, чтобы не показаться ничтожнымъ въ глазахъ любимой женщины. Ты понимаешь, надѣюсь, къ чему я веду свою рѣчь?

«Женщина прежде всего любитъ великодушныя идеи, *les idées généreuses*. Она сама великодушна — это ея

ахиллесова пята, которая всего чаще и губитъ ее. Поэтому, ежели мужчина высказываетъ въ ея присутствіи даже слишкомъ великодушныя идеи (les idées, dites subversives), то ей, всетаки, нравится это. Конечно, я никогда не позволила бы тебѣ сдѣлаться на самомъ дѣлѣ поклонникомъ сюбверсивныхъ идей, но въ смыслѣ экспозиціи, какъ aperçu de morale — это одинъ изъ лучшихъ sujets de conversation. Консервативныя идеи страдаютъ большимъ недостаткомъ: имъ никакъ нельзя придать тотъ лоскъ великодушія, который зажигаетъ симпатію въ сердцахъ. Консервативныя идеи хороши въ кабинетѣ, съ глазу на глазъ съ начальствомъ, но въ будуарѣ или въ обществѣ, гдѣ много молодыхъ женщинъ, elles ne valent rien. Великодушныя идеи придаютъ лицу говорящаго оживленное, осмысленное, почти могучее выраженіе, которое прямо свидѣтельствуетъ о силѣ и мощи. Напротивъ того, самый убѣжденный консерваторъ напоминаетъ собой мѣнялу, приведеннаго въ азартъ. Я знаю, что въ послѣднее время расплодилось много женщинъ, которыя охотно выслушиваютъ консервативные разговоры и даже называютъ себя консерваторками; но онѣ положительно сами себя обманываютъ. Онѣ дурно окружены — вотъ отчего это происходитъ. Онѣ постоянно видятъ передъ собой манкеновъ консерватизма, постоянно слышатъ ихъ безцвѣтное и безсильное жужжаніе — и думаютъ, что такъ и должно быть. Что эти сумерки, эта мѣняльная канитель, этотъ безнадежно-сѣрый цвѣтъ — явленіе нормальное. Но все это дурная привычка — и ничего больше! Представь себѣ теперь, что въ эту ровную, едва не засыпающую атмосфѣру, вдругъ врывается человѣкъ, который прямо, à bout portant, бросаетъ новое, кипучее слово! Въ какомъ положеніи должна очутиться женщина, которая до тѣхъ поръ ничего не слы-

шала, кромѣ тягучаго переливанія изъ пустого въ порожнее?! Ты скажешь, быть можетъ, что непрошенное врыванье — скандалъ, но почему же ты знаешь, что для женщины даже и тутъ не скрывается своего рода обаяніе? Не забудь, что она великодушна по природѣ, и слѣдовательно...

«Ахъ! тотъ, котораго въ насмѣшку прозвали чизльгёрстскимъ философомъ, понималъ это отлично! Среди величайшихъ запутанностей и махинацій внутренней и внѣшней политики онъ никогда не забывалъ своего знаменитаго: tout pour le peuple et par le peuple! Онъ понималъ, конечно, что все это не болѣе, какъ aperçu de morale, но когда онъ говорилъ это, все лицо его свѣтилось и всѣ сердца трепетали. Я помню: я была въ бѣломъ платьѣ... des bouillonées... des bouillonées... partout des bouillonées! Онъ подошелъ ко мнѣ...

«Et bien! ils sont tous morts! Morny... Persigny... Lui!! всѣ въ могилахъ, другъ мой! Остался одинъ Базенъ... entreprendra-t-il quelque chose? n'entreprendra-t-il rien?

«Но это еще не все, мой другъ. Наука жить въ свѣтѣ — большая наука, безъ знанія которой мужчина можетъ нравиться только офицершѣ но не женщинѣ.

«Однихъ aperçus de morale, о которыхъ я сейчасъ упомянула, недостаточно: il faut savoir juger des choses de l'actualité et de l'histoire. Однимъ словомъ, нужно всегда имѣть въ запасѣ нѣсколько aperçus politiques, historiques et littéraires. Для самолюбія женщины большой ударъ, если избранникъ ея сердца открываетъ большіе глаза, когда при немъ говорятъ о феніанскомъ вопросѣ, объ интернаціоналѣ, о старокатоликахъ etc., если онъ смѣшиваетъ Геродота съ генераломъ Михайловскимъ-Данилевскимъ, Сафо съ г-жею Кохановскою, если на вопросъ о Гарибальди онъ отвѣчаетъ извѣстіемъ о новомъ

фасонѣ гарибальдійки. Наединѣ, съ глазу на глазъ, все это можетъ сойти за наивность, но въ обществѣ, при свѣтѣ люстръ, подобныя смѣшенія не прощаются... никогда! Знаешь ли, что̀ было первою причиной моей холодности къ Butor'у? А вотъ что̀. Однажды (это было въ первый мой пріѣздъ въ Парижъ, сейчасъ послѣ la belle échauffourée du 2 Décembre), въ одинъ изъ моихъ пріемныхъ дней, en plein salon, кому-то вздумалось faire l'apologie du chevalier Bayard — тогда, вѣдь, были въ модѣ рыцарскія чувства. Къ несчастію, я съ кѣмъ-то заговорилась и забыла, что Butor требуетъ неусыпнаго наблюденія. И вдругъ, въ самомъ жару апологіи, я замѣчаю какое-то замѣшательство, и вижу, что всѣ глаза обращены на Butor'а, который самымъ неприличнымъ образомъ улыбается и даже всхлипываетъ... Спѣшу къ нему, спрашиваю, что̀ съ нимъ... представь себѣ мой ужасъ! онъ смѣшалъ le chevalier de Bayard съ le chevalier de Faublas! Et il se pâmait d'aise... отъ одного ожиданія, что вотъ-вотъ сейчасъ начнется разсказъ извѣстныхъ похожденій!

«Vous êtes un noble et généreux coeur, Serge! но, къ сожалѣнію, свѣтская молодёжь нашего времени думаетъ, что одной физической силы (одинъ петербургскій адвокатъ de mes amis, называетъ это современною гвардейскою правоспособностью) достаточно, чтобъ увлечь женщину. Не вѣрьэтому, другъ мой! La femme aime à être initiée, entre deux baisers, aux mystères de l'histoire, de morale et de littérature! И она очень рада, когда не слышитъ, какъ близкій человѣкъ утверждаетъ, что Ликургъ былъ главнымъ городомъ Греціи и славился кожевенными и мыловаренными заводами, какъ это сдѣлалъ, лѣтъ пять тому назадъ, на моихъ глазахъ, одинъ національгардъ (и какъ онъ идіотски улыбался при этомъ, чтобы нельзя

было разобрать, въ шутку ли онъ говоритъ это, или вслѣдствіе серьёзнаго невѣжества!).

«Но довольно. Я вижу, что надоѣла тебѣ своей воркотней. Кстати, до меня уже долетаютъ выкрики одиночнаго ученія: это значитъ, что Butor возсталъ отъ послѣобѣденнаго сна. Надо кончить. Пиши обо всемъ, что̀ касается Pauline. Je voudrais l'embrasser et la bénir. Dis lui qu'il faut qu'elle aime bien mon garçon. Je le veux. A toi de coeur

Nathalie de Prokaznine».

«Ты не теряешь, однако, времени, дурной мальчикъ! Ухаживаешь за Полиной и въ то же время не упускаешь изъ вида вдовушку Лиходѣеву, которая «отправляетъ значительное количество барокъ съ хлѣбомъ». Эта приписка мнѣ особенно нравится! Mais savez vous, que c'est bien mal à vous, monsieur le dameret, de penser à une trahison, même avant d'avoir reçu le droit de trahir...»

«Я получилъ твое письмо, chère petite mère. Comme modèle de style—c'est un chef d'oeuvre, но, къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что ты, по крайней мѣрѣ, на двадцать лѣтъ отстала отъ вѣка.

«Всѣ эти финессы и деликатессы, эти aperçus de morale et de politique, эти подходцы и подвиливанья—все это старый хламъ, за который нынче гроша не дадутъ. De nos jours, on ne fait plus d'aperçus: on fait l'amour—et voilà tout!.. Мы—позитивисты (il me semble avoir lu quelque part ce mot), мы знаемъ, что time is money, и предпочитаемъ любовный телеграфъ самой благоустроенной любовной почтѣ.

«И знаешь ли, кто произвелъ этотъ коренной переворотъ въ обращеніи съ любовью!—это все тотъ же

чизльгёрстскій философъ, l'auteur de la belle échauffourée du 2 Décembre, о которомъ ты такъ томно тоскуешь. Онъ и она... la résignée de Chizzlhurst, la belle Eugénie. Въ такое время, когда прелестнѣйшія женщины въ мірѣ забываютъ преданія de la vieille courtoisie française, pour fraterniser avec la soldatesque, когда весь міръ звучитъ любезными, но отнюдь не запечатлѣнными добродѣтелю мотивами изъ «La fille de m-me Angot», когда въ наиболѣе высокопоставленныхъ салонахъ танцуютъ кадрили подъ звуки «ah, j'ai un pied qui r'mue» когда всѣ «моды и робы», турнюры и пуффы, всякій бантъ, всякая лента, всякая пуговица на платьѣ, все направлено къ тому, чтобы мужчина, не теряя времени на праздныя изъысканія, смотрѣлъ прямо туда, куда нужно смотрѣть — въ такое время, говорю я, нѐкогда думать объ aperçus, а нужно откровенно, franchement, сказать себѣ: хватай, лови, пей, ѣшь и веселись!

«Сознайся, petite mère, que tu as voulu faire de la blâgue et du joli style—et voilà tout. Въ дѣйствительности же, ты сама очень хорошо знаешь, что все это одна меланхолія, какъ выражается ротмистръ Цыбуля. Морни, Персиньи... неужели ты думаешь, что ихъ можно было плѣнить разными aperçus politiques, historiques et littéraires? И сама «la belle résignée de Chizzlhurst» — неужели «le philosophe» плѣнилъ ее какимъ-нибудь ловкимъ изложеніемъ «Слова о полку Игоревѣ»? Нѣтъ, голубчикъ! ты сама не вѣришь этому, потому что тутъ же, черезъ двѣ-три строки, упоминаешь о существованіи d'une certaine robe, «сотканномъ точно изъ воздуха»... Вотъ это такъ! вотъ эти-то «сотканныя изъ воздуха» платья однѣ и производятъ въ наше время эффектъ. C'est simple comme bonjour.

«И совсѣмъ я не такъ ужь неотесанъ, какъ ты пола-

гаешь. У меня даже больше sujets de conversation, нежели сколько требуется по тому роду оружія, въ которомъ я служу. Я учился и исторіи, и литературѣ, и, кромѣ того, владѣю французскимъ языкомъ. Я могу разсказать и про волчицу, вскормившую Ромула, и про Калигулу, котораго многіе (но не я) смѣшиваютъ съ Каракаллой. En fait de littérature, я знаю «Вихрь полунощный, летитъ богатырь», «Оставимъ астрономамъ доказывать»—une foule de choses, en un mot. Правда, я нѣсколько призабылъ греческую исторію, но, всетаки, напрасно ты думаешь меня сбить съ толку своимъ Ликургомъ. Кто же не знаетъ, что главный городъ Греціи былъ Солонъ?

«Вообще, хоть я не горжусь своими знаніями, но нахожу, что тѣхъ, какими я обладаю, совершенно достаточно, чтобы не ударить лицомъ въ грязь. Что же касается до того, что ты называешь les choses de l'actualité, то, для ознакомленія съ ними, я, немедленно по прибытіи къ полку, выписалъ себѣ «Сынъ Отечества» за весь прошлый годъ. Все же это получше «Городскихъ и иногородныхъ афишъ», которыми пробавляетесь ты и Butor въ тиши уединенія.

«Не думай, однакожь, petite mère, что я сержусь на тебя за твои нравоученія и обиженъ ими. Вопервыхъ, я слишкомъ bon enfant, чтобъ обижаться, а вовторыхъ, я очень хорошо понимаю, что въ твоемъ положеніи ничего другого не остается и дѣлать, какъ морализировать. Еще бы! имѣй я ежедневно передъ глазами Butor'a, я или повѣсился бы, или такой бы aperçu de morale настрочилъ, что ты только руками бы развела!

«А теперь поговоримъ объ моихъ маленькихъ дѣлахъ. То, что̀ я писалъ тебѣ, начинаетъ сбываться. Меня ужь *назвали* «сынкомъ» и дали мнѣ поцѣловать ручку (ручка

у нея маленькая, тепленькая, съ розовыми ноготками). Конечно, это еще немного (я увѣренъ даже, что ты найдешь въ этомъ подтвержденіе твоихъ нравоученій), но я, всетаки, продолжаю думать, что ежели мои поиски и не увѣнчиваются со скоростью телеграфнаго сообщенія, то совсѣмъ не потому, что я не пускаю въ ходъ «aperçus historiques et litteraires», а просто потому, что, по заведенному порядку, никакое представленіе никогда съ пятаго акта не начинается. Что̀ дѣлать! Женщина такъ ужь воспитана, что требуетъ, чтобы однажды принятая канитель была продѣлана отъ начала до конца, а исключеніе въ этомъ случаѣ допускается только въ пользу «чиззльгёрстскихъ философовъ»...

«Это было вчера, послѣ обѣда. Въ этотъ день, все офицерство праздновало на имянинахъ у одного помѣщика, верстъ за пять отъ города, а потому я одинъ обѣдалъ у полковника. Онъ самъ, хотя и не поѣхалъ къ имянинику, отозвавшись нездоровьемъ, но послѣ обѣда тотчасъ исчезъ (представь себѣ, я узналъ, что онъ дѣлаетъ экскурсіи къ женѣ нашего дивизіонера, роскошной малороссіянкѣ, и что это даже очень не дешево обходится старику). Мы сидѣли вдвоемъ. Погода на дворѣ стояла отвратительная, совсѣмъ осенняя, и хотя былъ всего шестой часъ, въ комнатахъ уже царствовалъ полусвѣтъ. Она полулежала на кушеткѣ, завернувшись въ шаль (elle est frileuse comme le sont toutes les blondes), я сидѣлъ нѣсколько поодаль на стулѣ, чутко прислушиваясь къ малѣйшему шороху. На ней было шелковое сѣростальное платье, котораго цвѣтъ до того подходилъ къ этимъ сумеркамъ, что мягкіе контуры ея формъ, казалось, сливались съ общимъ полусвѣтомъ комнаты. Я долгое время молчалъ, но, опять-таки, совсѣмъ не потому, чтобы не имѣлъ sujets de conversation, а потому просто,

что наединѣ съ хорошенькой женщиной какъ-то ничего не идетъ на умъ, кромѣ того, что она хорошенькая. Но за то я смотрѣлъ на нее... пристально, почти въ упоръ (c'est une manière comme une autre de faire entendre certaines intentions).

«— Не хотите ли творогу со сливками? вдругъ обратилась она ко мнѣ.

«— Madame!.. сказалъ я, не понимая ея вопроса.

«— Вы такой молодой... vous devez adorer le laitage...

«Признаюсь, это меня, какъ будто, ожгло; но, къ счастью, я скоро вмѣлся.

«— Можетъ быть, отвѣтилъ я: — но, во всякомъ случаѣ, обожать молоко, всетаки, лучше, нежели обожать... лукъ!

«Въ свою очередь, она съ минуту въ недоумѣніи смотрѣла на меня... и вдругъ поняла!

«— Ахъ да! почти вскрикнула она, весело хохоча: — «лукъ»... «цыбуля»... c'est ça! Ce cher capitaine! Mais savez vous, que c'est très méchant! Лукъ... цыбуля... обожать Цыбулю... ah! ah!

«И она вновь такъ звонко засмѣялась, что я почувствовалъ себя довольно неловко. Ты не можешь себѣ представить, папаша, какой это тонкій! Звукъ его ясный, чисто дѣтскій, и въ то же время раздражающій, дикій. Нахохотавшись до-сыта, она вздохнула и сказала:

«— Какой вы молодой!

«— Послушайте, баронесса! сказалъ я:—я умъ, однажды, слышалъ отъ васъ это восклицаніе. Теперь вы его повторяете... зачѣмъ?

«— А хоть бы затѣмъ, чтобъ вы не смотрѣли такъ, какъ сейчасъ на меня смотрѣли. Vous avez des regards de comptreant qui sont on ne peut plus compromettants... ah, oui!

«— Въ чьихъ же глазахъ это можетъ компрометировать васъ? Быть можетъ...

«Я остановился, какъ бы затрудняясь продолжать.

«— Въ глазахъ ротмистра, хотите вы сказать? А еслибъ и такъ?

«— Цыбуля, баронесса! Поймите меня... Цыбуля!!

«— Вамъ не нравится эта фамилія? Какой вы молодой!

«— De grâce, baronne!

«— Дà, молодой! Еслибъ вы не были молоды, то поняли бы, что Цыбуля — отличный! Que c'est un homme charmant, un noble coeur, un ami à toute épreuve...

«— Rien qu'un ami?

«— Ah! ah! par exemple!

«Она опять залилась своимъ яснымъ, раздражающимъ смѣхомъ. Но я весь кипѣлъ; виски у меня стучали, дыханіе занималось. Вѣроятно, въ лицѣ моемъ было что̀-то особенно горячее, потому что она пристально взглянула на меня и привстала съ кушетки.

«— Слушайте! сказала она:—будемте говорить хладнокровно. Мнѣ тридцать лѣтъ, и вы могли бы быть моимъ сыномъ... à peu près...

«Вотъ оно! сынокъ!» мелькнуло у меня въ головѣ.

«— Что̀ за дѣло! началъ я.

«— Нѣтъ, очень большое дѣло. Я не хочу портить вашу жизнь... не хочу! Вы только въ началѣ пути, а я...

«— Не правда! не правда! воскликнулъ я съ жаромъ:— красота, грація... la chasteté du sentiment... cette fraîcheur de formes... ce moelleux... ça ne passe pas! Это вѣчно!

«Она засмѣялась вновь, но уже тихонько, сладко, и приняла задушевный тонъ.

«— Хотите быть моимъ другомъ? сказала она:—нѣтъ, не другомъ.. а сыномъ?

«— Потому что «другъ» у васъ ужь есть? съ горечью произнесъ я.

«— Ну да, Цыбуля... c'est convenu! А вы будете сыномъ. . mon fils, mon enfant—n'est ce pas?

«Я молчалъ.

«— Но почтительнымъ, скромнымъ сыномъ.. pas de bêtises... правда? И чтобъ я никогда не видѣла никакихъ ссоръ... съ Цыбулей?

«— И съ Травниковымъ? бросилъ я въ упоръ.

«— И съ Травниковымъ... ah! ah! par exemple! Да, и съ Травниковымъ, потому что онъ присылаетъ мнѣ прелестные букеты и отлично устроиваетъ въ земствѣ дѣла барона по квартированію полка... Eh bien! pas de bêtises... c'est convenu?

«— Mais comprenez donc...

«— Pas de mais! Un bon gros baiser de mère, appliqué sur le front du cher enfant, et plus—rien! Слышите—ничего!

«Съ этими словами она встала, подошла ко мнѣ, взяла меня обѣими руками за голову, и поцѣловала въ лобъ. Все это сдѣлалось такъ быстро, что я не успѣлъ очнуться, какъ она уже отпрянула отъ меня, и позвонила.

«Я былъ внѣ себя; я готовъ былъ или разбить себѣ голову, или броситься на нее (tu sais, comme je suis impétueux!), но въ это время вошелъ лакей и принесъ лампу.

«Затѣмъ, кой-кто подъѣхалъ, и, разумѣется, въ числѣ первыхъ явился Цыбуля. Онъ сіялъ такимъ отвратительнымъ здоровьемъ, онъ былъ такъ омерзительно доволенъ собою, усы у него были такъ подло нафабрены, голова *такъ холопски* напомажена, онъ съ такою деньщицкою

самоувѣренностью чмокнулъ руку баронессы и потомъ оглядѣлъ осовѣлыми глазами присутствующихъ (послѣ имянинного обѣда, ему, очевидно, попало въ голову), что я съ трудомъ могъ воздержаться...

«И эта женщина хочетъ втереть мнѣ очки на счетъ какихъ-то платоническихъ отношеній... съ Цыбулей! Съ этимъ человѣкомъ, который пройдетъ сквозь строй черезъ тысячу человѣкъ—и не поморщится! Ну, нѣтъ-съ, Полина Александровна — это вы напрасно-съ! Мы тоже въ этихъ дѣлахъ кое-что смыслимъ-съ!

«Весь остатокъ вечера я провелъ въ самомъ поганомъ настроеніи духа, но велъ себя совершенно прилично. Холодно и сдержанно. Она замѣтила это, и улучила минуту, чтобъ подозвать меня къ себѣ.

«— Vous vous conduisez comme un sage! сказала она:— вотъ вамъ за это!

«Она быстро поднесла къ моимъ губамъ руку, но я былъ такъ золъ, что только чуть-чуть прикоснулся къ этой хорошенькой, душистой ручкѣ ..

«Къ довершенію всего, мнѣ пришлось возвращаться домой вмѣстѣ съ Цыбулей, которому вдругъ вздумалось пооткровенничать со мною.

«— Ты, хвендрикъ, не вздумай у меня Парасю отбить! сказалъ онъ совсѣмъ неожиданно.

«Парася!» le joli nom! И я увѣренъ, что съ глазу на глазъ, въ минуты чувствительныхъ изліяній, онъ ее даже и Параськой зоветъ! Это окончательно взбѣсило меня.

«— Послушайте! отвѣчалъ я: — вопервыхъ, я не понимаю, о чемъ вы говорите, а вовторыхъ, объясните мнѣ, почему вы говорите «хвендрикъ», тогда какъ отлично произносите «фостъ»?

«— Эге! да, вѣдь, и въ самой же вещи такъ! удивился онъ, и на всю улицу разразился хохотомъ...

«Итакъ, первый актъ кончился. Но что это именно только первый актъ, за которымъ пойдутъ второй и послѣдующіе — въ этомъ ручаюсь тебѣ я!

«Цѣлую твои ручки. Ахъ, еслибъ ты могла улизнуть отъ несноснаго Butor'a и пріѣхать въ К***. Мнѣ такъ нужны, такъ нужны твои совѣты!

Твой С. Проказнинъ».

«P. S. Вчера, въ то самое время, какъ я разъигрывалъ роли у Полины, Лиходѣева зазвала Ѳедьку и поднесла ему стаканъ водки. Потомъ спрашивала, каковъ баринъ? На что̀ Ѳедька отвѣтилъ: баринъ на счетъ женскаго полу— огонь! Должно быть, ей это понравилось, потому что сегодня, утромъ, она опять вышла на балконъ и стояла тамъ все время, покуда я смотрѣлъ на нее въ бинокль. Право, она не дурна!»

«Взвѣсимъ всѣ шансы, мой другъ, и будемъ говорить серьёзно.

«Изъ послѣдняго твоего письма я вижу, что твое предпріятіе гораздо сложнѣе, нежели можно было предположить. C'est très serieux, mon enfant, c'est presque insurmontable. Тутъ нужно много сдержанности, самоотверженія и—passe moi le mot—ума. Потому что дѣло идетъ не о томъ только, чтобы наполнить праздное и скучающее существованіе, но о томъ, чтобы освободить это существованіе отъ тисковъ, которыми оно охвачено и которыя со всѣхъ сторонъ заграждаютъ путь къ сердцу женщины.

«Я вижу два заинтересованныхъ лица: Цыбулю и Травникова. Ты приходишь третьимъ. Начнемъ съ Цыбули.

«Ротмистръ, въ твоемъ описаніи, выходитъ очень смѣшонъ. И я увѣрена, что Полина вмѣстѣ съ тобой по-

смѣялась бы надъ этимъ напомаженнымъ деньщикомъ, еслибъ ты пришелъ съ своимъ описаніемъ въ то время, когда борьба еще была возможна для нея. Но я боюсь, что роковое рѣшеніе ужь произнесено, такое рѣшеніе, изъ котораго нѣтъ другого выхода, кромѣ самаго безумнаго скандала.

«Il doit y avoir une question d'argent — c'est presque certain. Цыбуля казначей, а такіе люди нужны. Казначеи всегда имѣютъ деньги — j'en sais quelque chose, moi, потому что Butor одно время былъ казначеемъ Очень возможно, что баронъ скупъ и неохотно даетъ деньги на туалетъ жены; еще возможнѣе, что всѣ доходы его уходятъ на удовлетвореніе прихотей «прекрасной малороссіянки». Въ такомъ случаѣ, Цыбуля—настоящій кладъ нетолько для нея, но и для него. Онъ развязываетъ его руки, избавляетъ его отъ необходимости ремонтировать дорогую игрушку — жену, къ которой онъ уже не чувствуетъ ни малѣйшаго интереса.

«Ты молодъ, мой другъ! tu ne connais rien dans les misères humaines. Ты не можешь себѣ представить, какое горькое значеніе имѣютъ въ жизни женщины эти тряпки, на которыя ты едва обращаешь вниманія. Видѣть женщину хорошо одѣтою кажется до такой степени натуральнымъ, что вамъ, мужчинамъ, не приходитъ даже на мысль спросить себя, какъ создается эта обаятельная обстановка, cette masse de soies, de velours, de mousselines et de dentelles, qui rend la femme si séduisante, si désirable. А между тѣмъ, это цѣлая страдальческая эпопея. Тутъ все: и борьба, и покорность, и обманъ, и униженіе, и предательство, и слезы... tout jusqu'à l'oubli du 7-me commandement inclusivemat.

«Я отсюда вижу Полину, cette pauvre âme désolée. Elle aime les bonnes choses; она съ удовольствіемъ пра-

четъ себя въ нѣжащія, мягкія волны шелка и кружевъ. Ça habille si bien! ça communique à la physionomie la plus ordinaire quelque chose de distingué, de vaporeux, de céleste. Eh puis... viennent les messieurs. Они такъ страстно слѣдятъ за этою шелковою зыбью, такъ жадно хотятъ проникнуть тайну, которая за нею скрывается, такъ обаятельно льстятъ, что бѣдная женщина, незамѣтно для самой себя, petit à petit, погружается въ этотъ чарующій міръ, гдѣ все мягко, душисто, уютно, тепло...

«И вотъ въ ту минуту, когда страсть къ наряду становится господствующею страстью въ женщинѣ, когда мужъ, законный обладатель всѣхъ этихъ charmes, tant convoités, смотритъ на нихъ тупыми и сонными глазами, когда покупка каждой шляпки, каждаго бантика возбуждаетъ цѣлый потокъ упрековъ съ одной стороны и жалобъ — съ другой, когда, наконецъ, между обѣими сторонами устанавливается полуравнодушное, полупрезрительное отношеніе—въ эту минуту, говорю я, точно изъ земли выростаетъ господинъ Цыбуля. Онъ очень ловко начинаетъ съ того, что накидываетъ на себя маску преданности и смиренія. Онъ ничего не требуетъ, кромѣ счастья оказывать тысячи безкорыстныхъ услугъ. Онъ устроиваетъ дѣла мужа, выводитъ его изъ затрудненій, покровительствуетъ его слабостямъ. И въ то же время выказываетъ безграничное, почти благоговѣйное баловство относительно жены. Такимъ образомъ, мало-по-малу, онъ становится необходимымъ для обоихъ. Это миротворецъ, это устранитель недоразумѣній, c'est le coeur le plus noble, c'est l'ami à toute épreuve.

«Но если заслуга однажды ужь признана, то весьма естественно, что съ тѣмъ вмѣстѣ признается и право на вознагражденіе за нее. Это признаніе подкрадывается незамѣтно, въ одну изъ тѣхъ минутъ мечтательнаго состра-

данія, въ которыя такъ охотно погружается женщина и которыя Цыбули умѣютъ отлично ловить. Dès lors, la femme ne s'appartient plus. Она перестаетъ быть собою, она дѣлается собственностью, вещью... Цыбули! одного Цыбули, sans partage! Самъ мужъ, хотя и замѣчаетъ, что у него подъ носомъ происходитъ нѣчто, не входившее въ его первоначальные разсчеты, но—поздно. Привычка и тысяча мелкихъ услугъ уже до того сковываютъ всѣ его дѣйствія, что онъ не протестуетъ, а думаетъ только о томъ, чтобы спасти приличія.

«Я знаю, ты скажешь опять, что Цыбуля смѣшонъ, что онъ не болѣе, какъ напомаженный деньщикъ, что порядочная женщина не можетъ и т. д. Eh pourtant, tu sais très bien qu'il y est. Ахъ, мой другъ! вы живете въ провинціи, въ маленькомъ городкѣ, гдѣ горизонты ужасно какъ съуживаются. Та самая женщина, которая, живя въ одномъ изъ большихъ цивилизованныхъ центровъ, увидѣла бы въ Цыбулѣ не больше, какъ l'homme au gros magot, въ захолустьи — мирится съ нимъ совершенно, мирится какъ съ человѣкомъ, даже независимо отъ его magot. Глазъ легко привыкаетъ какъ къ изящному, такъ и къ безвкусному, и среди цѣлой массы деньщиковъ, деньщикъ Цыбуля уже не производитъ оскорбительнаго впечатлѣнія. Онъ «не противенъ»—этого одного достаточно, чтобы не разрывать съ нимъ, тѣмъ больше, что при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ произошло сближеніе, разрывъ равносиленъ такой огласкѣ, которая для свѣтской женщины тяжелѣе самыхъ тяжелыхъ цѣпей.

«Такимъ образомъ, Цыбуля имѣетъ за себя: вопервыхъ, очень вѣскія обязательства, вовторыхъ, привычку и, втретьихъ, молчаливое потворство мужа... И ты думаешь, что она разорветъ съ нимъ!

«Ни за что! Но этого мало, что она не разорветъ.

она едва ли даже рѣшится обмануть его въ твою пользу. Въ этомъ маленькомъ городкѣ, гдѣ произошла ея семейная драма, ни одна, даже малѣйшая подробность частной жизни не можетъ ускользнуть отъ вниманія праздныхъ наблюдателей. Къ Цыбулѣ всѣ ужь привыкли; всѣ видятъ въ немъ неизбѣжное дополненіе семейства барона Шпека, такъ что самая ничтожная перемѣна въ этомъ смыслѣ возбудитъ общее вниманіе и непремѣнно будетъ извѣстна Цыбулѣ. Съ другой стороны, Цыбуля вовсе не такой человѣкъ, чтобы выпустить изъ рукъ свою добычу... и даже часть добычи. Повѣрь, что онъ ведетъ подробный счетъ своимъ издержкамъ, что у него всякая копейка записана въ книгу avec noms et prénoms. Это негодяй очень опасный, негодяй, который все помнитъ и все хранитъ. Навѣрное, у него есть письма Полины, навѣрное, въ этихъ письмахъ... ахъ! ничего не можетъ быть довѣрчивѣе бѣдной, любящей женщины, и ничего не можетъ быть ужаснѣе деньщиковъ, когда они дѣлаются властелинами судьбы ея!

«Итакъ, вотъ Цыбуля. Что касается до господина Травникова, то мнѣ кажется, что ты ошибаешься, подозрѣвая его въ интимныхъ отношеніяхъ къ баронессѣ. Я, напротивъ, увѣрена, что онъ à peu près находится въ томъ же положеніи, какъ и ты. Il'est tout simplement un agréable blagueur, un chevalier servant, невинный поставщикъ конфектъ и букетовъ, за которые, однакоже, баронессѣ очень сильно достается отъ ревниваго Цыбули.

«Какъ бы то ни было, но ты приходишь третьимъ.

«Знаешь ли что̀! Я удивляюсь, что Полина даже на столько себѣ позволила, сколько она высказала при томъ случайномъ свиданіи, которое ты описываешь. C'est une âme vraiment héroique. Другая, на ея мѣстѣ, совсѣмъ *бы притихла. Вѣдь,* эти деньщики... они дерутся! Сколь-

ко нужно имѣть твердости характера, самоотверженія и героизма, чтобы, въ виду ихъ, отважиться на какую-нибудь escapade! Однакожь, она отважилась, правда, осторожно, почти двусмысленно, но даже и это, навѣрное, ей не прошло даромъ. Цыбуля ужь подозрѣваетъ, онъ ужь слѣдитъ за нею, et il n'en démordera pas, sois en certain. Онъ слишкомъ деньщикъ, чтобъ забыть о деньгахъ, которыя онъ истратилъ!

«Вотъ соображенія, которыя я, какъ преданная мать, считаю себя обязанною передать тебѣ... только не поздно ли?

«Стало быть, нужно отступить? спросишь ты меня, и, конечно, спросишь съ негодованіемъ! Мой другъ! я слишкомъ хорошо понимаю это негодованіе, я слишкомъ цѣню благородный источникъ его, чтобы отвѣтить тебѣ сухимъ: да̀, лучше отступить! Я знаю, кромѣ того, что подобные отвѣты не успокоиваютъ, а только раздражаютъ. Итакъ, поищемъ оба, не блеснетъ ли намъ въ темнотѣ лучъ надежды, не броситъ ли намъ благосклонная судьба какого-нибудь средства, о которомъ мы до сихъ поръ не думали?

«Скажу тебѣ прямо: это средство есть, но оно потребуетъ съ твоей стороны нетолько̀ благоразумія, но почти самоотверженія. Это средство — совершенно довѣриться инстинкту и такту Полины. Une femme qui aime est intarrissable en matière d'expédients. Il faut que Pauline trouve un compromis — sans cela pas de salut! *avec ou sans Tziboulla, n'importe!* Ты долженъ сказать себѣ это, и въ особенности остановиться на послѣднемъ, подчеркнутомъ мною условіи. Повторяю: ты нетолько не имѣешь права быть придирчивымъ, но даже обязанъ всячески помогать Полинѣ въ ея миссіи. Вопервыхъ, не брюскировать ея и не пугать своимъ нетерпѣніемъ; вовторыхъ,

выказать, относительно ея, много, очень много терпимости.

«Достанетъ ли у тебя героизма, чтобъ выполнить это?

«Но, можетъ быть, ты и на эти совѣты посмотришь, какъ на пустую старушечью воркотню... Что̀ жь дѣлать, мой другъ! Nous autres, vieilles mamans, nous ne savons qu'aimer! Я давно ужь освоилась съ мыслью, что для меня возможна только роль старухи; Butor слишкомъ часто произноситъ это слово, въ примѣненіи ко мнѣ (и съ какою язвительностью онъ дѣлаетъ это, еслибъ ты зналъ!), чтобы я могла сохранять какія-нибудь сомнѣнія на этотъ счетъ... Хотя le père Basile и увѣряетъ, что я могла бы еще любить...

«Кого любитъ?.. Персиньи, Морни... Онъ!!

«Нѣтъ, я никого не могу любить, кромѣ Бога, ни въ чемъ не могу найти утѣшенія, кромѣ религіи! Знаешь ли, иногда мнѣ кажется, что у меня выросли крылья и что я лечу высоко-высоко надъ этимъ дурнымъ міромъ!

«А между тѣмъ, сердце еще молодо... зачѣмъ оно молодо, другъ мой? зачѣмъ жестокій рокъ не разбилъ его, какъ разбилъ мою жизнь?

«Надняхъ, впрочемъ, и мое бѣдное существованіе озарилось лучемъ радости. Paul de Cassagnac вспомнилъ обо мнѣ, и прислалъ длинное письмо, которое, будто волшебствомъ, перенесло меня въ міръ чудесъ. Всѣ они: и Cassagnac, и Dugué de la Fauconnerie, и Souillard, и Rouher — всѣ полны надеждъ. Гамбеттѣ готовится сюрпризъ, отъ котораго онъ долго не оправится. Всѣ веселы, бодры, готовы; всѣ зовутъ меня: mais venez donc chez nous, pauvre cher ange incompris!

«И представь себѣ, Butor имѣлъ низость перехватить это письмо и прочитать его. Съ тѣхъ поръ онъ не иначе зоветъ меня, какъ «pauvre cher ange incompris». И

все это—въ присутствіи Филатки. Такъ что даже тѣ немногія бѣдныя радости, которыя мнѣ остались—и тѣ становятся для меня источникомъ досадъ и нравственныхъ истязаній!

«Я одна, одна, одна... это ужасно! Я пробовала поставить le père Basile au niveau de mon idéal, но до сихъ поръ это какъ-то не удается мнѣ. Хуже всего то, что, говоря со мной, онъ всегда пускаетъ въ ходъ этотъ несносный высокій слогъ. А еще хуже, что онъ совсѣмъ не умѣетъ вести себя за столомъ, и когда кончитъ супъ, то всегда кладетъ ложку на скатерть. Но иногда онъ меня поражаетъ глубиною своихъ опредѣленій. Надняхъ мы говорили съ нимъ о вѣрѣ, и знаешь ли, что̀ онъ мнѣ сказалъ? Что одна вѣра даетъ намъ твердое (il prononce «твѐрдое») и извѣстное основаніе... ахъ, какая это истина, другъ мой! Это именно то самое, въ чемъ я убѣдилась тогда... въ Парижѣ!

«И онъ страдалъ! И ему знакома эта святая жажда сердца, которая, вслѣдствіе злой насмѣшки судьбы, какъ-то всегда остается неудовлетворенною. Представь себѣ: онъ долженъ былъ жениться на дурѣ, которая не можетъ отличить правую руку отъ лѣвой, жениться, потому что иначе ему предстояло оставаться безъ мѣста на не опредѣленное время. Съ тѣхъ поръ, вся его жизнь есть не что̀ иное, какъ безконечная цѣпь самоотверженій. Онъ самъ говорилъ мнѣ, что еслибъ не сошелъ къ нему съ небеси ангелъ (кажется, онъ называетъ этимъ именемъ меня; tu vois comme il est délicat), то онъ давно бы началъ пить.

«Вотъ моя жизнь, мой другъ, вотъ жизнь твоей старухи-матери. Иногда мнѣ кажется, что я даже начинаю свыкаться съ ея однообразіемъ, особливо когда Butor оставляетъ меня въ покоѣ. Отъ времени до времени, онъ

уѣзжаетъ къ сосѣдямъ или на охоту, и тогда я цѣлыми днями остаюсь одна. Я пользуюсь этими минутами отдыха, чтобы освѣжить свою душу воспоминаніями. Я убѣгаю въ паркъ, и долго брожу одна, совсѣмъ одна по пустыннымъ аллеямъ. Нашъ паркъ — прелесть, и особенно осенью. Онъ такъ таинственно дремлетъ, облитый золотыми лучами сентябрьскаго солнца, такъ тихо помаваетъ багряными вершинами своихъ деревъ, какъ будто разсказываетъ какой-то безконечный, фантастическій сонъ. Воздухъ совсѣмъ-совсѣмъ прозраченъ, и такъ гулокъ, что малѣйшій шелестъ, малѣйшій порхъ птицы отдается во всѣхъ углахъ парка. Я поминутно вздрагиваю. Свѣжо, бодро... чудо, какъ хорошо! Я скоро-скоро бѣгу по усыпаннымъ желтыми листьями дорожкамъ и вся отдаюсь своимъ мечтамъ. Morny... Persigny... Lui!! Все это такъ недавно было... и всего этого нѣтъ! Rien! Понимаешь ли ты, какое безнадежное чувство я должна испытывать, ежеминутно повторяя себѣ это ужасное: rien!!

«Rien! mais c'est le désespoir, c'est le néant, c'est la mort... За что̀?!

«Иногда мнѣ кажется, что гдѣ-то, близко, меня подстерегаетъ катастрофа... Что вдругъ блеснетъ мнѣ въ глаза великая причина, которая вызоветъ съ моей стороны великое рѣшеніе...

«Я ничего не знаю, что̀ дѣлается на свѣтѣ. Къ довершенію досады, даже «Городскія и иногородныя афиши» почти цѣлый мѣсяцъ не доходятъ до меня. Что̀ дѣлаетъ Базенъ? смирился ли Plon-Plon? неужели «la belle resignée» проводитъ все время въ томъ, что переѣзжаетъ изъ Чизльгёрста въ Арененбергъ и обратно? неужели Флёри ничего болѣе умнаго не выдумалъ, кромѣ парадированія въ полномъ мундирѣ на смотру англійскихъ войскъ à côté de l'Ecolier de Woolwich? Къ чему

же привели всѣ эти cassetêtes и sorties de bal, которые когда-то съ такимъ успѣхомъ зажимали рты слишкомъ болтливой canaille? Ужели ихъ никогда уже нельзя будетъ пустить въ ходъ?

«Tout pour le peuple et tout par le peuple» — ужели и это, наконецъ, забыто?!

«Ты, можетъ быть, удивишься тому, что все это до сихъ поръ меня волнуетъ; но вспомни же, *кто* меня любилъ, и пойми, что я не могу оставаться равнодушною... хотя бы прошли еще годы, десятки лѣтъ, столѣтія!

«Довольно. Еще разъ прошу: внимательно обсуди настоящее мое письмо и не забывай ту, которая сердцемъ всегда съ тобою,

N. de Prokaznine».

«P. S. Décidément, m-me Likhodeieff имѣетъ на тебя виды. Et vraiment, elle n'est pas à dédaigner, cette chère dame, котоаря «отправляетъ множество барокъ съ хлѣбомъ». Повидимому, она даже умна, потому что прямо обратилась къ тому человѣку, который всего лучше можетъ устроить ея дѣло, то-есть, къ Ѳедькѣ. Quant à ce dernier, sa réponse à la belle amoureuse est incomparable de brio. Elle m'a rappelée les fines reparties de Jocrisse dans le «Jeu du hasard et de l'amour».

«Vous êtes la meilleure des mères, maman, mais décidément vous donnez dans la mélancolie. Должно быть, присутствіе Butor'a такъ дѣйствуетъ на тебя. Неужели ты не можешь говорить своими словами, не прибѣгая къ христоматіи Ноэля и Шапсаля? Неужели ты и чизльгёрстскаго философа развлекала своими aperçus de morale? Воображаю, какъ ему было весело!

«Право, жизнь совсѣмъ не такъ сложна и запутанна, какъ ты хочешь меня увѣрить. Но ежели бы даже она и была такова, то существуетъ очень простая манера уничтожить запутанности — это разрубить тотъ узелъ, который мѣшаетъ больше другихъ. Не знаю, кто первый употребилъ въ дѣло эту манеру — кажется, князь Александръ Ивановичъ Македонскій — но знаю, что этимъ способомъ онъ разомъ привелъ армію и флоты въ блистательнѣйшее положеніе.

«Кажется, именно я такъ и поступлю.

«Ты просто бѣсишь меня. Я и безъ того измученъ, почти искалѣченъ дрянною бабёнкой, а ты еще пристаешь съ своими финессами, да деликатессами, avec tes blâgues. Я раскрываю твое письмо, думая въ немъ найти *дѣльный* совѣтъ, а вмѣсто того, встрѣчаю описанія какихъ-то «шолковыхъ зыбей», да «masses de soies et de dentelles». Connu, ma chère! Спрашиваю тебя: на кой чортъ мнѣ всѣ эти dentell'и, коль скоро я не знаю, что̀ они собою прикрываютъ!

«Въ одномъ только ты права: въ томъ, что Полина дрянная, исковерканная бабёнка. То-есть, тебѣ-то собственно эти коверканья нравятся, но, въ сущности, это просто гадость. Полина одна изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ на первомъ планѣ не страсть и даже не темпераментъ, а какія-то противныя minauderies, то самое, что̀ ты въ одномъ изъ своихъ писемъ называешь «les préludes de l'amour». По-моему, ничего гнуснѣе, развратнѣе этого быть не можетъ. Женщина, которая очень хорошо понимаетъ, чего она хочетъ и чего отъ нея хотятъ, и которая проводитъ время въ томъ, что сама себя дразнитъ... фуй, мерзость! Ты можешь острить сколько тебѣ угодно насчетъ «гвардейской правоспобности» и даже намекать, что я принадлежу къ числу представителей этого солид-

наго свойства, но могу тебя увѣрить, что мои открытыя, ничѣмъ не замаскированныя слова и дѣйствія, всетаки, въ стократъ нравственнѣе, нежели паскудные aperçus politiques, historiques et littéraires, которыми вы, женщины, занимаетесь... entre deux baisers.

«Цалуютъ меня безпрестанно — cela devient presque dégoûtaut. Мнѣ говорятъ «ты», мнѣ, при каждомъ свиданіи, суютъ украдкой въ руку записочки, написанныя точь-въ-точь по образцу и подобію твоихъ писемъ (у меня ихъ, въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, накопились цѣлые вороха!)... Однимъ словомъ, есть всѣ матеріалы для поэмы, нѣтъ только самой поэмы. Это до того, наконецъ, обозлило меня, что вчера я рѣшился объясниться.

«Я нарочно пришелъ пораньше вечеромъ.

«— Вы знаете, конечно, что Базенъ бѣжалъ? сказалъ я, чтобы завязать разговоръ.

«Она удивленно взглянула на меня.

«— Да-съ, продолжалъ я: — бѣжалъ съ помощью веревки, на которой даже остались слѣды крови... ночью... во время бури... И долженъ былъ долгое время плыть?!

«Я остановился; она все смотрѣла на меня.

«— Какой странный разговоръ! наконецъ, сказала она.

«— Ничего нѣтъ страннаго... объ чемъ говорить?

«— Вѣроятно, это предисловіе?

«— А еслибы и такъ?

«— Предисловіе... къ чему?

«— А хоть бы къ тому, что всѣ эти поцалуи, эти записочки, передаваемыя украдкой — все это должно же, наконецъ, чѣмъ-нибудь кончиться... къ чему-нибудь привести!

«Она взглянула на меня съ такимъ наивнымъ недоумѣніемъ, какъ будто я принесъ ей Богъ вѣсть какое возмутительное извѣстіе.

«— Да-съ, продолжалъ я: — эти поцалуи хороши *между прочимъ*; но, какъ *постоянный режимъ*, они совсѣмъ не пристали къ гусарскому ментику!

«— Mais vous devenez fou, mon ami!

«— Нѣтъ-съ, не fou-съ. А просто не желаю быть игралищемъ страстей-съ!

«Я былъ взбѣшенъ безконечно; я говорилъ громко и рѣшительно, безъ всякихъ ménagemens расхаживалъ по комнатѣ.

«— Но чего же *вы* отъ меня хотите?

«— Parbleu! la question me parait drôle!

«— Vous étes un butor!

«Признаюсь, въ эту минуту я готовъ былъ разорвать эту женщину на части! Вмѣсто того, чтобы честно отвѣчать на вопросы, она отдѣлывается какими-то общими фразами! Однако, я сдержался.

«— Быть можетъ, ротмистръ Цыбуля обращается деликатнѣе? спросилъ я язвительно.

«— Дà, Цыбуля — деликатный! C'est un chevalier, un ami à toute épreuve. Онъ никогда не обратится къ порядочной женщинѣ, какъ къ какой-нибудь drôlesse!

«— Еще бы! Мужчина четырнадцати вершковъ росту!

«— Pardon! Il me semble que vous oubliez...

«— Послушайте! неужели вы, однако, не видите, что *я*, наконецъ, измученъ?

«Это восклицаніе, повидимому, польстило ей. Вѣдь, эти авторши разныхъ aperçus de morale et de politique — въ сущности, самыя кровожадныя, тигровыя натуры. Ничто не доставляетъ имъ такого наслажденія, какъ увѣренность, что пущенная въ человѣка стрѣла нетолько вонзилась въ него, но еще ковыряетъ его рану. Въ ея главахъ блеснула даже нѣжность.

«— Voyons, asseyons nons et tachons de parler raison! сказала она ласково.

«Я опустился на диванъ, возлѣ нея. Опять начались поцалуи; опять одна рука ея крѣпко сжимала мою руку, а другая покоилась на моей головѣ и перебирала мои волосы. И вдругъ меня словно ожгло: я вспомнилъ, что все это по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ продѣлываетъ m-me Pasca на сценѣ Михайловскаго театра.

«— И вы называете это «parler raison»? почти закричалъ я, вскакивая.

«— Mon ami! au nom du ciel!

«— А! Это на вашемъ языкѣ называется parler raison! Et bien je ne veux pas parler rison, moi! Je veux extravaguer, je veux...

. . . . . .

«Я велъ себя глупо; кажется даже, я мальтретировалъ ее. Но эта женщина — змѣя въ полномъ смыслѣ этого слова! Она скользитъ, вьется... Черезъ четверть часа, я сидѣлъ въ своей дурацкой квартирѣ, кусалъ ногти и рвалъ на себѣ волосы...

«Къ довершенію всего, по дорогѣ мнѣ встрѣтился Цыбуля и словно угадалъ, что̀ со мною произошло.

«— А ну-те, хвендрикъ! сказалъ онъ: — добрые люди въ гости, а онъ изъ гостей бѣжитъ! Можетъ, гарбузъ получилъ?

«И говоря это, глупѣйшимъ образомъ улыбался... скотина!

«Прощай, я слишкомъ озлобленъ, чтобъ продолжать. Пиши ко мнѣ, пиши чаще, но, ради Бога, безъ меланхолій.

С. Проказнинъ».

«P. S. Лиходѣева опять залучила Ѳедьку, дала ему полтинникъ и сказала, что надняхъ исправникъ уѣзжаетъ

въ уѣздъ «выбивать недоимки». Кромѣ того, спросила: есть ли у меня шуба?.. ужь не хочетъ ли она подарить мнѣ шубу своего покойнаго мужа... cette naiveté! Каждый день она проводитъ часъ или полтора на балконѣ и я безъ церемоній осматриваю ее въ бинокль. Положительно она недурна, а сложено даже великолѣпно!»

«Все кончено. И тамъ, и тутъ. Вездѣ, во всемъ мірѣ кончено.

«Въ тотъ же день, какъ я отправилъ тебѣ послѣднее письмо, я, по обыкновенію, пошелъ обѣдать къ полковнику... Ахъ, maman! Вѣроятно, я *тогда* сдѣлалъ что-нибудь такое, въ чемъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета!..

«Когда я вошелъ въ гостиную, я сейчасъ же замѣтилъ, что *ея* не было... Полковникъ что-то разсказывалъ, но при моемъ появленіи вдругъ все смолкло. Ничего не понимая, я подошелъ къ хозяину, но онъ нетолько не подалъ мнѣ руки, но даже заложилъ обѣ свои руки назадъ.

«— Господинъ субалтернъ-офицеръ! сказалъ онъ мнѣ, возвысивъ голосъ, какъ на ученьи: — вы вели себя, какъ ямщики!

«Мнѣ ничего другого не оставалось, какъ повернуть налѣво кругомъ и исчезнуть.

«Послѣ обѣда, я отправился, однако, въ городской садъ. Мнѣ было такъ скверно, такъ тоскливо, что я былъ готовъ придраться къ первому встрѣчному; но товарищи, завидѣвъ меня, скрывались. Я слышалъ только, что при моемъ появленіи произносилось слово «шуба» ..

«На другой день все объяснилось. Ахъ, какая это адская интрига! И съ какимъ коварствомъ она пущена

въ ходъ, чтобы забрызгать грязью одного меня и выгородить все остальное!.. Утромъ я сидѣлъ дома, обдумывая свое положеніе, какъ ко мнѣ пріѣхалъ одинъ изъ нашихъ офицеровъ. Онъ назвалъ себя депутатомъ, и отъ имени всѣхъ товарищей пригласилъ меня оставить полкъ.

«— Но за что̀ же? спросилъ я: — что̀ я сдѣлалъ такого, что̀ не было бы согласно съ принятыми въ офицерскомъ званіи обычаями?

«— Очень жаль, сказалъ онъ мнѣ: — что между нами существуетъ на этотъ счетъ разногласіе, но общество наше никакъ не можетъ терпѣть въ средѣ своей офицера, который унизился до того, что принялъ въ подарокъ отъ женщины... шубу! Затѣмъ, прошу васъ уволить меня отъ дальнѣйшихъ объясненій и позвольте надѣяться, что вы добровольно и какъ можно скорѣе исполните просьбу бывшихъ вашихъ товарищей!

«Онъ шаркнулъ и былъ таковъ.

«Меня вдругъ точно озарило. Я вспомнилъ дурацкій вопросъ Лиходѣевой: есть ли у меня шуба? Я бросился къ Ѳедькѣ — и что̀ же узналъ! что этотъ негодяй въ какомъ-то кабакѣ хвастался, что я нетолько въ связи съ Лиходѣевой, но что она подарила мнѣ шубу!.. Какой вздоръ!!

«Карьера моя разбита. Пойми, petite mère, что я даже не могу опровергнуть эту клевету, потому что никто не станетъ слушать мои объясненія. C'est un parti pris; «шуба» тутъ ни при чемъ—это просто отводъ, придуманный фонъ-Шпеками и Цыбулей...

«Когда я думаю, что объ этомъ узнаетъ Butor, то у меня холодѣетъ спина. Голубушка! брось ты свою меланхолію и помирись съ Butor'омъ. Au fond, c'est un brave homme! Вѣдь, ты сама передъ нимъ виновата — право, виновата! Ну, что̀ тебѣ стоитъ сдѣлать первый

шагъ? Онъ глупъ и все забудетъ! Не могу же я погибнуть изъ-за того только, что ты тамъ какія-то меланхоліи соблюдаешь!

С. Проказнинъ».

«P. S. Пожалуйста, поскорѣе уломай Butor'a, потому что я ужь подалъ въ отставку. Я безъ копейки — пусть пришлетъ денегъ. Представь себѣ, даже Лиходѣева перестала показываться. Сегодня утромъ, я смотрѣлъ въ окно — вдругъ дверь балкона отворяется и въ ней показывается улыбающаяся рожа исправника... Стало быть, и съ этой стороны все кончено».

«Bazaine s'est évadé! Я сегодня прочла объ этомъ въ «Городскихъ и Иногородныхъ Афишахъ», которыя доставлены сюда разомъ за цѣлый мѣсяцъ.

«Я не могу описать тебѣ, мой другъ, что̀ я почувствовала, когда прочла это извѣстіе. C'était comme une révélation. Помнишь я писала тебѣ, что предчувствую катастрофу... et bien, la voici! Я заперлась въ своей комнатѣ, и цѣлый часъ, каждую минуту повторяла одно и то же: Базенъ бѣжалъ! Базенъ бѣжалъ! И потомъ Рюль... Рюль... Рюль...

«Рюль! Il est brave! il est jeune! il est beau!

«И я вдругъ, почти машинально начала собираться. Мнѣ такъ ясно, такъ отчетливо представилось, что мое мѣсто... тамъ, à côté de ce brave et beau jeune homme!

«Oui, je dois être à mon poste! je le sens, jamais je ne l'ai senti avec autant d'irrésistibilité. Сначала ѣду въ Парижъ, чтобъ повидаться съ Sainte Croix (celui qui a donné le soufflet à Gambetta), потомъ... потомъ, быть можетъ, и совсѣмъ останусь въ Парижѣ... Ah! si tu savais, mon ami!

«Но, само собою разумѣется, что гдѣ бы я ни была, сердцемъ я всегда съ тобою.

Nathalie».

«Негодяй!

«Всѣ письма твои я перечиталъ, а послѣднія два даже самъ лично получилъ.

«Butor — это я-съ?!

«Наталья Кириловна, твоя мать, а моя жена, вчерашняго числа въ ночь бѣжала, предварительно унеся изъ моего стола (посредствомъ подобраннаго ключа) двѣ тысячи рублей. Пишетъ, будто бы для свиданія съ Базеномъ бѣжитъ, я же навѣрно знаю, что для канкановъ въ Closeries des lilas. Но я немного о томъ печалюсь, а трепещу только, какъ бы, навѣшавшись въ Парижѣ до сыта, опять не воротилась ко мнѣ.

«До сихъ поръ я читалъ седьмую заповѣдь такъ: не прелюбодѣйствуй! Но вы съ матерью и симъ недовольны, а новую заповѣдь выдумали: не перепрелюбодѣйствуй! Вы простому-то прелюбодѣйству не можете остаться вѣрными, но даже въ самый разгаръ онаго о томъ всечасно помышляете, какъ бы новое учинить!

«А по сему, вотъ отъ меня тебѣ приказъ: немедленно съ посланнымъ пріѣзжай въ деревню и паси свиней, доколѣ не исправишься. Буде же сего не исполнишь, то поѣзжай къ Базену, и отъ него жди милости, а меня не раздражай.

«За симъ остаюсь навсегда разгнѣванный отецъ твой:

Семенъ Проказнинъ».

КУЗИНА МАШЕНЬКА.

Саваны, саваны, саваны! Саванъ лежитъ на поляхъ и лугахъ; саванъ сковалъ рѣку; саваномъ окутанъ дремлющій лѣсъ; въ саванъ спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цѣпенѣетъ; не смотря на трудную, слишкомъ тридцативерстную станцію, объиндевѣвшая тройка, не понуждаемая ямщикомъ, вскачь летитъ по дорогѣ; отъ быстрой ѣзды и лютаго мороза захватываетъ духъ. Пустыня, безнадежная, надрывающая сердце пустыня... Вотъ налетѣлъ круговой вихрь, съ визгомъ взбуравилъ снѣжную пелену — и кажется, словно гдѣ-то застонало. Вотъ звякнуло вдали; порывами доносится до слуха звонъ колокольчика обратной тройки, то прихлынетъ, то отхлынетъ, и опять кажется, что гдѣ-то стонетъ. Вотъ залаяла у деревенской околицы ледащая собаченка, зачуявъ волка — и снова чудятся стоны, стоны, стоны... Мнится, что вся окрестность полна жалобнаго ропота, что вѣтеръ захватываетъ попадающіеся по дорогѣ случайные звуки и собираетъ ихъ въ одинъ общій стонъ...

Саваны и стоны...

Для жителя столицы, знакомаго лишь съ желѣзными путями, зимнее путешествіе на лошадяхъ, въ томъ видѣ, въ какомъ оно совершается въ наши дни, должно показаться почти анахронизмомъ. Если даже въ его памяти свѣжо сохранились воспоминанія о старинной ѣздѣ на почтовыхъ, сдаточныхъ и такъ-называемыхъ долгихъ, то и тутъ онъ долженъ будетъ сознаться, что въ настоящее время этого рода способы передвиженія, сохранивъ за собой прежнія неудобства, значительно измѣнились къ худшему. Прежде, вы одинаковымъ способомъ, то-есть, на лошадяхъ, передвигались отъ мѣста до мѣста, и сообразно съ этимъ устроивали извѣстныя приспособленія: обряжали экипажъ, запасались провизіей, брали погребецъ съ посудой, походную кровать и проч. Ныньче, вездѣ по вашему пути врѣзалась желѣзная дорога и нигдѣ до «вашего мѣста» не доѣхала. Желѣзныя дороги сдѣлали прежнія приспособленія немыслимыми, а между тѣмъ, большинству смертныхъ приходится сворачивать въ сторону и ѣхать болѣе или менѣе значительное разстояніе на лошадяхъ. Прежде, по проѣзжимъ дорогамъ вездѣ встрѣчались постоялые дворы, гдѣ можно было найти хоть теплую отдѣльную комнату, и, съ помощью привезенныхъ съ собою приспособленій, устроить кой-какой невзыскательный комфортъ. Ныньче, о постоялыхъ дворахъ и въ поминѣ нигдѣ нѣтъ, а мѣсто ихъ заняли сырые, на скорую руку выстроенные, вонючіе, исполненные гама и толкотни трактиры.

Вы оставили блестящій, быстро мчащійся желѣзнодорожный поѣздъ и сразу окунулись въ самую глубину мерзости запустѣнія. Вы очутились на одной изъ третьестепенныхъ станцій, которую станціонный жандармъ насквозь прокурилъ тютюномъ и пропиталъ запахомъ овчиннаго полушубка. Холодно, сыро, воняетъ. Наружныя

двери безпрерывно хлопаютъ и ни до одной нельзя безъ омерзѣнія притронуться рукой: до того онѣ пропитаны жиромъ и слизью. Въ общей пассажирской комнатѣ дуетъ сквозной вѣтеръ и царствуетъ какой-то сизый полумракъ. Сидѣть въ шубѣ — душно и неловко, снять ее — непремѣнно схватишь простуду. Вы уходите въ такъ-называемую «дамскую»—тамъ невыносимый жаръ, угарно, нѐгдѣ повернуться. Вы спрашиваете чаю — вамъ отвѣчаютъ, что на станціи, гдѣ нѣтъ буфета, проклажаться пассажиру не полагается, и указываютъ на трактиръ, который отстоитъ въ тридцати-сорока саженяхъ и къ которому надо шагать по сугробамъ. Скрѣпя сердце, вы рѣшаетесь ѣхать не медля, и вотъ васъ обступаетъ стая ямщиковъ, которые, «глядя по пассажиру», установляютъ на васъ цѣну и мечутъ объ васъ жребій. Наконецъ, условились. Черезъ полчаса, къ поѣзду станціи подкатываетъ тройка заиндевѣвшихъ лошадей, запряженная въ возокъ, снабженный съ обѣихъ сторонъ отверстіями, черезъ которыя пассажиръ обязывается влѣзать и вылѣзать и которыя занавѣшиваются откидными рогожами. Вы надѣваете тулупъ, потомъ шубу, и, чуть дыша подъ тяжестью одеждъ, направляетесь къ двери. По дорогѣ, шпалерой выстроиваются какіе-то люди. Одинъ бѣгалъ въ трактиръ за ямщиками, другой пришелъ съ извѣстіемъ, что лошадей запрягаютъ, третій помогалъ снять шубу, четвертый помогалъ надѣть ее, пятый принесъ чемоданъ, шестой что̀-то подержалъ, покуда вы укутывались. Тутъ же пріютился и мальчикъ, который чиркнулъ спичкой, когда вы вынули папиросницу. Никто явно не проситъ, но всѣ, словно по командѣ, возглашаютъ: дай Богъ счастлѝво! Вы чувствуете, что каждый изъ этихъ людей, по своему, содѣйствовалъ факту вашего отъѣзда и, слѣдовательно, *каждый же имѣетъ* на васъ какое-то право. Начинается

процессъ влѣзанія въ повозку, подсаживанія, подталкиванія... трогай!

Дорога. Подуваетъ, продуваетъ, выдуваетъ, задуваетъ. Рогожныя занавѣски хлопаютъ; то взвиваются на крышку возка, то съ шумомъ опускаются внизъ и врываются въ повозку. Путь заметаетъ; повозка, по временамъ, стучитъ по обнаженному черепу дороги; по временамъ, врѣзывается въ сугробъ и начинаетъ буровить. Если вы одни въ повозкѣ, то, при каждомъ ухабѣ, при малѣйшей неровности, васъ перекатываетъ изъ стороны въ сторону; если вы сидите вдвоемъ, то безпрерывно наваливаетесь на сосѣда, или онъ на васъ. Всѣ старанія, которыя вы употребляли на станціи, чтобъ поплотнѣе закутаться—старанія, сопровождаемыя поощрительными возгласами: «вотъ такъ! вотъ тѐперь хорошо! теперь хоть тысячу верстъ поѣзжай — не продуетъ!» оказываются напрасными. Черезъ четверть часа вы уже растерзаны; шуба сбилась подъ васъ, ноги и весь перёдъ тѣла оголились и защищены только тулупомъ и валенками. Начинается дорожная тоска, выражаемая ежеминутнымъ спрашиваніемъ: далеко ли? Изъ глазъ, изъ носу, съ усовъ каплетъ. Наконецъ, вы рѣшаетесь лечь на бокъ и притулиться къ одной сторонѣ — тррахъ! — черезъ минуту вы на другомъ боку!

Черезъ три, три съ половиной часа — станція. Васъ привозятъ въ деревенскій трактиръ, гдѣ ужь угощается толпа проѣзжаго и мѣстнаго люда. Въ минуту вашего появленія людской гомонъ стихаетъ; «гости» сосредоточенно уткнулись въ наполненныя чаемъ блюдечки, осторожно щелкаютъ сахаръ, чмокаютъ губами и искоса поглядываютъ на ввалившуюся «дворянскую шубу», какъ будто ждутъ, что вотъ-вотъ изъ-за приподнятаго воротника раздастся старинное: «эй вы, сиволапые—брысь!»

Но такъ какъ нынче подобныхъ возгласовъ не полагается, то вы, просто-на-просто, освобождаетесь отъ шубы, садитесь на первое свободное мѣсто и скромно спрашиваете чаю. Сквозной вѣтеръ, сырость, грязь, вонь. Приносятъ подлый, захватанный стаканъ, миніатюрный чайникъ, котораго крышка привязана къ ручкѣ жирною бичевкой, мельхіоровую ложку, красную отъ долговременнаго употребленія. Въ виду вашей скромности, гомонъ возобновляется. «Гости» постепенно становятся развязнѣе и развязнѣе; наконецъ, заводится разговоръ о томъ, что «въ трактирѣ за свой пятачекъ всякій воленъ», что «это прежде, бывало, дворяне форсу задавали, а нынче Царь-батюшка всѣмъ волю далъ», что «если, значитъ, пришелъ ты въ трактиръ, то сиди смирно, рядомъ со всѣми и не фордыбачь!»

— Прежде, очень для дворянъ вальготно было! говоритъ одинъ гость:—пріѣдетъ, бывало, баринъ на постоялый, гаркнетъ: мужикомъ чтобъ не пахло!—ну, и ступай на улицу! А нынче—шабашъ!

— Нынче слободно! излагаетъ другой гость:—нынче батюшка-Царь всѣмъ волю далъ! Нынче, коли ты хочешь сидѣть—сиди! И ты сиди, и мужикъ сиди—всѣмъ сидѣть дозволено! То-есть, чтобы никому... чтобы ни-ни... сиди, значитъ, и оглядывайся... вотъ какъ Царь-батюшка повелѣлъ!

— Нынче, братъ, форсы-то оставить надо! и радъ бы пофорсить — да руки коротки! Коли хочешь смирно сидѣть—сиди! И мужикъ сиди, и ты сиди—всѣмъ сидѣть позволено! разъясняетъ третій гость.

Среди этой поучительной бесѣды проходитъ часъ. Привезшій васъ ямщикъ бѣгаетъ по дворамъ и *продаетъ* васъ. Онъ порядился съ вами, примѣрно, на сто верстъ *(до мѣста)* со сдачей въ двухъ мѣстахъ, за пятнадцать

рублей; теперь, онъ проѣхалъ тридцать верстъ и норовитъ сдать васъ рублей за шесть, за семь. Покуда онъ торгуется, вы обязываетесь нюхать трактирные запахи и выслушивать поученія «гостей». Наконецъ, ямщикъ появляется въ трактиръ самолично и объявляетъ, что слѣдующую станцію повезетъ онъ же, на тѣхъ же лошадяхъ.

Протестовать безполезно; остается только разъ на всегда изъявить согласіе на всякія случайности, и замереть. И вотъ, если вы выѣхали въ восемь часовъ утра и разсчитывали попасть въ «свое мѣсто» часовъ въ десять вечера, то уже съ перваго шага начинаете убѣждаться, что всѣ ваши разсчеты писаны на водѣ и что въ десять-то часовъ врядъ вамъ попасть и на вторую станцію.

Какъ хотите, а при подобной обстановкѣ, самое крѣпкое и испытанное чувство собственности, семейственности, государственности и проч.—и то не устоитъ!

Раннимъ утромъ, часовъ около шести, я, наконецъ, добрался до мѣста. Деревня пробуждалась. Окна избъ ярко пылали пламенемъ топящихся печей; черезъ улицу шмыгали бабы съ коромыслами на плечахъ; около деревенскаго колодца, кругомъ окованнаго льдомъ, слышались говоръ и суета; кое-гдѣ, у воротъ, мужики, позѣвывая и почесываясь, принимались снаряжать дровнишки. Зябко; въ воздухѣ плавала бѣлесоватая, насквозь пронизывающая мгла; лошади, какъ угорѣлыя, мчались по укатанной деревенской улицѣ и замерли передъ крыльцомъ небольшого барскаго флигеля.

Я счастливъ уже тѣмъ, что нахожусь въ теплой комнатѣ и сознаю себя дома, не скутаннымъ, свободнымъ отъ грязи и вони, вдали отъ поученій. Старикъ Лукьянычъ, о которомъ я уже не разъ упоминалъ на страни-

цахъ «Благонамѣренныхъ Рѣчей» и который до сихъ поръ помогаетъ мнѣ нести иго собственности, встрѣчаетъ меня съ обычнымъ радушіемъ, хотя, я долженъ сознаться, въ этомъ радушіи по временамъ прорывается легкій, но очень явный оттѣнокъ ироніи.

Я люблю Лукьяныча искренно и положительно убѣжденъ, что и онъ, съ своей стороны, готовъ въ мою пользу кому угодно горло перервать. Но, въ то же время, я знаю, что никто съ такою любовью не выискиваетъ средства отравить мою жизнь, какъ онъ. Независимо отъ общеироническаго характера его отношеній ко мнѣ, онъ всегда имѣетъ на готовѣ или отвратительное извѣстіе, или какой-нибудь такой безнадежный выводъ, вслѣдствіе котораго я непремѣнно долженъ почувствовать себя въ положеніи рыбы, бьющейся объ ледъ. Да̀, существуютъ еще люди этого закала, хотя несомнѣнно, что типъ крѣпостного Ментора уже вымираетъ. По мнѣнію моему, эти люди страдаютъ особенною болѣзнью, которую я назвалъ бы «безсиліемъ преданности», и, кромѣ того, они никакъ не могутъ позабыть изрѣченіе: «любяй наказуетъ». Лукьянычъ радъ бы вселенную раззорить въ мою пользу, но такъ какъ руки у него коротки, да и я, по той же причинѣ, не могу оказать ему въ этомъ смыслѣ ни малѣйшаго содѣйствія, то онъ и вымѣщаетъ на мнѣ наше обоюдное безсиліе. Можетъ быть, онъ на что̀-нибудь надѣется. Я знаю, ему хотѣлось бы, чтобъ я воспрянулъ духомъ, чтобъ я облекся въ звѣриный образъ и началъ бы косить направо и налѣво, «какъ папенька». И вотъ онъ думаетъ, что его ироническое шпынянье подѣйствуетъ на меня, что я дѣйствительно воспряну, и начну «косить»...

Именно это самое ироническое отношеніе повторилось *и теперь.* Едва успѣлъ я глотнуть чаю, какъ Лукьянычъ

уже поспѣшилъ метнуть въ меня камнемъ, который онъ, очевидно, съ любовью холилъ у себя за пазухой.

— Мужички опять не согласны! вымолвилъ онъ злорадно-спокойнымъ голосомъ, стоя у косяка двери и сложивъ на груди руки кренделемъ.

Это извѣстіе заставило меня вздогнуть. Я всѣ претерпѣнія принялъ, я оставилъ семейство и занятія именно въ твердой увѣренности, что «мужички согласны» и что иго земельной собственности, наконецъ, перестанетъ тяготѣть надо мной.

— Какъ такъ? спросилъ я испуганнымъ голосомъ.

— Не согласны, и шабашъ!

— Да не самъ ли же ты писалъ, что они «на все согласны»?

— И были третьяго дня согласны, а вчера одумали и несогласны сдѣлались. Можетъ, сегодня не будетъ ли чего.

— Господи! да который же разъ я сюда ѣзжу!

— И сто разъ будете ѣздить—все то же будетъ!

— Заколдованное ваше мѣсто, что ли?

— Не заколдовано, а жить въ немъ надо. Минуту, значитъ, ловить.

Я какъ-то вдругъ упалъ духомъ. Не далѣе, какъ четверть часа тому назадъ, я ѣхалъ по деревенской улицѣ, видѣлъ пламя топящихся печей, видѣлъ мужиковъ, обряжающихъ дровни (нѣкоторые даже шапки сняли, завидѣвъ меня), бабъ, спѣшащихъ къ колодцу, и былъ увѣренъ, что все это означаетъ «согласны». И вдругъ оказывается, что это-то именно и означаетъ «несогласны», что всѣ эти дѣйствія и признаки говорятъ о закоренѣлости и упорствѣ. Вотъ они совершаютъ свой обычный дневной обрядъ, поднимаются отъ сна съ полатей, съ лавокъ и съ пола, ѣдутъ въ поле за сѣномъ и въ лѣсъ

за дровами, посылаютъ бабъ за водою, задаютъ кормъ лошадямъ и коровамъ, совершая все это рутинно, почти апатично, безъ всякихъ признаковъ закоренѣлости—и за всѣмъ тѣмъ, они упорствуютъ, они несогласны. Кто измѣритъ глубину пучины, называемой мужицкимъ сердцемъ! кто съумѣетъ урегулировать воздушныя колебанія, которыя производятъ зыбь на поверхности этой пучины!

— Вы бы, сударь, ослобонили меня! пустилъ вдругъ шипъ по змѣиному Лукьянычъ, покуда я, въ безсиліи, мысленно восклицалъ: да гдѣ же конецъ этимъ оттяжкамъ!

Я ужь не впервые слышу эту угрозу изъ устъ Лукьяныча. Всякій разъ, какъ я пріѣзжаю въ Чемезово, онъ считаетъ своимъ долгомъ пронзить меня ею. Мало того: я отлично знаю, что онъ никогда не рѣшится привести эту угрозу въ дѣйствіе, что съ его стороны это только попытка уязвить меня, заставить воспрянуть духомъ, и ничего больше. И за всѣмъ тѣмъ, всякій разъ, какъ я слышу эту просьбу «ослобонить», я невольно вздрагиваю при мысли о той безпомощности, въ которой я найдусь, если вдругъ, паче чаянія, стрясется надо мной такая бѣда.

— Опомнись, Лукьянычъ! что̀ ты говоришь! обратился я къ нему.

— Да вѣдь умру — надо же тогда будетъ другого искать!

— А ты прежде кончи!

Онъ уставился глазами въ землю и пощипывалъ одной рукой бородку.

— Кончать надо... это такъ. И самъ я вижу. Только кончимъ ли? Кабы вы настоящій «господинъ» были—это точно... Вотъ какъ Березниковская барыня, напримѣръ...

— Какая еще Березниковская барыня?

— Порфирьева Марья Петровна. Сестрица вамъ будетъ... чтой-то ужь и забыли! А онѣ вечо̀ръ гонца въ

Чемезово присылали, просили вѣсточку имъ дать, какъ пріѣдете.

Машенька Величкина! кузина! Боже! да, вѣдь, она и въ самомъ дѣлѣ здѣсь!

Цѣлый рой воспоминаній пронесся передо мной при этомъ имени. Я зналъ Машеньку еще шестнадцатилѣтнею дѣвушкой, да и самому мнѣ было въ то время не болѣе двадцати шести, двадцати семи лѣтъ. Въ то время, я съ особеннымъ удовольствіемъ ѣзжалъ въ Березники (владѣлецъ ихъ приходился мнѣ двоюроднымъ дядей), верстахъ въ двѣнадцати отъ Чемезова, въ Березники, гдѣ была прекрасная барская усадьба, въ которой царствовало безграничное гостепріимство. Но, кажется, меня всего больше влекла туда Машенька. Ее нельзя было назвать красивою, но она была удивительно миловидная дѣвушка-ребенокъ. Именно ребенокъ. Маленькая, худенькая, почти прозрачная, точно бисквитная куколка. «Совсѣмъ-совсѣмъ куколка», говорили тогда объ ней. Въ глазахъ у нея постоянно свѣтилось какое-то горе, которое всего точнѣе можно назвать горемъ ни объ чемъ; тонкія бровки были всегда сдвинуты; востренькій подбородокъ, при малѣйшемъ недоумѣніи, нервно вздрагивалъ; розовыя губы, въ минуты умиленія, складывались сердечкомъ. «Миленькая! миленькая!» какъ-то естественно думалось при взглядѣ на нее.

Повторяю: я съ особеннымъ удовольствіемъ посѣщалъ Березники и еще съ бо̀льшимъ удовольствіемъ бродилъ съ Машей по аллеямъ парка. Я помню, я говорилъ ей, что истина вѣчна, красота вѣчна, духъ вѣченъ, добро вѣчно. Что все остальное пройдетъ, какъ дурной сонъ, а эти четыре фактора человѣческаго существованія навсегда пребудутъ незыблемыми и неприкосновенными. Что люди братья, что они должны любить другъ друга,

что счастье есть удѣлъ всѣхъ. И что, за всѣмъ тѣмъ, нельзя обойтись безъ страданья, потому что страданье очищаетъ человѣка. Я помню, какъ она съ недоумѣніемъ вслушивалась въ мои слова, какъ глаза ея начинали свѣтиться сугубымъ горемъ «ни объ чемъ», и какъ она вдругъ, въ самомъ патетическомъ мѣстѣ, пугливо прерывала меня.

— Голубчикъ! говорила она мнѣ.—Я знаю, ты будешь смѣяться надо мной, но что̀ же мнѣ дѣлать: мысль объ вѣчности пугаетъ меня!

— Какое ребячество! разувѣрялъ я ее:—чего-жь тутъ пугаться! Что̀ такое вѣчность? Вѣчность—это красота, это истина, это добро, это жизнь духа—все, взятое вмѣстѣ и распространенное въ безконечность... Мысль объ вѣчности должна не устрашать, а утѣшать насъ!

— Да̀, это такъ... но вѣчность! вѣчность!

— Но почему же ты вдругъ заговорила объ вѣчности? допытывался я.

— Ахъ, я не знаю... но иногда... Иногда, послѣ разговоровъ съ тобой, мнѣ вдругъ приходитъ на мысль: что̀ же такое мы? что̀ такое вся наша жизнь?

И она такъ мило вздрагивала при этомъ, что я употреблялъ всѣ усилія, чтобъ утѣшить это прозрачное, маленькое существо.

Вообще, она была большая трусиха. Блѣднѣла при видѣ пробѣгающей мыши, блѣднѣла, заслышавъ внезапный шумъ, но въ особенности сильно трусила совѣтника т—ской казенной палаты Савву Силыча Порфирьева.

Савва Силычъ былъ рослый, тучный и рыхлый губернскій сановникъ, съ сѣроватымъ лицомъ, напоминавшимъ ноздреватый известковый камень. Онъ съ пятнадцатилѣтняго возраста облюбовалъ Машеньку, точно провидѣлъ, что изъ этого хрупкаго матеріала можно выработать бла-

гонадежную мать семейства. Нѣсколько разъ онъ дѣлалъ ей предложеніе, но Машенька все отказывала. Однако, она дѣлала эти отказы въ такой формѣ, что Порфирьевъ нетолько не отчаялся въ успѣхѣ, но продолжалъ, по прежнему, дружески посѣщать домъ Величкиныхъ. Она просто говорила: боюсь.

— А боитесь, барышня, такъ со временемъ привыкнете! любезно возражалъ Савва Силычъ, перебирая ногами на манеръ влюбленнаго пѣтуха: — спѣшить намъ нѐчего, я подожду-съ!

И, обращаясь къ Петру Матвѣичу Величкину, тутъ же, при ней же, прибавлялъ:

— Ничего-съ! это въ нихъ дѣвичье-съ! Спѣшить нѐчего-съ! Онѣ — въ цвѣту-съ, я — въ порѣ-съ... подождемъ-съ!

И дождался-таки, хотя я въ то время готовъ былъ сто противъ одного держать пари, что онъ никогда ничего не дождется, и что никогда къ грубому ноздреватому известковому камню не прикоснется нѣжный, хрупкій бисквитъ.

Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ. Я совершенно потерялъ Машу изъ вида и только мелькомъ слышалъ, что надежды Порфирьева осуществились, и что «молодые» поселились въ губернскомъ городѣ Т. Я даже совершенно забылъ о существованіи Березниковъ и никогда не задавался вопросомъ, страдаетъ ли Маша боязнью вѣчности, какъ въ былыя времена. Теперь, я узналъ отъ Лукьяныча, что она два года тому назадъ овдовѣла и вновь переселилась въ родные Березники; что у нея четверо дѣтей, изъ которыхъ старшей, дочкѣ, десять лѣтъ; что Березники хотя и не сохранили вполнѣ прежняго роскошнаго, барскаго вида, но, во всякомъ случаѣ, представляютъ цѣнность очень солидную; что, наконецъ, сама Марья Петровна...

На другой день, часу во второмъ, я подъѣзжалъ къ Березникамъ. Въ противоположность Чемезовскому и другимъ «дворянскимъ гнѣздамъ», старинная березниковская усадьба и въ настоящее время смотрѣла бодро, почти уютно. Впрочемъ, изъ всѣхъ свидѣтелей прежней барской жизни на широкую руку оставались только громадный домъ, оранжереи и паркъ. Но они не были въ забросѣ, какъ въ бо̀льшей части сосѣднихъ имѣній, а напротивъ того, съ перваго же взгляда можно было безошибочно сказать, что здѣсь живется тепло и удобно. Все лишнее, оказавшееся послѣ упраздненія крѣпостнаго права обременительнымъ, было сломано и снесено. Я помню, такъ-называемый красный дворъ былъ загроможденъ флигелями, людскими, амбарами, погребами; теперь, на этомъ самомъ мѣстѣ былъ распланированъ довольно обширный садъ, который по срединѣ прорѣзывала дорога, ведшая къ барскому дому. Всѣ службы были сгруппированы въ одномъ мѣстѣ, черезъ дорогу, и бросались въ глаза новыми бревенчатыми стѣнами. Вѣроятно, еще покойный Савва Силычъ началъ и привелъ къ окончанію всѣ эти преобразованія, однако, и по смерти его, заботливая рука поддерживала ихъ.

Машенька выбѣжала ко мнѣ въ переднюю съ словами:

— Ахъ, родной мой... какъ давно! какъ давно!

— Машенька! ты ли... да̀, это ты! въ свою очередь, восклицалъ я.

Я сжималъ ее руками за локти, словно желая приподнять, и съ любовью разглядывалъ ее. Она почти совсѣмъ не измѣнилась. Передо мной стояла все та же шестнадцатилѣтняя Машенька, которая когда-то такъ «боялась вѣчности». Маленькая, худенькая, прозрачная, «совсѣмъ-совсѣмъ куколка», не смотря на то, что ей было уже за *тридцать пять* лѣтъ. Въ глазкахъ, по прежнему, свѣти-

лось горе «ни объ чемъ», по прежнему вздрагивалъ востренькій подбородокъ, губы, отъ внутренняго умиленія, сложились сердечкомъ, бровки были сдвинуты. Въ ея черныхъ, какъ вороново крыло, волосахъ не было замѣтно ни одной сѣдинки. Ни единой морщины на лбу и около глазъ. Словомъ сказать, для нея какъ будто не было времени, тѣхъ двадцати лѣтъ, которыя такъ придавили и доканали меня. Больной всѣми старческими недугами, молча любовался я ею, внутренно переживая далекое прошлое, и съ какимъ-то удивленіемъ встрѣчаясь лицомъ къ лицу съ своею молодостью, тою безплодною молодостью, которая не дала ни привычки къ труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, а только научила «насъ возвышающимъ обманамъ».

— Да̀, другъ мой, давно я тебя не видала, продолжала она, вводя меня въ гостиную и усаживая на диванъ подлѣ себя: — многое съ тѣхъ поръ измѣнилось, а, наконецъ, Богу угодно было испытать меня и послѣднимъ ударомъ: недѣлю тому назадъ минуло два года, какъ отлетѣлъ нашъ ангелъ!

Высказавши это, она на минутку отвернула отъ меня лицо; вѣроятно, на ея глаза навернулись двѣ крошечныя слезки, которыя она хотѣла незамѣтно для меня смигнуть.

— Да̀, слышалъ... Савва Силычъ... Впрочемъ, я зналъ его такъ мало...

— Ты можешь даже сказать, что совсѣмъ не зналъ его. Ахъ, мой другъ, какъ мы были въ то время легкомысленны! Помнишь, какъ я боялась его! И скажу тебѣ откровенно, что даже послѣ выхода замужъ я года три еще боялась его; все казалось: ахъ, какой онъ большой! Глупенькая, вѣдь, я была. И представь себѣ: никогда онъ даже вида не подалъ, что это для него обидно. Бывало, обниметъ меня рукой, а я вся дрожу. Другой бы забра-

нилъ, а онъ, напротивъ, еще приголубитъ: ничего, говоритъ, привыкнешь! намъ спѣшить нѐкуда! И точно: потихоньку, да помаленьку, я и сама, наконецъ, стала удивляться, что̀ можно было находить въ немъ страшнаго!

— Привыкла?

— Нѣтъ, не то, что привыкла, а такъ какъ-то. Я не принуждала себя, а просто само собой сдѣлалось. Терпѣливъ онъ былъ. Вотъ и хозяйствомъ я занялась — сама не знаю ка̀къ. Когда я у папеньки жила, ничто меня не интересовало — помнишь? Любила я, правда, помечтать, а спроси, объ чемъ — и сама сказать не съумѣю. А тутъ, вдругъ...

Я не могъ удержаться, чтобъ вновь не взять ее за руки. Да̀, это она! глазки, полные грустнаго недоумѣнія, бровки сдвинуты, губки вотъ-вотъ сейчасъ сложатся сердечкомъ... миленькая! миленькая! И я невольно подумалъ: возьми теперь эту тридцатисемилѣтнюю *дѣвочку* за руку, и веди ее, куда тебѣ хочется. *Вдругъ* — она очутится въ лѣсу, *вдругъ* — среди долины ровныя, *вдругъ* — сдѣлается хозяйкой и матерью, *вдругъ* — проникнется страстью къ баламъ и пикникамъ. И повсюду одинаково грустно-недоумѣло будутъ смотрѣть ея глазки, повсюду останутся сдвинутыми ея хорошенькія бровки, а губки, въ данную минуту, сложатся сердечкомъ. И что̀ всего важнѣе, нигдѣ она не пропадетъ, ничѣмъ ее не собьешь, кромѣ развѣ, что найдется еще кто-нибудь и тоже возьметъ ее за руку и тоже поведетъ, куда ему хочется.

— А какой христіанинъ онъ былъ! лепетала она: — и какой христіанской кончины удостоилъ его Богъ!

— Боленъ онъ былъ?

— Нѣтъ, вдругъ это какъ-то случилось. Къ обѣду пришелъ онъ изъ казенной палаты, скушалъ тарелку *супу, и говоритъ*: я, Машенька, прилягу. А черезъ часъ

велѣлъ послать за духовникомъ, и, покуда ходили, всѣ распоряженія сдѣлалъ. Представь себѣ, я ничего не знала, а вѣдь у него очень хорошій капиталъ былъ!

— Стало быть, онъ скрывалъ его отъ тебя?

— Нѣтъ, не то, что скрывалъ, а я сама тогда не понимала. Прямо-то онъ не открывался мнѣ, потому что я еще не готова была. Это онъ и передъ смертью мнѣ высказалъ.

— Стало быть, ты теперь обезпечена?

— Да̀, родной мой, благодаря святымъ его трудамъ. И вотъ какъ удивительно все на свѣтѣ дѣлается! Ка̀къ я его, глупенькая, боялась — другой бы обидѣлся, а онъ даже не попомнилъ! Весь капиталъ прямо изъ рукъ въ руки мнѣ передалъ! Только и сказалъ: Машенька! теперь я вижу, по всѣмъ поступкамъ твоимъ, что ты въ состояніи изъ моего капитала сдѣлать полезное употребленіе!

Машенька слегка заалѣлась и закрыла глазки платкомъ.

— И ты совсѣмъ переселилась въ Березники?

— Да̀, совсѣмъ; надо же было его волю исполнить.

— Развѣ онъ требовалъ этого?

— Да̀. Онъ прямо сказалъ, что въ Березникахъ жить дешевле. Ну, и на̀ счетъ помѣщенія капитала здѣсь удобно. Земля нынче дешева, лѣса тоже. Если умненько за это дѣло взяться, большія деньги можно нажить.

Я вновь взглянулъ на нее, но на этотъ разъ не столько съ любовью, сколько съ любопытствомъ. Такая маленькая, худенькая, совсѣмъ-совсѣмъ куколка — и вдругъ говоритъ: «большія деньги», «нажива»...

— Да отчего же Савва Силычъ при жизни не скупалъ земель? вѣдь, онъ могъ бы заняться этимъ, конечно, съ бо̀льшимъ знаніемъ, нежели ты?

— Ахъ, голубчикъ, въ томъ-то и дѣло, что не могъ! Вѣдь онъ изъ духовнаго званія происходилъ (и никогда

онъ этого не стыдился, мой другъ!), слѣдственно, когда на службу поступалъ — разумѣется, у него ничего не было! И вдругъ бы у него оказался капиталъ — откуда? какъ? что̀ подумали бы! Ахъ, мой другъ, не мало онъ страдалъ отъ этого!

— Напрасно, мнѣ кажется, онъ затруднялся этими соображеніями.

— Не говори, мой родной! люди такъ завистливы, ахъ, какъ завистливы! Ну, онъ это зналъ, и потому хранилъ свой капиталъ въ тайнѣ, только пятью процентами въ годъ пользовался. Да и то въ Москву каждый разъ ѣздилъ проценты получать. Бывало, какъ 1-е марта или 1-е сентября, такъ и ѣдетъ въ Москву съ позднимъ поѣздомъ. Ну, а процентныя бумаги — ты самъ знаешь, велика ли польза отъ нихъ?

— Покойно за то.

— Да, но имѣемъ ли мы право искать спокойствія, другъ мой? Я вотъ тоже, когда глупенькая была, объ томъ только и думала, ка̀къ бы безъ заботы прожить. А выходитъ, что я заблуждалась. Выходитъ, что мы, какъ христіане, должны безпрерывно печься о присныхъ нашихъ!

— Помилуй, душа моя! вѣдь, христіанство-то прямо указываетъ на птицъ небесныхъ!

— Это въ древности было, голубчикъ! Тогда, дѣйствительно, было такъ, потому что въ то время все было дешево. Вотъ и покойный Савва Силычъ говаривалъ: «древніе христіане могли не жать и не сѣять, а мы не можемъ». И батюшку, отца своего духовнаго, я не разъ спрашивала, не грѣхъ ли я дѣлаю, что присовокупляю— и онъ тоже сказалъ, что по нынѣшнему дорогому времени нѣкоторые грѣхи въ обратномъ смыслѣ понимать надо!

— Если такъ, то, понятное дѣло, что покойный Савва Силычъ долженъ былъ тяготиться, получая на свой капиталъ только пять процентовъ.

— И какъ еще тяготился-то! Очень-очень скучалъ! Представь только себѣ: въ то время вольную продажу вина вдругъ открыли — всѣмъ, вѣдь, залоги понадобились! Давали подъ бумаги восемь и десять процентовъ, а по купонамъ получка — само по себѣ. Ты сочти: еслибъ руки-то у него были развязаны — вѣдь это пятнадцать, а ужь бѣдно-бѣдно тринадцать процентовъ на рубль онъ получалъ бы!

Высказавъ это, Машенька умилилась и сложила губки сердечкомъ.

— А, впрочемъ, онъ не роптал, продолжала она: — онъ слишкомъ христіанинъ былъ, чтобы роптать! Однажды онъ только позволилъ себѣ пожаловаться на Провидѣніе — это когда откупа уничтожили, но и тутъ помолился Богу, и все какъ рукой сняло.

— Что̀ же мѣшало ему въ отставку выйти, чтобъ распорядиться съ капиталомъ съ бо̀льшею выгодою?

— Ахъ, какъ это можно! Въ послѣднее время стали управляющихъ палатами изъ совѣтниковъ дѣлать — ну, онъ и надѣялся. А какъ онъ прозорливъ былъ — такъ это удивительно! Всякое его слово, все, все такъ именно и сбылось, какъ онъ предсказывалъ!

— Напримѣръ?

— Да вотъ хоть бы на счетъ земли. Сколько онъ разъ, бывало, говаривалъ: Машенька! паче чаянья, я умру — ты непременно зѐмли покупай! Теперь, говоритъ, у помѣщиковъ выкупныя свидѣтельства пока водятся, такъ зѐмли еще въ цѣнѣ, а скоро будетъ, что всѣ выкупныя свидѣтельства проѣдятъ — тогда зѐмли ни почемъ покупать будетъ можно! И все такъ именно, по его, и сбы-

лось. Всѣ ныньче стали земли распродавать, и ужь такъ дешево, такъ дешево, что просто за даромъ. Вотъ я и покупаю, коли гдѣ сходно. Лѣса покупаю, зѐмли. Лѣса свожу, а земли мужичкамъ въ кортому отдаю. Вѣдь имъ земля-то нужна, мой другъ! ахъ, какъ она имъ нужна!

— И выгодно это?

— Такъ выгодно! такъ выгодно! Разумѣется, и тутъ тоже надо съ оглядкой поступать: какая земля? Коли земля близко къ крестьянской околицѣ лежитъ — ту непремѣнно покупать слѣдуетъ, потому что она мужичкамъ нужна. Мужички за нее что̀ хочешь дадутъ: боятся штрафо̀въ. Ну, а коли земля дальняя — за ту надо дешево давать, да и то, если на ней молодой березникъ или осинничекъ ростетъ. Съ еловымъ молодятникомъ я совсѣмъ земли не покупаю, потому что туго очень эта ель ростетъ, а вотъ березка, да осинничекъ — самый это выгодный лѣсъ! И представь себѣ, ка̀къ это хорошо: вѣдь, съ перваго-то взгляда кажется, что земля эта та̀къ, ничего нестоющая — ну, рублей по пяти за десятину и даешь. Смотришь, анъ на ней, лѣтъ черезъ двадцать, ужь дрова порядочныя будутъ — за ту же десятину, на худой конецъ, тридцать рублей дадутъ! Сообрази-ка теперь: вѣдь, это въ шесть разъ капиталъ на капиталъ — въ двадцать-то лѣтъ!

Опять умиленіе и опять губы сердечкомъ. Это было до такой степени мило, что я не удержался, чтобъ не спросить:

— Ну, а какъ на счетъ вѣчности, Машенька? не боишься ея... помнишь, какъ прежде?

— Нѣтъ, мой другъ, я ныньче совсѣмъ-совсѣмъ христіанкой сдѣлалась! Чего бояться вѣчности! надо только съ вѣрою приступать — и все легко будетъ! И покой-

ный Савва Силычъ говаривалъ: бояться вѣчности—только одно баловство!

— Кто же у тебя всѣми этими дѣлами орудуетъ?

— И сама, и добрые люди совѣтомъ не оставляютъ. Вотъ Анисимушка — онъ еще при покойномъ папенькѣ бурмистромъ былъ; ну, и Филоѳей Павлычъ тоже...

— Какой такой Филоѳей Павлычъ?

— Промптовъ. Покойнаго Саввы Силыча другъ. Онъ здѣсь въ земской управѣ предсѣдателемъ служитъ. Хотѣлъ вотъ сегодня, по пути въ городъ, заѣхать; познакомишься.

Она проговорила эти слова какъ-то неровно; мнѣ показалось, что даже немного сконфузилась при этомъ.

— Ужь не женихъ ли? пошутилъ я: — вѣдь въ твои года...

— Ахъ, нѣтъ! ахъ, нѣтъ! что̀ ты! что̀ ты! да что̀ жь это дѣти, однакожь! продолжала она, перемѣняя разговоръ: — вѣдь мы тебя не ожидали сегодня, по домашнему были — ну, и разбрѣлись по угламъ!

— А много у тебя дѣтей?

— Четверо, мой другъ. Старшенькая-то у меня—дочь, Нонночка, а прочіе — мальчики. Ѳеогностъ — старшій, Коронатъ — средній, а Смарагдушка — меньшой. Савва Силычъ любилъ звучныя имена.

— И ты любишь дѣтей?

— Ахъ, мой другъ!

Она съ укоромъ посмотрѣла на меня, какъ будто я и ни вѣсть какую ересь высказалъ.

— Только скажу тебѣ откровенно, продолжала она:— не во всѣхъ дѣтяхъ я одинаковое чувство къ себѣ вижу. Нонночка — та, можно сказать, обожаетъ меня; Ѳеогностъ тоже очень нѣженъ, Смарагдушка — ну, этотъ еще дитя, а вотъ за Короната я боюсь. Думается, что онъ будетъ

непочтителенъ. То-есть, не то, чтобы я что̀-нибудь замѣтила, а такъ, по всёму видно, что холоденъ къ матери!

— Извини меня, Машенька, но, право, мнѣ кажется, что ты вздоръ говоришь! Ну, какіе же ты могла замѣтить признаки непочтительности въ семилѣтнемъ мальчикѣ?

— Ахъ, не говори этого, другъ мой! Материнское сердце далеко угадываетъ! Сейчасъ оно видитъ, что̀ и ка̀къ. Ѳеогностушка подойдетъ — обниметъ, поцалуетъ, однимъ словомъ, все, какъ слѣдуетъ любящему дитяти, исполнить. Ну, а Коронатъ — нѣтъ. И то же сдѣлаетъ, да не такъ выйдетъ. Холоденъ онъ, ахъ, какъ холоденъ!

— Это бываетъ. Родители заберутъ себѣ случайно въ голову, что ребёнокъ не ласковъ, да и твердятъ ему объ этомъ. Ну, разумѣется, онъ тоже смекаетъ. Сначала только робѣетъ, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ становится холоденъ.

— Ахъ, нѣтъ, не я одна, и Савва Силычъ за нимъ это замѣчалъ! И при этомъ упрямъ, ахъ, какъ онъ упрямъ! Ни за что̀ никогда родителямъ удовольствія сдѣлать не хочетъ! Представь себѣ, онъ однажды даже давиться вздумалъ!

— Что̀ ты!

— Право! сдавилъ себѣ обѣими руками шею... весь посинѣлъ!

Въ эту минуту дѣти гурьбой вбѣжали въ гостинную. И всѣ, точно не видали сегодня матери, устремились къ ней здороваться. Первая, въ припрыжку, подбѣжала Нонночка и долго цаловала Машу и въ ротикъ, и въ глазки, и въ подбородочекъ, и въ обѣ ручки. Потомъ, тоже стремительно, упали въ объятія мамаши Ѳеогностушка и *Смарагдушка.* Коронатъ, дѣйствительно, шелъ какъ-то

мѣшкотно, и разинулъ ротъ, повидимому, заглядѣвшись на чужого человѣка.

— Ну, вотъ и молодцы мои! рекомендовала мнѣ Машенька дѣтей: — не правда ли, хорошія дѣти?

Нонночка сдѣлала книксенъ; прочіе шаркнули ножкой.

— Прелестныя! поспѣшилъ согласиться я, цалуя всѣхъ по очереди.

— Хорошія, послушныя, заботливыя дѣти, и любятъ свою мамашу. Неправда ли... Коронатъ?

Коронатъ, надувшись, смотрѣлъ внизъ и молчалъ.

— Что̀ жь ты молчишь! Любишь мамашу?.. Анна Ивановна! вѣрно, онъ опять сегодня шалилъ!

Вопросъ этотъ относился къ молодой особѣ, которая вошла вслѣдъ за дѣтьми и тоже подошла къ Машенькиной ручкѣ. Особа была крайне невзрачная, съ широкимъ, плоскимъ лицомъ и, притомъ кривая на одинъ глазъ.

— По обыкновенію-съ, отвѣчала Анна Ивановна голосомъ, въ которомъ звучала иронія; при этомъ единственный ея глазъ блеснулъ даже ненавистью, которой, конечно, она не ощущала на дѣлѣ, но которую, въ качествѣ опытной гувернантки, считала долгомъ показывать: — очень достаточно-таки пошалилъ monsieur Koronat!

— Ну, что̀ же дѣлать! оставайся, мой другъ, безъ пирожнаго! тотчасъ же рѣшила Машенька: — ахъ, пожалуйста, не куксись! Помнишь, что̀ говорила я тебѣ объ дурныхъ поступкахъ? помнишь?

Коронатъ молчалъ.

— Mais répondez donc! язвила Анна Ивановна.

— Отвѣчай же! помнишь? приставала Машенька.

Но Коронатъ только пыхтѣлъ въ отвѣтъ.

— Ну, вотъ видишь, какой ты безнравственный

мальчикъ! ты даже этого утѣшенія мамашѣ своей доставить не хочешь! Ну, скажи: вѣдь, помнишь?

— Помню, процѣдилъ сквозь зубы Коронатъ.

— Ну, повтори! повтори же, что̀ я говорила! Вотъ при дяденькѣ!

— «Дурные поступки сами въ себѣ заключаютъ свое осужденіе», произнесъ красный, какъ ракъ, Коронатъ, словно клещами вытянули изъ него эту фразу.

— Ну, видишь ли, другъ мой! Вотъ ты себя дурно велъ сегодня — слѣдовательно, самъ же себя и осудилъ. Не я тебя оставила безъ пирожнаго, а ты самъ себя оставилъ. Вотъ и дяденька тоже скажетъ! Не правда ли, cher cousin?

— Ну, что̀ касается до меня, то я полагаю, что если Коронатъ осудилъ себя самъ, то онъ же не только можетъ простить самого себя, но даже и даровать себѣ право на двойную порцію пирожнаго! выразился я, стараясь, впрочемъ, придать моему отвѣту шуточный оттѣнокъ, дабы не потрясти родительскаго авторитета.

— Видишь, какой дяденька добрый! Ну, такъ и быть, для дяденьки ты получишь сегодня пирожное. Но ты долженъ дать ему обѣщаніе, что впередъ будешь воздерживаться отъ дурныхъ поступковъ. Обѣщаешься?

На Короната опять находитъ «норовъ» и онъ долгое время никакъ не соглашается «обѣщаться». Новое приставанье: «mais répondez donc, monsieur Koronat!» — со стороны Анны Ивановны, и «да скажи же, что обѣщаешься!» — со стороны Машеньки.

— Да Господи! обѣщаюсь! выпаливаетъ, наконецъ, Коронатъ, который, повидимому, готовъ лопнуть отъ натуги.

— Ну, теперь шаркни ножкой и поблагодари дяденьку!

Но я стремительно вскакиваю съ дивана и, чтобъ по-

ложить конецъ дальнѣйшимъ сценамъ, обнимаю Короната.

— Можете идти покуда въ залу и побѣгать; а вы, chère Анна Ивановна, потрудитесь сказать, чтобъ подавали кушать. Ахъ, предурной, презакоренѣлый у него характеръ! обратилась она ко мнѣ, указывая на удаляющагося Коранатушку и печально покачивая головкой: — очень, очень я за него опасаюсь!

— А я такъ ни мало не опасаюсь. Вотъ скажи-ка мнѣ лучше, гдѣ ты такое сокровище достала?

— Это ты про Анну Ивановну? Дешевенькая, голубчикъ. Всего двѣсти рублей въ годъ, а между тѣмъ съ музыкой. Ну, конечно, иногда на платье подаришь: дурна-дурна, а нарядиться любитъ. Впрочемъ, прекраснѣйшаго поведенія. Покорна, ласкова... никогда дурного слова!

— Ну, а я, всетаки, не взялъ бы ее въ гувернантки!

— Нѣтъ, мой другъ; Савва Силычъ — онъ ее изъ воспитательнаго привезъ — очень правильно на этотъ счетъ разсуждалъ. Хорошенькая-то, говаривалъ онъ, сейчасъ рядиться начнетъ, а потомъ, пожалуй, и глазами играть будетъ Смотришь на нее — анъ врагъ-то и попуталъ!

— Вотъ какъ! стало быть, онъ не очень-то на себя надѣялся!

— Нѣтъ, не то, чтобы, а такъ... Вообще, онъ не любилъ себя искушать. Въ семейномъ быту надо вѣрную обстановку устроивать, покойную! Вотъ какъ онъ говорилъ.

Наконецъ, пришли доложить, что подано кушать. Признаюсь, проголодавшись послѣ трехдневнаго поста, я былъ очень радъ настоящимъ образомъ пообѣдать. За столомъ было довольно шумно, и дѣти, повидимому, не особенно стѣснялись, кромѣ, впрочемъ, Короната, кото-

рый сидѣлъ надувшись рядомъ съ Анной Ивановной и во все время ни слова не вымолвилъ.

— Вотъ видишь, какой онъ злопамятный! шепнула мнѣ по этому поводу Машенька.

— И ты не скучаешь? спросилъ я Машу, когда мы, послѣ обѣда, заняли прежнія мѣста въ гостинной.

— Нѣтъ, мнѣ скучать нельзя: у меня дѣти, мой другъ. Да и нѐкогда. Еслибъ занятій не было, тогда другое дѣло... Вотъ я помню, когда я въ дѣвушкахъ была, то всегда скучала!

— Будто бы?

— Да, потому что на умѣ все глупости были. Ахъ, ты не можешь вообразить, какая я тогда была глупая и что̀ я себѣ представляла!

— Напримѣръ?

— Ну, вотъ хоть бы... нѣтъ, ни за что̀ не скажу! Помнишь, тогда сочиненіе это вышло... «Les misérables», что̀ ли... да нѣтъ, не скажу! Мнѣ самой стыдно, какъ вспомнишь иногда...

Она слегка потупилась и вздохнула.

— Стало быть, это Савва Силычъ выучилъ тебя не скучать?

— Да̀, все онъ; всему онъ меня научилъ. Онъ желалъ, чтобъ я всегда была занята. Вообще, онъ былъ добръ, даже очень добръ до меня, но насчетъ этого строгъ. Праздность нетолько порокъ, но и бѣдствіе: она суетныя мечтанія порождаетъ, а эти послѣднія ввергаютъ человѣка въ духовную и матеріальную нищету—вотъ какъ онъ говорилъ.

— Чѣмъ же ты, при жизни его, занималась?

— Мало ли, другъ мой, въ домѣ занятій найдется? Съ

той минуты, какъ утромъ съ постели встанешь, и до той, когда вечеромъ въ постель ляжешь — все въ занятіяхъ. Всякому надо приготовить, за всѣмъ самой присмотрѣть. Конечно, все больше мелочи, но, вѣдь, ежели съ мелочами справляться умѣешь, тогда и большое дѣло не испугаетъ тебя.

— Это тоже Савва Силычъ говорилъ?

— Да̀, мой другъ, онъ. А что̀?

— Ничего. Такъ спросилось. Хорошая мысль.

На эту тэму мы бесѣдовали довольно долго (впрочемъ, говорила все время почти одна она, я же, что̀ называется, только реплику подавалъ), хотя и нельзя сказать, чтобъ разговоръ этотъ былъ разнообразенъ или поучителенъ. Напротивъ, должно думать, что онъ былъ достаточно прѣсенъ, потому что, подъ конецъ, я-таки не удержался и зѣвнулъ.

— Ахъ, что̀ же я? всполошилась она: — и не подумала, что съ дороги тебѣ отдохнуть хочется! А еще хозяйкой себя выставляю!

— Успокойся, душа моя, я не сплю послѣ обѣда. А вотъ что̀ я думаю: не уѣхать ли мнѣ? По настоящему, я, вѣдь, мѣшаю тебѣ!

— Ахъ, что̀ ты! чѣмъ же ты мнѣ мѣшать можешь! Еслибъ и были у меня занятія, то я для родного должна ихъ оставить. Я родныхъ почитаю, мой другъ, потому что ежели мы родныхъ почитать не станемъ, то что̀ же такое будетъ! И Савва Силычъ всегда мнѣ внушалъ, что почтеніе къ роднымъ есть первый нашъ долгъ. Онъ и объ тебѣ вспоминалъ, и всегда съ почтеніемъ!

— Ну, если я не мѣшаю тебѣ, то тѣмъ лучше.

— А я вотъ что̀, братецъ. Я велю вареньица подать, намъ и веселѣе говорить-то будетъ. А потомъ и чаю; вѣдь ты чай любишь?

— Что̀ жь, это прекрасно. И вареньица, и чаю — не откажусь.

— Ахъ, какъ я рада! И какъ это хорошо, что ты откровенно мнѣ высказалъ, что̀ тебѣ нравится. А вотъ другіе любятъ, чтобъ хозяева сами угадывали — вотъ мука-то!

Она взяла меня за обѣ руки и такъ грустно-грустно взглянула мнѣ въ лицо, словно хотѣла сказать: сиротка ты, бѣдненькій! надо же тебя приголубить и подкормить!

Черезъ нѣсколько минутъ на столѣ стояло пять сортовъ варенья и еще смоквы какія-то, тоже домашняго издѣлія, очень вкусныя. И что̀ всего удивительнѣе, намъ, дѣйствительно, какъ-то веселѣе стало, или, какъ выражаются крестьяне, поваднѣе. Я откинулся въ уголъ на спинку дивана, ѣлъ варенье и смотрѣлъ на Машу. При огняхъ она казалась еще моложавѣе.

— Машенька! невольно вырвалось у меня.

— Ахъ, ты кончилъ? Вотъ покушай еще; дай я тебѣ положу... морошки или крыжовнику?

— Нѣтъ, я не о томъ,. Я все хочу тебѣ сказать: какая ты еще молодая! Совсѣмъ-совсѣмъ ти не измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались!

— Это по наружности только, а внутри...

— Что̀ такое «внутри»! Ты напускаешь на себя — и больше ничего! Право, ты такъ еще мила, что не грѣхъ и приволокнуться за тобой, и я увѣренъ, что этотъ Филоѳей Павлычъ...

— Ахъ, нѣтъ! что̀ ты! что̀ ты!

— Нѣтъ, признайся! Навѣрное, этотъ вертопрахъ...

— Вопервыхъ, онъ совсѣмъ не вертопрахъ, а вовторыхъ, оставимъ это... Знаешь, вѣдь, я объ чемъ-то хотѣла съ тобой поговорить!

— Объ чемъ же?

— Скажи, правда ли, что ты съ Чемезовымъ кончить хочешь?

— Правда.

— Вотъ какъ! А я все думала, что ты у меня въ сосѣдствѣ поселишься. Ахъ, какъ бы это было хорошо!

— Хорошо-то хорошо, да нельзя этого, голубушка! Ты знаешь: занятія, обстоятельства...

— Что такое «обстоятельства»! Не обстоятельства должны управлять человѣкомъ, а человѣкъ обстоятельствами!

— Это тоже Савва Силычъ говорилъ?

— Да, и онъ.

— А Филоѳей Павлычъ, быть можетъ, подтверждалъ?

— Ахъ, ты опять объ этомъ! Вотъ ты такъ не измѣнился! Все шутишь! А вѣдь я серьёзный разговоръ хотѣла съ тобой вести!

— Ну, будемъ вести серьёзный разговоръ.

Лицо ея, дѣйствительно, приняло озабоченное выраженіе; бровки сдвинулись больше обыкновеннаго.

— Скажи, пожалуйста, на чемъ же ты хочешь кончить? покупатели есть? таинственно спросила она, при чемъ даже по сторонамъ оглядѣлась, какъ бы желая удостовѣриться, не подслушиваетъ ли кто.

— Были покупатели. Деруновъ охотился, Бородавкина Заяцъ привозилъ смотрѣть.

— И что жь?

— Мнѣ хотѣлось бы съ крестьянами сдѣлаться.

— Ахъ нѣтъ! ахъ, пожалуйста! ужь прошу тебя: не имѣй ты дѣла съ крестьянами!

— Что такъ?

— Ахъ, это такіе неблагородные! такіе неблагодарные!

— Да мнѣ-то какое дѣло до того, благодарны они или неблагодарны! Я продавецъ, они покупатели.

— Помилуй! какъ это можно! они такіе неблагодар-

ные! такіе неблагодарные! Представь себѣ, въ то время... ну, вотъ какъ уставныя грамоты составляли... вѣдь, мои-то къ губернатору на Савву Силыча жаловаться ходили! Такъ онъ былъ тогда огорченъ этимъ! такъ огорченъ!

— А!

— И представь себѣ, какую клевету на него взвели: будто онъ у нихъ Гулино отнялъ! У нихъ! Гулино! знаешь: это какъ къ селу-то подъѣзжаешь, у самой почти-что околицы — тутъ у меня еще прехорошенькая сосновая рощица нынче пошла!

— Что̀ жь? разобрали дѣло?

— Ну, конечно, имъ отказали, потому что Савва Силычъ какъ дважды два доказалъ... За то, теперь они и каются: вѣдь, имъ, другъ мой, безъ Гулина-то курицы некуда выпусить!

— Какъ «за то!» Да, вѣдь, еслибъ они и не жаловались, Гулино-то, всетаки, не осталось бы за ними!

— Ахъ, какой ты! Я тебѣ говорю: вотъ какіе они неблагодарные, что даже на Савву Силыча жаловались! Да̀, мой другъ! Столько мы безпокойствъ, столько, можно сказать, непріятностей черезъ нихъ имѣли, что Савва Силычъ даже на одрѣ смерти меня предостерегъ: прошу тебя говоритъ, Машенька, никогда ты не имѣй дѣло съ этими неблагодарными, а дѣйствуй по закону!

— Однако, ты, не смотря на это, имѣешь-таки съ ними дѣла! вотъ земли въ кортому отдаешь...

— Это совсѣмъ другое дѣло; тутъ ужь я по закону. Да, вѣдь, и по-христіански, мой другъ, тоже судить надо. Имъ, вѣдь, земля-то нужна, ахъ, какъ нужна! Ну, стало быть, я по-христіански...

Она на минуту смолкла, потихоньку вздохнула и даже какъ бы закручинилась («миленькая!» мелькнуло у меня *въ головѣ).*

— Ты не повѣришь, какъ они бѣдны! ахъ, какъ бѣдны! продолжала она такимъ голосомъ, какъ будто ей вотъ-вотъ сейчасъ душу на части начнутъ рвать. — И представь себѣ: бѣдны, а въ кабакѣ у меня всегда толпа!

— Ты и кабакъ устроила?

— Дà, тутъ у насъ строеньице ненужное осталось, какъ Анисимушко присовѣтовалъ. Вѣдь, это выгодно, родной мой!

— Дà?

— Очень-очень даже выгодно. Но, представь себѣ: именно все, какъ говорилъ покойный Савва Силычъ, все такъ, по его, и сбывается. Еще въ то время, какъ въ первый разъ вину волю сказали — ужь и тогда онъ высказался: курить вино — нѣтъ моего совѣта, а кабаки держать — можно хорошую пользу получить!

— Машенька! ты милая! невольно вскрикнулъ я, и — даюсь, — не удержался-таки, поцѣловалъ ее въ щечку.

— Чтò ты! дѣти... ахъ, какой ты! застыдилась она.

— Ну, хорошо, хорошо! не стану! Такъ чтò же ты мнѣ на счетъ Чемезова-то сказать хотѣла?

Она на мгновенье задумалась, потомъ вдругъ все лицо ея словно озарилось.

— Знаешь ли чтò! вскрикнула она почти восторженно: — Лукьянычъ обманываетъ тебя!

— Чтò ты! Христосъ съ тобой! Старику семьдесятъ лѣтъ!

— Говорю тебѣ, обманываетъ! это такъ вѣрно, такъ вѣрно...

— Ну, оставимъ это! пускай себѣ обманываетъ, а мы возьмемъ да перехитримъ его. Чтò же ты мнѣ еще скажешь?

— А вотъ чтò, мой другъ. Признаюсь, я очень, даже очень въ твое дѣло вникала. И могу сказать одно: жаль,

что ты «Кусточки» въ то время крестьянамъ отдалъ! И Савва Силычъ говорилъ: испортилъ братецъ все свое имѣніе!

— Помилуй! да, вѣдь, «Кусточки» какъ разъ около Чемезова; крестьянамъ и обойтись безъ нихъ невозможно! Да и всегда, и при крѣпостномъ правѣ, «Кусточками» крестьяне владѣли!

— Въ томъ-то и дѣло, другъ мой, что крестьянамъ эта земля нужна—въ этомъ-то и выгода твоя! А владѣли ли они, или не владѣли—это всегда обдѣлать было можно: Савва Силычъ съ удовольствіемъ бы для родного похлопоталъ. Не отдай ты эти «Кусточки» — вѣдь цѣны бы теперь твоему имѣнію не было!

— Да что̀ жь объ «Кусточкахъ» говорить, коли они ужь отданы! А безъ «Кусточковъ», какъ велика, по-твоему, цѣна за всю землю?

— А сколько Осипъ Иванычъ (Деруновъ) тебѣ давалъ?

— Пять тысячъ.

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ! Я бы на твоемъ мѣстѣ продала. Конечно, кабы здѣсь жить... хорошенькія въ твоемъ имѣньи мѣстечки есть... Вотъ хоть бы Филищево... хорошъ, очень хорошъ лѣсокъ!.. Признаться сказать, и я иногда подумывала твое Чемезово купить— всетаки, ты мнѣ родной! — ну, а пяти тысячъ не дала бы! Пять тысячъ — большія деньги! Ахъ, какія это большія деньги, мой другъ! Вотъ кабы «Кусточки»...

— Дались тебѣ «Кусточки»! Какихъ-нибудь двадцать десятинъ!

— Двадцать десятинъ, а за двѣсти отвѣтятъ! Это и Анисимушко скажетъ тебѣ. Вотъ почему я и думаю: обманываетъ тебя Лукьянычъ! Ну, такъ обманываетъ! такъ обманываетъ!

— Да полно же, ради Христа!

— Нѣтъ, мой другъ, это дѣло надо розыскать. Еслибъ онъ вѣрный слуга тебѣ былъ, согласился ли бы онъ допустить, чтобъ ты такое невыгодное условіе для себя сдѣлалъ? Вотъ Анисимушко — тотъ прямо Саввѣ Силычу сказалъ: держитесь «Гулина», ни за что̀ крестьянамъ его не отрѣзывайте! Ну, Савва Силычъ и послушался.

— Слушай! да, вѣдь, я самъ уставную-то грамоту и составилъ, и подписалъ!

— Всетаки. Кабы Лукьянычъ настоящій христіанинъ былъ—все бы ему слѣдовало тебя предостеречь!

— Машенька! клянусь, ты милая!

— Ну, видишь ли! я, вѣдь, знала, что съ тобой серьёзно нельзя говорить. Всегда ты былъ такой; всегда въ тебѣ эта неосновательность была. Съ тобой серьёзно говорятъ, а у тебя все мысли какія-то. И Савва Силычъ это замѣчалъ; а онъ очень тебя любилъ.

— За что̀ жь онъ меня любилъ?

— Онъ всѣхъ родныхъ вообще почиталъ. Онъ всегда... онъ такой... Ну, вотъ, ты и опять этими воспоминаніями разстроилъ меня, другъ мой!

Дѣйствительно, ея глазки блеснули, и двѣ маленькія слёзки скатились на ея щечки. Воспоминаніе ли о Саввѣ Силычѣ на нее подѣйствовало, или просто взгрустнулось... *такъ* — во всякомъ случаѣ, это было такъ мило, что я невольно подумалъ: а, вѣдь, этотъ Филоѳей дуракъ будетъ, если Машеньку къ себѣ не приурочитъ.

Такія женщины въ деревенской тиши настоящій кладъ. И нѣжна, и «Кусточковъ» не проглядитъ, и приголубить можетъ, и весь домъ обѣгаетъ, за всѣмъ сама присмотритъ, все прикажетъ. Блаженствуй! Хорошо этакую «куколку» по головкѣ погладить, и потомъ сказать ей: а что̀, Машенька, кабы теперь вареньица! Хорошо цѣловать эти глазки и читать въ нихъ, какъ они думаютъ.

что̀ бы еще велѣть съ погреба принести! Да и не надоѣдлива вѣдь она: прибѣжитъ, сядетъ къ тебѣ на колѣни, вспомнитъ, что нужно на счетъ бѣлья распорядиться — вскочитъ и убѣжитъ; потомъ опять прибѣжитъ, на колѣни сядетъ — и опять вспомнитъ, что Смарагдушкѣ нужно пупочекъ бобковою мазью потерѣть... Вотъ настоящее utile-dolce; вотъ единственное условіе, при которомъ никакое деревенское захолустье опостылѣть не можетъ! Но, можетъ быть, опостылѣетъ жизнь вообще?..

Нѣтъ, едва ли и это. По крайней мѣрѣ, Филоѳей, навѣрное, совсѣмъ не такъ думаетъ. Не знаю, почему мнѣ вспалъ на умъ этотъ Филоѳей, но я убѣжденъ, что онъ тутъ что̀-нибудь маклеритъ. Не даромъ два раза Машенька покраснѣла при его имени. Конечно, онъ такой же крупный и вальяжный, какъ и Савва Силычъ, и изъ такого же ноздреватаго известковаго камня вырубленъ. Маленькія женщины сначала боятся такихъ идоловъ, а потомъ льнутъ къ нимъ: защиту себѣ видятъ. Мужъ нервный, худощавый, болѣзненный не защититъ. А вотъ какъ цѣлая глыба подъ руками, стоитъ только присѣсть сзади, никто и не увидитъ. Таковъ первоначальный поводъ для привязанности, а потомъ, разумѣется, и другіе найдутся. А Машенька ужь обтерпѣлась за Саввой Силычемъ, и Филоѳей это знаетъ. Можетъ быть, онъ и тогда, при жизни мужа, ужь думалъ: «мерзавецъ этотъ Савка! какую штучку поддѣлъ! вонъ какъ она ходитъ! ишь! ишь! такъ по стрункѣ и семенитъ ножками!» И кто же знаетъ, можетъ быть, онъ этому Савкѣ, другу своему, даже подсыпалъ чего-нибудь, чтобъ поскорѣй завладѣть этою маленькою женщиной, которая такъ охотно пойдетъ за тѣмъ, кто первый возьметъ ее за ручку, и потомъ всю жизнь будетъ семенить ножками по стрункѣ *супружества!*

Но это была уже уголовщина, и я поспѣшилъ опомниться. Машенька правду сказала: нельзя со мной серьёзно говорить! Сейчасъ я на окольную дорогу сверну и начну совсѣмъ о другомъ. И съ какой стати я къ этому Филоѳею привязался! Можетъ быть, это просто семинаристъ какой-нибудь—и самъ семинаристъ, и, кромѣ того, еще другъ покойнаго семинариста — который, по старой сквалыжнической привычкѣ, заѣзжаетъ въ Березники, на перепутьи изъ деревни въ земскую управу, потому только, что у Машеньки сладенько поѣсть можно! Пріѣдетъ, наѣстся, выспится, наговоритъ изрѣченій изъ старыхъ прописей—и отправится дальше...

Покуда я такъ размышлялъ, доложили, что пришелъ Анисимушко.

Анисимушко старикъ древній, лѣтъ подъ восемьдесятъ, но еще бодрый на видъ, хотя и ходитъ съ палкою. Осанку онъ имѣетъ важную, лицо почтенное, выражающее, что онъ себѣ цѣну понимаетъ. Садится, не дожидаясь позволенія, и говоритъ барынѣ «ты». Вообще, это одна изъ тѣхъ личностей, безъ совѣта съ которыми, при крѣпостномъ правѣ, помѣщики шагу не дѣлали, которыхъ называли «министрами» и которыя пользовались привилегіей «говорить правду», но не забываться, подобно тѣмъ своимъ знатнымъ современникамъ, которые, въ болѣе высокой сферѣ, имѣли привилегію

Истину царямъ съ улыбкой говорить...

Анисимушко вошелъ степенно, важно; не торопясь, помолился въ восточной уголъ, гдѣ висѣлъ образъ, потомъ поклонился мнѣ и барынѣ, и сѣлъ.

— Вотъ и Анисимушко! рекомендую! произнесла Машенька: — мой совѣтчикъ, руководитель и, можно сказать, даже другъ. Надѣюсь, что ты позволишь намъ поговорить?

— Ахъ, сдѣлай одолженіе!

— Ну что̀, Анисимушко, скажешь?

— «Клинцы», сударыня, продаютъ.

— Это гдѣ?

— Рядомъ съ Ульянцевымъ. Пустошонка десятинъ съ сорокъ, побольше, будетъ.

— А земля какова?

— Земля не то, чтобы... Покосишко есть... не слишкомъ тоже... лѣску тоже молоденькаго десятинки съ двѣ найдется... земля не очень... Только больно ужь близко къ Ульянцеву подошла!

— Дорого просятъ?

— Дорого. Восемьсотъ; по двадцати рублей за десятину на кругъ.

— Ой! что̀ ты!

Машенька даже испугалась громадности цифры.

— А купить, всетаки, надо будетъ, солидно продолжалъ Анисимушко.

— Ни за что̀! Разориться мнѣ, что̀ ли прикажешь!

И она растерянно взглянула на меня. Навѣрное, она вспомнила недавнія свои инсинуаціи на счетъ Лукьяныча и хотѣла угадать, не думаю ли и я того же самаго о ея Анисимушкѣ.

— До разоренья еще далеко, иронически возражалъ Анисимушко:—ты сначала выслушай!

— Помилуй, Анисимушко!

— Слушай-ко. Первое дѣло, Ульянцовскіе сейчасъ за нее тысячу даютъ. Сегодня ты восемьсотъ дашь, а завтра тысячу получишь.

— Такъ отчего жь они не покупаютъ! Тысячу-то тысячу, да, можетъ быть, въ разсрочку?

— И не въ разсрочку, а деньги на столъ. Да, вишь, *баринъ негодованье* на нихъ имѣетъ, судились они съ

нимъ за эту за самую землю — онъ ее у нихъ и оттягалъ. Вотъ теперь онъ и говоритъ: мнѣ эта земля не нужна, только я хоть за даромъ ее первому встрѣчному отдамъ, а вамъ, распостылые, не продамъ!

— Ахъ, Боже мой! да если ты говоришь, что эта земля такъ имъ нужна, зачѣмъ же ее продавать! Можно и такъ съ пользою отдавать имъ же въ кортому!

— Ему это не рука, барину-то, потому онъ на теплыя воды спѣшитъ. А для насъ, ежели купить ее—хорошо будетъ. Къ тому я и веду, что продавать не надобно—и такъ по четыре рубля въ годъ за десятину на кругъ дадутъ. Земля-то клиномъ въ ихнюю угоду врѣзалась, имъ выйти-то и некуда. Безпремѣнно по четыре рубля дадутъ, ежели не побольше.

Машенька задумалась и перебирала пальчиками, словно расчитывала.

— Такъ ты думаешь купить? робко спросила она.

— Послушай ты моего мужицкаго разума! не упущай ты этого случаю!

— Денегъ-то очень ужь много, Анисимушко!

— Мало ли денегъ! Да вѣдь и я не съ вѣтру говорю, а настоящее дѣло докладываю. Коли много денегъ кажется, поторговаться можно. Уступитъ и за семьсотъ. А и не уступитъ, всетаки, упускать не слѣдъ. Деньги-то, которыя ты тутъ отдашь, словно въ ламбартѣ будутъ. Еще лучше, потому что въ Москву за процентами ѣздить не нужно, сами придутъ.

— А ежели мужички не будутъ землю кортомить?

— Христосъ съ тобой! куда жь они отъ насъ уйдутъ! Вѣдь, это не то, что отъ прихоти: земля-дескать хороша! а отъ нужды отъ кровной: и не хороша земля, да надо ее взять! Вѣрное это слово я тебѣ говорю: по четыре

на кругъ дадутъ. И цѣна не то, чтобы съ прижимкой, а самая настоящая христіанская...

— Да ужъ, Анисимушко! надо по-христіански! и ихъ тоже пожалѣть нужно!

— Извѣстное дѣло, и ихъ пожалѣть, про что̀ жь я и говорю. Дѣло хоть обоюдное, вольное, а все же по-христіански нужно. Потому, Богъ — онъ все видитъ. Ты думаешь, Богъ-отъ далеко, а онъ, вонъ онъ! По-христіански — какъ возможно! не въ примѣръ лучше! И мужичкамъ хорошо, и тебѣ спокой! Такъ-то. Ты тужишь, что у тебя рубликъ-другой промежъ пальцевъ будто ушелъ, анъ Богъ-отъ тебя въ другомъ мѣстѣ благословитъ! А совѣсть-то и за̀все у тебя спокойна. И уснулъ ты сладко, и всталъ по утру, никакого покору за собой не знаешь! Такъ ли я, сударыня, говорю?

— Такъ, Анисимушко! Я знаю, что ты у меня добрый! Только я вотъ что̀ еще сказать хотѣла: можетъ быть, мужички и совсѣмъ Клинцы за себя купить пожелаютъ — какъ тогда?

— Что̀ жь, сударыня, съ Богомъ! отчего же и имъ, по-христіански, удовольствія не сдѣлать! Тысячу-то теперь ужь даютъ, а черезъ годъ — и полторы давать будутъ, коли ежели степенно передъ ними держать себя будемъ!

Опять минута задумчивости; глазки грустные-грустные; подбородочекъ взрагиваетъ.

— Такъ ужь я куплю, Анисимушко! вздохнувъ, рѣшеетъ Машенька.

— Купи, матушка! Ты моего мужицкаго ума слушайся! Потоль и служу, поколь живъ.

— А ужь я-то, какъ благодарна тебѣ, Анисимушко! такъ благодарна! такъ благодарна! Дѣти! Ѳеогностъ! Нонночка! велите Анисимушку чаемъ напоить! Съ Богомъ, *Анисимушко*!

Въ эту минуту у крыльца послышался звонъ колокольчика, и дѣти въ залѣ всполошились.

— Дядя пріѣхалъ! Дядинька! кричали они.

Я не обманулся: это была дѣйствительно глыба. И, притомъ, глыба, покушавшаяся быть любезною и отчасти даже граціозною. Вошелъ онъ въ гостиную какъ-то бокомъ, пріятно переплетая ногами, вынулъ изъ ушей канатъ, спряталъ его въ жилетный карманъ и подошелъ Машенькѣ къ рукѣ.

— А вотъ и братецъ пріѣхалъ! рекомендовала меня Машенька, складывая губки сердечкомъ.

— Пріятно-съ. Служить изволите?

— Нѣтъ, не служу, а такъ.

— Вотъ даже сейчасъ видно, что вы Марьѣ Петровнѣ родственникомъ доводитесь! Онѣ тоже очень часто это слово «такъ» въ разговорѣ употребляютъ.

Онъ улыбнулся и не безъ вожделѣнія скосилъ глазами въ сторону Машеньки, при чемъ меланхолически склонилъ голову на бокъ, такъ что я замѣтилъ подъ лѣвою его скулой большой кружокъ англійскаго пластыря, прикрывавшій, очевидно, фистулу.

Однако, замѣчаніе его смутило-таки меня. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я сказалъ это «такъ»? Что̀ такое «такъ»? Что̀ хотѣлъ я этимъ выразить? Вотъ Машенька — она дѣйствительно «такъ»; я и самъ это давеча замѣтилъ. И для нея это ни мало не предосудительно; ей это даже прелесть придаетъ, потому что она женщина и, притомъ, вдова. Впрочемъ, и она, я подозрѣваю, больше ради прелести употребляетъ это слово, потому что Филоѳею оно нравится. А я-то зачѣмъ? Зачѣмъ я сказалъ: «такъ»?

И, можетъ быть, я только не замѣчаю за собою, а на дѣлѣ и частенько-таки этимъ словомъ щеголяю?

— Изъ Петербурга пріѣхать изволили? любезничалъ со мной Промптовъ.

— Изъ Петербурга.

— Большой городъ. Парижъ, говорятъ, обширнѣе; ну, да вѣдь то ужь Вавилонъ. Вотъ мы такъ и своимъ уѣзднымъ городомъ довольны. Вездѣ можно пользу приносить-съ. И океанъ, и малая капля водъ — кажется, разница, а какъ размыслишь, то и тамъ, и тутъ — вездѣ одно и то же солнце свѣтитъ. Такъ ли я говорю-съ?

— Да̀, философы утверждаютъ...

— Скажу хоша про себя: на нынѣшнее трехлѣтіе званіемъ предсѣдателя управы меня почтили. Дѣло оно, конечно, небольшое, а все же пользишку принести можно. Кто желаетъ, и въ такомъ дѣлѣ пищу для труда найдетъ. А трудъ, я вамъ доложу, великая вещь: скуку онъ разгоняетъ. Вотъ и Марья Петровна трудятся — и имъ не скучно.

— Не скучно, а такъ... какъ-то лѣниво промолвила Машенька, и на сей разъ я положительно утверждаю, что она сказала это слово не спроста, а съ желаніемъ пококетничать съ Филоѳеемъ.

— Вотъ видите: и сейчасъ онѣ это слово «такъ» сказали, хихикнулъ онъ, словно у него брюшко пощекотали: — что̀ же-съ! въ дамѣ это даже очень пріятно, потому, дама рѣдко когда въ опредѣленномъ кругѣ мыслей находится. Дама — женщина-съ, и имъ это простительно, и даже въ нихъ это нравится-съ. Дамѣ мужчина защиту и вспомоществованіе оказывать долженъ, а дама съ своей стороны... хоть бы по части общества: гостей занять, удовольствіе доставить, потанцовать, спѣть, время пріятно *провести*—вотъ ихнее дѣло.

Онъ опять меланхолически скосилъ глаза въ сторону Машеньки и опять показалъ мнѣ свою фистулу. «Знаетъ ли она, что у него подъ скулой фистула?» невольно спросилъ я себя, и тутъ же, внимательно обсудивъ всѣ обстоятельства дѣла, рѣшилъ, что нетолько знаетъ, но что даже, быть можетъ, и пластырь-то на фистулу она сама, собственными ручками, налѣпляетъ.

— Слѣдовательно, вамъ не скучно? обратился я къ нему.

— Докладываю вамъ: тружусь-съ. Кабы не трудился, можетъ быть, и скучалъ бы. Можетъ быть, вино бы пить сталъ; можетъ быть, въ развратъ бы впалъ...

— Ахъ, что̀ вы, Филоѳей Павлычъ! испугалась Машенька.

— Не извольте, сударыня, безпокоиться; со мной этого случиться не можетъ. Я себя очень довольно понимаю. Рюмка передъ обѣдомъ, рюмка передъ ужиномъ — для желудка сваренія-съ... Я вотъ и табакъ прежде, отъ скуки, нюхалъ, обратился онъ ко мнѣ:—да вижу, доброй сосѣдушкѣ не нравится (Машенька заалѣлась) и оставилъ-съ!

— И вы постоянно здѣсь живете?

— Осѣдлость имѣю — ну и живу. Слава Богу, послужилъ. Былъ въ Т. совѣтникомъ губернскаго правленія; теперь государя моего дѣйствительный статскій совѣтникъ въ отставкѣ — чего нужно! Не растратилъ, а, по милости Божіей, пріобрѣлъ-съ. На собственныя, на трудовыя денежки — наслѣдственнаго-то мнѣ родители не завѣщали! — купилъ здѣсь, по близости, имѣньице, да и катаюсь взадъ да впередъ: изъ имѣнія въ городъ, изъ города въ имѣнье. Вотъ къ Марьѣ Петровнѣ на перепутьи заѣзжаю. Чайкомъ напоитъ, вареньицемъ полакомитъ, а иногда, грѣшнымъ дѣломъ и отдохнуть разрѣшитъ.

Онъ всталъ, и опять, переплетая ногами, подошелъ Машенькѣ къ ручкѣ.

— Сегодня-то вы у насъ ночуете? спросила она.

— Всенепремѣнно-съ, ежели такая ваша милость будетъ. Я, сударыня, вчера утромъ фантанель на обѣихъ рукахъ открылъ, такъ боюсь, дорогой-то въ шубѣ сидишь, какъ бы не разбередить.

— Давно ужь я вамъ про эту фантанель совѣтовала... что̀ жь, и удачно?

— Нельзя лучше-съ. Сегодня утромъ разсматривалъ: матерія идетъ — отличнѣйшая-съ. И даже сейчасъ ужь лучше на оба уха слышу!

— Ну, и слава Богу!

Новое переплетанье ногами и новое чмоканье Машенькиной ручки.

— Та̀къ мы здѣсь и живемъ! сказалъ онъ, усаживаясь: — по маленьку, да полегоньку, тихо да смирно, войнъ не объявляемъ, тяжбъ и ссоръ опасаемся. Живемъ да поживаемъ. Въ умствованія не пускаемся, идей не распространяемъ—такъ-то-съ. Наше дѣло — пользу приносить. Потому, мы—земство. Великое это, сударь, слово, хоть и не казисто на взглядъ. Вотъ, въ прошломъ году, на перервинскомъ трактѣ мостокъ черезъ Перерву выстроили, а въ будущемъ году, съ Божьею помощью, и черезъ Воплю мостъ соорудимъ...

— Ахъ, да, пожа̀луйста, устройте! Я намеднись чуть не провалилась! пожаловалась Машенька.

— Ахъ, грѣхъ какой! А вы, сударыня, осторожнѣе! Вотъ изволите, сударь, видѣть! всѣмъ до насъ дѣло! Марьѣ Петровнѣ мостокъ построить, другому — трактецъ починить, третьему — переправочку черезъ ручей устроить! Анъ дѣла-то и многонько наберется. А вы, осмѣлюсь *спросить*, писательствомъ, кажется, заниматься изволите?

— Да̀, пишу.

— И это полезно, ежели въ учительномъ духѣ... Мы здѣсь, признаться, только «Московскія Вѣдомости» выписываемъ, такъ настоящую-то литературу мало знаемъ.

— Братецъ, кажется, больше по сатирической части, вмѣшалась Машенька.

— Что̀ жь, и сатира не безъ пользы, коли въ предѣлахъ. Ridendo castigat mores—такъ, кажется? Дѣло писателей—изображать, а дѣло правительства—ихъ воздерживать. И въ древности сатирики были: Ювеналъ, Персій, Кантеміръ. Даже Цицеронъ, временами, къ сатирѣ склонность выказывалъ, а Кантеміра такъ самъ блаженной памяти государь Петръ Алексѣичъ изъ Молдавіи вывести изволилъ. Современникамъ, конечно, не всегда пріятны ихнія стрѣлы были, а теперь, по прошествіи времени, даже въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ читать не возбраняется!

— А дорого, братецъ, за эти сатиры даютъ?

— Не знаю, ка̀къ тебѣ сказать, голубушка; не считалъ.

— Писатели, сударыня, подробностей этихъ никогда не открываютъ. Хотя же и не отказываются отъ приличнаго за труды вознагражденія, однако, всетаки, желательнѣе для нихъ, чтобы другіе думали, яко бы они безкорыстно произведеніями своего вдохновенія досуги человѣчества услаждаютъ. Такъ, сударь?

— Ну, не совсѣмъ такъ, но, во всякомъ случаѣ, ничего опредѣлительнаго на вопросъ Машеньки отвѣтить не могу. Вознагражденіе за литературный трудъ такъ измѣнчиво, что точно опредѣлить его норму почти невозможно.

— А знаете ли, братецъ, вѣдь и у насъ здѣсь прошлымъ лѣтомъ чуть-чуть сатирикъ не проявился?

— Какъ же-съ! молодой человѣкъ одинъ, Николо-Воплинскаго іерея сынокъ. Кончилъ курсъ въ семинаріи, да, вмѣсто того, чтобъ невѣсту искать, началъ здѣшній уѣздъ въ сатирическомъ смыслѣ описывать. Однако, мы сейчасъ же его сократили.

— Какъ такъ?

— Въ настоящее время, онъ въ дальнія губерніи, по распоряженію, высланъ-съ.

— Помилуйте! за что же!

— Возмущеніе отъ него большое выходило. Чуть что— сейчасъ опишетъ и начнетъ-это распространять. Всѣ мы, сударь, человѣки, и человѣческимъ слабостямъ причастны, а онъ выше ихъ себя мнилъ. Вотъ мы его однажды подкараулили, да къ господину становому, вмѣстѣ съ писаніями, и представили.

— Однако, трудненько-таки у васъ сатирику жить!

— Жить у насъ, сударь, всякому можно. И даже сатирами заниматься никто не препятствуетъ. Вотъ только касаться—этого, дѣйствительно, нельзя.

Разговоръ принималъ такой любопытный оборотъ, что я счелъ долгомъ своимъ поближе вглядѣться въ эту известковую глыбу. Слова Промптова нахнули на меня чѣмъ-то знакомымъ, хотя и недосказаннымъ; они напомнили мнѣ о какой-то жгучей задачѣ, которую я постоянно старался обойти, но отъ разрѣшенія которой—я это смутно чувствовалъ — мнѣ ни подъ какимъ видомъ не избавиться. «Будь сатирикомъ, но не касайся» — да, вѣдь это оно, это то самое рѣшеніе, котораго никто до сихъ поръ ясно не формулировалъ, но которое, несомнѣнно, у всѣхъ на умѣ. Въ особенности, въ Петербургѣ, на этотъ счетъ существуетъ какое-то малодушное двоегласіе. Языкъ говоритъ: «кто же запрещаетъ! обличайте! преслѣдуйте! *карайте!*», а въ глазахъ въ это время бѣгаютъ огоньки.

Ясно, что въ результатѣ такого двоегласія должно быть постоянное сатирическое безпокойство. Общечеловѣческая слабость нашептываетъ сатирику: «мужайся! вѣрь словамъ! огоньки — это «такъ!» А опытъ и подозрительность предостерегаютъ: «помни объ огонькахъ, а слова— это «такъ!»

И вотъ, простой рыбарь, какой-то безвѣстный Филоѳей, взялъ на себя трудъ разрѣшить задачу ясно, просто и, главное, спокойно и безъ огоньковъ. «Будь сатирикомъ, но не касайся!»—да, это оно, оно самое! Но вотъ вопросъ: способенъ ли Филоѳей преподать надлежащія къ выполненію своего афоризма наставленія? Гм... конечно, съ его точки зрѣнія, онъ способенъ. Не онъ ли сейчасъ сказалъ: «подкараулили да къ господину становому вмѣстѣ съ писаніями и представили». Вотъ вамъ и исполненіе. Только разрѣшаетъ ли оно самую задачу? Создастъ ли оно такого сатирика, который и сатиры будетъ писать, и, въ то же время, «касаться» не станетъ? Въ этомъ-то я и позволяю себѣ усомниться. Да и въ Петербургѣ, повидимому, тоже сомнѣваются, а вслѣдствіе этого и допускаютъ «огоньки» въ видѣ палльятивной мѣры. Пусть-молъ до времени огоньки служатъ предостереженіемъ, а вотъ ежели... Что, «ежели»?

Подъ вліяніемъ этихъ мыслей я еще пристальнѣе взглянулъ на высившуюся передо мною известковую глыбу: не скажетъ ли она еще что-нибудь, не разъяснитъ ли? Но, увы! глыба такъ заурядно, почти безмысленно покачивалась вмѣстѣ съ кресломъ, въ которомъ она сидѣла, и при этомъ такъ масляно косила глазами по направленію къ Машенькѣ, что мнѣ сдѣлалось ясно, что она ничего не сознавала. Афоризмъ вырвался у нея изъ глотки «такъ», безъ пониманія и даже безъ малѣйшихъ претензій на дальнѣйшее развитіе. Онъ представлялъ собою

одну изъ тѣхъ «благонамѣренныхъ рѣчей», которыми такъ изобилуетъ среда рыбарей. Такъ что я, который намѣревался просить разъясненій по этому поводу и даже не прочь былъ вступить въ споръ, я сразу же убѣдился, что самое лучшее въ этомъ случаѣ—это послѣдовать мудрому правилу: не тронь навоза—не воняетъ.

— А знаете ли что̀, Филоѳей Павлычъ? догадалась, между тѣмъ, Машенька: — вѣдь, Коронатъ-то у насъ, пожалуй, сатирикомъ будетъ?

— Развѣ расположеніе выказываетъ?

— Нѣтъ, вообще... Безнравственность въ немъ какая-то... изъ всѣхъ дѣтей онъ какой-то... Вонъ и братецъ давеча видѣлъ...

— А вы бы, сударыня, березовой кашицей почаще... И я знавалъ эти примѣры: въ дѣтствѣ не остепеняли, а современемъ, отъ этой самой родительской слабости, люди злодѣями дѣлались.

— Ахъ, и я этого боюсь! боюсь я за него!

— Самое главное, сударыня, въ этомъ разѣ — всѣ силы мѣры употреблять, чтобъ изъ ребенка человѣкъ вышелъ. Чтобы къ семейству привязанность имѣлъ, собственность чтобы уважалъ, отечество любилъ бы. Лоза, конечно, прямо этому не научитъ, а споспѣшествовать можетъ.

— Да вѣдь и я тоже... вотъ и братецъ... Ахъ, кстати! вѣдь, братецъ съ Чемезовымъ-то кончать хочетъ!

— Что такъ-съ! огорчился Филоѳей: — а мы-было думали, что вы здѣсь оснуетесь! Съ сестрицей бы, по сосѣдству, видались! очень бы пріятно!

— Неудобно мнѣ.

— Очень-очень было бы пріятно. А между тѣмъ, и имѣніе... хорошенькое у васъ, сударь, имѣньице! По-

лезныя мѣстечки есть! Вотъ кабы вы «Кусточковъ» мужичкамъ не отдали—и еще бы лучше было!

— И я ему тоже говорила...

— Да-съ, близокъ локоть, да не укусишь. Это бы ужь Лукьянычево дѣло васъ предостеречь. Онъ обязанъ былъ разъяснить вамъ, что «Кусточки» — это, такъ сказать, узелъ-съ...

— Слушайте! да какъ же я могъ не отдать «Кусточковъ»? Вѣдь Чемезовскимъ крестьянамъ безъ этой земли просто жить нельзя!

— А они бы у васъ кортомили ее. Вы бы христіанскую цѣну назначили, а они бы пользовались. И имъ бы безъ обиды, и вамъ бы хорошая польза была.

— Да вѣдь они имѣли право на «Кусточки»! «Право» — ясно ли это, наконецъ! Вы сами сейчасъ говорили, что собственность уважать надо, а по разъясненіямъ-то выходитъ, что уважать надо не собственность, а прижимку!

Высказавъ это, я сейчасъ же догадался, что очень опрометчиво поступилъ, употребивъ слово «прижимка». Это было и слишкомъ рѣзко, и, въ то же время, слишкомъ мягко. Рѣзко потому, что обличало во мнѣ человѣка, съ которымъ «по просту» (мы съ нимъ «по родственному», а онъ и т. д.) объясняться нельзя; мягко потому, что Филоѳей, конечно, отлично понимаетъ, что на умѣ-то у меня совсѣмъ другое слово было, да только не сказалось оно. Тѣмъ не менѣе, слово произвело свой эффектъ. Машенька вдругъ съёжилась, Филоѳей отвратительно перекривилъ ротъ. Минуты на двѣ разговоръ совершенно упалъ.

— А какая сегодня погода отличнѣйшая! первый прервалъ молчаніе Промптовъ:—мягкость какая, тишина-съ!

— Да, давича, какъ молотили, я выходила—очень было хорошо! отозвалась Машенька.

— Для меня, какъ путешественника, въ особенности такая погода пріятна, съ своей стороны присовокупилъ и я.

— Да вотъ и въ прошломъ году погода... начала-было Машенька, но не кончила, слегка зѣвнула и потянулась.

Молчаніе.

— А сколько бы вы за Чемезовскую землю получить желали? вдругъ обратился ко мнѣ Промптовъ, словно бы его озарила новая мысль.

— Я, вѣдь, съ крестьянами въ соглашеніе войти желаю.

— Такъ-съ. Съ крестьянами — на что лучше! Они — настоящіе здѣшніе обыватели, коренники-съ. Имъ отъ земли и уйти нѐкуда. Платежи вотъ съ нихъ... не очень-то, сударь, они надежны! А коли ежели по-христіанству — это что̀ и говорить! Съ Богомъ, сударь! съ Богомъ-съ! Впрочемъ, ежели бы почему-нибудь у васъ не состоялось съ крестьянами, просимъ имѣть въ виду-съ.

Онъ бокомъ повернулъ голову въ мою сторону и любезно искривилъ ротъ въ улыбку.

— Ахъ, что̀ вы! вступилась Машенька: — братцу, вѣдь, Осипъ Иванычъ пять тысячъ давалъ!

— Слышали и объ этомъ-съ. Впрочемъ, это въ прошломъ году Осипъ Иванычъ такую цѣну давалъ, а ныньче врядъ ли. Пять тысячъ—много денегъ-съ!

— А по-вашему, какая же будетъ цѣна?

— По-моему, три съ половинкой, много четыре. Нѣтъ спору, есть въ вашей дачѣ мѣстечки полезныя, да покупатель, вѣдь, на двое разсчитываетъ: будутъ прибыли — мои и убытки будутъ — тоже мои.

— Поэтому-то я и думаю, что съ крестьянами, всетаки, прямѣе дѣло вести. Если и будетъ оттяжка въ деньгахъ, *всетаки, я не болѣе* того потерею, сколько потерялъ бы,

уступивъ землю за четыре и даже за пять тысячъ. А хозяева у земли, между тѣмъ, будутъ настоящіе, тѣ, которымъ она нужна, которые не перепродадутъ ее на спекуляцію, потому что, какъ вы сами сейчасъ же высказались, имъ и уйти отъ земли нѐкуда.

— Что говорить! съ крестьянами кончить—святое это дѣло!

Машенька опять зѣвнула и потянулась; било девять часовъ.

— Ну-съ, а теперь пора тебѣ, Машенька, и покой дать! сказалъ я, вставая и отъискивая шапку. Машенька какъ бы встревожилась.

— Братецъ! куда же? а ночевать? Я, вѣдь, надѣялась, что и вечерокъ вмѣстѣ пріятно проведемъ! молвила она, выражая глазками знакомую мнѣ грусть ни объ чемъ.

Но я уклонился и даже настоялъ, чтобъ она не провожала меня въ переднюю, что̀ она и исполнила, слегка, разумѣется, покобенившись. Одѣваясь, я слышалъ, какъ она произнесла въ залѣ:

— А Анисимушко сегодня Клинцы для меня приторговалъ!

Возвратившись въ Чемезово, я сообщилъ Лукьянычу, что Промптовъ мнѣ за землю четыре тысячи надавалъ. Онъ даже лопатками передернулъ, словно спина у него зачесалась отъ этого извѣстія.

— Пронтовъ-то этотъ, сказалъ онъ: — и съ Марьей Петровной, прошлымъ лѣтомъ все по грибы въ Филипцево, да въ Ковалиху ѣздили. Разъ съ пятокъ были.

— Ну?

— То-то. Чудно мнѣ это тогда показалось. Чтой-то, думаю, наши грибы имъ полюбились! Своихъ рощей въ-

вать нѐкуда, а они все къ намъ, да къ намъ. А они вонъ что!

— Дà, похоже на то, что присматривались.

— Такъ вотъ что, сударь. Сегодня передъ вечеромъ я къ мужичкамъ на сходку ходилъ. Порѣшили: кàкъ ни кàкъ, а кончить надо. Стало быть, завтра чѣмъ свѣтъ опять сходку — и совсѣмъ ужь съ ними порѣшить. Сразу чтобы. А то у насъ, черезъ этого самаго Пронтова, и конца-краю разговорамъ не будетъ.

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ КОРОНАТЪ.

Прошло лѣтъ шесть послѣ того, какъ я въ послѣдній разъ посѣтилъ родное Чемезово, и я совершенно утерялъ изъ вида Машеньку. Два раза, впрочемъ, она сама напомнила мнѣ о себѣ. Въ первый разъ увѣдомила о своемъ вступленіи во вторичный законный бракъ съ Филоѳеемъ Павлычемъ Промптовымъ, тѣмъ самымъ, которому она, еще будучи вдовою послѣ перваго мужа, приготовляла фонтанели на руки и налѣпляла пластырь на фистулу подъ лѣвою скулой. Во второй разъ писала объ отъѣздѣ въ Петербургъ двоихъ старшихъ сыновей: Ѳеогноста и Короната, для поступленія въ казенныя заведенія и просила меня принять ихъ въ свое «родственное расположеніе». «Поручаю тебѣ, мой родной», писала она: «моихъ двоихъ молодцовъ, коихъ и прошу принять въ свое родственное расположеніе; я же, съ своей стороны, имъ лично внушала, чтобы они, какъ добронравнымъ поведеніемъ, такъ и прилежаніемъ, всемѣрно старались оное заслужить. Какъ мать и христіанка, я такъ разсудила, чтобы каждый изъ нихъ тотъ путь избралъ, который всего вѣрнѣе къ счастію ведетъ. И такъ какъ Ѳеогноступ-

ка — мальчикъ характера откровеннаго, то я и заключила изъ сего, что онъ ближе всего найдетъ свое счастіе въ кавалеріи, Коронатушку же, какъ мальчика скрытнаго и осмотрительнаго, заблагоразсудила пустить по юридистической части. Что же касается до Смарагдушки, то пускай онъ, по молодости лѣтъ, еще дома понѣжится, а впослѣдствіи, ежели Богу будетъ угодно, думаю пустить его по морской части, ибо онъ и теперь мастерски плаваетъ и, сверхъ того, имѣетъ большую наклонность къ открытіямъ: надняхъ въ такомъ мѣстѣ бѣлый грибъ нашелъ, въ какомъ никто ничего путнаго не находилъ» и т. п.

И дѣйствительно, вслѣдъ за вторымъ письмомъ явились ко мнѣ Ѳеогностъ и Коронатъ, шаркнули ножкой, поцѣловали въ плечико и въ одинъ голосъ просили принять ихъ въ свое родственное расположеніе, обѣщаясь, съ своей стороны, добронравіемъ и успѣхами въ наукахъ вполнѣ оное заслужить. При этомъ, я узналъ отъ нихъ, что они, по пріѣздѣ въ Петербургъ, поселились у какого-то отставного начальника отдѣленія департамента податей и сборовъ, съ которымъ еще покойный отецъ ихъ, Савва Силычъ Порфирьевъ, состоялъ въ связяхъ по откупнымъ дѣламъ, и что этотъ же начальникъ отдѣленія обязался брать ихъ изъ «заведеній» по праздникамъ къ себѣ.

Однакожь, племянники не баловали меня визитами. Ѳеогностушка еще заходилъ по временамъ; придетъ, брякнетъ саблею, скажетъ: «а меня, дяденька, вчера чуть въ карцеръ не посадили» — и убѣжитъ. Но Коронатъ приходилъ не больше двухъ-трехъ разъ въ годъ, да и то съ такимъ видомъ, какъ будто его задолго передъ тѣмъ угнетала мысль: и создалъ же Господь Богъ родственниковъ, которыхъ нужно посѣщать! Вообще, это былъ мо-

лодой человѣкъ не сообщительный и угрюмый; чѣмъ старше онъ становился, тѣмъ неуклюжѣе и неотесаннѣе дѣлалась вся его фигура. Придетъ, бывало, сядетъ какъ-то особнякомъ, закуритъ папиросу и молчитъ. Смотритъ всегда изподлобья, иногда вдругъ замурлычитъ или засмѣется, словно хочетъ сказать что-то очень колкое, но ничего не выходитъ. Къ удивленію, я и съ своей стороны чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко въ его присутствіи. И угрюмое молчаніе, и отрывистые отвѣты, которые онъ давалъ на мои вопросы — все явно показывало, что онъ тяготится присутствіемъ въ моемъ домѣ и что, будь онъ свободенъ, порогъ моей квартиры никогда не увидѣлъ бы ноги его. Сначала, я думалъ, что онъ или не уменъ, или запуганъ, но впослѣдствіи, по многимъ признакамъ, убѣдился, что отчужденность его обдуманная, сознательная. Очевидно, въ головѣ этого юноши происходила какая-то своеобразная работа, но онъ считалъ ее на столько принадлежащею исключительно ему, что не имѣлъ ни малѣйшей охоты посвящать всякаго встрѣчнаго въ ея тайны. А на меня онъ, повидимому, именно смотрѣлъ, какъ на «встрѣчнаго», то-есть, какъ на человѣка, передъ которымъ не стоитъ метать бисера, и если не говорилъ прямо, что насилуетъ себя, поддерживая какія-то ненужныя и для него непонятныя родственныя связи, то, во всякомъ случаѣ, дѣйствовалъ такъ, что я не могъ не понимать этого.

И вотъ, въ одно изъ воскресеній (это было уже лѣтъ пять спустя послѣ того, какъ онъ опредѣлился въ заведеніе по «юридистической» части) Коронатъ пришелъ ко мнѣ. На этотъ разъ онъ явился еще загадочнѣе, нежели когда-либо. По обыкновенію, отъискалъ дальній уголъ, сѣлъ и закурилъ папиросу, но уже по тому, какъ дрожала его рука, зажигая спичку, я заключилъ, что онъ

чѣмъ-то сильно взволнованъ. Нѣкоторое время онъ молчалъ; но плечи его безпрестанно вздрагивали и онъ то обращалъ ко мнѣ свое лицо, какъ будто и рѣшался и не рѣшался что̀-то высказать, то опять начиналъ смотрѣть прямо, испытуя пространство. Наконецъ, онъ вдругъ выпалилъ:

— А я, дядя, въ медицинскую академію хочу!

— А школу ка̀къ? по боку? спросилъ я, нѣсколько испуганный этимъ внезапнымъ рѣшеніемъ.

— Стало быть — по боку.

— Христосъ съ тобой! что̀ же за причина?

— Это было бы долго разсказывать, да, притомъ, и не интересно для васъ. Словомъ сказать — я рѣшился.

Я былъ совсѣмъ озадаченъ. Меня всегда пугала та стремительность, съ которою нынѣшніе молодые люди принимаютъ самыя радикальныя рѣшенія и приводятъ ихъ въ исполненіе. Придетъ молодой человѣкъ (родственники у меня между *ними* есть), скажетъ: прощайте! я завтра за границу удираю... совсѣмъ! Думаешь, что онъ шутку шутитъ, анъ, смотришь, и дѣйствительно завтра его слѣдъ простылъ! Или скажетъ: прощайте! я надняхъ туда нырну, откуда одна дорога: въ то мѣсто, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ! Опять думаешь, что онъ пошутилъ — не тутъ-то было! сказалъ, что нырну, и нырнулъ; а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, слышу, вынырнулъ, и именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ. Словомъ, исполнилъ въ точности: стремительно, быстро, безъ колебаній. Я сначала полагалъ, что это у нихъ *такъ* дѣлается: ни съ того, ни съ сего, взялъ да и удралъ или нырнулъ; но потомъ убѣдился, что въ нихъ это мало-по-малу накапливается. Мы, старцы сороковыхъ годовъ, видимъ, ка̀къ они молчатъ (при насъ они дѣйствительно *молчатъ*, словно имъ и говорить съ нами нѐ о чемъ), и

посмѣиваемся: вотъ молъ шалопаи! чай, женскій вопросъ, съ точки зрѣнія Фонарнаго Переулка, разрѣшаютъ! А они совсѣмъ не о томъ: у нихъ, просто, въ это время накапливается. Накопится, назрѣетъ, и вдругъ, бацъ! — удеру, нырну, исчезну... И кàкъ скажетъ, тàкъ и сдѣлаетъ.

И, всетаки, повторяю: кàкъ ни обыденна въ нынѣшнее время эта внезапность рѣшеній, она всегда меня пугаетъ. И странно, и жутко. Онъ, молодой-то человѣкъ, давно ужь порѣшилъ, что ему *тамъ* лучше — благороднѣе! — а намъ, старцамъ, все думается: ахъ! да, вѣдь, онъ *тамъ* погибнетъ! И въ насъ вдругъ просыпается при этомъ вся сумма того теплаго, почти страстнаго соболѣзнованія къ гибнущему, которымъ вообще отличается сердобольная и не позабывшая принциповъ гуманности половина поколѣнія сороковыхъ годовъ. Сколько разъ я, на свою долю, принимался и уговаривать, и отклонять— и все напраспо.

— Послушайте, молодой человѣкъ! говорилъ я: — чтò вамъ за охота гибнуть?

— Это было бы слишкомъ долго объяснять, да для васъ, вѣдь, оно и не интересно.

— Но отъ чего же! Еслибъ съ вами говорилъ человѣкъ равнодушный или зложелательный, передъ которымъ вамъ было бы опасно душу открыть...

— Извольте-съ. Если вы ужь такъ хотите, то души своей хотя я передъ вами и не открою, а на вопросъ отвѣчу другимъ вопросомъ: еслибъ вамъ, съ одной стороны, предложили жить въ сытости и довольствѣ, но съ условіемъ, чтобъ вы не выходили изъ дома терпимости, а съ другой стороны, предложили бы жить въ нуждѣ и не имѣть постояннаго ночлега, но, всетаки, оставаться на волѣ — чтò бы вы выбрали?

Вопросъ странный, почти необыкновенный; но, тѣмъ не менѣе, коль скоро онъ однажды стоитъ передъ вами, то не отвѣтить на него невозможно. Стараешься, разумѣется, какъ-нибудь увильнуть, обратить дѣло въ шутку; но вѣдь есть совопросники, съ которыми даже шутить нельзя. Отвѣчайте, сударь, прямо; не увертывайтесь, а прямо говорите: что̀ бы вы выбрали, сытный ли домъ терпимости, или голодную свободу? Ну и отвѣчаешь; отвѣчаешь, конечно, въ такомъ смыслѣ, чтобъ самому себя лицомъ въ грязь не ударить и аттестатъ себѣ хорошій получить. Оно не дурно, положимъ, въ довольствѣ да въ сытости пожить, да, вѣдь, дернула же пелегкая къ хорошему-то житью домъ терпимости пристегнуть. Домъ терпимости! каково-съ?!

— Стало быть, по-вашему, мы въ домѣ терпимости живемъ? попробуешь тоже отвѣтить вопросомъ на вопросъ.

— Стало быть-съ.

— И, слѣдовательно, я, который...

— Слѣдовательно-съ.

И только. Ни отступленія, ни раскаянія, ни даже самыхъ общеупотребительныхъ формулъ учтивости — ничего. Вотъ и старайся тутъ смягчать, да сглаживать, да компромиссы отъискивать! Что̀ бы, напримѣръ, сто̀ило сказать: помилуйте! это я не объ васъ говорю! или хоть такъ: о присутствующихъ, дескать, не говорятъ и т. д., нѣтъ, такъ-таки и прётъ: стало быть-съ! Ничѣмъ, даже простою, ничего не стоющею вѣжливостью поступиться не хочетъ! Посмотришь-посмотришь на эту необузданность, да и скажешь себѣ: нѣтъ, лучше съ этими господами не разговаривать! Подальше отъ нихъ — да̀-съ! Пускай они сами, какъ знаютъ, карьеру̀ свою дѣлаютъ, а *мы, старцы,* карьеру свою ужь сдѣлали... да̀-съ!

А какъ бы покойно жить на свѣтѣ, еслибъ этой стремительности, этого самомнѣнія не было! Шелъ бы всякій по своей части, одинъ по кавалергардской, другой по юридической, третій по морской, а маменька Марья Петровна сидѣла бы въ Березникахъ да умилялась бы, на дѣтокъ глядючи! И сдѣлался бы Коронатушка адвокатомъ, прослезился бы онъ въ мясниковскомъ дѣлѣ, и ужь навѣрно упалъ бы въ обморокъ по дѣлу о поджогѣ овсянниковской мельницы. И былъ бы онъ малый съ деньгами, обзавелся бы домкомъ, женился бы и, вечеромъ, возвратясь изъ суда, говорилъ бы: а я сегодня, душенька, Языкова подкузьмилъ: онъ — въ обморокъ, а я, не будь глупъ, выкликать началъ! И вдругъ, вмѣсто всего этого— хочу въ медицинскую академію!

— Ты бы, однакожь, прежде обдумалъ свое рѣшеніе, обратился я къ Коронату послѣ минутнаго молчанія.

— Отчего же вы полагаете, что я не обдумалъ его?

— Ты, конечно, знаешь, что мать предназначила тебя не въ медики, а по юридической части...

— А ежели бы она меня по танцовальной части предназначила?

— Позволь, душа моя! Какъ ни остроумно твое сближеніе, но ты очень хорошо знаешь, что юридическая часть и танцовальная—двѣ вещи разныя. Твоя мать, желая видѣть въ тебѣ юриста, совсѣмъ не имѣла въ виду давать пищу твоему остроумію. Ты отлично понимаешь это.

— Но я еще лучше понимаю, что еслибъ она пожелала видѣть во мнѣ танцмейстера, то это было бы много полезнѣе. Я отплясывалъ бы, но, по крайней мѣрѣ, вреда никому бы не дѣлалъ. А, впрочемъ, дѣло не въ томъ: я не буду ни танцмейстеромъ, ни адвокатомъ, ни прокуроромъ — это я ужь рѣшилъ. Я буду ме-

дикомъ; но для того, чтобъ сдѣлаться имъ, мнѣ нужно пять лѣтъ учиться и въ теченіи этого времени имѣть хоть какія-нибудь средства, чтобъ существовать. Вотъ по этому-то поводу я и пришелъ съ вами переговорить.

— А мать знаетъ о твоемъ намѣреніи оставить школу?

— Знаетъ.

— Что̀ же она пишетъ?

— А вотъ прочтите.

Онъ вынулъ изъ кармана и подалъ мнѣ письмо, въ которомъ я прочиталъ слѣдующее: «Любезный сынъ Коронатъ! Намѣреніе твое оставить юридистическую часть и пойти по медицинской весьма меня удивило. Причину столь внезапнаго твоего предпочтенія, впрочемъ, очень хорошо понимаю: ты и прежде сего былъ непочтительнымъ сыномъ и впредь таковымъ быть намѣренъ. Ежели такъ, то пусть будетъ воля Божія! Хотя нынче и въ модѣ родителей не почитать, но я таковой моды не признаю, и правила мои на этотъ счетъ очень тверды. Я всегда была христіанкой и матерью, и всегда буду. Слѣдовательно, ежели ты упорствуешь въ непочтительности, то и я въ своихъ правилахъ остаюсь непреклонною. И согласія моего на твою фантазію не изъявляю, а приказываю, какъ христіанка и мать: продолжай по юридической части идти, какъ тебѣ отъ меня и отъ Бога сіе предназначено. Въ противномъ же случаѣ, надѣйся на себя, а на меня не пѣняй. За симъ, да будетъ надъ тобой Божіе и мое благословеніе. Я же остаюсь навсегда неизмѣнно тебя любящая

Марія Промѣтова».

— Это — отвѣтъ матери на мое письмо, объяснилъ Коронатъ, когда я окончилъ чтеніе. — Я просилъ ее давать мнѣ по триста рублей въ годъ, покуда я не кончу академическаго курса. Послѣ, я обязуюсь отъ нея никакой

помощи не требовать, и, пожалуй, даже возвратить тѣ полторы тысячи рублей, которыя она употребитъ на мое содержаніе; но до тѣхъ поръ мнѣ нужно. То-есть, коли хотите, я могу обойтись и безъ этихъ денегъ, но это можетъ повредить моимъ занятіямъ.

Онъ остановился и взглянулъ на меня; я тоже глядѣлъ на него, волнуемый смутными подозрѣніями. Я зналъ, что Коронатъ не денегъ отъ меня хочетъ: на этотъ счетъ онъ всегда былъ очень брезгливъ. Одинъ разъ только, когда онъ былъ еще въ первомъ классѣ, онъ прислалъ ко мнѣ училищнаго сторожа съ запиской: «для нѣкотораго предпріятія необходимо 60 копеекъ серебромъ, которыя и прошу вручить подателю сего; я же при первомъ удобномъ случаѣ возвращу». И возвратилъ. Но ежели ничто не угрожало моимъ капиталамъ, то явно, что существовало какое-то посягательство на мое спокойствіе, что на меня возлагалась надежда, быть можетъ, сопряженная съ требованіемъ вмѣшательства. А между тѣмъ, идеалъ всей моей жизни именно въ томъ и состоялъ, чтобы никогда ни во что не вмѣшиваться. Вмѣшательство!—при одномъ этомъ словѣ меня кидало въ дрожь! Поди, разговаривай, выслушивай тупоумныя возраженія, старайся опровергнуть мысли, въ которыхъ даже ухватиться не за что—сколько тутъ пошлаго празднословія, мелочныхъ уколовъ, дрязговъ, утомительной суетни! А я ужь и старъ, и усталъ. Состарѣлся — самъ не знаю какъ; усталъ — самъ не знаю отъ чего. Ахъ, лучше бы, во сто кратъ лучше бы, если бы онъ у меня денегъ попросилъ—право, я съ удовольствіемъ пятьдесятъ, сто рублей отдалъ бы! Деньги—это, вопервыхъ, не сопряжено ни съ какими личными хлопотами: вынулъ изъ кармана, отсчиталъ—и пошелъ себѣ по Невскому щеголять; а вовторыхъ — это жертва, которую всякій оцѣнитъ и сосчитать въ состояніи. Давши

деньги, можно, для облегченія сердца, кой-кому и пожаловаться. Вотъ-молъ, самому были нужны, а бѣдный родственникъ пришелъ, да и утащилъ изъ подъ носа. Такъ нѣтъ же! не нужно ему, изволите видѣть, денегъ, а поди хлопочи, переливай изъ пустого въ порожнее, бей языкомъ, разстроивай себѣ печень—и все ради того, чтобъ въ результатѣ оказался пшикъ. Эхъ! сказано было: иди по юридической части — и иди! А если претитъ юридическая часть — ну, самъ и устроивайся, а другихъ не безпокой. Очень ужь вы строги, господа, а между тѣмъ, мало ли между юристами хорошихъ людей! Да и нетолько между юристами—даже между шпіонами бываютъ такіе, которые возвышенную душу имѣютъ. Я зналъ одного шпіона: придетъ, бывало, со службы домой, сядетъ за фортепьяно, начнетъ баллады Шопена разъигрывать, а слезы такъ и льются, такъ и льются изъ глазъ. Душа у него такъ и таетъ, сердце томительно надрывается, всемогущая, міровая скорбь охватываетъ все существо, а уста безсознательно шепчутъ: подлецъ я! великій, неисправимый подлецъ! И что̀ жь, пройдетъ какой-нибудь часъ или два — смотришь, онъ и опять при исполненіи обязанностей! Быстръ, находчивъ, бодръ, при случаѣ глубокомысленъ, при случаѣ сострадателенъ, при случаѣ шутливъ. А потомъ — и опять Шопенъ, и опять слезы, томительныя, сладкія слезы...

— Слѣдовательно, продолжалъ, между тѣмъ, Коронатъ:— если вы желаете мнѣ быть полезнымъ, то этого можно достигнуть слѣдующимъ образомъ: вы съѣздите въ Березники и убѣдите мать, чтобъ она не глупила. Я желаю, чтобъ вы меня поняли, почтеннѣйшій дядюшка: я знаю, что вамъ мое предложеніе не можетъ нравиться, но такъ какъ тутъ дѣло идетъ о томъ, чтобъ вырвать *человѣка изъ* омута и дать ему возможность остаться

честнымъ, то полагаю, что можно и побезпокоить себя. Вы скажете матери, что я не больше пяти лѣтъ буду ей въ тягость и что, по выходѣ изъ академіи, нетолько не обращусь къ ней за помощью, но, пожалуй, даже возвращу всѣ ея траты на меня.

Я разинулъ-было ротъ, чтобъ вставить и мое слово въ этотъ односторонній разговоръ, но онъ не далъ мнѣ.

— Вы поймите мое положеніе, сказалъ онъ: — я и мать — мы смотримъ въ разныя стороны; впрочемъ, объ ней даже нельзя сказать, смотритъ ли она куда-нибудь. А между тѣмъ, все мое будущее отъ нея зависитъ. Ничего я, покуда, для себя не могу. Не могу, не могу, не могу... Отъ одной этой мысли можно голову себѣ раздробить. Только нѣтъ, я своей головы не раздроблю... во всякомъ случаѣ! Прощайте. Надѣюсь, что я васъ не стѣснилъ.

Высказавши это, онъ всталъ, пожалъ мою руку и вышелъ изъ комнаты прежде, нежели я могъ очнуться отъ изумленія и что̀-нибудь возразить.

Не знаю, ка̀къ это случилось, но черезъ недѣлю я было уже въ дорогѣ, а еще черезъ два дня — въ томъ самомъ Чемезовѣ, съ которымъ я уже столько разъ знакомилъ читателя.

Я остановился у Лукьяныча, который жилъ теперь въ своемъ домѣ, на краю села, при самомъ трактѣ, на собственномъ участкѣ земли, выговоренномъ при окончательной раздѣлкѣ съ крестьянами. До сихъ поръ я зналъ Лукьяныча исключительно какъ слугу. Пріѣзжая въ Чемезово лишь изрѣдка и, притомъ, на самое короткое время, я останавливался въ старомъ господскомъ домѣ, куда являлся ко мнѣ и Лукьянычъ. Откуда онъ являлся, какое было

его внѣслужебное положеніе, могъ ли онъ обладать какою-либо иною физіономіей, кромѣ той, которую носилъ въ качествѣ старосты, радѣлъ ли онъ гдѣ-нибудь самостоятельно, за *свой* счетъ, въ *своемъ* углу, за *своимъ* горшкомъ щей, подъ *своими* образами, или же, строго придерживаясь идеала «слуги», только о томъ и сохнулъ, какъ бы барское добро соблюсти — мнѣ какъ-то никогда не приходило въ голову поинтересоваться этимъ. Я зналъ смутно, что хотя онъ, въ моемъ присутствіи, ютился гдѣ-то въ подвальномъ этажѣ барскаго дома, но что у него, всетаки, есть на селѣ домъ, жена и семья; что два сына его постоянно живутъ въ Москвѣ по фруктовой части и что при немъ находятся только внучата да бабы, жены сыновей, при помощи которыхъ и справляется его хозяйство. Теперь, я увидѣлъ его полнымъ хозяиномъ и самостоятельнымъ устроителемъ собственнаго муравейника, каждый членъ котораго, по мѣрѣ силъ, трудился на пользу общую. Онъ купилъ у крестьянъ на сносъ всю барскую стройку, половину продалъ, а изъ другой выбралъ матеріалъ покрѣпче и выстроилъ себѣ просторную избу. Въ одной половинѣ жилъ самъ съ семьей, а въ другую пускалъ проѣзжихъ извощиковъ—благо, трактъ былъ довольно оживленный.

Постарѣлъ онъ за эти восемь лѣтъ достаточно, но все еще былъ крѣпокъ, вполнѣ сохранилъ зрѣніе и память и только на ноги жаловался, что къ погодѣ мозжатъ.

— Это я ихъ, должно быть, въ тѣ поры простудилъ, какъ въ первый холерный годъ рекрутовъ въ губернію сдавать ѣздилъ, разсказывалъ онъ.—Схватили ихъ тогда наускори, сейчасъ же въ кандалы нарядили—и ай-да въ дорогу! Я—было за сапожишками домой побѣжалъ, а маменька ваша, царство небесное, увидѣла въ окошко да и поманила: это, молъ, что̀ еще за щеголь выискался —

и въ валенькахъ будешь хорошъ! Анъ тутъ, какъ на грѣхъ, оттепель да слякоть пошла—ну, и схватилъ, должно полагать.

Принялъ онъ меня добродушно, почти съ радостью, но когда показывалъ свой домъ, то какъ будто сконфузился. Вѣроятно, думалъ: увидитъ баринъ, какую Лукьянычъ махину соорудилъ, скажетъ: эге! стало быть, хорошо старостой-то служить! Представилъ мнѣ всю семью, отъ старшаго сына, котораго незадолго передъ тѣмъ изъ Москвы выписалъ, до мелконькаго-мелконькаго внучка Ѳомушки, ползавшаго по полу на карачкахъ. Полюбопытствовалъ я на старое пепелище сходить — сводилъ и туда. На мѣстѣ господскаго дома стояли бугры и глубокія ямы, наполненныя осколками кирпича и штукатурки; поверхъ мусора густою стѣной разрослась крапива, а по мѣстамъ пробивались молодыя березки. Но стараго сада покуда еще не тронули; по прежнему, былъ онъ полонъ прохлады и сумерекъ; по прежнему, старыя, дуплистыя липы и березы задумчиво помавали въ вышинѣ всклокоченными вершинами; по прежнему, волною неслись отовсюду запахи и прозрачною, душистою массою стояли въ воздухѣ.

— Ишь парки-то! молвилъ Лукьянычъ, когда я, охваченный волнами прошлаго, невольно остановился посреди одной изъ аллей. — Деруновъ мужичкамъ тысячу рублей сулилъ, чтобъ на дрова срубить, однако, мужички согласія не дали. Развѣ что̀ послѣ будетъ, а покуда у насъ здѣсь дѣвки по воскресеньямъ хороводы водятъ... гулянье! Такъ и въ приговорѣ написали.

Поговоривши о дѣлахъ, потревоживши старину, спросилъ я Лукьяныча и о Промптовыхъ; но, къ величайшей неожиданности, вѣсти были очень неутѣшительныя.

— Совсѣмъ нынче Марья Петровна Бога забыла,

сказалъ мнѣ Лукьянычъ:—прежде хоть землей торговала, все не такъ было зазорно, а ныньче ужь кабаками торговать начала. Восемь кабаковъ на округѣ подъ чужими именами держитъ; а сколько она черезъ это крестьянамъ обиды дѣлаетъ — кажется, никакими слезами ей того не замолить!

— Да̀ вѣдь, крестьяне — не маленькіе, голубчикъ. Неужто жь сто̀итъ только кабакъ поставить, чтобы вся деревня такъ и раззорилась до тла! Не ходи въ кабакъ! не пей!

— Это что̀ и говорить! чего лучше, коли совсѣмъ не пить! только, вѣдь, и мужику время провести хочется. Книжекъ мы не читаемъ, мѣстовъ такихъ, гдѣ бы безъ вина посидѣть можно, у насъ нѣтъ — отъ того и идутъ въ кабакъ. А попалъ туда разъ — и въ другой придешь. Дома-то у мужика стѣны голыя, у другого и печка-то къ вечеру выстыла, а въ кабакъ онъ придетъ—тамъ и свѣтло, и тепло, и людно, и хозяинъ ласковый — таково весело косушечками постукиваетъ. Ну, и выходитъ, что хоть мы и не маленькіе, а въ нашемъ сословіи одно что̀-нибудь: либо въ кабакъ иди, либо, ежели себя соблюсти хочешь, запрись дома да и сиди въ четырехъ стѣнахъ, словно чумной.

— Помнится, старостой-то ты не такъ говорилъ?

— Начальникомъ былъ, усердіе имѣлъ—ну, и говорилъ другое. Оброки сбиралъ: къ одному придешь—денегъ нѣтъ, къ другому придешь — хоть шаромъ на дворѣ покати! А баринъ съ теплыхъ водъ пишетъ: вынь да положь! Ходишь-ходишь—и скажешь грѣхомъ: ахъ, волкъ васъ задави! своего барина, мерзавцы, на кабакъ промѣняли! Ну, а теперь самъ мужикомъ сдѣлался.

— Такъ, вѣдь, ты самъ-то не пьешь?

— Отъ роду не пивалъ. Такъ, вѣдь, я не то, чтобы

за грѣхъ почиталъ, а настращенъ ужь очень: мужикъ-молъ ты, а коли мужикъ пить началъ — такъ тутъ ему и капутъ. Ну, и боишься. А отчего же въ другихъ сословіяхъ бываетъ, что и пьютъ, а себя, всетаки, помнятъ? И Степанъ у меня покуда въ кабакъ никогда ноги не ставилъ, только вотъ что̀ я вамъ скажу: выписалъ я его изъ Москвы, а теперь вижу, что ему скучненько у насъ. День-то еще нешто̀, словно бы и дѣло дѣлаешь: въ анбаръ заглянешь, за ворота выйдешь, на дорогу поглядишь, а вечеръ наступитъ—и пошелъ сонъ долить. Ты зѣвнулъ, за тобой другой, третій зѣвнулъ—смотришь, анъ и вся семья зазѣвала.

— А ка̀къ Машенька съ новымъ мужемъ живетъ? согласно?

— Да не слыхать ни̇што. Видится, какъ будто она въ домѣ-то головой. Онъ все предсѣдателемъ въ управѣ состоитъ, больше въ городѣ живетъ, а она здѣсь распожается. Ныньче, впрочемъ, у нихъ не очень здорово. Несчастья пошли. Сначала-то сынъ старшенькій изобидѣлъ...

— Какъ та̀къ?

— Долговъ, слышь, надѣлалъ. Какой-то мадамѣ двѣ тысячи задолжалъ, да фруктовщику тысячу. Ужь пріятель какой-то покойнаго Саввы Силыча изъ Петербурга написалъ: скорѣе деньги присылайте, не то изъ заведенія выключатъ. Марья-то Петровна три дня словно безумная ходила, все шептала: три тысячи! три тысячи! три тысячи! Она трехъ-то тысячъ здѣсь въ годъ не проживетъ, а онъ, поди, въ одну минуту эти три тысячи матери въ шею наколотилъ!

— Чѣмъ же они рѣшили?

— Было тутъ всего. И молебны служили, и къ покойному Саввѣ Силычу на могилку ѣздили. Филоѳей-то Пав-

лычъ все просилъ, чтобъ она его прокляла, однако, она не согласилась: любимчикъ! Думала-думала и кончила тѣмъ, что у Дерунова выкупное свидѣтельство размѣняла, да и выслала денежки на уплату мадамѣ.

— Ну, а еще что̀ у нихъ случилось?

— А потомъ, вскорѣ, дочка съ судебнымъ слѣдователемъ сбѣжала — тоже любимочка была. И тутъ дымъ коромысломъ у нихъ пошелъ; хотѣла-было Марья Петровна и къ губернатору-то на судъ ѣхать, и прошеніе подавать, да ночью ей, слышь, видѣніе было: Савва Силычъ, сказываютъ, явился, простить приказалъ. Ну, простила; теперь другъ къ дружкѣ въ гости ѣздатъ.

— Такъ что теперь Машенька одна съ мужемъ живетъ?

— Одна, и мужъ-то почти никогда дома не бываетъ. Еще больше въ кабаки ударилась: усчитываетъ да усчитываетъ своихъ повѣренныхъ. Непонятлива ужь очень: то копейки не найдетъ, то цѣлаго рубля не видитъ. Изъ-за самыхъ пустяковъ по цѣлымъ часамъ человѣка тиранитъ!

На другой день, утромъ рано, я отправился въ Березники. Изъ полученныхъ свѣдѣній я не могъ вывести никакого заключенія относительно будущности, ожидающей предпринятое мною дѣло, и потому старался припомнить себѣ нравственный образъ кузины Машеньки. Но ничего яснаго, отчетливаго составить себѣ не могъ. Что̀-то недодѣланное, обрывочное, въ высшей степени противорѣчивое мелькало у меня передъ глазами. Женщина съ ребяческими мыслями въ головѣ и съ пошлостарческими словами на языкѣ; женщина, пораженная недугомъ институтской мечтательности и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по уши потонувшая въ мелочахъ самой скаредной обыденной жизни; женщина, снѣдаемая неутомимою жаждой пріобрѣте-

нія и, въ то же время, считающая не иначе, какъ по пальцамъ; женщина, у которой съ первымъ ударомъ колокола къ «Достойной» выступаютъ на глазахъ слезки и кончикъ носа неизмѣнно краснѣетъ, и которая во время проскомидіи считаетъ вполнѣ дозволеннымъ думать: а что̀, кабы у крестьянъ пустошь «Клинцы» перебить, да потомъ имъ же перепродать?.. Зачѣмъ? ну, зачѣмъ я пріѣхалъ?!

Признаюсь откровенно: давно я не чувствовалъ себя такъ непріятно, какъ въ ту минуту, когда Березники, залитые въ лучахъ іюльскаго солнца, открылись передъ моими глазами.

Березники смотрѣли такъ же солидно и запасливо, какъ и въ послѣднее мое посѣщеніе. Но ни около службъ, ни около дома никого не было видно: по случаю рабочей поры, всякій былъ около своего дѣла. На крыльцѣ меня встрѣтила лохматая и босая дѣвчонка въ затрапезномъ платьѣ (Машенька особенно старалась сохранить за своею усадьбой характеръ крѣпостного права, и потому держала на своихъ хлѣбахъ почти весь женскій штатъ прежней барской прислуги) и торопливо объявила, что Филоѳей Павлычъ въ городъ ѣхали, а Марья Петровна въ поле ушли. Впрочемъ, она тутъ же опрометью бросилась черезъ дворъ, вѣроятно, за барыней, такъ что я уже собственною властью вошелъ сначала въ переднюю, а потомъ и въ комнаты. Въ залѣ было жарко и душно, какъ на полкѣ въ банѣ; на полу, на разостланномъ холстѣ, сушился розовый листъ и липовый цвѣтъ; на окнахъ, на самомъ солнечномъ припекѣ стояли бутыли, до горлышка набитыя ягодами и налитыя какою-то жидкостью; мухи миріадами кружились въ лучахъ солнца и какъ-то

неистово гудѣли около потолка; гдѣ-то въ окнѣ бился слѣпень; вдали, въ перспективѣ, виднѣлась остановившаяся кошка съ птицей въ зубахъ. Въ гостинной было прохладнѣе, благодаря отворенной двери на балконъ, защищенный навѣсомъ. Тутъ я и остался, въ ожиданіи хозяйки.

Минуты ожиданія длились довольно томительно. Сначала, гдѣ-то вдали хлопнула дверь — и все смолкло. Потомъ, кто-то стремглавъ пробѣжалъ по корридору — и опять воцарилось безмолвіе минутъ на десять. Наконецъ, вдругъ всѣ двери точно сорвались съ петель, словно волна какая-то шла; началось всеобщее хлопанье и угорѣлая бѣготня, послышались голоса, то громкіе, то осторожные, отдававшіе различныя приказанія.

— Галантиръ изъ телячьей головки приготовить не забудь! раздавалось гдѣ-то.

— Яицъ-то! Яицъ на пирожное повару выдайте! кричалъ кому-то въ догонку чей-то голосъ.

Машенька измѣнилась необыкновенно. Эта маленькая головка, эти мелкія черты лица, эта миніатюрная фигурка съ легкимъ, почти воздушнымъ станомъ — все это сморщилось, съёжилось, свернулось въ комочекъ. Глаза ввалились и, вмѣсто прежней грусти ни объ чемъ, выражали простую тусклость; кожа на щекахъ и на лбу отливала желтизною; носъ вытянулся, губы выцвѣли, подбородокъ заострился; въ темныхъ волосахъ прокрадывались серебристыя змѣйки. Взамѣнъ того, корпусъ отяжелѣлъ и обнаруживалъ явную наклонность сдѣлаться совсѣмъ шарообразнымъ. Увидѣвши меня, она сначала какъ бы удивилась, но сейчасъ же оправилась и протянула мнѣ обѣ руки.

— Ахъ, мой родной! Кто бы могъ думать! восклицала она, обнимая меня: — вѣдь, эта глупая Анютка сказа-

ла, что новый становой пріѣхалъ—ну, я и не тороплюсь! А это — вотъ кто! вотъ неожиданность-то! вотъ радость! И Филоѳей Павлычъ... вотъ удивится-то! вотъ-то будетъ радъ!

— Мнѣ сказали, что онъ въ городѣ...

— Будетъ, мой другъ, къ обѣду непремѣнно будетъ. И Нонночка съ мужемъ — всѣ вмѣстѣ пріѣдутъ. Чай, ты ужь слышалъ: вѣдь, я дочку-то замужъ выдала! а какой человѣкъ... преотличнѣйшій! Въ слѣдователяхъ служитъ у насъ въ уѣздѣ, надняхъ цѣлую шайку подмётчиковъ изловилъ! Вотъ радость-то будетъ! Ахъ, ты родной мой, родной!

Какъ ни порывисты были эти восклицанія радости, но на меня уже они не производили прежняго дѣйствія. Мнѣ слышалась въ нихъ только дань тѣмъ традиціямъ родственности, которыя предписываютъ во что̀ бы то ни стало встрѣчать «добраго родного» шумными изъявленіями радостнаго празднословія. Это — такой же безсодержательный обычай, такое же лганье, какъ и причитаніе по покойникѣ. И прежде, вѣроятно, она лгала, и теперь лжетъ. Только прежде у нея полненькія щечки были — выходило мило, а теперь щечки съёжились — выходитъ противно. Очень возможно, что она и сама не сознаётъ своего лганья, но я увѣренъ, что еслибъ она въ эту минуту порылась въ тайникахъ своей души, то нашла бы тамъ не родственное ликованіе, а очень простую и совершенно естественную мысль: вотъ-молъ принесла нелегкая «гостя»... въ рабочую пору!

Тѣмъ не менѣе, она усадила меня на диванъ передъ неизбѣжнымъ овальнымъ столомъ, по бокамъ котораго, по преданію всѣхъ старинныхъ помѣщичьихъ домовъ, были симметрически поставлены кресла; усадивши, обезпокоилась, достаточно ли покойно мнѣ сидѣть, подложила

мнѣ подъ руку подушку и даже выдвинула изъ-подъ дивана скамейку и заставила меня положить на нее ноги.

— За дѣломъ, что̀ ли, за какимъ пріѣхалъ, или та̀къ? спросила она меня, когда кончились первыя изліянія, въ которыхъ главную роль играли пожиманія рукъ, оглядыванія и восклицанія: ахъ, какъ постарѣлъ! или: ахъ, какъ посѣдѣлъ! — за которыми, впрочемъ, сейчасъ же слѣдовало: что̀-жь я, однакожь! совсѣмъ не постарѣлъ! какой былъ, такой и остался... даже удивительно!

— Нѣтъ, не за дѣломъ, отвѣтилъ я:—а именно «та̀къ».

— Ну, и слава Богу! на старинное пепелище посмотришь, могилкамъ поклонишься, роднымъ воздухомъ подышешь — всетаки, освѣжишься! Чай, у Лукьяныча во дворцѣ остановился? да̀, дворецъ онъ себѣ нынче выстроилъ! тѣсно въ избѣ показалось, помѣщикомъ жить захотѣлъ... Ахъ, мой другъ!

Это было высказано не безъ ехидства, но не потому, чтобы она питала къ Лукьянычу какое-нибудь зло, а просто «такъ». Ка̀къ-молъ это мужикъ себѣ «дворецъ» выстроилъ — чтой-то ужь больно чудно̀!

Начались разспросы, хорошо ли живется, здорова ли женушка, дѣтушки, продолжаю ли я по сатирической части писать и т. д.

— А я, мой другъ, такъ-таки и не читала ничего твоего. Показывалъ мнѣ прошлою зимой Филоѳей Павлычъ въ вѣдомостяхъ объявленіе, что книга твоя продается—ну, и сбиралась все выписать, даже деньги отложила. А потомъ, за тѣмъ да за сѐмъ — и пошло дѣло въ длинный ящикъ! Ужь извини, Христа ради! сама знаю, что не по родственному это, да ужь...

— Помилуй, при чемъ же тутъ родство! времени у тебя, вѣроятно, нѣтъ — вотъ и все.

— Ахъ! времени-то нѣтъ — это такъ; это ты правду

сказалъ. Такъ мало, такъ мало у меня времени, что, еслибы, кажется, сорокъ восемь часовъ въ суткахъ было, и тѣхъ бы недостало, чтобы всѣ дѣла передѣлать. А, впрочемъ, ты не думай, чтобы я совсѣмъ не интересовалась тобой. Всякій разъ, какъ дѣтямъ пишу, всегда объ тебѣ спрашиваю. Ну, Коронатъ — тотъ молчитъ, а Ѳеогностушка частенько-таки объ тебѣ увѣдомляетъ. Ахъ, какъ ты, однакожь, постарѣлъ! и въ особенности посѣдѣлъ! такъ посѣдѣлъ! такъ посѣдѣлъ! Постой-ка я поближе на тебя посмотрю... А что̀-жь, впрочемъ... нѣтъ! какой въ послѣдній разъ пріѣзжалъ, такимъ и теперь остался! Право-ну, ни на волосъ не перемѣнился!

— Да что̀ же ты все обо мнѣ; ты лучше о себѣ разскажи! откликнулся я, когда она уже достаточно повертѣла меня во всѣ стороны.

— Что̀ же я могу тебѣ о себѣ сказать! Моя жизнь— все равно, что̀ озеро въ лѣсу: ни зыби, ни ряби, тихо, уединенно, безшумно, только небо сверху смотрится. Конечно, нельзя, чтобы совсѣмъ безъ заботъ. Хоть и въ забытомъ углу живемъ, а всетаки, приходится и объ себѣ, и о другихъ хлопотать!

— И ты счастлива?

Я очень хорошо замѣтилъ, что при этомъ вопросѣ ея носъ слегка вздрогнулъ; но, повидимому, она сейчасъ же вспомнила, что, по кодексу родственныхъ приличій, никогда не слѣдуетъ упускать случая для лганья—и поправилась.

— Откровенно тебѣ скажу: очень я, мой другъ, счастлива! лгала она: — такъ счастлива! такъ счастлива, что и не знаю, какъ Бога благодарить! Вотъ хоть бы Нонночка — никогда я худого слова отъ нея не слыхала! Опять и мужъ у нея.. такъ ласковъ! такъ ласковъ!

Сказавши это, она быстро кинула на меня испытую-

щій взглядъ, не слыхалъ ли-молъ чего, но, должно быть, ничего не прочитала на моемъ лицѣ и успокоилась.

— Вотъ и Ѳеогностушка тоже — такъ меня радуетъ! продолжала она лгать:—ни грубаго слова, ни претензіи— никогда! Ласковый мальчикъ! откровенный! А ежели иногда, по молодости лѣтъ, и впадетъ въ ошибку (она бросила на меня новый испытующій взглядъ) — ну, сейчасъ же и поправится: виноватъ, маменька! И обезоружитъ. Ахъ, мой другъ! великая эта милость Божія, коли дѣти родителей почитаютъ! Почтеніемъ да ласкою — только, вѣдь, этимъ и держится свѣтъ! Ежели дѣти родителей почитаютъ, ну, и родители, съ своей стороны... Вотъ Коронатъ — ну, про этого... А, впрочемъ, грѣхъ мнѣ роптать, другъ мой. Всѣмъ Господь свой крестъ посылаетъ, ну, и мнѣ, стало быть...

Она задумалась и сомнительно покачала головой.

— Что́ жь, и Коронатъ, кажется — хорошій молодой человѣкъ! счелъ долгомъ вступиться я.

— Ка̀къ бы тебѣ сказать, голубчикъ! Для другихъ, можетъ быть, и хорошъ, а для меня... Не знаю! не вижу я отъ него ласки! не вижу!

— Тебѣ бы все ласки! а ты пойми, что у людей разные темпераменты бываютъ. Одинъ любитъ приласкаться, маменькину ручку поцѣловать, а другому это просто въ голову не приходитъ. Коронатъ скроменъ, учится хорошо, жалобъ на него нѣтъ; мнѣ кажется, что больше ты и требовать отъ него не въ правѣ.

— Ну, а мнѣ ужь позволь *свое* мнѣніе объ этомъ имѣть.

— Имѣй сколько угодно, но только не забудь: если ты будешь избѣгать повѣрки этого «*мнѣнія*», какъ теперь, напримѣръ, то скоро изъ мнѣнія у тебя выростетъ *предубѣжденіе*...

— Нѣтъ, ужь... Хоть ты и родной мнѣ, и я привыкла мнѣнія родныхъ уважать... Впрочемъ, это—ужь не первый у насъ разговоръ: ты всегда защитникомъ Короната былъ. Помнишь, въ послѣдній твой пріѣздъ? Я его безъ пирожнаго оставить хотѣла, а ты выпросилъ!

— Помню, помню; ты и тогда ужь Короната въ категорію «непочтительныхъ» записала!

Я взглянулъ на нее: лицо ея глядѣло совершенно спокойно; но что-то, не то, чтобы злое, а глупо-непоколебимое сквозило сквозь это спокойствіе. Какъ будто бы она говорила: какъ ты тамъ ни ораторствуй, а у меня «свои правила» есть. Это бываетъ, особенно съ женщинами, ибо онѣ вообще какъ-то охотнѣе, нежели мужчины, составляютъ себѣ «правила». Иная, во всю свою молодость, только и слышала: ахъ, миленькая! какъ къ ней это платьице идетъ!—смотришь, анъ она изъ этого какія-то «правила» вывела! Потомъ выйдетъ замужъ, сначала попадетъ въ школу прописей подъ начальствомъ какого-нибудь Саввы Силыча, затѣмъ перейдетъ въ другую школу прописей подъ фирмою Филоѳея Павлыча — смотришь, и опять у ней «правила». И такъ она за эти «правила» держится, что, словно львица разъяренная, готова всякому горло зубами перервать и кровь выпить, кто къ нимъ безъ сноровки подойдетъ!

Главное свойство этихъ «правилъ» — отсутствіе всякихъ правилъ и полная невозможность отдѣлить отъ шелухи ту руководящую мысль, которая послужила для нихъ основаніемъ. Это—какая-то неуловимая путаница, въ которой ни за что ухватиться нельзя; но потому-то именно она и обладаетъ своего рода неприступностью. Заберется «миленькая» въ эту своеобразную крѣпость и никакъ ее оттуда не вытащишь. И на убѣжденія, и даже на прямыя опроверженія жизни она все будетъ говорить: у меня

свои «правила» есть. Единственное средство пролѣзть въ эту крѣпость — это начать *уговаривать* «миленькую», то-есть, взять ее за руки, посадить поближе къ себѣ и гладить по спинкѣ, какъ лошадку съ норовомъ: тпру, милая, тпру! но-но-но-но! Оглаживаешь, оглаживаешь — и видишь, какъ постепенно начинаютъ «правила» таять. Таютъ, таютъ, и вдругъ образуются новыя «правила», иногда тѣ самыя, какихъ нужно, а иногда и другія, совсѣмъ неожиданныя...

Лѣтъ восемь тому назадъ, я непремѣнно употребилъ бы это средство въ отношеніи къ Машенькѣ, но теперь, въ виду измѣненій, которыя произошли въ ея внѣшности, оно показалось мнѣ нѣсколько рискованнымъ. Во всякомъ случаѣ, я рѣшился прибѣгнуть къ нему лишь въ крайности.

— А я... много я перемѣнилась, братецъ? спросила она меня, словно угадывая часть моихъ мыслей.

— Нѣтъ... ничего! Какъ была восемь лѣтъ тому назадъ, такъ и теперь... ничего! солгалъ я «по родственному».

— Ну, ужь, чай, гдѣ ничего! Состарѣлась я, голубчикъ, вотъ только духомъ еще бодра, а тѣло... А, впрочемъ, и то сказать! Объ красотѣ ли въ моемъ положеніи думать (она вздохнула)! Живу здѣсь въ углу, никого не вижу. Прежде хоть Нонночка была, для нея одѣвалась, а теперь и одѣваться не для кого.

— Ты бы въ Петербургъ на зиму пріѣхала; на дѣтей бы посмотрѣла.

— И, что ты! въ Петербургъ! Я и отъ людей-то отвыкла. Право. Мѣсяца съ два тому назадъ, вице-губернаторъ нашъ уѣздъ ревизовалъ, такъ Филоѳей Павлычъ его обѣдать сюда пригласилъ. Что жь бы ты думалъ? *Спрашиваетъ* онъ меня за обѣдомъ... ну, однимъ сло-

вомъ, разговариваетъ, а я, какъ солдатъ, вскочила это изъ-за стола: точно такъ, ваше превосходительство!... Совсѣмъ-таки свѣтское обращеніе потеряла.

— Поживешь мѣсяцъ-другой въ Петербургѣ — опять привыкнешь.

— Поздно, мой другъ; въ Покровъ мнѣ ужь сорокъ три будетъ. Я вотъ въ шесть часовъ вставать привыкла, а у васъ, въ Петербургѣ, и извощики раньше девяти не выѣзжаютъ. Что̀ жь я съ своею привычкой-то дѣлать буду? сидѣть да глазами хлопать! Нѣтъ ужь! надо и здѣсь кому-нибудь хлопотать: дѣти, вѣдь, у меня. Ахъ, дѣтки, дѣтки!

— Что̀ жь «дѣтки»! Дѣтки и безъ тебя себѣ дорогу найдутъ, нечего ужь очень-то убиваться объ нихъ. Вотъ, напримѣръ, Коронатъ: ну, могу тебя увѣрить, что онъ...

— Ахъ, братецъ! ты все объ немъ!

— Отчего же и не говорить объ «немъ»? Скажи на милость, развѣ онъ чѣмъ-нибудь тебя огорчилъ, что ты какъ будто имъ недовольна?

— Нѣтъ, ничего... Заварилась-было у насъ каша на-дняхъ, ну, да вѣдь я...

— А что̀ именно?

— Нѣтъ, та̀къ... Я ужь ему отвѣтила. Умнѣе матери хочетъ быть... Однако, это еще бабушка на двое сказала. . да̀! А, впрочемъ, и я хороша; тебя прошу не говорить объ немъ, я сама твержу: Коронатъ да Коронатъ! Будемъ-ка лучше объ себѣ говорить. Вотъ я сперва закуску велю подать, а потомъ и поговоримъ; да и наши, того гляди, подъѣдутъ. И препріятно денекъ вмѣстѣ проведемъ!

Подали завтракъ, сѣли, но объ себѣ какъ-то не говорилось. Это довольно часто случается съ людьми, которые когда-то были близки, потомъ надолго разстались,

потомъ опять свидѣлись. И вдругъ, оказывается, что нетолько имъ не объ чемъ говорить, но что они даже положительно въ тягость другъ другу. Мы хотя и не совсѣмъ были въ такомъ положеніи, но, всетаки, ощущали томительную неловкость. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ воспоминаніямъ, какъ къ такой нейтральной почвѣ, на которой всего легче выйти изъ затрудненія, но мнѣ какъ-то и вспоминать не хотѣлось. Напрасно Машенька заговаривала, указывая то на липовый кругъ, то на лужайку, обсаженную березами: помнишь, какъ мы тутъ игрывали? Или: помнишь, какъ въ папенькины имянины покойница Каролина Ѳедоровна (это была гувернантка Маши) подъ вонъ тѣми березами группу изъ насъ устроила: меня посрединѣ съ гирляндой изъ розановъ поставила, а ты и братецъ Владиміръ Иванычъ — гдѣ онъ теперь? кажется, въ Москвѣ, въ адвокатахъ служитъ? — въ видѣ ангеловъ, въ васильковыхъ вѣнкахъ, по бокамъ стояли? Ахъ, времячко, времячко! Я отвѣчалъ на эти напоминанія односложными словами и съ явною неохотой. И разговоръ, навѣрное, упалъ бы совсѣмъ, еслибъ я не рѣшился вновь поворотить его на тотъ предметъ, который собственно и составлялъ цѣль моей поѣздки.

— Послушай, сказалъ я: — я долженъ сознаться передъ тобой, что пріѣхалъ сюда собственно по желанію Короната.

При этихъ словахъ она нѣсколько поблѣднѣла, и сухая улыбка скользнула на ея губахъ.

— По желанію Короната? повторила она:—вотъ какъ! стало быть, Коронатъ въ тебѣ адвоката нашелъ!

— Да, онъ просилъ меня. Онъ желалъ, чтобъ я лично тебѣ подтвердилъ, что онъ хочетъ оставить школу и поступить въ медицинскую академію.

— Хочетъ!. какъ-то это для меня странно... хочетъ! Помнишь, мы въ эти года не смѣли хотѣть, а дожидались, какъ старшіе захотятъ!

— Дѣло не въ выраженіяхъ, мой другъ, и прошу тебя, ты меня на словахъ не лови. Если тебѣ не нравится слово «хочетъ»...

— И откровенно тебѣ скажу: даже очень, очень не нравится... Такъ какъ-то пошло ужь слишкомъ!

— Не онъ это слово сказалъ, а я; слѣдовательно, ты можешь его замѣнить другимъ: «желалъ бы», «предполагалъ бы», «осмѣливался бы думать» — словомъ сказать, выразиться, какъ тебѣ самой кажется почтительнѣе. И такъ, къ дѣлу. Онъ писалъ тебѣ о своемъ желаніи и получилъ отъ тебя двусмысленный отвѣтъ...

— Вотъ ужь не двусмысленный! Напротивъ того, я даже слишкомъ ясно отвѣтила, что никакихъ перемѣщеній не хочу... не то, что «не желаю», а именно «не хочу»! Не хочу, не хочу и не хочу!

— Но ежели *онъ* желаетъ этого? Если онъ въ этомъ перемѣщеніи видитъ для себя пользу?

— Ахъ, Боже мой! Если *онъ* желаетъ! если *онъ* для себя видитъ пользу! Что жь! съ Богомъ! Нечего у матери и спрашиваться... если *онъ* желаетъ!

Она улыбалась и даже слегка посмѣивалась; но уже не посто сухость, а злорадство откликнулось въ этомъ смѣхѣ. Злорадство и какое-то торжествующе-идіотское: хоть колъ на головѣ теши!

— И прекрасно, что ты не препятствуешь; мы примемъ это къ свѣдѣнію. Но вопросъ не въ этомъ одномъ. Ему необходимо существовать въ теченіи пяти лѣтъ академическаго курса, и, ежели онъ, ради насущнаго труда, долженъ будетъ удѣлять добрую часть времени посторон-

нему труду, то это несомнѣнно повредитъ его учебнымъ занятіямъ... ты понимаешь меня?

— Не понимаю... нѣтъ, ничего я не понимаю! Какъ это трудъ можетъ повредить занятію?!

— Очень просто. Вотъ ты своимъ хозяйствомъ занимаешься, а предположи, что необходимость заставляла бы тебя, въ то же время, уроки танцованья давать; вѣдь, хозяйство твое потерпѣло бы отъ этого, не такъ ли?

— Уроки танцованья, хозяйство... воля твоя, ничего я тутъ не понимаю, мой другъ!

— Однимъ словомъ, необходимо, чтобы ты, въ теченіи пяти лѣтъ, оказывала ему помощь.

— Ну, это .. статья особенная!

— То-есть, какъ же... ты отказываешь ему?

— Ничего я не «отказываю», мой другъ, а только такъ говорю: особенная это статья.

— Но, вѣдь, ты тратишься же на него теперь? ты даешь ему денегъ на лакомство, ты платишь за него тому господину, который беретъ его къ себѣ по праздникамъ?

— Да, покуда онъ волю родительскую чтитъ.

— Но что же ты имѣешь противъ его намѣренія?

— Ничего я не имѣю, а вообще... Что жь, коли хочетъ по медицинской части идти—пусть идетъ, я препятствовать не могу! Можетъ быть, онъ и счастье себѣ тамъ найдетъ; можетъ быть, самъ Богъ ему невидимо на эту дорогу указываетъ! Только ужь...

— Такъ помоги ему!

— Ну, это... особенная статья.

— Да почему же?

— А почему... потому...

Машенька окончательно заволновалась и долго бормотала *что-то*, словно не могла совладѣть съ своими мы-

слями. Наконецъ, она, однакожъ, кой-какъ собрала ихъ.

— Ужь коли ты хочешь непремѣнно знать, почему, сказала она, возвышая голосъ:—такъ вотъ почему: правила у меня есть!

— Какія же это правила?

— А такія правила, что дѣти должны почитать родителей—вотъ какія!

— Въ чемъ же, однако, выразилась непочтительность Короната?

— И ежели родители что̀ желаютъ, то дѣти должны повиноваться и не фантазировать! продолжала Машенька, не слушая меня: —да̀, есть такія правила! есть! И правительству эти правила извѣстны, и всѣмъ! и никому эти правила пощады не дадутъ—нетолько дѣтямъ... непочтительнымъ, но и потаковщикамъ ихъ!

— Такъ ты, значитъ, и меня... по родственному?

— Нѣтъ, я не про тебя, а вообще... И Богъ непочтительнымъ дѣтямъ потачки не даетъ! Вотъ Хамъ: что̀ ему было за то, что отца родного осудилъ! И до сихъ поръ хамское-то племя... только недавно милость имъ дана!

— Но ежели ты такъ вѣрно знаешь, что Богъ непочтительныхъ дѣтей наказываетъ, то пусть Онъ и накажетъ Короната! Предоставь это дѣло Богу, а сама жди и не вмѣшивайся!

Слова эти окончательно раздражили ее, такъ что она почти хриплымъ голосомъ кинула мнѣ въ отвѣтъ:

— Ахъ, мой родной! ужь извини ты меня! не училась, вѣдь, я кощунствовать-то!

— Тутъ и нѣтъ кощунства. Я хочу сказать только, что если ты вмѣшиваешь Бога въ свои дѣла̀, то тебѣ слѣдуетъ сидѣть смирно и дожидаться результатовъ этого

вмѣшательства. Но все это, впрочемъ, къ дѣлу не относится, и, право, мы сдѣлаемъ лучше, если возвратимся къ прерванному разговору. Скажи, пожалуйста, съ чего тебѣ пришла въ голову идея, что Коронатъ непремѣнно долженъ быть юристомъ?

— Стало быть, пришла... если такъ вздумалось!

— Вотъ видишь: тебѣ «вздумалось», а Коронатъ, по твоему мнѣнію, не имѣетъ права быть даже сознательно убѣжденнымъ! Вѣдь, ему, конечно, ближе извѣстно, какая профессія для него болѣе привлекательна.

— Хороша привлекательность... собакъ потрошить!

— Въ этомъ ли привлекательность, или въ чемъ-нибудь другомъ — это вопросъ особый. Важно тутъ убѣжденіе, на какомъ поприщѣ можешь наибольшую сумму пользы принести.

— Однако! по твоему, значитъ, дѣти умнѣе родителей стали! Что̀ жь, по нынѣшнему времени—пожалуй!

— Оставь, сдѣлай милость, нынѣшнее время въ покоѣ. Сколько бы мы съ тобой объ немъ ни судачили — намъ его не перемѣнить. Что же касается до того, кто умнѣе и кто глупѣе, то, по мнѣнію моему, всякій «умнѣе» тамъ, гдѣ можетъ судить и дѣйствовать съ бо̀льшимъ знаніемъ дѣла. Вотъ почему я и полагаю, что въ настоящемъ случаѣ Коронатъ — *умнѣе*. Вѣдь, правда? вѣдь, не можешь же ты не понимать, что поднятый имъ вопросъ гораздо ближе касается его, нежели тебя?

Я взглянулъ на нее въ ожиданіи отвѣта: лицо ея было словно каменное, безъ всякаго выраженія; глаза смотрѣли въ сторону; ни одинъ мускулъ не шевелился; только нога судорожно отбивала тактъ.

— Скажи же что̀ нибудь! Ну «да̀»—неправда ли «да̀?», настаивалъ я.

— Какъ христіанка и какъ мать... не могу, мой другъ!

отвѣчала она, постукивая въ тактъ ножкой съ тою неумолимо-наглою непреклонностью, которая составляетъ удѣлъ глупца, сознающаго себя силой.

Я понималъ, что мнѣ нужно замолчать; но темпераментъ требовалъ, чтобъ я сдѣлалъ еще попытку.

— Вспомни, сказалъ я:—что ты одной минутой легкомыслія можешь испортить жизнь своего сына!

— Нѣтъ ужь...

— Пойми, что Коронатъ, всетаки, выполнитъ свое намѣреніе, что упорство твое, въ сущности, ничего не измѣнитъ, что оно только введетъ въ существованіе твоего сына элементъ нужды, и что это несомнѣнно раздражитъ его характеръ и отзовется на всей его дальнѣйшей жизни!

— Нѣтъ ужь...

— Машенька! наконецъ, не Коронатъ, а я, я, я прошу тебя измѣнить свое рѣшеніе!

— Нѣтъ ужь...

— Слушай же ты, однакожь...

Я остановился вò-время. Но она, должно быть, сама замѣтила, что отвѣчала мнѣ не «по родственному», и потому поспѣшила прибавить:

— Я хочу сказать, что правила мои не дозволяютъ...

— Чего не дозволяютъ?

— Ну... сдѣлать... или, кàкъ это... уступить... Господи, Боже мой! да чтò же это за несчастіе на меня! Я такъ всегда тебя уважала, да и ты всегда со мной «по родственному» былъ... и вдругъ, такой разговоръ! Право, хоть бы наши поскорѣе пріѣхали, а то ты меня точно въ плѣнъ взялъ!

— Такъ это—твое послѣднее слово?

— Какое же... «слово!» Никакого «слова» я не гово-

рила... ахъ, право, какой ты! Я только объ «правилахъ» своихъ говорю, а онъ сейчасъ «слово!»

Предметъ моей поѣздки въ нѣсколько минутъ былъ исчерпанъ сполна. Мнѣ оставалось только возвратиться въ Чемезово, но какая-то смутная надежда на Филоѳея Павлыча, на Нонночку удерживала меня. Покуда я колебался, звонъ бубенцовъ раздался на дворѣ, и, вслѣдъ за тѣмъ, цѣлая ватага влетѣла въ переднюю.

— А вотъ и наши пріѣхали! весело воскликнула Машенька, поднимаясь на встрѣчу пріѣзжимъ.

Филоѳей Павлычъ сдѣлался какъ-то еще крупнѣе прежняго: повидимому, земскіе хлѣбы пошли ему въ прокъ. Но граціи отъ этого въ немъ не убавилось, той своеобразно-семинарской граціи, которая выражалась въ томъ, что онъ, во время разговора, въ знакъ сочувствія, поматывалъ направо и налѣво головой, устроивалъ ротъ сердечкомъ, когда хотѣлъ что-нибудь сказать пріятное, и приближался къ лицамъ женскаго пола не иначе, какъ бочкомъ и сѣменя ножками. Фистула, попрежнему, красовалась подъ лѣвою его скулой и точно такъ же была залѣплена чернымъ тафтянымъ кружкомъ; на лбу возвышался кокъ и виски были зачесаны по направленію глазъ, словно приклеены. Онъ молодился, одѣтъ былъ въ щеголеватый свѣтло-сѣрый костюмъ и относился къ женѣ съ предупредительностью маркиза съ подмостковъ Александринскаго театра. Вообще, онъ былъ игривъ и игралъ въ домѣ роль не деспота, а скорѣе избалованнаго молодого человѣка.

Нонночка ни мало не походила на мать. Это была рыхлая и вальяжная молодая особа съ очень круглыми *чертами лица*, съ чувственнымъ выраженіемъ въ боль-

шихъ сѣрыхъ глазахъ на выкатѣ, съ узенькимъ придавленнымъ лбомъ, какъ у негритянки, съ толстымъ носомъ, пухлыми губами, высокою грудью и роскошною косой. Наружный типъ Саввы Силыча воплотился въ ней вполнѣ, но такъ какъ воспитаніе было дано ей «нѣженное», т. е. глупое, то внутренній типъ выработался свой, не похожій ни на отца, ни на мать. По всѣмъ признакамъ, это была личность лѣнивая, праздная и чувственная, которую могли занимать только сплетни, ѣда и супружескія ласки. Къ близкимъ она относилась капризно, къ мужу — какъ-то пошло-любовно. Безпрестанно присасывала она къ его губамъ свои пухлыя губы (у Машеньки всегда въ этихъ случаяхъ даже бѣлки глазъ краснѣли), и лицо ея при этомъ принимало то плотоядно-страдальческое выраженіе, которое можно подмѣтить только у очень чувственныхъ женщинъ. Ни чтеніе, ни такъ-называемые talents de société, ни даже наряды — ничто не занимало ее. Одѣта она была слишкомъ неряшливо для «молодой», и я безъ труда счелъ нѣсколько пятенъ на ея платьѣ, которое вообще черезчуръ ужь широко сидѣло на ней.

Мужъ ея, Павелъ Ѳедорычъ Добрецовъ, одинъ изъ птенцовъ той школы, которая снабжаетъ всю Россію героями судоговоренія — молодой человѣкъ, небольшого роста, очень проворный, ходкій и съ чрезвычайными претензіями на дѣловитость и проницательность. Едва три года, какъ онъ кончилъ курсъ — и уже уловлялъ вселенную въ качествѣ судебнаго слѣдователя. Маленькіе глаза его какъ-то пытливо перебегали съ одного предмета на другой, какъ будто хотѣли отъискать поличное; но я не думаю, чтобъ это было въ немъ прирожденное ехидство, а скорѣе результатъ похвалъ и начальственныхъ поощреній. Очень часто, молодые люди

сначала только роль играютъ, а потомъ втягиваются и получаютъ дурныя привычки. На меня подобные люди, всегда что̀-то высматривающіе и поднюхивающіе, къ чему-то прислушивающіеся, производятъ непріятное впечатлѣніе. Все кажется, будто вотъ-вотъ у меня сейчасъ кошелекъ изъ кармана исчезнетъ. Конечно, я первый очень хорошо понимаю, что подозрѣніе мое неосновательное, но переломить невольнаго чувства, всетаки, не могу. Не кошелекъ, такъ другое что̀-нибудь — а непремѣнно онъ у меня вытянетъ! думается мнѣ. Можетъ быть, онъ въ душѣ моей покопаться хочетъ, что̀-нибудь оттудова унести, ради иллюстраціи въ искренней бесѣдѣ съ начальствомъ... Много, ахъ много нынче такихъ молодыхъ людей развелось! и глазки бѣгаютъ, и носикъ вздрагиваетъ, и ушки на макушкѣ — все ради того, что если начальство взглянетъ, такъ чтобы въ своемъ видѣ передъ нимъ быть...

Увидѣвъ меня, Филоѳей Павлычъ любезно потоптался на мѣстѣ, потомъ расцѣловался, потомъ взялъ меня за обѣ руки и откинулся корпусомъ нѣсколько назадъ, чтобъ и издали на меня взглянуть, потомъ опять расцѣловался и, въ заключеніе, радостно-изумленныхъ голосомъ воскликнулъ:

— Вотъ пріятная неожиданность! Сестрицу провѣдать пожелали?

Нонночка отнеслась ко мнѣ апатично и какъ-то лѣниво произнесла:

— Ахъ, дядя — это вы!

Затѣмъ, тотчасъ же обратилась къ матери и продолжала:

— А мы, маменька, мимо усадьбы Іудушки Головлева проѣзжали — къ нему маленькіе Головлята пріѣхали. *Одинъ черненькій*, другой бѣленькій — преуморительные!

Стоятъ около дороги да посвистываютъ — скука у нихъ, должно быть, адская! Черненькій-то ужь офицеръ, а бѣленькій — штафирка отчаянный! Я, маменька, въ офицера-то апельсинной коркой бросила!

— Проказница ты! проказница!

— Да еще что̀-съ! одному-то апельсинную корку бросила, а другому безѐ ручкой послала! пожаловался Филоѳей Павлычъ: — а тотъ, не будь глупъ, да съ разбѣга въ коляску вскочилъ! Да ужь Павла Ѳедорыча — незнакомы они — увидѣлъ, такъ извинился! Стыдно, сударыня! стыдно, Нонна Савишна!

— Что̀ жь за стыдъ! мужчины и не то съ нами дѣлаютъ да не стыдятся. Поль! ты что̀ со мной сдѣлалъ?

Поль, въ отвѣтъ, самодовольно оттопырилъ губы и закрылъ, въ знакъ стыда, глаза.

— Такъ то̀ мужчины, мо̀й другъ! наставительно замѣтила Машенька:—ихнее и воспитанье такое! Такъ вотъ ка̀къ: стало быть, и Іудушка... то-бишь, и Порфирій Владимірычъ въ радости... сосѣдъ дорогой! Да что̀ жь ты, милочка, въ розсказни пустилась, а мужа-то дяденькѣ и не представишь! Все, чай, не худо попросить въ родственное расположеніе принять!

— Извольте. Почтеннѣйшій дядюшка! имѣю честь представить вамъ моего... какъ бы вамъ это объяснить! Ну, однимъ словомъ, вы понимаете... всегда, всегда мы вмѣстѣ... Душка!! прибавила она, жадно прилипая губами къ лицу своего мужа.

Павелъ Ѳедорычъ, какъ молодой человѣкъ благовоспитанный и современный, началъ съ литературы.

— А мы васъ читаемъ! сказалъ онъ, бросая на меня взглядъ, въ которомъ, однако, виднѣлась оговорка, что онъ не вполнѣ-таки одобряетъ и со многимъ согласиться не можетъ.

— Ахъ, дядя! я намеднись что̀-то ваше читала! такъ хохотала! такъ хохотала! съ своей стороны польстила Нонночка.

— Ну, видишь ты какова! небось, сама читала, а нѣтъ того, чтобъ матери дать дядинькино сочиненіе почитать! посѣтовала Машенька.

— Мы, Марья Петровна, сами соберемся да выпишемъ — тогда имъ и не дадимъ! не преминулъ слюбезничать Филосей Павлычъ.

— И точно, что не дадимъ! Вотъ будете просить, а мы не дадимъ!

Словомъ сказать, я вдругъ очутился въ перекрестномъ огнѣ любезностей. Всякій стремился что̀ нибудь пріятное мнѣ сказать, чѣмъ нибудь меня ублажить. Такъ что, еслибъ я рѣшился быть, и съ своей стороны, «по родственному», то-есть, не «вмѣшивался» бы, не «фыркалъ», то, навѣрное, я бы тутъ какъ сыръ въ маслѣ катался.

— А я, знаете ли, маменька, что̀ придумала! молвила вдругъ Нонночка: — вы бы теперь за Головлятами послали, а послѣ обѣда они пріѣдутъ, мы и потанцовали бы.

— А дамы-то гдѣ?

— Можно за сестрицами Корочкиными послать; три сестрицы Корочкины, да я — вотъ дамы; Поль, двое Головлятъ, дядя — и кавалеры на лицо.

— Нѣтъ, на меня не разсчитывай. Вопервыхъ, мнѣ въ Чемезово нужно, а вовторыхъ, я съ дѣтства не танцовалъ.

— Такъ папаша за кавалера будетъ.

— Съ удовольствіемъ-съ. Только зачѣмъ же до послѣобѣда ждать? Это сейчасъ можно, благо, лошади запряжены, четыре версты туда да четыре версты назадъ — *мигомъ оборотятъ*. Вотъ Павелъ Ѳедорычъ — съѣздите,

сударь! И вы — молодой человѣкъ, и господа Головлевы— молодые люди... тутъ же и познакомитесь! Что жь, въ самомъ дѣлѣ, неужто ужь и повеселиться нельзя!

— Съѣзди, Поль... душка! Ахъ, маменька! какъ будетъ весело! Весело, весело, весело! кричала она, хлопая въ ладоши и подпрыгивая такъ, что полъ слегка вздрагивалъ и стеклышки гремѣли на люстрѣ, висѣвшей посреди потолка.

Павелъ Ѳедорычъ уѣхалъ, а мы перешли въ гостиную. Филоѳей Павлычъ почти толкнулъ меня на диванъ («вы, братецъ — старшій въ семействѣ; по христіанскому обычаю, вамъ слѣдовало бы подъ образами сидѣть, а такъ какъ у насъ, по легкомыслію нашему, въ парадныхъ комнатахъ образовъ не полагается — ну, такъ хоть на диванъ попокойнѣе помѣститесь!» сказалъ онъ при этомъ, крѣпко сжимая мнѣ руку), а самъ сѣлъ на кресло подлѣ меня. Съ боку, около стола, помѣстились маменька съ дочкой, и я слышалъ, какъ Машенька шепнула: займи дядю-то!

— И такъ, вы въ наши палестины пожаловали? началъ Филоѳей Павлычъ, любезно пригибая голову по направленію ко мнѣ.

— Надобность есть, Филоѳей Павлычъ.

— И надобность даже! вотъ какъ пріятно!

Онъ опять взялъ мою руку, подержалъ ее въ обѣихъ своихъ и взглянулъ на меня такими елейными глазами, что я такъ и ждалъ: вотъ-вотъ онъ меня сейчасъ соборовать начнетъ.

— Изъ Петербурга чего нѣтъ ли? спросила, между тѣмъ, Маша Нонночку.

— Ничего еще... такая досада! Нашъ прокуроръ пишетъ, что министръ заграницей, такъ ждутъ его возвращенія, чтобъ о Полѣ доложить. А впрочемъ, обѣщаетъ.

— Павелъ Ѳедорычъ шайку подметчиковъ въ нашихъ мѣстахъ накрылъ, объяснилъ мнѣ Филоѳей Павлычъ: — организація цѣлая... такъ вотъ награды себѣ ждетъ.

— Представьте, дядя, Богъ знаетъ что хотѣли тутъ натворить! прибавила Нонночка: — Поль пять человѣкъ въ острогъ засадилъ!

— Да-съ, собирались-таки, собирались-съ! Дьячка отъ Спаса Милостиваго сынокъ, да учителишка тутъ у Троицы есть, да господинъ Анпетовъ... изъ Петербурга, говорятъ, лозунгъ у нихъ былъ!

— Что̀ жь они дѣлали?

— Да охуждали-съ. Промежду себя, конечно, ну, и при свидѣтеляхъ случалось. А по нашему мѣсту, знаете, охуждать еще не полагается! Вотъ, заграницей — тамъ, сказываютъ, это можно; тамъ даже министрами за охужденья-то дѣлаютъ!

— И такую кугерьму они натворили! вступилась Машенька: — все было у насъ тихо да смирно, а тутъ вдругъ... пошли-это спросы да допросы — весь околотокъ запутали! Даже мужиковъ отъ работы отбили — страхъ, что тутъ было!

— И все Павелъ Ѳедорычъ?

— Да̀, все онъ, голубчикъ. Хочется у начальства на хорошее замѣчанье попасть — ну, и старается! Много Нонночка отъ нихъ, отъ негодяевъ, слезъ приняла!

— Еще бы! Ночь, спать хочется, а у Поля допросы идутъ!

— И какая, братецъ, умо̀ра была! Дьячковъ-то сынъ вдругъ исчезъ! Ищутъ-ищутъ—сгинулъ да пропалъ, и все тутъ! А онъ—что̀ жь бы ты думалъ! — не будь простъ, да въ грядахъ на огородѣ и спрятался. Такъ въ бороздочкѣ, между двухъ грядъ и нашли!

— *Да̀... это...* уморительно!

— Умора-то, умора, а между прочимъ, и перепугались всѣ. Такъ перепугались! такъ перепугались! Сперва-то съ одного началось, а потомъ шире да глубже, глубже да шире... Всякій думаетъ, что и его притянутъ! Иной и не виноватъ, да невѣрно нынче очень! Очень нынче невѣрно, ахъ, какъ невѣрно! Куда ступить, въ какую сторону идти — никто этого нынче не знаетъ!

— Выходитъ, стало быть, что оно и уморительно, да и не весело?

— Вы здѣсь, дядя, въ одну недѣлю соскучитесь, какъ-то некстати молвила Нонночка: — у насъ даже и сосѣдей настоящихъ нѣтъ. Прежде, говорятъ, очень весело въ здѣшней сторонѣ бывало: по три дня помѣщики другъ у друга гащивали, танцовали, въ фанты играли, свои оркестры у многихъ были. А нынче хорошіе-то или повымерли, или въ разныя стороны разъѣхались — все эта эмансипація надѣлала! Только и остались, что сестрицы Корочкины, да вотъ мы, да еще старый Головель года съ четыре поселился. А вы, маменька, не слыхали, какъ наши «сестрицы» себѣ жениховъ заманиваютъ? У нихъ на селѣ одинъ офицеръ изъ нашего полка квартировалъ, такъ онъ разсказывалъ. Встанутъ утромъ, да и пойдутъ всѣ три въ Воплю купаться — прямо противъ его квартиры. И ужь выдѣлываютъ онѣ штуки въ водѣ, выдѣлываютъ! А онъ стоитъ у окна да въ бинокль смотритъ!

— А ему, коли онъ благородный человѣкъ, отвернуться бы слѣдовало или мать бы предупредить! сентенціозно замѣтила Машенька.

— Есть радость жаловаться! Мать-то, можетъ, сама и учила... Да и ему... какой ему резонъ себя представленья лишать. Дядя! вы у насъ долго пробудете?

— Нѣтъ; сегодня въ Чемезово ѣду, а завтра, чѣмъ свѣтъ, въ дорогу, въ Петербургъ.

— Въ городѣ бы у насъ побывали; на будущей недѣлѣ у головы балъ — головиха имянинница. У насъ, дядя, въ городѣ весело: драгуны стоятъ, танцовальные вечера въ клубѣ по воскресеньямъ бываютъ. Вотъ въ К.—тамъ пѣхота стоитъ, ну, и скучно, даже клубъ жалкій какой-то. Надняхъ въ нашъ городъ новаго землемѣра прислали — такъ танцуетъ! такъ танцуетъ! Даже изъ драгунъ никто съ нимъ сравняться не можетъ! Словомъ сказать, у всѣхъ пальму первенства отбилъ!

— Ахъ ты, танцовальщица! и сегодня вотъ танцы затѣяла, а подумала ли, кто музыку-то вамъ играть будетъ!

— Вы, маменька. Фортопьяно-то у васъ не очень вѣдь разстроено?

— Не знаю; съ тѣхъ поръ, какъ ты уѣхала, не раскрывали. Да что же я вамъ играть-то буду? Какъ молода была — ну, дѣйствительно... даже варьяціи игрывала, а теперь... Развѣ вотъ «ach, mein lieber Augustin!» вспомню, да и то наврядъ!

— Вспомните, вспомните... какъ-нибудь... А вы, дядя, отчего не танцуете?

— Склонности, другъ мой, не имѣю.

— А вы принудьте себя. Не все склонность, надо и другимъ удовольствіе сдѣлать. Вотъ папенька: ему только слово сказали — онъ и готовъ, а вы... фи, какой вы недобрый! Можетъ быть, вы любите, чтобы васъ упрашивали?

— Нѣтъ, ужь сдѣлай милость, уволь!

— Дядя! душка! хотите, я на колѣни передъ вами встану!

— Коли охота есть на колѣняхъ стоять — становись!

— Фи, недобрый какой! а еще либераломъ считается! *Дяденька! вѣдь* вы либералъ — ха-ха! Меня, намеднись,

предводитель спрашивалъ: что это вашъ дяденька-либералъ ныньче какъ будто хвостъ поджалъ — ха-ха!

Въ такомъ характерѣ длился разговоръ впродолженіи цѣлаго часа, то-есть, до тѣхъ поръ, когда, наконецъ, явился Павелъ Ѳедорычъ съ обоими Головлятами. Дѣйствительно, одинъ былъ черненькій, другой бѣленькій. Оба шаркнули ножкой, подошли къ Машенькѣ къ ручкѣ, а Нонночкѣ и Филоѳею Павлычу руку пожали.

— Внучки Арины Петровны — чай, помнишь, братецъ! отрекомендовала ихъ мнѣ Машенька. — Пріятельница мнѣ была, а во многихъ случаяхъ даже учительница. А христіанка какая... даже кончина ея... ну, самая христіанская была! Пришла въ праздникъ отъ обѣдни, чайку покушала, легла отдохнуть — такъ мертвенькую въ постели и нашли!

На нѣсколько минутъ всѣ вдругъ смолкли. Машенька вздыхала, Нонночка улыбалась и обмѣнивалась съ молодыми Головлевыми взглядами, которые очень смѣшили ихъ.

— Поль! а скоро старый Головель своихъ Головлятъ съ тобой отпустилъ? первая прервала молчаніе Нонночка.

— Ну, нѣтъ, подумалъ-таки!

— Онъ, Нонна Савишна, боится, чтобъ мы нечаянно въ развратъ не впали! сказалъ бѣленькій Головленокъ.

— Онъ насъ, Нонна Савишна, ныньче по утрамъ все просвирами кормитъ! присовокупилъ черненькій Головленокъ.

— Ужь онъ крестилъ насъ, крестилъ! Мы ужь въ коляску сѣли — а онъ все крестилъ. Какъ мостъ переѣхали, я нарочно назадъ оборотился, а онъ стоитъ на балконѣ и все креститъ!

— Ахъ, молодые люди, молодые люди! вступилась

Машенька: — все-то бы вамъ покощунствовать! А развѣ худое дѣло — хоть бы просвиры! вѣдь онѣ... божественныя! Ну, или покрестить — отчего же и не перекрестить въ путь шествующихъ!

— Въ путь шествующихъ... въ Березники! замѣтилъ Павелъ Ѳедорычъ, и всѣ вдругъ засмѣялись.

Опять наступило молчаніе, и возобновилась прежняя игра глазами между молодыми людьми. Наконецъ, уже около четырехъ часовъ, доложили, что кушать подано, и всѣ гурьбой потянулись въ залу.

За обѣдомъ всѣ языки развязались и сдѣлалось очень шумно, такъ что я начиналъ уже терять надежду возобновить разговоръ о Коронатѣ, какъ Нонночка совершенно неожиданно помогла мнѣ.

— Отъ Короната Савича какой-нибудь новенькой выходки не получили ли? обратилась она къ матери.

— Нѣтъ, пока ничего... отвѣтила Машенька, слегка конфузясь и быстро взглядывала на меня.

— Вы знаете, дядя, что у насъ въ семействѣ нигилистъ проявился? продолжала болтать Нонночка.

— Философъ-съ, пояснилъ Филоѳей Павлычъ: — юриспруденціей не удовлетворяется, считаетъ ее за науку эфемерную и преходящую-съ. Въ корень бытія проникнуть желаетъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ! Вы слышали, дядя, что Коронатъ Савичъ въ медицинскую академію перейти желаетъ... ха-ха!

— Слышалъ. Но что̀ же тутъ смѣшного?

— Какъ, что̀ смѣшного! Мальчишка въ семнадцать лѣтъ — и самъ себѣ званіе опредѣляетъ... ха-ха! Медикомъ быть хочу... ха-ха!

— Онъ, можетъ быть, Нонна Савишна, ветеринаромъ *быть желаетъ*. Нынче земскія управы все ветеринаровъ

вызываютъ — такъ вотъ онъ и прочелъ! съострилъ бѣленькій Головлевъ.

— Ветеринаромъ — ха-ха! именно, именно ветеринаромъ! отлично! отлично! Вы — душка, Головлевъ! Папаша! пожалуйста, вы его въ нашъ уѣздъ ветеринаромъ опредѣлите! Я его къ своей «Бижуткѣ» годовымъ врачемъ приглашу!

Нонночка грохотала, и весь сингклитъ вторилъ ей, кромѣ, впрочемъ, Машеньки, которая сидѣла, уткнувшись въ тарелку, и Добрецова, который былъ серьёзно печаленъ, словно страдалъ гражданскимъ недугомъ.

— Я не имѣю чести знать Короната Савича, обратился онъ ко мнѣ: — и, конечно, ничего не могу сказать противъ выбора имъ медицинской карьеры. Но, за всѣмъ тѣмъ, позволяю себѣ думать, что съ его стороны пренебреженіе къ юридической карьерѣ, по малой мѣрѣ, легкомысленно, ибо, въ настоящее время, профессія юриста есть самая священная изъ всѣхъ либеральныхъ профессій, открытыхъ современному человѣку.

— Почему же вы такъ думаете?

— А потому просто, что общество никогда такъ не нуждалось въ защитѣ, какъ въ настоящее время.

— Въ защитѣ? противъ чего?

— Противъ современнаго направленія умовъ-съ. Противъ тѣхъ недозрѣлыхъ и, смѣю такъ выразиться, нетерпимыхъ теорій, которыя предъявляются со стороны извѣстной части молодого поколѣнія, къ которому, впрочемъ, имѣю честь принадлежать и я.

— Но, вѣдь, такого рода защиту могутъ и становые пристава оказать!

— Могутъ-съ; но безъ знанія дѣла-съ.

— Отчего же? Вѣдь доискаться, что человѣкъ между грядамя спрятался, или допросить его такъ, чтобъ ему

тепло сдѣлалось — право, все это становой можетъ сдѣлать, если не лучше (не забудьте, на его сторонѣ опытъ прежнихъ лѣтъ!), то отнюдь не хуже, нежели любой юристъ.

— Да-съ, но, вѣдь, факты, на которые вы указали — ни больше, ни меньше, какъ простыя формальности. И даже печальныя формальности, прибавлю я отъ себя. Ихъ, конечно, могъ бы съ успѣхомъ выполнить и становой приставъ; но, вѣдь, не въ нихъ собственно заключается миссія юриста, а въ чемъ-то другомъ. Слѣдствіе будетъ мертво, если въ него не вложенъ духъ живъ. А вотъ этотъ-то духъ живъ именно и дается юридическимъ образованіемъ. Только юридическимъ образованіемъ, а не рутиною-съ.

— Гм... ежели вы съ точки зрѣнія «духа жива»... Скажите, пожалуйста, этотъ «духъ живъ» — вѣдь это то самое, что̀ въ прежнія времена было извѣстно подъ именемъ «корней и нитей»?

— И это-съ. Вообще, юристъ прежде всего обращаетъ вниманіе не на частности, а на полноту общей картины, на тоны ея, на то, чтобы въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражалось дѣйствительное вѣяніе среды и минуты. Что преступленіе не должно остаться безнаказаннымъ — это, конечно, не можетъ подлежать ни малѣйшему спору. Но главное, всетаки — это раскрыть глаза самому обществу, указать ему на сущность и источникъ вредныхъ поползновеній и возбудить въ немъ желаніе самозащиты. Этотъ послѣдній результатъ, въ особенности, важенъ; въ немъ, я полагаю, заключается самое безспорное доказательство преимущества современныхъ юридическихъ дѣятелей надъ прежними.

— Извините! я—человѣкъ стараго покроя и многое въ современныхъ порядкахъ не совсѣмъ для меня ясно.

Вотъ вы сейчасъ о самозащитѣ упомянули: скажите, часто бываютъ доносы въ вашихъ краяхъ?

— Не доносы-съ, а выраженія общественной самопомощи-съ.

— Ну да; разумѣется, самопомощи... Часто?

— Да, общество наше, повидимому, съ каждымъ годомъ яснѣе и яснѣе сознаетъ свои права и обязанности.

— Гм... Конечно, это—не больше, какъ личное мое мнѣніе, но я, всетаки, долженъ сознаться, что сердце мое больше лежитъ къ становымъ приставамъ. И даже именно потому, что у нихъ мало юридическаго развитія.

— Ну, это ужь—дѣло вкуса-съ.

Покуда мы такимъ образомъ бесѣдовали, всѣ остальные молчали. Нонночка съ удовольствіемъ слушала, какъ ея Поль разговариваетъ съ дядинькой о чемъ-то серьёзномъ, и только однажды бросила хлѣбнымъ шарикомъ въ бѣленькаго Головлева. Филоѳей Павлычъ, какъ глиняный котъ, наклонялъ голову то по направленію ко мнѣ, то въ сторону Добрецова. Машенька, по прежнему, не отрывала глазъ отъ тарелки.

— А впрочемъ, кинулъ Добрецовъ въ заключеніе: — такъ какъ рѣчь у насъ началась съ Короната Савича, то я считаю долгомъ заявить, что ничего противъ его намѣреній не имѣю. Медицинское поприще, и даже ветеринарное, какъ замѣтилъ мсьё Головлевъ...

Достаточно было возобновленія этой остроты, чтобы всѣ засмѣялись и разговоръ нашъ прекратился. Машенька вздохнула свободно и, чтобы дать другое направленіе мыслямъ, обратилась къ черненькому Головлеву съ вопросомъ:

— Ну, а папенька какъ? здоровъ?

— Какъ быкъ-съ.

— Ну, и славу Богу. Благочестивый вашъ папенька

человѣкъ. Вотъ я такъ не могу: въ будни рано встаешь, а въ воскресенье все какъ-то понѣжиться хочется. Ну, и не поспѣешь въ церковь раньше, какъ къ Евангелію. А папенька вашъ, какъ въ колоколъ ударили—онъ ужь и тамъ.

— Онъ у насъ самъ первый въ колоколъ и ударяетъ. Возьметъ за веревку и зазвонитъ.

— Любитъ Бога вашъ папенька! нѐчего сказать—очень любитъ! Не всякій это...

— Онъ у насъ съ священникомъ все полемику ведетъ! какъ-то высунулся впередъ, словно вынырнулъ, бѣленькій Головлевъ.

— Старозавѣтный, вѣдь, попъ-то у васъ!

— Дà, все на эктеніяхъ сбивается—ну, отецъ и поправляетъ, да вслухъ на всю церковь! «Николаевну»—врешь: «Михаиловну!»

— Вотъ кàкъ!

— А то, у насъ такой случай былъ: въ егорьевъ день начали крестьяне попа по полю катать—примѣта у нихъ такая, что урожай лучше будетъ, если попъ по полю покатается—а отецъ на эту сцену и нагрянулъ! Ну, досталось тутъ всѣмъ на орѣхи!

— Скажите на милость—такъ вотъ у васъ попъ какой. Нѣтъ, у насъ попикъ—ничего, чистенькій. Все «Труды» какіе-то читаетъ! За то, можетъ быть, вашъ малымъ довольствуется, а нашъ за свадьбы больно дорого беретъ! Ни нà-что не похоже. Вотъ я земскому-то дѣятелю жаловалась: хоть бы вы, земство, за неимущихъ вступились!

— Ничего-съ, погодите. Въ губернію съѣздимъ—и попика къ одному знаменателю приведемъ.

И вдругъ, въ самомъ разгарѣ «свѣтскаго» разговора, *Ионночку* словно бѣсъ подъ бока толкнулъ.

— Дядя! вы давно ли Короната Савича видѣли? обратилась она ко мнѣ.

Машеньку даже передернуло всю.

— Нонночка! финиссè... лессè! заговорила она по-французски (когда она терялась, то всегда прибѣгала къ французскому языку): — ты видишь, что дяденькѣ этотъ разговоръ непріятенъ.

Нонночка съ наивнымъ изумленіемъ взглянула сперва на меня, потомъ на мать, и вдругъ что̀-то поняла.

— По-ни-маю! пробормотала она какъ бы про себя, ворочая крупными, воловьими глазами: — такъ вотъ что̀! бѣленькій Головликъ! разскажите-ка намъ, ка̀къ васъ папенька отъ соблазновъ оберегаетъ?

— Вопервыхъ, на ночь всѣ входы и выходы собственноручно запираетъ на ключъ; вовторыхъ, внезапно встаетъ по ночамъ и подслушиваетъ у нашихъ дверей; втретьихъ, аѳонскій уставъ въ Головлевѣ ввелъ: ни коровъ, ни вуръ — никакого животнаго женскаго пола...

Головлевъ долго что̀-то разсказывалъ, возбуждая общую веселость, но я уже не слушалъ. Теперь для меня было ясно, что меня *всѣ* поняли. Филоѳей Павлычъ вскинулъ въ мою сторону изумленно-любопытствующій взоръ; Добрецовъ — язвительно улыбнулся. Всѣ говорили себѣ: «каковъ! пріѣхалъ законы предписывать!», и единодушно находили мою претензію возмутительною.

Подъ конецъ обѣда гостей прибавилось: три дѣвицы Корочкины поспѣли къ мороженому. Наконецъ, ѣда кончилась; отдавши приказаніе немедленно закладывать лошадей, я рѣшился сдѣлать послѣднюю попытку въ пользу Короната и съ этою цѣлью пригласилъ Промптова и Машеньку побесѣдовать наединѣ.

— Филоѳей Павлычъ! началъ я, когда мы усѣлись втроемъ въ гостиной: — до вашего пріѣзда я долго гово-

рилъ съ Машенькой, но, повидимому, безъ успѣха. Позвольте теперь обратиться къ вамъ: можетъ быть, вашъ авторитетъ подѣйствуетъ на нее убѣдительнѣе...

Я взглянулъ на нихъ: Филоѳей Павлычъ дѣлалъ видъ, что слушаетъ... но не больше, какъ изъ учтивости. Машенька даже не слушала; она смотрѣла совсѣмъ въ другую сторону и вся фигура ея выражала: Господи! сказано было разъ... чего бы, кажется!

— Дѣло вотъ въ чемъ, продолжалъ я: — Коронатъ не чувствуетъ въ себѣ призванія къ юридической карьерѣ и желаетъ перейти въ медицинскую академію...

— Такъ что̀ же-съ!

— Но для того, чтобъ просуществовать впродолженіи пяти лѣтъ академическаго курса, онъ нуждается въ помощи...

— Что̀ же-съ! вотъ мать — права̀ ея-съ!

— Но матери кажется, что Коронатъ, поступая такимъ образомъ, выходитъ изъ повиновенія родительской власти, что если она разъ, по какимъ-то необъяснимымъ соображеніямъ, сказала себѣ, что ея сынъ будетъ юристомъ, то онъ и долженъ быть таковымъ. Однимъ словомъ, что онъ — непочтительный.

— Никогда я этого не говорила! вдругъ встрепенулась Машенька.

— Помилуй, душа моя! да въ этомъ весь и вопросъ!

— Никогда не говорила, что непочтительный! заблуждающій — вотъ это такъ!

— Позвольте, Марья Петровна! допустимте, что вы даже сказали: непочтительный! Что̀ же, сударь! И, по моему — довольно-таки близко около этого будетъ!

— Послушайте! Коронату ужь семнадцать лѣтъ, и онъ самъ можетъ понимать свои склонности. Вопросъ о будущемъ, право, ближе касается его лично, нежели даже

самыхъ близкихъ его родственниковъ. Всѣ удачи и неудачи, которыя ждутъ его впереди—все это его, его собственное. Онъ самъ вызвалъ ихъ и самъ же будетъ ихъ выносить. Кажется, это понятно?

— Помилуйте! даже очень-съ! Но, вѣдь, и родителямъ тоже смотрѣть на свое дѣтище... А впрочемъ, я—что̀ же-съ! Вотъ мать—права̀ ея-съ!

— Но еслибъ сынъ даже заблуждался, скажите: достаточная ли это для родителей причина, чтобъ оставлять его въ жертву лишеніямъ?

— Но если онъ самъ на лишенія напрашивается... А впрочемъ—вотъ мать-съ!

— Я долженъ сказать вамъ, что Коронатъ ни въ какомъ случаѣ намѣренія своего не измѣнитъ. Это я знаю вѣрно. Поэтому, весь вопросъ въ томъ, будетъ ли онъ получать изъ дома помощь или не будетъ?

— Нѣтъ ему моего благословенія по медицинской части! нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! какъ-то восторженно воскликнула Машенька: — какъ христіанка и мать... не позволяю!

— Слушай, Машенька! ты готовишь для себя очень, очень горькое будущее!

— Будущее, братецъ, въ руцѣ Божіей! сентенціозно произнесъ Филоѳей Павлычъ.

— Машенька! Я... я прошу тебя объ этомъ!

— Ахъ, братецъ!

— Неужели же ты такъ и остановишься на этомъ рѣшеніи?

— Голубчикъ! пожалуйста... позволь мнѣ уйти! Меня тамъ ждутъ... потанцовать имъ хочется... Я бы поиграла... Право, позволь мнѣ...

Какъ разъ, совсѣмъ кстати, въ эту минуту въ дверяхъ гостиной показалась Нонночка и довольно безцеремонно крикнула:

— Дядя! вы скоро ихъ отъисповѣдуете? Мы танцовать хотимъ!

Ясно, что дѣлать мнѣ больше было нѐчего. Я вышелъ въ залу и началъ прощаться. Какъ и водится, меня проводили «по родственному». Машенька даже всплакнула.

— Братецъ, сказала она: — можетъ, и еще въ нашу сторону заглянешь — не забудь, ради-Христа! заверни!

Господинъ Добрецовъ сильно потрясъ мою руку и произнесъ:

— А мы васъ почитываемъ!

Нонночка, не желая отставать отъ другихъ, сказала:

— Дядя! вы что̀ жь меня не цѣлуете... фи, недобрый какой!

Филоѳей Павлычъ проводилъ меня до крыльца и, поматывая головой, воскликнулъ:

— Что̀ прикажете — женщина-съ! А впрочемъ, мать — всѣ права̀ ея-съ. Такъ и въ законѣ-съ...

Покуда ямщикъ собиралъ возжи и подавалъ тарантасъ, въ ушахъ моихъ раздалось:

A-ach mein lieber Augustin!
Augustin, Augustin!

Дружный хохотъ, встрѣтившій эту допотопную ритурнель, проводилъ меня до воротъ.

Былъ часъ восьмой, когда я выѣхалъ отъ Промптобыхъ, и въ воздухѣ надвигались ужь сумерки. Скоро мы въѣхали въ лѣсъ, и съ каждымъ шагомъ мгла становилась гуще и гуще. Казалось, что тѣни выползаютъ изъ глубины лѣсной чащи, бѣгутъ за экипажемъ, хватаются за него. Я началъ припоминать происшествія дня, и вдругъ мнѣ сдѣлалось страшно. Цѣлое море глупости, предразсудковъ, ничѣмъ не обусловленнаго упрямства разверну-

лось передъ глазами — море, по наружности, тихое, но алчущее человѣческихъ жертвъ. «Такъ ужь», «нѣтъ ужь», невольно припоминалось мнѣ, и сзади этихъ безсмысленныхъ словесныхъ обрывковъ появлялся упорствующій образъ непочтительнаго Короната, на которомъ, по какой-то удивительной логикѣ, непочтительность должна отозваться голодомъ, холодомъ и всяческими лишеніями.

Но, какъ ни простодушна Машенька, однако, и у нея нечаянно вырвалось мѣткое слово.

«Невѣрно нынче! сказала она: — очень даже, мой другъ, невѣрно! Куда ступить, въ которую сторону идти — никто нынче этого не знаетъ!»

Этимъ изрѣченіемъ я и заканчиваю.

ВЪ ДРУЖЕСКОМЪ КРУГУ.

Кромѣ Тебенькова, съ которымъ я уже познакомилъ читателя, у меня есть еще пріятель Максимъ Михайлычъ Плѣшивцевъ.

Всѣ трое мы воспитывались въ одномъ и томъ же «заведеніи», и всѣ трое, еще на школьной скамьѣ, обнаружили нѣкоторый вкусъ къ мышленію. Это былъ первый общій признакъ, который положилъ начало нашему сближенію—признакъ, на столько вѣскій, что даже позднѣйшія разномыслія не имѣли достаточно силы, чтобъ поколебать образовавшуюся между нами дружескую связь.

Въ то время, и въ особенности въ нашемъ «заведеніи», вкусъ къ мышленію былъ вещью очень мало поощряемою. Выказывать его можно было только втихомолку и подъ страхомъ болѣе или менѣе чувствительныхъ наказаній. Тѣмъ не менѣе, мы усердно слѣдили за тогдашними русскими журналами, пламенно сочувствовали литературному движенію сороковыхъ годовъ и въ особенности съ горячимъ увлеченіемъ относились къ статьямъ критическаго и полемическаго содержанія. То было *время поклоненія* Бѣлинскому и ненависти къ Булгарину.

Міръ не видалъ двухъ другихъ людей, изъ которыхъ одинъ былъ бы столь пламенно чтимъ, а другой—столь искренно ненавидимъ. Конечно, во всемъ этомъ было очень много юношескаго пыла и очень мало сознательности, но важно было то, что въ насъ уже существовало «предрасположеніе» къ наслажденіямъ болѣе тонкимъ и сложнымъ, нежели, напримѣръ, наслажденіе прокатиться въ праздникъ на лихачѣ, или забраться съ утра въ заднюю комнату ресторанчика и немедленно тамъ напиться. А именно этого рода наслажденіямъ страстно предавалось большинство товарищей.

Дружба, начавшаяся на школьной скамьѣ, еще болѣе укрѣпилась въ первое время, послѣдовавшее за выпускомъ изъ «заведенія». Первое ощущеніе свободы было для насъ еще бо́льшимъ ощущеніемъ изолированности. Большинство однокашниковъ, съ свойственною юности рьяностью, поспѣшило занять соотвѣтственныя мѣста: кто въ циркѣ Гверры, кто въ циркѣ Лежара, кто въ ресторанѣ Леграна, кто въ ресторанѣ Сенъ-Жоржа (дѣло идетъ о сороковыхъ годахъ). Съ другой стороны, новыя знакомства для насъ могъ представлять только чиновническій кругъ канцелярій, въ которыя мы поступили, но съ этимъ кругомъ мы сходились туго и неохотно. Мы очутились втроемъ, ни съ кѣмъ не видясь, не разставаясь другъ съ другомъ, вмѣстѣ восхищаясь, пламенѣя, и ни мало не скучая унисонностью нашихъ восхищеній. Мы не спорили, даже не комментировали, а просто-на́-просто метафоризировали, чѣмъ въ особенности отличался Плѣшивцевъ, человѣкъ, весь сотканный изъ пламени. Мы не подозрѣвали, что за міромъ мысли и слова есть какой-то міръ дѣйствія и игры страстей, міръ насущныхъ нуждъ и эгоистическихъ вожделѣній, съ которымъ мы, рано или поздно, должны встрѣтиться лицомъ къ лицу. Мы не ду-

мали, что этому дрянному міришку суждено будетъ вызвать въ каждомъ изъ насъ ту интимную покладку, которая до сихъ поръ оставалась безмолвною. Что столкновеніе съ нимъ можетъ сдѣлать изъ насъ западниковъ, славянофиловъ, прогрессистовъ, консерваторовъ, федералистовъ, централизаторовъ и т. д. То-есть лицъ, обладающихъ убѣжденіями, рѣзкая противоположность которыхъ заставляетъ иногда людей ненавидѣть другъ друга.

Этотъ міръ практической дѣятельности, существованіе котораго мы такъ долго не подозрѣвали, представила намъ провинція, въ которую бросилъ насъ естественный ходъ нашей служебной карьеры. Служба разбросала насъ по разнымъ концамъ Россіи и положила конецъ нашимъ совмѣстнымъ восхищеніямъ. Въ провинціи мы выровнялись и пріобрѣли ту драгоцѣнную дѣловую складку, которая полагаетъ раздѣльную черту между дѣломъ и убѣжденіями, и позволяетъ первому идти вполнѣ независимо отъ послѣднихъ. И когда мы, послѣ долгихъ лѣтъ скитаній, вновь встрѣтились въ Петербургѣ, то эта складка прежде всего бросилась въ глаза и вновь сдѣлалась для насъ соединительнымъ звѣномъ. Подкрѣпленная воспоминаніями прошлаго, она помогла намъ вынести то разнорѣчіе въ убѣжденіяхъ, которое принесла намъ жизнь. Мы очень серьёзно сказали себѣ: прежде всего—Россія! прежде всего, отечество, призывавшее насъ къ обновительной дѣятельности! А потомъ ужь убѣжденія.

Это былъ самый удобный modus vivendi для того времени, когда начальство вездѣ искало «людей» и охотно давало имъ мѣста съ хорошимъ жалованьемъ. Начальство было тогда снисходительное и сквозь пальцы смотрѣло на такъ-называемыя убѣжденія. Только не допускайте рѣзкостей, не призывайте къ оружію, а затѣмъ будьте *хоть* федералистомъ. Вѣдь ни сепаратизмъ, ни соціа-

лизмъ не мѣшаютъ писать доклады, циркуляры, предписанія и отношенія. Съ такого-то часа до такого-то сиди въ Фонарномъ переулкѣ, развивай за стаканомъ чаю сепаратистическія соображенія на счетъ самостоятельности Сибири, покрывай міръ фаланстерами, а съ такого-то часа до такого-то сиди въ департаментѣ и пиши бумагу о «возсоединеніяхъ», о средствахъ къ искорененію превратныхъ толкованій. Вотъ какъ думало тогдашнее начальство, и думало, по мнѣнію моему, правильно, потому что, не смотря на его снисходительность по сему предмету, Сибирь, всетаки, и по настоящую пору не отдѣлена. Такъ же точно думали и мы. Дѣло прежде всего! восклицали мы, то обновительное дѣло, которое, въ званіи мировыхъ посредниковъ, можетъ одинаково пріютить и западниковъ, и славянофиловъ, и централизаторовъ, и федералистовъ... и фельдфебелей.

Какъ бы то ни было, но мы подоспѣли съ своею дѣловою складкой совершенно ко времени, такъ что начальство всѣхъ возможныхъ вѣдомствъ приняло насъ съ распростертыми объятіями. Въ его глазахъ уже то было важно, что мы до тонкости понимали прерогативы губернскихъ правленій и не смѣшивали городскихъ думъ съ городовыми магистратами. Сверхъ того, предполагалось, что, проживъ много лѣтъ въ провинціи, мы видѣли лицомъ къ лицу народъ, и, слѣдовательно, знаемъ его матерьяльныя нужды и его нравственный образъ.

— Мы, ваше превосходительство, народъ-то не изъ книжекъ знаемъ! Мы его видѣли—вотъ какъ (рука поднимается и ставится на недалекомъ разстояніи передъ глазами, ладонью внутрь)! мы въ курныхъ избахъ, ваше превосходительство, ночевывали! мы хлѣбъ съ лебедой ѣдали! говорили мы бойко и весело.

По правдѣ сказать, въ этихъ словахъ была очень зна-

чительная доля преувеличенія. Окунувшись въ тину провинціальной жизни, мы вовсе не думали ни о матерьяльныхъ нуждахъ, ни о нравственномъ образѣ народа. Мы засѣдали въ палатахъ и правленіяхъ, мы производили судъ и расправу, мы ревизовали, играли въ карты, ѣздили въ мундирные дни въ соборъ, танцовали и т. д. Проѣзжая мимо базарной площади въ присутствіе, или мчась на почтовыхъ мимо селъ и деревень къ мѣсту производства слѣдствія, мы столь же мало видѣли народъ, какъ мало видитъ его и любой петербуржецъ, проѣзжающій мимо Сѣнной или Конной площади. Но, во первыхъ, провинція несомнѣнно дала намъ хотя впечатлѣніе курной избы и сѣраго зипуна. А вовторыхъ, провинціяльная жизнь имѣетъ ту особенность, что она незамѣтно накопляетъ въ человѣкѣ значительную массу анекдотовъ, изъ совокупности которыхъ составляется какое-те смутное представленіе о томъ, что̀ дѣйствительно кишитъ гдѣ-то далеко, на самомъ днѣ. И представленіе это, если имъ ловко воспользоваться, можетъ, при случаѣ, сослужить службу великую.

Сверхъ того, въ этомъ преувеличеніи не малое участіе принимала и нервная чиновническая впечатлительность. Трудно не снервничать, когда на лицѣ начальника видишь благосклонную улыбку, когда начальство, такъ сказать, само, подъ вліяніемъ нервной чувствительности, ко всякому встрѣчному вопіетъ: искренности, только искренности, одной искренности!

Благонравенъ ли русскій мужикъ? Привязанъ ли онъ къ тѣмъ исконнымъ основамъ, на которыхъ зиждется человѣческое общество? Достаточно ли онъ обезпеченъ въ матерьяльномъ отношеніи? Какую дозу свободы можетъ онъ вынести, не впадая въ самонадѣянныя преувеличенія и не возбуждая въ начальствѣ опасеній?—вотъ нешуточ-

ные вопросы, которые обращались къ намъ, *людямъ, имѣвшимъ случай стоять лицомъ къ лицу съ русскимъ народомъ*...

Согласитесь, что для людей, имѣющихъ въ виду сдѣлать служебную карьеру, подобные вопросы — сущій кладъ!

Но мы, даже независимо отъ эгоистическихъ соображеній о карьерѣ, имѣли полную возможность дать именно тѣ отвѣты, которые всего больше подходили къ вѣяніямъ минуты. Подобные отвѣты вырываются какъ-то сами собою. Бываютъ торжественныя минуты, когда сердце подчиненнаго невольно настроивается въ унисонъ съ сердцемъ начальника и когда память, словно подкупленная, представляетъ цѣлую массу именно такихъ фактовъ, которые наиболѣе въ данный моментъ желательны. Это тѣ минуты, когда въ воздухѣ чуется особенно сильный запросъ на подчиненную искренность. Тогда мысли зарождаются въ головѣ мгновенно, слова льются изъ устъ безъ удержа, и все слова хорошія, настоящія. «Благонравенъ», «привязанъ», «обезпеченъ» «способенъ и достоинъ» и т. д. И мы видѣли, какъ, по мѣрѣ нашихъ отвѣтовъ, тѣни, лежавшія на лицахъ нашихъ начальниковъ, постепенно сбѣгали съ нихъ, и какъ эти люди, дотолѣ недоумѣвавшіе, а быть можетъ, и снѣдаемые опасеніями, вдругъ загорались увѣренностью, что чортъ совсѣмъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ...

— Такъ что, если, въ видахъ пользы службы, нѣсколько усилить власть исправниковъ, то народъ это вынесетъ?

— Совершенно вынесетъ, ваше превосходительство!

— А ежели распорядиться на счетъ упроченія основъ при посредствѣ не отяготительной, но зрѣло соображенной системы штрафовъ, то народъ и этимъ останется доволенъ?

— Совершенно доволенъ, ваше превосходительство!

— Ну, а ежели поприкинуть кой-что къ повинностямъ... какъ вы думаете, это не произведетъ чувствительнаго вліянія на народное благосостояніе!

— Нетолько, ваше превосходительство, не произведетъ, но даже... ахъ, ваше превосходительство!

И такъ далѣе.

Однимъ словомъ, мы непререкаемыми фактами подтвердили всѣ тѣ предвидѣнія и чаянія, которыя смутно гнѣздились въ сердцахъ петербургскихъ начальниковъ на счетъ «достоинствъ» и «способностей» русскаго мужика. Въ Петербургѣ надѣялись, что русскій человѣкъ гостепріименъ,—мы привели столько анекдотовъ на счетъ русскаго гостепріимства (нѣкоторые анекдоты даже свидѣтельствовали о гостепріимствѣ съ раскровяненіемъ), что отнынѣ фактъ этотъ изъ области «видовъ и предположеній» перешелъ въ область самой неопровержимой дѣйствительности. Въ Петербургѣ предвидѣли, что русскій человѣкъ патріархаленъ,—мы разсказали столько анекдотовъ изъ практики патріархальнѣйшаго снохачества, что и этотъ фактъ утвердился на незыблемомъ основаніи. Въ Петербургѣ догадывались, что русскій человѣкъ живетъ въ полномъ удовольствіи, — мы и эту догадку подтвердили, разсказавъ, что многіе мужики разводятъ гусей, утокъ и поросятъ... для себя.

Если бы мы не подтвердили всего этого, то очень можетъ быть, что петербургскіе начальники огорчились бы, но, къ счастію для насъ, наши собственныя наблюденія (по крайней мѣрѣ, въ томъ видѣ, какъ представляла ихъ наша память) до того сходились съ петербургскими предвидѣніями, что намъ не приходилось даже лицемѣрить.

Повторяю: мы были искренны. Мы дѣйствительно ви-

дѣли въ деревняхъ и гусей, и утокъ, дѣйствительно знали множество примѣровъ патріархальнаго снохачества, дѣйствительно производили слѣдствія о гостепріимствѣ съ раскровяненіемъ. И по мѣрѣ того, какъ мы разсказывали наши анекдоты, въ насъ самихъ происходилъ психологическій миражъ, вслѣдствіе котораго мужикъ становился передъ нами словно живой. Мужикъ благонравный, патріархальный, трудолюбивый, мужикъ, угодный Богу и начальству не непріятный. И много прочувствованныхъ словъ сказали мы объ этомъ мужикѣ, и даже не одну слезу пролили по поводу его. То были сладкія, нервныя слезы, подъ тихое журчаніе которыхъ незамѣтно, сами собой, устроивались наши служебныя карьеры...

Тѣмъ не менѣе, какъ я сказалъ выше, въ нашихъ теоретическихъ взглядахъ на жизнь существовало извѣстное разнорѣчіе, которое, хотя и сглаживалось общею намъ всѣмъ дѣловою складкою, но совсѣмъ уничтожено быть не могло. Разнорѣчіе это, впрочемъ, имѣетъ и свою хорошую сторону, потому что позволяетъ намъ, въ свободное отъ заботъ о служебной карьерѣ время, разнообразить наши бесѣды живою полемикой по поводу безчисленныхъ вопросовъ, которыми такъ богата современная русская жизнь. Сегодня сойдемся, посидимъ, поспоримъ, наговоримъ другъ другу колкостей, а завтра, какъ ни въ чемъ не бывало, опять засядемъ за докладныя записки, за циркуляры и предписанія, и даже будемъ подавать другъ другу совѣты на счетъ вящшаго и успѣшнѣйшаго подкузмленія.

Я ничего не буду говорить о себѣ, кромѣ того, что во всѣхъ этихъ спорахъ и пререканіяхъ я почти исключительно играю роль свидѣтеля. Но считаю не лишнимъ обратить вниманіе читателей на Тебенькова и Плѣшивцева, какъ на живое доказательство того, что даже самое

глубокое разномысліе не можетъ людямъ препятствовать дѣлать одно и то же дѣло, если этого требуетъ начальство.

Оба они, какъ говорится, всегда à cheval sur les principes, то-есть, прежде всего выкладываютъ свои принципы на столъ и потомъ уже, отправляясь отъ нихъ, начинаютъ диспутировать Но въ самой манерѣ того и другого относиться къ собственнымъ принципамъ замѣчается очень рѣзкая разница. Тебеньковъ называетъ себя западникомъ и въ этомъ качествѣ не прочь прослыть за esprit fort. Поэтому, онъ относится къ своимъ собственнымъ принципамъ нѣсколько озорно, и хотя защищаетъ ихъ очень прилично, но не нужно быть черезчуръ проницательнымъ, чтобы замѣтить, что вся эта защита ведется какъ будто бы «пуръ лè жансъ» и что, въ сущности, для него все равно, что востокъ, что западъ, по пословицѣ: была бы каша заварена, а тамъ хоть чортъ родись. Вообще, онъ никогда не забываетъ, что у него есть вицъ-мундиръ, который хотя и виситъ теперь въ шкафу, но который завтра, всетаки, приведется надѣть. Напротивъ того, Плѣшивцевъ, спрятавши свой вицъ-мундиръ въ шкафъ, смотритъ на себя, какъ на апостола, и обращается съ своими принципами бережно, словно обѣдню служитъ. Какъ «почвенникъ», онъ вѣритъ въ жизненность своихъ убѣжденій, и при защитѣ ихъ всегда имѣетъ въ виду «русскую точку зрѣнія». Вслѣдствіе этого, въ разгарѣ спора, Плѣшивцевъ называетъ Тебенькова «департаментской засушиной», «гнуспецомъ» и «паскудникомъ», а Тебеньковъ Плѣшивцева—«юродствующимъ» и «блаженненькимъ».

— Тебѣ что! говоритъ Плѣшивцевъ: — ты гнуснецъ! ты вотъ завтра встанешь, умоешься и смоешь съ себя все, что случайно сегодня на тебя насѣло!

— *Не* знаю, отвѣчаетъ, въ свою очередь, Тебеньковъ:—

но думаю, что чистоплотность не лишнее качество... даже въ юродствующемъ!

И только чувство деликатности мѣшаетъ ему прибавить: блаженненькій! вѣдь, и ты каждый день умываешься въ департаментѣ! да еще какъ умываешься-то!

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ — оба консерваторы. Ежели спросить ихъ, въ чемъ заключается ихъ консерватизмъ, они, навѣрное, назовутъ вамъ одни и тѣ же краеугольные камни, тѣ самые, о которыхъ вы услышите и въ любой обвинительной рѣчи прокурора, и въ любой защитительной рѣчи адвоката. Пойдите на улицу — вамъ объяснитъ ихъ любой прохожій; зайдите въ лавочку, любой сидѣлецъ скажетъ вамъ: кабы на человѣка да не узда, онъ и Бога-то позабылъ бы! Всѣ: и прокуроры, и адвокаты, и прохожіе, и лавочники понимаютъ эти камни точно такъ же, какъ понимаютъ ихъ Плѣшивцевъ и Тебеньковъ. А между тѣмъ, какое глубокое разномысліе раздѣляетъ ихъ по этому коренному вопросу! Плѣшивцевъ утверждаетъ, что человѣкъ долженъ быть консерваторомъ нетокмо за страхъ, но и за совѣсть; Тебеньковъ же объявляетъ, что прибавка словъ «и за совѣсть» только усложняетъ дѣло, и что человѣкъ вполнѣ правъ передъ обществомъ и закономъ, если можетъ доказать, что онъ консерваторъ «только за страхъ».

— Мнѣ все равно, какъ ты подплясываешь, говоритъ онъ: — за одинъ ли страхъ, или вмѣстѣ за страхъ и за совѣсть! Ты подплясываешь — этого съ меня довольно, и больше ничего я не могу отъ тебя требовать! И нетолько не могу, но даже не понимаю, чтобы можно было далѣе простирать свои требованія!

— Ты не понимаешь, потому что ты паскудникъ! возражаетъ ему Плѣшивцевъ: — ты вотъ и выраженія такія подъискиваешь, которыя доказываютъ, что въ тебѣ не

душа, а департаментская засушина! Это ты «подплясываешь», а я не подплясываю, а пламенѣю! Да̀, «пламенѣю», вотъ что̀.

— Ну, и пламенѣй! подсмѣивается Тебеньковъ.

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ одинаково утверждаютъ, что для человѣка необходима «почва», внѣ которой человѣкъ для обоихъ представляется висящимъ въ воздухѣ. Но, высказавши это, Тебеньковъ объясняетъ, что «почва», въ его глазахъ, не что̀ иное, какъ modus vivendi, какъ сборникъ извѣстныхъ правилъ (въ родѣ, напримѣръ, «Искусства нравиться женщинамъ»), на которыя человѣкъ, дѣлающій себѣ карьеру, можетъ во всякое время опереться. Въ жизни всякое можетъ случиться. Начальство вдругъ спроситъ: «а покажите-ка, молодой человѣкъ, есть ли у васъ правила!»; родителю любимой особы взбредетъ на мысль сказать: «охотно отдали бы мы, молодой человѣкъ, вамъ нашу Катеньку, да не знаемъ, какъ вы на счетъ правилъ». Вотъ тутъ-то и можетъ сослужить службу «почва», въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ ее Тебеньковъ. Сейчасъ въ карманъ, вынулъ книжку «Искусство нравиться начальникамъ», и тутъ же вымолвилъ: «правила, ваше превосходительство, вотъ они-съ». Словомъ сказать, «почва», по мнѣнію Тебенькова, есть все то, что̀ не воспрещено, что̀ не противорѣчитъ ни закону, въ его современномъ практическомъ примѣненіи, ни обычаямъ извѣстной общественной среды. Если принято платить карточный долгъ на другой день по проигрышѣ — это «почва»; если можно воспользоваться несоблюденіемъ тѣхъ или другихъ формальностей, чтобъ оттягать у сосѣда домъ — это тоже «почва». Просто, ясно и вразумительно. Однако, Плѣшивцевъ нетолько не удовлетворяется этимъ объясненіемъ, но называетъ его «паскудствомъ». Къ сожалѣнію, самъ онъ подъ словомъ «почва»

разумѣетъ что-то очень загадочное, и когда принимается опредѣлять его, то болѣе вращаетъ глазами и вертитъ руками въ воздухѣ, нежели опредѣляетъ, надъ чѣмъ Тебеньковъ очень добродушно смѣется.

— А ну-ка, скажи! скажи-ка, что̀ же, по-твоему, почва? подзадориваетъ онъ Плѣшивцева.

— Ты паскудникъ, горячится, въ свою очередь, послѣдній:—тебѣ этого не понять! Ты все на свой ясный паскудный языкъ перевести хочешь! Ты всюду съ своимъ поганымъ, жалкимъ умишкомъ пролѣзть усиливаешься! Шишъ выкусишь — вотъ что! «Почва» не опредѣляется, а чувствуется—вотъ что! Безъ «почвы» человѣкъ не можетъ сознавать себя человѣкомъ — вотъ что! Почва, однимъ словомъ, это... вотъ *это!*

И высказавшись такимъ образомъ, дѣлаетъ жестъ, какъ будто копается гдѣ-то глубоко руками...

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ — оба аристократы, то-есть, имѣютъ, или думаютъ, что имѣютъ кровь алую и кость бѣлую. Предки Тебенькова доподлинно играли въ исторіи роль: одинъ былъ спальникомъ, другой чашникомъ, у третьяго была выщипана по волоску борода. На счетъ предковъ Плѣшивцева исторія была менѣе краснорѣчива. Извѣстно было только, что дѣдъ его былъ однажды посланъ свѣтлѣйшимъ княземъ Потемкинымъ, за двѣ тысячи верстъ, за свѣжею севрюжиной, исполнилъ это порученіе съ честью, и съ тѣхъ поръ бойко пошелъ въ ходъ. Но, одинаково признавая принципъ аристократизма, Тебеньковъ и Плѣшивцевъ глубоко расходятся во взглядѣ на его основанія. Тебеньковъ въ основаніи аристократизма полагаетъ право завоеванія. «Первые дружинники — вотъ мои предки, говоритъ онъ:—они своею кровью запечатлѣли свое право, и я, ихъ потомокъ, явилъ бы себя недостойнымъ ихъ, еслибъ поступился хотя

однимъ атомомъ этого дорого добытаго права!» Сверхъ того, подъ веселую руку, Тебеньковъ сознается, что аристократическій принципъ ему еще потому по душѣ, что вообще лучше пользоваться земными благами, нежели не пользоваться ими. И такимъ образомъ, онъ сообщаетъ своимъ объясненіямъ какой-то матеріалистическій, недостойный характеръ. Напротивъ того, Плѣшивцевъ основываетъ аристократизмъ на «любви». «Первые излюбленные люди — вотъ мои предки! говоритъ онъ: — и я былъ бы недостоинъ ихъ, еслибъ поступился хоть частицей ореола народной любви, которая освятила права ихъ!»

— Но ты забываешь, что у тебя никакой «любви» не было, а просто была севрюжина! подсмѣивается Тебеньковъ.

— Да вѣдь и тебѣ не мѣшало бы помнить, что и у тебя никакого «завоеванія» не было, а былъ какой-то Митька Тебеньковъ, которому за «шатость и измѣну» выщипали бороду по волоску! язвитъ съ своей стороны Плѣшивцевъ.

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ — оба религіозны, и оба очень усердно выполняютъ требуемые религіей обряды. Оба утверждаютъ, что общество безъ религіи все равно, что тѣло безъ души, но, въ то же время, оба придаютъ своей религіозной практикѣ глубоко различный смыслъ. Тебеньковъ стоитъ на почвѣ государственной религіи, говоритъ, что религія есть одинъ изъ рычаговъ, которымъ государство имѣетъ право пользоваться для своихъ цѣлей. А лично о себѣ выражается, что онъ *обязанъ* быть религіознымъ, потому что долженъ подавать примѣръ «пуръ лѐ жансъ». Сверхъ того, онъ не скрываетъ, что религіозность не безполезна, «какъ средство обратить на *себя внимаиіе* начальства» (бываютъ такія эпохи, когда

начальство вдругъ все сплошь проникается набожностью, какъ бываютъ и такія, когда начальство сплошь проникается скептицизмомъ). Съ нимъ даже былъ очень любопытный случай въ этомъ родѣ. Сначала, въ томъ вѣдомствѣ, гдѣ служилъ Тебеньковъ, былъ начальникъ esprit fort, и любилъ крошечку покощунствовать. Вмѣстѣ съ нимъ крошечку же кощунствовалъ Тебеньковъ, и получилъ (конечно, не за это собственно, но, всетаки, немножко по поводу этого) повышеніе. Потомъ, на мѣсто прежняго esprit fort, поступилъ новый начальникъ, который нетолько усердно посѣщалъ подвѣдомственную ему домовую церковь, но даже любилъ пѣть на клиросѣ. Тогда Тебеньковъ являлся къ самому началу службы и не безъ дерзости выбивалъ поклоны передъ мѣстною иконой. И тоже получилъ повышеніе. Ничего подобнаго Плѣшивцевъ не допускаетъ: онъ религіозенъ безъ надежды на повышеніе. Онъ тоже считаетъ государство немыслимымъ безъ религіи, но видитъ въ послѣдней не «подспорье», какъ Тебеньковъ, а основаніе. И вслѣдствіе этого, жалѣетъ о временахъ патріарховъ. Религія, почва и любовь — вотъ тріада, которой поклоняется Плѣшивцевъ и въ которой онъ видитъ такъ-называемую русскую подоплёку. Онъ не можетъ болѣе ясно опредѣлить, въ чемъ собственно состоитъ эта подоплёка, но ожидаетъ отъ нея очень многаго.

— Ты проходимецъ! говоритъ онъ Тебенькову: — ты постное жрешь, потому что знаешь, что князь Иванъ Семенычъ посты блюдетъ! А я ѣмъ постное, потому что этимъ во мнѣ дѣйство русскаго духа проявляется! Вотъ ты и понимай!

— А кто въ прошлое воскресенье князю Ивану Семенычу просвирку принесъ? неожиданно, словно изъ пистолета, выстрѣливаетъ въ отвѣтъ Тебеньковъ.

— Я принесъ! Но не страха ради іудейска принесъ, а потому, что въ этомъ приношеніи любви дѣйство проявляется — вотъ что̀!

На это Тебеньковъ уже не возражаетъ, а только потихоньку мурлыкаетъ себѣ подъ носъ:

A Provins trou-la-la
On recolte des roses,
Et du jasmin trou-la-la
Et beaucoup d'autres choses...

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ — оба раздѣляютъ человѣчество на пасущихъ и пасомыхъ. Но Тебеньковъ видитъ въ этомъ раздѣленіи простое требованіе устава благоустройства и благочинія, а Плѣшивцевъ и тутъ ухитряется примостить «любви дѣйство». Тебеньковъ говоритъ: всѣ не могутъ повелѣвать, надобно, чтобы кто-нибудь и повиновался. Плѣшивцевъ говоритъ: нѣтъ, это не такъ; это слишкомъ сухо, черство, голо; это черезчуръ пахнетъ счетомъ, ариѳметикой. И предлагаетъ въ основаніе раздѣленія людей на повелѣвающихъ и повинующихся положить принципъ «любви». Повелѣвающіе повелѣваютъ «любви ради», а покоряющіеся покоряются тоже «любви ради». И это первыхъ ободряетъ, а послѣднихъ утѣшаетъ.

— Да на кой чортъ тебѣ эти ободренія и утѣшенія! споритъ Тебеньковъ: — вѣдь, суть-то въ томъ, чтобъ покоряющіеся покорялись — и ничего больше!

— Ты паскудникъ! ты этого не понимаешь! отвѣчаетъ Плѣшивцевъ: — ты всюду со своей ариѳметикой лѣзешь, изъ всего сухую формулу хочешь сдѣлать, а для меня совсѣмъ другое важно. Для тебя, животворящій принципъ — палка! а для меня этого мало. И палка, сударь, нѣма, коли въ ней любви дѣйство не проявляется!

Наконецъ, и Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ — оба уважа-

ютъ народность, но Тебеньковъ смотритъ на этотъ предметъ съ точки зрѣнія армій и флотовъ, а Плѣшивцевъ— съ точки зрѣнія подоплёки. Оба говорятъ: есть ли на свѣтѣ другой такой народъ, какъ русскій! но Тебеньковъ относитъ свои похвалы преимущественно къ дисциплинѣ, а Плѣшивцевъ — къ смиренію.

Такимъ образомъ, бойко и живо идутъ наши вечернія собесѣдованія. Подчасъ, благодаря пламенности Плѣшивцева и язвительнымъ замашкамъ Тебенькова, они угрожаютъ перейти въ серьёзныя стычки, но насъ спасаетъ увѣренность, что на утро намъ всѣмъ троимъ придется встрѣтиться въ департаментѣ и всѣмъ троимъ приняться за общее дѣло подкузмленія. И, такимъ образомъ, департаментская бездна пожираетъ всѣ разномыслія и на всѣ наши распри проливаетъ умиротворяющій бальзамъ.

Еслибы читатель спросилъ меня, чью сторону я держу во время этихъ полемическихъ собесѣдованій, я очень затруднился бы отвѣтомъ на этотъ вопросъ. Для меня вполнѣ ясно только одно: что оба друга мои вполнѣ благонамѣренные люди. Оба признаютъ необходимость «почвы», оба консерваторы, оба сторонники аристократическаго принципа, оба религіозны, оба раздѣляютъ человѣчество на пасущихъ и пасомыхъ, оба уважаютъ народность. Этого для меня вполнѣ достаточно, чтобъ находить ихъ общество вполнѣ приличнымъ, а затѣмъ, какимъ процессомъ достались имъ эти убѣжденія и въ какіе закоулки каждый изъ нихъ считаетъ нужнымъ зайти, чтобъ подкрѣпить свой нравственный строй — къ этому я совершенно равнодушенъ.

Я думаю даже, что въ ихъ разномысліи скорѣе играетъ роль различіе темпераментовъ, нежели различіе убѣжденій. Плѣшивцевъ пылокъ и нетерпѣливъ, Тебеньковъ разсудителенъ и сдержанъ. Плѣшивцевъ охотно лѣзетъ

на стѣну, Тебеньковъ предпочитаетъ пролѣзть въ подворотню. Плѣшивцевъ проникаетъ въ человѣческую душу съ помощью взлома, Тебеньковъ дѣлаетъ то же самое съ помощью подобраннаго ключа. Вотъ и все.

Иногда мнѣ даже кажется, что передо мною лицедѣйствуютъ два субъекта: прокуроръ, въ пухъ и прахъ разбивающій адвоката, и адвокатъ, въ пухъ и прахъ разбивающій прокурора. Оба эти человѣка очень серьёзно взаимно считаютъ себя противниками, оба отъ полноты сердца язвятъ другъ друга, и отнюдь не догадываются, что только счастливое недоумѣніе не позволяетъ имъ видѣть, что оба они, въ сущности, дѣлаютъ одно и то же дѣло, и уязвленіями своими не разбиваютъ, а напротивъ того, подкрѣпляютъ другъ друга. На дѣлѣ, передъ вами происходитъ замысловатая, но, въ то же время, нѣсколько шальная комедія, въ которой графъ, неизвѣстно зачѣмъ, разъигрываетъ роль лакея, а лакей, безъ всякаго разумнаго основанія, напяливаетъ на себя графскій фракъ. Или нѣчто въ родѣ встрѣчи двухъ пьяныхъ, которые, собственно говоря, имѣютъ въ виду только поцѣловаться, но которыхъ взаимныя приставанья, обыкновенно сопровождающія процессъ пьянаго цѣлованія, нерѣдко доводятъ до потасовки.

Говорятъ, будто Плѣшивцевъ искреннѣе, нежели Тебеньковъ, и, будто бы, съ этой точки зрѣнія, онъ заслуживаетъ болѣе симпатіи. Но, по-моему, они оба — равно симпатичны. Правда, я достовѣрно знаю, что если Плѣшивцеву приведется кого-нибудь преслѣдовать, то немудрено, что онъ или на дыбу того человѣка вздернетъ, или на кострѣ изжаритъ. Но я знаю также, что если и Тебенькову выдастся случай кого-нибудь преслѣдовать, то онъ тихимъ манеромъ, кроткими мѣрами... но, всетаки, *того* человѣка изведетъ.

Затѣмъ, если кто предпочитаетъ перспективу дыбы и костра перспективѣ тихаго и постепеннаго изведенія, или наоборотъ, то это ужь дѣло личнаго вкуса, относительно котораго я судьей быть не берусь.

Надняхъ, наша дружеская полемика получила новую богатую пищу. Въ газетахъ появилась рѣчь одного изъ Эльзасъ-лотарингскихъ депутатовъ, Тейтча, произнесенная въ германскомъ рейхстагѣ. Рѣчь эта, очень мало замѣчательная въ ораторскомъ смыслѣ, задѣла насъ за живое внезапностью своего содержанія. Никто изъ насъ не ожидалъ, чтобы могъ выступить, въ качествѣ спорнаго, такой предметъ, о которомъ, повидимому, не могло существовать двухъ различныхъ мнѣній. Этотъ оказавшійся спорнымъ предметъ — любовь къ отечеству.

Изъ обращенія Тейтча къ германскому парламенту мы узнали, вопервыхъ, что человѣкъ этотъ имѣетъ общее à tous les coeurs bien nés свойство любить свое отечество, которымъ онъ почитаетъ не Германію и даже не отторгнутыя ею, вслѣдствіе послѣдней войны, провинціи, а Францію; вовторыхъ, что, сильный этою любовью, онъ сомнѣвается въ правильности присоединенія Эльзаса и Лотарингіи къ Германіи, потому что съ разумными существами (каковыми признаются эльзасъ-лотарингцы) нельзя обращаться, какъ съ неразумными, безсловесными вещами, или, говоря другими словами, потому что нельзя разумнаго человѣка заставить перемѣнить отечество такъ же легко, какъ онъ мѣняетъ бѣлье; а втретьихъ, что, по всѣмъ этимъ соображеніямъ, онъ находитъ справедливымъ, чтобы совершившійся фактъ присоединенія былъ подтвержденъ спросомъ

населенія присоединенныхъ странъ, дѣйствительно ли этотъ фактъ соотвѣтствуетъ его желаніямъ.

«До сихъ поръ было въ обычаѣ въ этой палатѣ», говорилъ Тейтчъ, обращаясь къ рейхстагу, «что ежели кто-нибудь возвышалъ голосъ въ защиту угнетенныхъ вами населеній, то ему зажимали ротъ и карали его, какъ измѣнника отечеству (какому? вчерашнему или сегодняшнему?). Но измѣнникъ совсѣмъ не тотъ, который проклинаетъ неправду, а тѣ, которыхъ стремленія къ матерьяльному преобладанію увлекаютъ къ попранію всякаго права».

Оставимъ въ сторонѣ «проклинанія неправды» и «попранія права»; пусть будутъ эти слова пустыми цвѣтами краснорѣчія, которые въ людяхъ, «стремящихся къ матерьяльному преобладанію», могутъ возбудить только веселый смѣхъ. Фактъ ясенъ и простъ самъ по себѣ: Тейтчъ любитъ свое отечество, то отечество, которое онъ съ тѣхъ поръ, какъ помнитъ себя, всегда считалъ таковымъ. Съ другой стороны, онъ обращается съ этою любовью не къ космополитамъ-теоретикамъ и не къ какимъ-нибудь проходимцамъ, которые вчера предлагали свои услуги американскимъ рабовладѣльцамъ, сегодня предлагаютъ ихъ Донъ-Карлосу, а завтра предложатъ Наполеону IV, или ватиканскому владыкѣ. Нѣтъ, онъ обращается къ такимъ же солиднымъ людямъ, какъ и онъ самъ, къ членамъ рейхстага, изъ которыхъ каждый отнюдь не меньше его любитъ *свое* отечество. И Тейтчъ, и эти люди стоятъ на одной и той же почвѣ, говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ и объ одномъ и томъ же предметѣ. Такъ что, напримѣръ, еслибъ Тейтчъ, въ стѣнахъ берлинскаго университета, защищалъ диссертацію на тэму о любви къ отечеству, то Форкенбекъ (президентъ рейхстага) нетолько не оборвалъ бы его и

не пригрозилъ бы ему призывомъ къ порядку, но первый же съ восторгомъ объявилъ бы его докторомъ отечестволюбія.

Между тѣмъ, здѣсь, въ стѣнахъ рейхстага, гдѣ, по всѣмъ правамъ, любовь къ отечеству должна бы ожидать для себя торжественнаго практическаго подтвержденія — тутъ-то именно и происходитъ нѣчто совершенно неожиданное. Люди этого собранія, такъ горячо любящіе свое отечество, нетолько не поощряютъ Тейтча, нетолько не приглашаютъ его дать полезный урокъ «безпочвенному космополитизму», но, напротивъ того, глумятся надъ Тейтчемъ, какъ надъ блаженненькимъ, осыпаютъ его насмѣшками и бранью, какъ будто онъ самый вредный изъ вреднѣйшихъ членовъ интернаціоналки. Они скорѣе готовы примириться съ архіепископомъ Ресомъ, съ этимъ непомнящимъ родства субъектомъ, явившимся въ рейхстагъ во имя интересовъ папства, нежели съ чудакомъ, который никакъ не можетъ позабыть, что у него недавно было нѣчто такое, что онъ называлъ своимъ отечествомъ!

Какъ они смѣялись надъ нимъ! Какъ весело провели они эти полчаса, впродолженіи которыхъ Тейтчъ, на ломанномъ нѣмецкомъ языкѣ, объяснялъ, какъ сладко любить отечество и какъ сильна можетъ быть эта любовь! И что всего замѣчательнѣе: они смѣялись во имя той же самой «любви къ отечеству», именемъ которой и Тейтчъ посылалъ имъ въ лицо свои укоры!

Что скажутъ объ этомъ космополиты! Что подумаютъ тѣ чистые сердцемъ, которые, говоря объ отечествѣ, не могутъ воздержаться, чтобы не произнести: да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду тебя, Іерусалиме! Какъ глубоко поражены будутъ тѣ пламенные юноши, которыхъ еще въ школѣ напитывали высокими примѣ-

рами Регуловъ и Муцій Сцеволлъ, которые еще въ колыбели засыпали подъ сладкіе звуки псалма: «на рѣкахъ вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ»?!..

О чемъ «плакахомъ»? Увы! нынче нѣтъ ни Іерусалима, ни Регуловъ, ни Муціевъ Сцеволлъ! За то есть хохочущій рейхстагъ, есть президентъ Форкенбекъ, осушающій непрошенныя слезы призывомъ къ порядку, есть Бисмаркъ, освѣжающій разгоряченную воспоминаніями объ утраченномъ «Іерусалимѣ» голову насмѣшкою, почерпнутою изъ устава о благоустройствѣ и благочиніи!

Происшествіе это тѣмъ болѣе затронуло насъ, что наше время есть по преимуществу время превратныхъ толкованій, которыхъ мы, какъ извѣстно, боимся до страсти. Не далѣе, какъ наканунѣ, Плѣшивцевъ написалъ и представилъ князю Ивану Семенычу проэктъ циркуляра, въ которомъ, именно въ виду постояннаго распространенія «превратныхъ толкованій», любовь къ отечеству рекомендовалась вниманію начальствующихъ лицъ, какъ такое чувство, которое заслуживало со стороны ихъ особливаго вниманія и поощренія. «Любовь къ отечеству», писалось въ этомъ проэктѣ, «родитъ героевъ. Она возвышаетъ нравственную температуру человѣка, изощряетъ его умъ и дѣлаетъ его способнымъ нетолько къ подвигамъ личной самоотверженности, но и къ изобрѣтенію орудій съ цѣлью истребленія враговъ... Науки обязаны ей своимъ непрерывнымъ развитіемъ, чему примѣромъ служитъ Ломоносовъ, который, будучи рожденъ въ податномъ состояніи, умеръ въ чинѣ статскаго совѣтника... Но наипаче существеннымъ оказывается ея вліяніе при отправленіи денежныхъ и натуральныхъ повинностей, ибо только при дѣятельномъ содѣйствіи сего жизненнаго стимула достигается безнедоимочное поступленіе принадлежащихъ казнѣ сборовъ...

То же должно сказать и о бѣдствіяхъ, которыя, въ формѣ повальныхъ болѣзней, неурожаевъ и проч., постигаютъ человѣческій родъ, и которыя по истинѣ были бы непереносны, еслибъ бѣдствующему человѣку не являлась на помощь любовь къ отечеству, споспѣшествуемая благотворнымъ сознаніемъ, что законъ неукоснительно преслѣдуетъ людей, неумѣющихъ быть твердыми въ бѣдствіяхъ». Въ заключеніе изъявлялась надежда, «что, по всѣмъ этимъ соображеніямъ, ваше превосходительство не оставите обратить ваше просвѣщенное вниманіе на столь важный предметъ, и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать распоряженіе, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство воспитывалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пресѣчены всѣ способы къ омраченію и извращенію онаго».

Эта бумага была плодомъ завѣтнѣйшихъ помысловъ Плѣшивцева. Онъ писалъ ее по секрету и по секрету же сообщилъ объ ней лишь одному мнѣ. Читая ее, онъ говорилъ: «я здѣсь Плѣшивцевъ! понимаешь? Плѣшивцевъ, а не чиновникъ!» И затѣмъ, представивъ свою работу князю Ивану Семенычу, онъ даже нѣсколько побаивался за ея судьбу.

— Замѣть, братецъ, говорилъ онъ: — объ государствѣ ни одного слова! Отечество — и баста!

— Да, братъ, это—штука! отвѣчалъ я, съ своей стороны.

Тѣмъ не менѣе, надежда на успѣхъ, всетаки, была, хотя, должно сознаться, она основывалась преимущественно на каламбурѣ. Предполагалось, что въ департаментской практикѣ нѣкоторыя выраженія до такой степени осинонимизировались, что нужно было нарочито подъискиваться, чтобъ употребленная Плѣшивцевымъ тон-

кость могла быть понята. Къ числу такихъ однородныхъ выраженій принадлежали «отечество» и «государство», которыя въ департаментѣ употреблялись нетолько безразлично, но даже чередовались другъ съ другомъ, въ видахъ избѣжанія частыхъ повтореній одного и того же слова. Поэтому, Плѣшивцевъ имѣлъ очень вѣскія основанія надѣяться.

— Не догадаются! таинственно шепталъ онъ мнѣ.

— Не догадаются! отъ всей души откликался и я.

Съ другой стороны, и Тебеньковъ не дремалъ, но, тоже по секрету, представилъ князю Ивану Семенычу проэктъ циркуляра, о которомъ тоже сообщилъ только мнѣ. Тамъ писалось: «Любовь къ отечеству, чувство, безподобное само по себѣ, пріобрѣтаетъ еще больше значенія, если взглянуть на него, какъ на одно изъ самыхъ могущественныхъ административныхъ подспорьевъ... Будучи эксплуатируемо съ осторожностью, но неукоснительно, оно незамѣтно развивается въ чувство государственности, сіе же послѣднее, содѣлывая управляемыхъ способными къ быстрому постиженію административныхъ мѣропріятій, въ значительной степени упрощаетъ механизмъ оныхъ, и чрезъ то, въ ближайшемъ будущемъ, обѣщаетъ существенныя сокращенія штатовъ, при чемъ, однакожъ, чиновники усердные и вполнѣ благонадежные не токмо ничего не потеряютъ, но даже пріобрѣтутъ... Главнѣйшее же вниманіе должно быть обращено на то, дабы отечество, въ сознаніи управляемыхъ, ни въ какомъ случаѣ не отдѣлялось отъ государства, и дабы границы сего послѣдняго представлялись онымъ яко непремѣнныя и естественныя границы перваго... Исторія всѣхъ образованныхъ государствъ, съ самой глубокой древности и до нашихъ временъ, доказываетъ, сколь полезны бывали внушенія сего рода, не-

токмо въ годины бѣдствій, не перестающихъ и по нынѣ періодически удручать родъ человѣческій, но и во всякое другое, благопріятное для административныхъ мѣропріятій время. А посему, ваше превосходительство не оставите обратить на сей важный предметъ ваше просвѣщенное вниманіе, и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать зависящія распоряженія, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство любви къ отечеству развивалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пресѣчены всѣ способы къ омраченію и извращенію онаго».

И такъ, оба друга мои сочинили по циркуляру. Отъ одного разило государственностью, въ другомъ очень осторожно, но, въ то же время, очень искусно былъ пущенъ запахъ подоплёки. А такъ какъ я лично оплошалъ, то-есть, никакого циркуляра не сочинилъ, то мнѣ оставалось только выжидать, который изъ моихъ пріятелей восторжествуетъ.

И вдругъ, въ газетахъ появляется рѣчь Тейтча, которая на всѣ Плѣшивцевскія махинаціи проливаетъ яркій свѣтъ!

— Не пройдетъ! нѐчего и думать! шепнулъ мнѣ Плѣшивцевъ еще утромъ, какъ только прочиталъ газетное извѣстіе.

Напротивъ того, Тебеньковъ сдѣлался веселѣе и самоувѣреннѣе обыкновеннаго.

— Теперь мое дѣло въ шляпѣ, сказалъ онъ мнѣ: — придется, можетъ быть, нѣсколько почистить: «отечества» поурѣзать, да «государственности» поприпустить— и готово!

Вечеромъ, мы всѣ были въ сборѣ; но долгое время, словно сговорившись, не приступали къ интересовавшему насъ предмету. Плѣшивцевъ, молча, ходилъ взадъ и впе-

редъ по комнатѣ, ерошилъ себѣ волосы, какъ бы соображая, нельзя ли и «подоплёку» соблюсти, и рейхстагу германскому буветецъ приподнести. Я ни о чемъ особенномъ не думалъ, но въ ушахъ моихъ съ какою-то мучительною назойливостью звенѣло: вотъ тебѣ и «сѣдохомъ и плакахомъ!» Тебеньковъ тоже молчалъ, но это было молчаніе, полное торжества, и взглядъ его глазъ, и безъ того ясныхъ, сдѣлался до такой степени колючъ, что меня подиралъ морозъ по кожѣ.

— Однако, чудеса на свѣтѣ дѣлаются! сказалъ, наконецъ, я, чтобы завязать разговоръ.

— Да, братъ! ничего не подѣлаешь! отозвался Плѣшивцевъ: — вотъ она! вотъ она, подоплёка-то гдѣ сказалась!

— Encore cette malheureuse podoplioka! весело воскликнулъ Тебеньковъ.

— Не погнѣвайтесь, Александръ Петровичъ! Малёрёзъ подопліока—это такъ точно-съ! Съ канканчикомъ-съ, съ польдекоковщиной-съ, съ гнильцой-съ, съ государственнымъ обезличеніемъ-съ! Вотъ имъ, обладателямъ этой малёрёзъ подопліока, и говорятъ: не трудитесь-молъ на счетъ отечества прохаживаться, потому что ваше отечество въ танцклассѣ у Марцинкевича... да-съ!

— Joli!

— Жоли или не жоли, а только это такъ-съ. Съ канканчикомъ, конечно, можно еще какъ-нибудь на идею государства — вашего, Александръ Петровичъ, тебеньковскаго государства!—набрести, ну, а отечество—эта штука помудренѣе будетъ!

Я былъ смущенъ. Я зналъ, что со стороны Тебенькова оправданіе претерпѣнной Тейтчемъ неудачи нетолько возможно, но и вполнѣ естественно, но, признаюсь, выходка Плѣшивцева нѣсколько изумила меня.

— Какъ! и ты, Плѣшивцевъ! воскликнулъ я: — и ты, значитъ, оправдываешь этотъ веселый хохотъ надъ человѣкомъ, огорченнымъ потерею отечества?

— Ничего, братецъ, не подѣлаешь! Когда у людей, вмѣсто подоплёки, канканчикъ...

— Послушай, душа моя! зачѣмъ же ты приплетаешь сюда какой-то канканчикъ? Вѣдь, у французовъ не одинъ же канканъ! Есть у нихъ и своя цивилизація, и своя литература, и своя промышленность! Всего этого, право, очень достаточно, чтобы въ человѣкѣ получилось представленіе о той совокупности вещей и явленій, изъ которой выводится идея отечества! Посмотри! не прошло трехъ лѣтъ послѣ разгрома, а почти не замѣтно и слѣдовъ его! Уплатили пять милліардовъ нѣмцу, а сколько еще милліардовъ потребовалось, чтобъ собственныя, внутреннія раны залечить! И все это совершилось во-очію! Какая сила! Какое неистощимое богатство!

— И богатство есть, и фабрики и заводы; даже полиція есть. Но чтобъ была цивилизація — вотъ съ чѣмъ я никогда не соглашусь! Плоха, братъ, та цивилизація, отъ которой мертвечиной пахнетъ, въ которой жизни духа нѣтъ!

— «Жизни духа, духа жизни!» поддразнилъ Тебеньковъ.

— Да-съ, Александръ Петровичъ, ни жизни духа, ни духа жизни — ничего, кромѣ гнили-съ! А потому, и не жалуйся, гнилой человѣчишко, что его въ полонъ взяли! Не сѣтуй, не растабарывай на счетъ отечества, котораго у тебя нѣтъ!

— Но ты забываешь, что Франція, впродолженіи многихъ столѣтій, была почти постоянно побѣдительницей; что французскія войска квартировали и въ Берлинѣ, и въ Вѣнѣ...

— Et Moscou donc! озорно отозвался Тебеньковъ.

— Шишь взяли!

— Что этотъ самый Эльзасъ, эта самая Лотарингія были когда-то нѣмецкими провинціями?

— Ну да, и въ Берлинѣ были, и въ Вѣнѣ были, и Эльзасъ съ Лотарингіей отобрали у нѣмцевъ! Что̀ жь! сами никогда не признавали ни за кѣмъ права любить отечество — пусть же не пѣняютъ, что и за ними этого права не признаютъ!

— Постой! это другой вопросъ, правильно или неправильно поступали французы. Рѣчь идетъ о томъ, имѣетъ ли французъ на столько сознательное представленіе объ отечествѣ, чтобы сожалѣть объ устратѣ его, или не имѣетъ его? Ты говоришь, что у французовъ, вмѣсто жизни духа — одинъ канканъ; но неужели они съ однимъ канканомъ прошли черезъ всю Европу? неужели съ однимъ канканомъ они офранцузили Эльзасъ и Лотарингію до такой степени, что провинціи эти никакогодругого отечества, кромѣ Франціи, не хотятъ знать?

— Все это былъ одинъ пьяный порывъ! А вотъ какъ ихъ приперли хорошенько, да показали, что есть на свѣтѣ ружья почище шасспо̀ — на днѣ-то порыва и оказалась гниль!

— Гниль! что̀ же это за слово, однакожь! Третій разъ ты его повторяешь, а вѣдь, собственно говоря, это совсѣмъ не отвѣтъ, а простой восклицательный знакъ! Ты оставь метафоры и отвѣчай прямо: имѣлъ ли германскій рейхстагъ основаніе не признавать за Тейтчемъ права любить свое отечество!

— Да я съ того и началъ, что сказалъ: вотъ она подоплёка-то! вотъ какъ она дала себя почувствовать!

— «Подоплёка!» «Гниль!» Воля твоя, а это не разговоръ!

— Господинъ Плѣшивцевъ, конечно, полагаетъ, что чебоксарская подоплёка (Плѣшивцевъ былъ родомъ изъ Чебоксаръ) будетъ мало-мало подобротнѣе, нежели французская! уязвилъ Тебеньковъ.

— Да-съ, подобротнѣе-съ! Чебоксарская подоплёка не деретъ глотки, а постоитъ за себя! Да-съ, постоитъ-съ! Мы, чебоксарцы, не анализируемъ своихъ чувствъ, не взвѣшиваемъ своихъ побужденій по гранамъ и унціямъ! Мы просто идемъ въ огонь и въ воду — и все тутъ! И насъ не отберутъ, какъ какихъ-нибудь эльзасцевъ-съ! Нѣтъ-съ, обожгутся-съ!

Тебеньковъ на эту діатрибу только свиснулъ въ отвѣтъ и, улегшись съ ногами на диванъ, замурлыкалъ себѣ подъ носъ изъ «m-me Angot»:

Elle est tellemant innocente,
Qu'elle ne comprend presque rien!

Я тоже недоумѣвалъ. Я мысленно спрашивалъ себя, въ какой степени возможно продолженіе разговора, предметъ котораго грозитъ перейти на чебоксарскую почву? Можно ли, напримѣръ, оспоривать, что чебоксарская подоплёка добротнѣе французской? не будетъ ли это противно тѣмъ инстинктамъ отечестволюбія, которые такъ дороги моему сердцу? не разсердитъ ли это, наконецъ, Плѣшивцева, который хоть и пріятель, а вдругъ возьметъ да крикнетъ: караулъ! измѣна?! И ничего ты съ нимъ не подѣлаешь, потому что онъ крѣпко стоитъ на чебоксарской почвѣ, а ты колеблешься! Хороши Чебоксары, прекрасенъ Наровчатъ, но когда передъ тобой начнутъ сравнивать ихъ съ Парижемъ въ ущербъ послѣднему — тебѣ, всетаки, совѣстно. А ему, Максиму Михайлову Плѣшивцему, потомку маіора, ѣздившаго за

двѣ тысячи верстъ за севрюжиной для Потемкина, нетолько не совѣстно, но онъ даже цвѣтнѣе отъ этихъ сравненій дѣлается!

Тѣмъ не менѣе, вопросъ, о которомъ зашла у насъ рѣчь, представлялъ для меня такой интересъ, что я рѣшился довести нашу бесѣду до конца, хотя бы даже Плѣшивцевъ и обвинилъ меня въ измѣнѣ.

— И такъ, ты въ цѣлой Франціи, въ ея исторіи, въ ея геніи ничего не видишь, кромѣ «La belle Hélène»? сказалъ я вновь.

— Ничего!

— «La belle Hélène»! Mais je trouve que c'est encore très joli, ça! Она познакомила нашу армію и флоты съ классическою древностью! воскликнулъ Тебеньковъ. — Надняхъ приходитъ ко мнѣ капитанъ Потугинъ: правда ли, говоритъ, Александръ Петровичъ, что въ древности греческій царь Менелай былъ? — А вы, говорю, откуда узнали? — Въ Александринкѣ, говоритъ, господина Марковецкаго надняхъ видѣлъ!

— Вотъ она... французская-то цивилизація! Смотри на него! любуйся! трагически произнесъ Плѣшивцевъ, протягивая руку по направленію Тебенькова.

— А ты хочешь отъ меня примѣровъ чебоксарской цивилизаціи! Успокойся, душа моя! ихъ много найдется и во Франціи! Есть, голубчикъ, есть! Вспомни лурдскія богомолья, вспомни Парэ-ле-моніальское посвященіе Іисусову сердцу! Право, хоть сейчасъ въ Чебоксары!

— И въ самомъ дѣлѣ! ободрился я:—вѣдь, это тоже своего рода подоплёка!

— И даже едва ли не болѣе добротная, нежели чебоксарская! По крайней мѣрѣ, это подоплёка, выразившаяся независимо отъ начальственныхъ поощреній, тогда какъ, если вглядѣться попристальнѣе въ чебоксарскую по-

доплёку, то навѣрное увидишь на ней слѣды исправника или станового!

— А, вѣдь, это правда, что чебоксарская-то подоплёка немного тово... какъ будто помята руками особъ, на заставахъ команду имѣющихъ... что̀ ты скажешь на это, Плѣшивцевъ?

— Что говорить! Шутить изволите—ну, и шутите!

— Хорошо. Будемъ говорить серьёзно, сказалъ Тебеньковъ.—Отбросимъ въ сторону «подоплёки», «гнили», «жизни духа» и другія метафоры, которыми ты такъ охотно уснащаешь свой разговоръ, и постараемся резюмировать сущность сказаннаго тобою по поводу похожденій господина Тейтча въ германскомъ рейхстагѣ. Эта сущность, выраженная въ грубой, но правдивой формѣ, заключается въ слѣдующемъ: человѣкъ, который въ свои отношенія къ явленіямъ природы и жизни допускаетъ элементъ сознательности, не долженъ имѣть претензіи ни на религіозность, ни на любовь къ отечеству? Est-ce ça, mon vieux?

— Ça да не ça. Сознательность бываетъ разная. Я, напримѣръ, сознаю себя русскимъ — это сознательность здоровая, сильная, освѣжающая. Но ежели сознательность родитъ Тебеньковыхъ... извини меня, я такой сознательности и уважать не могу!

— Благодарю — не ожидалъ! Такъ что, напримѣръ, ежели я не вѣрю, что будущій урожай или неурожай зависитъ отъ того, катали или не катали попа по полю въ егорьевъ день, какъ вѣрятъ этому господа чебоксарцы, то я не могу называть себя религіознымъ человѣкомъ? Та̀къ, вѣдь?

— Продолжайте, Александръ Петровичъ, продолжайте!

— Но, вѣдь, это логически выходитъ изъ всѣхъ твоихъ заявленій! Подумай только: тебя спрашиваютъ, имѣ-

етъ ли право французъ любить свое отечество? а ты отвѣчаешь: нѣтъ, не имѣетъ, потому что онъ пріобрѣлъ привычку анализировать свои чувства, развѣшивать ихъ на унцы и граны; а вотъ чебоксарецъ — тотъ имѣетъ, потому что онъ ничего не анализируетъ, а просто идетъ въ огонь и въ воду! Стало быть, по-твоему, для патріотизма нѣтъ лучшаго помѣщенія, какъ невѣжественный и полудикій чебоксарецъ, который и границъ-то своего отечества не знаетъ!

— Для того, чтобы любить родину, нѣтъ надобности знать ея географическія границы. Человѣкъ любитъ родину, потому что объ ней говоритъ ему все нутро его! Въ человѣкѣ есть внутренное чутье! Оно лучше всякаго учебника укажетъ ему тѣ границы, о которыхъ ты такъ много хлопочешь!

— То-есть, не столько «внутреннее чувство», сколько начальственное распоряженіе. Скажетъ начальство чебоксарцу: вотъ городъ Золотоноша, въ которомъ живутъ все враги; любезный чебоксарецъ! возьми, и предай Золотоношу огню и мечу! И чебоксарецъ исполнитъ все это.

— Врешь ты! Этого не можетъ быть!

— Это было, Плѣшивцевъ. Вспомни удѣльный періодъ; вспомни въ позднѣйшее время Тверь, Новгородъ, Псковъ...

— Это совсѣмъ не то! это были усобицы! это были внутреннія неурядицы! это...

Ясно было, что Плѣшивцевъ окончательно начинаетъ терять хладнокровіе, что онъ, вообще плохой спорщикъ, дошелъ уже до такой степени раздраженія, когда всякое возраженіе, всякій запросъ принимаютъ размѣры оскорбленія. При такомъ расположеніи духа одного изъ спорящихъ, первоначальный предметъ спора постепенно затемняется и на сцену Богъ вѣсть откуда выступаютъ

всевозможныя детали, совершенно ненужныя для разъясненія дѣла. Поэтому, я рѣшился напомнить друзьямъ моимъ, что полемика ихъ зашла слишкомъ далеко.

— Къ вопросу, господа! сказалъ я.—Вопросъ заключается въ слѣдующемъ: вслѣдствіе неудачъ, испытанныхъ Франціей во время послѣдней войны, Бисмаркъ отнялъ у послѣдней Эльзасъ и Лотарингію и присоединилъ ихъ къ Германіи. Имѣетъ ли онъ право требовать, чтобы жители присоединенныхъ провинцій считали Германію своимъ отечествомъ и любили это новое отечество точно такъ, какъ бы оно было для нихъ старымъ отечествомъ?

— Не Бисмаркъ, а народъ! понимаешь! не германское государство, которое воплощаетъ собою Бисмаркъ, а германскій народъ?

— А народъ германскій, стало быть, имѣетъ это право?

— Имѣетъ.

— На какомъ же основаніи?

— А на томъ основаніи, что его нравственная физіономія выше, нежели нравственная физіономія какого-нибудь эльзасца, воспитаннаго въ растлѣвающей французской школѣ!

— Послушай! но, вѣдь, это своего рода дарвинизмъ, своеобразный, но, всетаки, дарвинизмъ. По твоему мнѣнію, организмъ болѣе нравственный имѣетъ право порабощать организмъ менѣе нравственный?

— Не порабощать, а преображать, просвѣтлять. Для развращеннаго, лишеннаго нравственной подкладки эльзасца это не порабощеніе, а просвѣтленіе! Да-съ.

— Но кто же судья въ этомъ дѣлѣ? кому принадлежитъ право рѣшать, какой организмъ болѣе нравственъ и какой организмъ менѣе нравственъ!

— Судья въ этомъ дѣлѣ — совѣсть самого болѣе нрав-

ственнаго организма, его собственное сознаніе принадлежащаго ему права и какъ результатъ этого сознанія— успѣхъ.

— Такъ что, если, напримѣръ, ты признаешь себя относительно меня и Тебенькова болѣе нравственнымъ организмомъ, то ты имѣешь право просвѣтлять насъ по всей твоей волѣ?

— Имѣю-съ.

— И нѣмцы имѣютъ право сказать эльзасцамъ: отнынѣ вы обязываетесь любить насъ?

— Имѣютъ-съ. И нетолько имѣютъ основаніе теоретически заявить объ этомъ правѣ, но и достигать его осуществленія. И достигнутъ-съ.

— Такъ что, ежели эльзасцы будутъ продолжать упорствовать...

— То они докажутъ этимъ, что для нихъ нужна школа. И получать ее.

— Mais c'est juste ce que je dis: люби не люби, а подплясывай! вставилъ Тебеньковъ.

— Но ты забылъ, душа моя, что присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи есть результатъ войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей! ты забылъ, что случайности эти одинаковы для всѣхъ, и что такимъ образомъ и Чебоксары могутъ подвергнуться процессу просвѣтленія... Опомнись!

— Не случайности, а пути Провидѣнія! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только Провидѣніе!

— Но Чебоксары?!!

Это былъ крикъ моего сердца, мучительный крикъ, не встрѣтившій, впрочемъ, отзыва. И я, и Плѣшивцевъ — мы оба умолкли, какъ бы подавленные однимъ и тѣмъ же вопросомъ: но Чебоксары?!! Только Тебеньковъ, по прежнему, смотрѣлъ на насъ ясными, колючими гла-

зами и втихомолку посмѣивался. Наконецъ, онъ заговорилъ.

— Господа! сказалъ онъ: — къ удивленію моему, я съ каждымъ днемъ все больше и больше убѣждаюсь, что какъ ни безпощадна полемика, которую ведетъ противъ меня нашъ общій другъ Плѣшивцевъ, но, въ сущности, мы ни по одному вопросу ни въ чемъ существенномъ не расходимся. Онъ требуетъ для человѣка почвы, и я требую для человѣка почвы. Онъ признаетъ, что есть извѣстныя основы, безъ которыхъ общество не можетъ существовать, и я признаю, что есть извѣстныя основы, безъ которыхъ общество не можетъ существовать. Онъ уважаетъ религію, и я уважаю религію. Онъ консерваторъ, и я консерваторъ. Разница между нами заключается въ томъ, что я употребляю нѣкоторыя выраженія, которыя не по душѣ Плѣшивцеву, а онъ употребляетъ нѣкоторыя выраженія, которыя не по душѣ мнѣ. Но смѣю думать, что это только діалектическія особенности, ибо, ежели резюмировать наши убѣжденія въ кратчайшей формѣ, отрѣшивъ ихъ отъ діалектическихъ пріемовъ, а особенно ежели взять во вниманіе тѣ практическія примѣненія, которыя эти убѣжденія получаютъ, проходя сквозь горнило департамента, въ которомъ мы оба служимъ, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не что иное, какъ большое діалектическое недоразумѣніе. Мы оба требуемъ отъ массъ подчиненія, а во имя чего мы этого требуемъ, во имя ли принциповъ «порядка», или во имя «жизни духа» — право, это еще не суть важно. Blanc bonnet, bonnet blanc — вотъ и все. Слѣдовательно, намъ нужно только отказаться отъ нѣкоторыхъ мудреныхъ и малоупотребительныхъ выраженій — и всѣ недоразумѣнія исчезнутъ. Не правда ли, Плѣшивцевъ? Скажи по совѣсти, вѣдь, мы можемъ подать другъ другу руки?

Сказавши это, Тебеньковъ протянулъ Плѣшивцеву руку, но послѣдній не принялъ ея.

— Ну, нѣтъ! Это стара штука! сказалъ онъ: — это споръ старый! Онъ еще при Петрѣ начался! Тутъ не одними мудреными словами пахнетъ! Тутъ есть кой-что поглубже!

— Очень жаль, что наружное разномысліе наше должно продолжаться безъ срока, хотя, повторяю: разномысліе это чисто наружное, и отнюдь не мѣшаетъ полному внутреннему нашему единомыслію. Да, мой другъ! что̀ ни говори, а всѣ эти «подоплёки», всѣ эти «жизни духа» — все это діалектическіе пріемы того же устава благочинія, во имя котораго ратую и я. Тебѣ по сердцу «просвѣтленіе», мнѣ — «административное воздѣйствіе», но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ, въ концѣ концовъ, всетаки, прозрѣвается военная экзекуція. Тебѣ нравится московскій періодъ государства россійскаго, мнѣ нравится петербургскій періодъ государства россійскаго, но оба и несомнѣнно мы имѣемъ въ виду одну и ту же государственность. Не правда ли?

Но отвѣта на этотъ вопросъ не послѣдовало.

— И такъ, будемъ продолжать. Ты говоришь: Эльзасъ-лотарингцы обязываются примириться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое поставили ихъ результаты войны, и не имѣютъ права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельствъ подарила ихъ отечествомъ новымъ. Я говорю: Эльзасъ-лотарингцы обязываются примириться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое поставили ихъ результаты войны, и не имѣютъ права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельствъ подарила ихъ отечествомъ новымъ. Воля твоя, но мы говоримъ совершенно одно и то же!

— Ты позабылъ исходные пункты... малость!

— То-есть, нѣкоторые діалектическіе пріемы...

— Нѣтъ, не діалектическіе пріемы, а исходные пункты! Понимаешь! Исходные пункты!

— Ну да, я ихъ-то и называю діалектическими пріемами. Потому что, еслибъ наши исходные пункты были дѣйствительно разные, то и результаты ихъ были бы разные. Но этого нѣтъ. А слѣдовательно, при одинаковыхъ результатахъ, какая же надобность знать, откуда кто отправляется: съ Плющихи ли въ столичномъ городѣ Москвѣ, или съ Офицерской въ столичномъ городѣ Петербургѣ?

Это было ясно. Въ сущности, откуда бы ни отправлялись мои друзья, но они, незамѣтно для самихъ себя, фаталистически всегда пріѣзжали къ одному и тому же выходу, къ одному и тому же практическому результату. Но это была именно та «поганая» ясность, которая всегда такъ глубоко возмущала Плѣшивцева. Признаюсь, на этотъ разъ она и мнѣ показалась не совсѣмъ умѣстною.

— Къ дѣлу, Тебеньковъ, къ дѣлу! сказалъ я: — говори, правы ли, по твоему мнѣнію, члены германскаго рейхстага, такъ весело насмѣявшіеся надъ Тейтчемъ?

— То-есть, вотъ видишь ли: я никогда не одобряю неделикатности, и, по мнѣнію моему, смѣяться надъ огорченнымъ человѣкомъ, во всякомъ случаѣ, непростительно. C'est bourgeois, c'est mesquin. Но я не могу, всетаки, не сказать, что въ настоящемъ случаѣ смѣхъ имѣетъ въ свою пользу смягчающія обстоятельства. Помилуй! что же можетъ быть постылѣе, какъ назойливость по поводу выѣденнаго яйца! Люди занимаются дѣломъ, обсуждаютъ новый законъ о книгопечатаніи, предпринимаютъ реорганизацію армій и флотовъ, а къ нимъ лѣзутъ съ протестами противъ безповоротнаго удара судьбы!

— Но какъ же все это согласить съ тѣмъ... ну, съ тѣмъ циркуляромъ... въ которомъ любовь къ отечеству...

— Ah! mais entendons nous, mon cher! Отечество любить обязательно, но необходимо, всетаки, объяснить себѣ, что такое это обязательно любимое отечество!

— Что̀ же, по-твоему, это отечество?

— Eh bien, nous y arrivons. Возражая Плѣшивцеву, я упомянулъ о необходимости имѣть точныя свѣдѣнія о географическихъ границахъ. По моему мнѣнію, вотъ вещь, совершенно необходимая для совершенно яснаго опредѣленія предѣловъ вѣдомства любви къ отечеству, вотъ вещь, безъ точнаго знанія которой мы всегда будемъ блуждать въ потьмахъ.

— Но это ужасно! стало быть, если граница Россіи идетъ до Эмбы, я долженъ любить ее до Эмбы? а ежели эта граница идетъ только до Урала, то я долженъ любить только до Урала?

— C'est triste, mais c'est vrai!

— Но Чебоксары?! Опомнись, душа моя! Вѣдь, географическія границы дѣло наживное! Вѣдь, такимъ образомъ Ветлуга, Малмыжъ, Чебоксары...

На этомъ нашъ разговоръ кончился. Мы пожали другъ другу руки и разошлись. Но я увѣренъ, что даже въ холодной душѣ Тебенькова не разъ, послѣ этого, шевельнулся вопросъ:

— Но Чебоксары?!

ВЪ ПОГОНЮ ЗА ИДЕАЛАМИ.

Ежели мы, русскіе, вообще имѣемъ довольно смутныя понятія объ идеалахъ, лежащихъ въ основѣ нашей жизни, то особенною безалаберностью отличается наше отношеніе къ одному изъ нихъ и самому главному — къ государству. Даже люди культуры, какъ-то: предводители дворянства, члены земскихъ управъ и вообще представители такъ-называемыхъ дирижирующихъ классовъ — и тѣ какъ-то нерѣшительно и до чрезвычайности разнообразно отвѣчаютъ на вопросъ: что̀ такое государство? Одни смѣшиваютъ его съ отечествомъ, другіе — съ закономъ, третьи — съ казною, четвертые — громадное большинство — съ начальствомъ. Одни, чтобъ отдѣлаться отъ вопроса, прибѣгаютъ къ нагляднымъ примѣрамъ: Швеція — государство, Великобританія — государство, Франція — государство и проч. Другіе говорятъ: государство! смѣшно даже спрашивать что̀ такое государство! Третьи таращатъ глаза, точно ихъ сейчасъ разбудили. А если, сверхъ того, предложить еще вопросъ: какую роль играетъ государство въ смыслѣ развитія и преуспѣянія индивидуальнаго человѣческаго существованія? то отвѣтомъ

на это, просто-на-просто, является растерянный видъ, сопровождаемый неосмысленнымъ бормотаніемъ. Однимъ словомъ, изъ всего видно, что выраженіе «государство» даже въ понятіяхъ массы культурныхъ людей не представляетъ ничего опредѣленнаго, а просто принадлежитъ къ числу словъ, случайно вошедшихъ въ общій разговорный языкъ и силою привычки укоренившихся въ немъ. А такъ какъ съ подобнаго рода словами обыкновенно обращаются очень неряшливо, то выходитъ, что выраженіе, само по себѣ требующее опредѣленія, дѣлается, вслѣдствіе частаго употребленія, опредѣляющимъ, дающимъ окраску цѣлой совокупности жизненныхъ подробностей. Изъ кореннаго слова «государство» являются производныя: «государственность», «государственный», которыми предводители дворянства щеголяютъ въ клубахъ и на земскихъ собраніяхъ безъ малѣйшаго стѣсненія, точно такъ, какъ бы слова эти были совершенно для нихъ понятны.

Но ежели такая смута въ понятіяхъ о государствѣ господствуетъ въ дирижирующихъ классахъ общества, то что же должны мы ожидать отъ непросвѣщенной черни! Увы! здѣсь представленіе объ этомъ важномъ предметѣ уже до такой степени отсутствуетъ, что трудно даже вообразить себѣ простолюдина, произносящаго слово «государство». Простолюдинъ, конечно, знаетъ, что надъ нимъ поставленъ становой приставъ и что въ извѣстные сроки онъ обязанъ уплачивать подати и повинности, но какую роль во всемъ этомъ играетъ государство — этого онъ не знаетъ. Въ этомъ отношеніи, передъ нимъ вѣчно стоитъ какое-то загадочное пространство, въ которое онъ тревожно вперяетъ взоры, но ничего, кромѣ станового и повинностей, различить не можетъ.

Благодаря этой путаницѣ, мы вспоминаемъ о государствѣ (и даже не о государствѣ, въ собственномъ

смыслѣ этого слова, а о чемъ-то подходящемъ къ нему) лишь тогда, когда насъ требуютъ въ участокъ для расправы. Что же касается до обыденной жизненной практики, то, кромѣ профессоровъ, читающихъ съ каѳедры лекціи государственнаго права, да школьниковъ, обязанныхъ слушать эти лекціи, врядъ ли кто-нибудь думаетъ о той высшей правдѣ, осуществленіемъ которой служитъ государство и служенію которой должна быть всецѣло посвящена жизнь обывателей. Всякій живетъ и прозябаетъ по своему, самъ по себѣ, и дѣлаетъ свое маленькое дѣло совершенно независимо отъ государственныхъ соображеній. Сапожнику, тачающему сапоги, даже и на умъ никогда не придетъ, что его работа (да и вообще вся его жизнь) имѣетъ какое-нибудь отдаленное отношеніе къ тому общему строю вещей, которое носитъ названіе государства. Много, много, ежели онъ сознаётъ связь своей жизни съ мѣстнымъ квартальнымъ надзирателемъ, да и то не съ квартальнымъ надзирателемъ вообще, а именно съ Иваномъ Иванычемъ, который поступилъ на мѣсто Петра Петровича и увеличилъ дани вдвое. Поэтому, въ такихъ захолустьяхъ, куда квартальные не заглядываютъ вовсе, обыватели доходятъ до того, что вспоминаютъ о своей прикосновенности къ чему-то болѣе обширному и для нихъ загадочному только въ минуты уплаты податей и повинностей. И вспоминаютъ, конечно, невесело. Въ городахъ и въ мѣстахъ болѣе населенныхъ эта неряшливость сказывается, конечно, въ меньшей степени; но, вѣдь, и здѣсь, какъ уже упомянуто выше, руководящею нитью обывательской жизни, всетаки, служатъ взгляды и требованія ближайшаго начальства, а отнюдь не мысль о государствѣ. Да и сами квартальные надзиратели, развѣ они, заставляя, напримѣръ, обывателей очищать дворы отъ навоза, сознаютъ, что этимъ

удовлетворяютъ высшей правдѣ, осуществляемой государствомъ? Нѣтъ; они исполняютъ это, вопервыхъ, потому, что такъ приказываетъ начальство, и, вовторыхъ, потому, что выполненіе приказаній начальства есть ихъ ремесло. А на вопросъ: что̀ такое государство? могутъ точно такъ же, какъ и прочіе обыватели, отвѣчать только вздрагиваніемъ. Начальство же съ своей стороны...

Здѣсь я остановлюсь. Я знаю, мнѣ могутъ сказать, что я отсталъ отъ своего вѣка, что то, что̀ я говорю объ отсутствіи чувства государственности въ квартальныхъ надзирателяхъ, относится къ дореформенному времени и что, напротивъ того, нынѣшнее поколѣніе квартальныхъ надзирателей очень тонко понимаетъ, чему оно служитъ и какой идеи является представителемъ. На это я могу отвѣтить слѣдующее: я не выдаю своихъ мнѣній за безусловно истинныя и первый буду очень радъ успѣхамъ господъ квартальныхъ надзирателей на поприщѣ государственности, ежели успѣхи эти будутъ доказаны. Но, признаюсь откровенно, я боюсь, что упомянутое сейчасъ возраженіе основано на недоразумѣніи и что характеристическою чертою настоящаго времени является не столько знаніе интересовъ и нуждъ государства и безкорыстное служеніе имъ, сколько самоувѣренная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знаніемъ, гдѣ раки зимуютъ, и надеждою на повышеніе. Согласитесь, что между тѣмъ и другимъ имѣется разница довольно существенная.

А между тѣмъ, путаница въ понятіяхъ производитъ путаницу и въ практической жизни. Тутъ мы на каждомъ шагу встрѣчаемся и съ взяточничествомъ, и съ наглѣйшимъ обираніемъ казны, и съ полнымъ равнодушіемъ *къ уплатѣ* податей, и, наконецъ, съ особымъ явленіемъ,

извѣстнымъ подъ именемъ сепаратизма. И все — вслѣдствіе неясности нашихъ представленій о государствѣ.

Обратитесь къ первому попавшему на глаза чиновнику-взяточнику и скажите ему, что дѣйствія его дискредитируютъ государство, что по милости его страдаетъ высшая идея правды и справедливости, оберегать которую призванъ сенатъ и государственный совѣтъ — онъ посмотритъ на васъ такими удивленными глазами, что вы, навѣрное, скажете себѣ: да, этотъ человѣкъ беретъ взятки единственно потому, что онъ ничего не слыхалъ ни о государствѣ, ни о высшей идеѣ правды и справедливости. И дѣйствительно, все, что онъ знаетъ по этому предмету, заключается лишь въ слѣдующемъ: 1) что дѣйствія его противорѣчатъ такой-то статьѣ уложенія о наказаніяхъ и, буде достаточно изобличены, подлежатъ такой-то карѣ; 2) что прежде, нежели подпасть этой карѣ, нужно его судить, а прежде, нежели судить, нужно еще предать суду; 3) что, слѣдовательно, взятки надо брать съ осторожностью, а паче всего надѣяться на милосердіе начальства, отъ котораго зависитъ преданіе суду. Спрашивается: при чемъ же тутъ государство?

То же самое замѣчаніе, и даже съ бо́льшимъ основаніемъ, можетъ быть примѣнено и къ той категоріи преступныхъ дѣйствій, которая извѣстна подъ названіемъ казнокрадства. Государство такъ часто продается за грошъ, и, притомъ, такъ простодушно продается, что даже исторія уже не слѣдитъ за подобными дѣяніями и не заноситъ ихъ на свои скрижали. Была горькая година въ жизни Россіи — година, во время которой шла рѣчь о ея значеніи въ сонмѣ европейскихъ государствъ и подвергалась сомнѣнію ея военная слова. И что жь! въ это самое время находились люди, которые ставили ополченцамъ сапоги съ картонными подметками, продавали въ

свою пользу воловъ, пожертвованныхъ на мясную порцію для нижнихъ чиновъ, снабжали солдатъ кремневыми ружьями, въ которыхъ, вмѣсто кремня, была вставлена выкрашенная чурочка и т. д. И, въ то же время, эти люди нетолько не имѣли злодѣйскаго вида, но и сами себя не считали злодѣями. Они пили, ѣли, провозглашали тосты, устроивали фестивали и даже очень искренно молились въ церквахъ о ниспосланіи побѣды и одолѣнія тѣмъ самымъ ратникамъ, которыхъ сейчасъ спустили по морозцу на картонныхъ подошвахъ. Ужели можно предположить, что, поступая такимъ образомъ, эти люди понимали, что они обездоливаютъ и продаютъ то самое государство, которое ихъ пріютило, поставило подъ защиту своихъ законовъ и даже дало средства нажиться? Нѣтъ, предположить это значило бы допустить въ людяхъ такую нравственную одичалость, которая сдѣлала бы немыслимымъ существованіе человѣческаго общества. Скорѣе всего упомянутые казнокрады отъ того такъ дѣйствовали, что не имѣли никакого понятія ни о ключахъ отъ храма гроба Господня, ни объ устьяхъ Дуная, которыми разрѣшился вопросъ объ ключахъ, ни объ отношеніи этихъ вопросовъ къ русскому государству. Они дѣйствовали совершенно простодушно, полагая, что обездоливаютъ совсѣмъ не государство, а только казну. А о казнѣ-матушкѣ даже пословица такая сложилась, которая доказываетъ, до какой степени велико ея долготерпѣніе.

Затѣмъ, что̀ касается уплаты податей и повинностей, то всѣ плательщики на этотъ счетъ единодушны. Всѣ уплачиваютъ что нужно, и въ тайнѣ, всетаки, думаютъ, что не платить было бы не въ примѣръ лучше. Рѣдкій понимаетъ, что своевременное и безнедоимочное очищеніе окладныхъ листовъ есть дѣло государственной важ-

ности; большинство же исповѣдуетъ то мнѣніе, что казна и безъ того богата.

Наконецъ, если мы всмотримся ближе въ причины, обусловливающія такое явленіе, какъ сепаратизмъ, то легко увидимъ, что и тутъ главную роль играетъ неясность понятій о государствѣ: многіе смѣшиваютъ понятіе о государствѣ съ понятіемъ о родинѣ и даже о родной колокольнѣ; другіе приходятъ въ смущеніе вслѣдствіе частыхъ измѣненій государственныхъ граничныхъ рубежей. И ежели для вразумленія первыхъ достаточно домашнихъ мѣръ, то вторые не мало-таки причиняютъ безпокойствъ серьёзнымъ людямъ, завѣдывающимъ дѣлами Европы. Достаточно указать на такія мѣстности, какъ альпійское побережье Средиземнаго моря, Шлезвигъ и, наконецъ, Эльзасъ и Лотарингію. Всѣ эти мѣстности кишатъ людьми, которые, несмотря на увѣренія, что понятіе о государствѣ есть понятіе безразличное, независимое ни отъ національностей, ни даже отъ историческихъ преданій, никакъ не могутъ понять, почему они обязаны съ такого-то момента считать *своимъ* государствомъ Францію, а не Италію, Германію, а не Данію и не Францію. Единственное въ этомъ отношеніи исключеніе составляетъ Ташкентъ, но и то не потому, чтобы тамъ идеи о государствѣ были очень ясны, но потому, что правда, осуществлявшаяся въ лицѣ автобачей, не въ примѣръ менѣе доброкачественна, нежели правда, олицетвореніемъ которой явились русскіе уѣздные исправники.

Однимъ словомъ, какъ-то такъ выходитъ, что мы точно съ такимъ же правомъ называемъ себя членами государства, съ какимъ пустосвяты называютъ себя людьми религіи. Конечно, такое положеніе вещей не составляетъ новости (и въ прежнія времена, въ этомъ отношеніи,

не лучше было), но ново то, что оно начинаетъ пробуждать пытливость человѣческаго ума. Покуда люди жили «безъ тоски, безъ думы роковой», до тѣхъ поръ и столпы стояли твердо и прямо. Становые брали взятки, подрядчики надували и обирали казну, крестьяне копили недоимки, сепаратисты говорили: нѣтъ, никогда москалямъ не пивать такихъ водокъ, какъ наши малороссійскія сливянка и запеканка! и, за всѣмъ тѣмъ, никому не приходило на мысль, что отъ этого можетъ страдать государство. Но вотъ консерваторы первые замѣтили, что есть въ этомъ положеніи вещей что-то неладное и, разумѣется, приписали это интригамъ злонамѣренныхъ людей. Это было съ ихъ стороны и неосторожно, и неполитично. Консерваторы лучше другихъ должны были понимать, что есть вещи, которыя слѣдуетъ молчаливо оставлять предметомъ боязливаго культа, даже и въ такомъ случаѣ, еслибъ интрига (притомъ же, существующая только въ воображеніи) и дѣйствительно направляла противъ нихъ свое жало.

Но особенную дикость понятій относительно значенія слова «государство» выказываютъ у насъ женщины. Вообще, онѣ у насъ бойки только по части разговоровъ о томъ, какое чувство слаще — любовь или дружба, или о томъ, какую роль игралъ кринолинъ въ исторіи женскаго преуспѣянія. Тѣмъ не менѣе, ежели вы спросите, напримѣръ, княжну Оболдуй-Тараканову, на какую монету купецъ дастъ больше яблокъ — на гривенникъ или на цѣлковый, то, быть можетъ, найдутся свѣтлыя минуты, когда она и отвѣтитъ на этотъ вопросъ. Но спросите ее: что такое государство? — и она, вопервыхъ, струситъ, а, вовторыхъ, заподозритъ въ васъ или демагога, или

шпіона. Она нетолько ничего тутъ не понимаетъ, но и считаетъ лишнимъ понимать. И въ своей обыденной жизни поступаетъ совершенно такъ, какъ бы не была связана никакими государственными узами.

А между тѣмъ, замѣтьте, княжна — совсѣмъ не рядовая дѣвица изъ тѣхъ, которыя хохочутъ, когда имъ показываютъ палецъ (имена ихъ Ты, Господи, вѣси!). Нѣтъ, было время, когда она называла себя консерваторкой и въ этомъ качествѣ дѣлала изъ окна ручкой проѣзжему кавалергарду и выходила гулять не иначе, какъ въ сопровожденіи ливрейнаго лакея. Теперь она называетъ себя нигилисткой и, въ согласность съ этимъ, постукиваетъ по тротуару каблучками, говоритъ о трудовой жизни и кавалергардовъ называетъ пустоплясами. Стало быть, на ней, всетаки, что̀-нибудь да отражается, и она понимаетъ, что выражать собою—нѣчто пріятнѣе, нежели не выражать ровно ничего.

Но ежели даже такая женщина, какъ княжна Оболдуй-Тараканова, не можетъ дать себѣ надлежащаго отчета ни въ томъ, что̀ она охраняетъ, ни въ томъ, что̀ отрицаетъ, то что̀ же можно ждать отъ того несмѣтнаго легіона обыкновенныхъ женщинъ, изъ котораго, безъ всякой предвзятой мысли, но съ изумительнымъ постоянствомъ бросаются палки въ колеса человѣческой жизни? Нѣсколько примѣровъ, взятыхъ изъ обыденной жизненной практики, лучше всего отвѣтятъ на этотъ вопросъ.

Въ молодости я зналъ одну почтенную старушку (фамилія ея была Терпугова), обладательницу значительнаго имѣнія и большую охотницу до гражданскихъ процессовъ, которая до смерти своей прожила въ полномъ невѣдѣніи о «государствѣ», несмотря на то, что самъ губернаторъ, встрѣчаясь съ нею, считалъ долгомъ цѣловать у нея ручку. И ни домашнее ея хозяйство, ни душевная ясность

ея никогда не потерпѣли ни малѣйшаго ущерба отъ этого пробѣла. Она жила, распоряжалась, кормила чиновниковъ обѣдами, выдавала беременныхъ дѣвокъ замужъ за мужиковъ въ дальныя деревни, содержала цѣлую стаю приказныхъ, которые именемъ ея вели тяжебныя дѣла въ судахъ, и никогда ей даже на мысль не приходило, что она живетъ и дѣйствуетъ такимъ образомъ — въ государствѣ.

Однажды, пріѣзжаетъ къ ней въ побывку сынъ, молодой человѣкъ, только лѣтъ пять тому назадъ покинувшій школьную скамью, и объявляетъ, что онъ уже получилъ мѣсто обер-секретаря въ сенатѣ.

— Я, маменька, хоть и молодъ, похвастался онъ: — но начальство любитъ и отличаетъ меня. Теперь я въ своей экспедиціи—все. Сенаторы будутъ дремать, а всѣ дѣла буду рѣшать—я! Согласитесь сами, что въ двадцать пять лѣтъ это—штука не маленькая!

— Ну, вотъ и слава Богу! отвѣчала почтенная старушка:—теперь, стало быть, ты какъ захочешь, такъ и будешь рѣшать! А у меня кстати съ птенцовскими мужиками дѣло объ лугахъ идетъ; двадцать лѣтъ длится — ни взадъ, ни впередъ! То мнѣ отдадутъ во владѣнье, то опять у меня отнимутъ и имъ отдадутъ. Да этакъ разъ съ десять ужь. А теперь, по крайности, хоть конецъ будетъ: какъ тебѣ захочется, такъ ты и рѣшишь.

Какъ ни упоенъ былъ молодой человѣкъ собственнымъ величіемъ, но и у него отъ маменькиныхъ словъ дыханіе въ зобу сперло.

— Помилуйте, маменька! воскликнулъ онъ: — вѣдь, я не затѣмъ обер-секретаремъ сдѣланъ, чтобы свои дѣла въ свою пользу рѣшать! Вѣдь, меня за это...

— А ты, мой другъ, потихоньку! Разумѣется, со вся-

кимъ встрѣчнымъ объ такихъ дѣлахъ не слѣдъ болтать, а такъ, слегка... какъ будто тебя не касающе...

— Не касающе! Да самъ-то я буду же знать! Ахъ, маменька, маменька! я, вѣдь, не личнымъ своимъ интересамъ, а государству служу.

— Такъ что жь что государству! Государство — само по себѣ, а свои дѣла—сами по себѣ. Объ своихъ дѣлахъ всякій долженъ радѣть: грѣхъ великій у того на душѣ, который объ устройствѣ своемъ не печется! Ты знаешь ли, что въ писаніи-то сказано: имущему прибавится, а у неимущаго и послѣднее отнимется!

— Да, но вѣдь это, голубушка, совсѣмъ не въ томъ смыслѣ сказано!

— Въ томъ ли смыслѣ, или въ другомъ — это, какъ хочешь, такъ и можешь понимать. А только я всегда, и какъ мать, и какъ христіанка, скажу: кто объ своихъ дѣлахъ не радѣетъ, тотъ—и Богу не слуга.

На первый разъ разговоръ этимъ кончился. Но такъ какъ за нимъ скрывались интересы очень существенные, то онъ возобновился и на другой день, и вообще повторялся въ теченіи всѣхъ двадцати-восьми дней, покуда длился отпускъ Терпугова. Молодой человѣкъ нарочно пріѣхалъ къ старухѣ-матери, чтобы обрадовать ее своимъ возвышеніемъ, и вдругъ, вмѣсто радости, чуть-было не сдѣлался причиной цѣлаго семейнаго переполоха! Тщетно старался онъ втолковать старухѣ, что такое государство, и почему чувство государственности должно имѣть верхъ надъ чувствомъ индивидуализма—почтенная женщина на всѣ его толкованія отвѣчала одними и тѣми же словами:

— Знаю я, батюшка! Десять лѣтъ сряду за убылыя души плачу—очень хорошо знаю! Кого въ солдаты, кого въ ратники взяли, а кто и самъ собой померъ—а я плати

да плати! Россія-матушка — вотъ тебѣ государство! Не маленькая я, что ты меня этимъ словомъ тычешь! Знаю, ахъ, какъ давно я его знаю!

— Но ежели вы, маменька, знаете...

— Знаю и, всетаки, говорю: государство тамъ какъ хочетъ, а свои дѣла впереди всего! А объ птенцовскихъ лугахъ такъ тебѣ скажу: ежели ты ихъ себѣ не присудишь, такъ лучше и усадьбу, и хозяйство—все зараньше нарушь! Плохо, мой другъ, то хозяйство, гдѣ скота заведено пропасть, а кормить его нѣчѣмъ!

Кончилось тѣмъ, что восторжествовалъ, всетаки, индивидуализмъ, а государственность должна была уступить. Правда, что Терпуговъ оставлялъ поле битвы понемногу: сначала просто потому, что говорить о пустякахъ не стоило, потомъ потому, что надо же старушку чѣмъ-нибудь почтить; но, наконецъ, разговаривая да разговаривая, и самъ вошелъ во вкусъ птенцовскихъ луговъ.

— А что, въ самомъ дѣлѣ! разсудилъ онъ:—вѣдь, безъ птенцовскихъ луговъ, пожалуй, и плохо придется? Ну, самъ я, положимъ... ну, конечно, я самъ ни за что!.. А кого бы, однакожь, попросить, чтобъ это дѣло направить? То-то старушка обрадуется!

И дѣйствительно, года черезъ два процессъ о птенцовскихъ лугахъ былъ конченъ...

Другой примѣръ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, женился мой однокашникъ и другъ, Володя Гороховъ. Жена его—очень милая особа, только-что вышедшая изъ института (съ шифромъ) и наивная до безконечности. Однако, медовый мѣсяцъ ей понравился. Къ сожалѣнію, Гороховъ состоитъ на государственной службѣ и, въ качествѣ столоначальника департамента Препонъ, очень хорошо помнитъ мудрое изреченіе: «дѣлу—время, потѣхѣ — часъ». Это изреченіе

имѣлъ онъ въ виду и при женитьбѣ, а именно: выпросился въ двадцати-восьми дневный отпускъ съ тѣмъ, чтобы всецѣло посвятить это время потѣхѣ, а затѣмъ съ свѣжею головой приняться за дѣло.

Сказано-сдѣлано. На двадцать девятый день, утромъ, проснулась Наденька Горохова — хвать, мужа простылъ и слѣдъ! Живо надѣла она на босу ногу туфельки и въ одной кофточкѣ тихо-тихо подкралась къ мужнину кабинету. О ужасъ! онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ совсѣмъ одѣтый и строчилъ докладную записку «о мѣрахъ къ пресѣченію распространенія идей между инородцами, населяющими Мамадышскій Уѣздъ». И передъ нимъ, и по обоимъ бокамъ лежали развернутыя объемистыя дѣла, въ которыя онъ заглядывалъ съ видимымъ нетерпѣніемъ, какъ будто они стѣсняли полетъ его административной фантазіи. Но, что важнѣе всего, онъ до такой степени углубился въ свою работу, что нетолько не *почувствовалъ* присутствія Наденьки, но даже не слыхалъ приближенія ея шаговъ.

На одно мгновеніе, въ бѣлокурой головкѣ Наденьки промелькнула мысль: обидѣться ей или нѣтъ? Но, къ чести ея должно сказать, что она перемогла себя и не обидѣлась. Потихоньку, на цыпочкахъ, приблизилась она къ креслу, на которомъ сидѣлъ мужъ и зажала ему глаза своими крошечными ручками. Сюрпризъ засталъ Володю немного врасплохъ (въ эту минуту онъ только-что началъ загибать фразу: «слѣдовательно, ежели съ одной стороны злоумышленники...»), и на мгновеніе онъ даже поморщился. Но именно только на одно мгновеніе, потому что тотчасъ же вслѣдъ за этимъ онъ очень нѣжно отнялъ отъ глазъ ручки жены, поцѣловалъ ихъ и тономъ радостнаго изумленія сказалъ:

— Какъ! ты ужь и встала, Наденька?

— И онъ говоритъ это... безсовѣстный! Ушелъ — и думаетъ, что я не почувствую! А какъ мнѣ, Володька, безъ тебя было холодно! Сейчасъ же бери меня на колѣнки и согрѣй!

— Но, Наденька, ты знаешь... Сегодня срокъ моему отпуску; я долженъ явиться въ департаментъ, и вотъ докладная записка...

— Уже?! воскликнула Наденька.

Только всего она и сказала, но въ голосѣ ея звучало такое горе, что Гороховъ тревожно взглянулъ на нее. На голубыхъ ея глазкахъ дрожали двѣ маленькія слезинки, щечки пылали, ротикъ полураскрылся подъ вліяніемъ горестнаго изумленія. Словомъ сказать, никогда она не была такъ очаровательна. Но Гороховъ былъ столоначальникъ всѣмъ естествомъ своимъ, и, притомъ, такой столоначальникъ, который съ минуты на минуту ждалъ, что его позовутъ въ кабинетъ директора и скажутъ: не хотите ли мѣсто начальника отдѣленія? Поэтому, даже въ такую опасную минуту, когда кофточка на груди у Наденьки распахнулась — даже и тогда онъ не могъ выжать изъ своихъ мозговъ иной мысли, кромѣ: дѣлу — время, потѣхѣ — часъ. Тѣмъ не менѣе, онъ понялъ, что нужно же какъ-нибудь утѣшить это милое дитя, которое такъ скоро зябнетъ въ его отсутствіи. Поэтому, онъ шутливо искривилъ губы, на манеръ актёра Пронскаго, и сказалъ:

— А ты какъ думала, дурочка? Вѣдь я на государственной службѣ состою и, слѣдовательно, несу извѣстныя обязанности. Государство, мой другъ, не шутитъ. Оно уволило меня на двадцать восемь дней, а на двадцать девятый день требуетъ, чтобъ я былъ на своемъ посту. Ступай же, ангелъ мой, и постарайся заснуть! Въ десять часовъ я тебя разбужу, ты нальешь мнѣ чаю, и

въ одиннадцать часовъ я беру шляпу и спѣшу въ департаментъ!

Но она стояла неподвижно, раскрывши глазки, въ которыхъ словно застыли двѣ слезинки, появившіяся еще въ началѣ семейной сцены. Казалось, она ровно ничего не понимала въ томъ сумбурѣ, который бормоталъ ея мужъ.

— Неужели?! тихо шептала она, покуда мужъ разводилъ свою канитель.

— Что̀ такое: «неужели»? обидѣлся онъ.

— Неужели ты уже промѣнялъ меня .. *меня!..* на эти дрянныя бумаги? вырвался изъ груди ея вопль.

— Но неужели же ты не можешь понять, что сегодня истекаетъ срокъ моему отпуску? Наденька! да пойми же меня, мой другъ! Я состою на службѣ; я служу не какому-нибудь частному лицу, а государству... Государству, голубчикъ мой, государству!

— Ахъ, это противное государство!

Гороховъ улыбнулся и обнялъ Наденьку за талію. Онъ понималъ тайну Наденькиныхъ восклицаній и не безъ основанія надѣялся, что съ той минуты, какъ онъ назвала государство противнымъ, дѣло непремѣнно должно пойти на ладъ. И дѣйствительно, какъ только Наденька почувствовала, что онъ гладитъ ее по спинѣ, такъ тотчасъ же всѣ ея сомнѣнія разсѣялись. Черезъ минуту она уже обвивала руками его шею, и говорила:

— Володька! гадкій! противный! не смѣй бумагами заниматься! Цѣлуй меня! крѣпче... вотъ такъ!

Это было такъ мило, что даже вошедшій въ эту минуту въ кабинетъ лакей Иванъ — и тотъ не могъ удержаться, чтобъ не улыбнуться.

На этотъ разъ размолвка кончилась благополучно. Правда, что Гороховъ, вмѣсто надлежащихъ развитій,

наскоро закончилъ свой докладъ такъ: «посему, я полагаю раздѣлить сихъ людей на три категоріи: первую — раззорить, вторую—расточить, третью—выдержавъ при полиціи, водворить въ мѣста жительства подъ строгій надзоръ. И тогда край несомнѣнно процвѣтетъ»—но, всетаки, онъ поспѣлъ въ департаментъ какъ разъ за пять минутъ до того, какъ прибылъ туда директоръ. Директоръ принялъ его милостиво, пристально посмотрѣлъ ему въ глаза, какъ будто отъискивалъ тамъ слѣды чего-то и, взявъ изъ его рукъ докладную записку, дружески молвилъ:

— Впрочемъ, я думаю, едва ли вы были въ состояніи дать моимъ мыслямъ надлежащее развитіе. Въ вашемъ положеніи... столь важная перемѣна въ жизни... Поздравляю васъ, мой другъ! отъ души поздравляю!

Несмотря на такой исходъ, государственная карьера Горохова была уже подорвана. Миръ былъ заключенъ, но на условіяхъ очень и очень не легкихъ. Наденька потребовала, вопервыхъ, чтобы въ кабинетѣ мужа была поставлена кушетка; вовторыхъ, чтобы Володька, всякій разъ, какъ идетъ въ кабинетъ заниматься, переносилъ и ее туда на рукахъ и клалъ на кушетку, и втретьихъ, чтобы Володька, всякій разъ, какъ Наденькѣ вздумается, сейчасъ же бросалъ и свои гадкія бумаги, и свое противное государство, и садился къ ней на кушетку.

Понятно, что, при такомъ положеніи вещей, никакія идеи надлежащаго развитія получить не могли.

Результатъ оказался плачевный. Мало-по-малу, Гороховъ совсѣмъ утратилъ довѣріе начальства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и надежду на полученіе мѣста начальника отдѣленія. И вотъ, надняхъ встрѣчаю я его на Невскомъ: идетъ сумрачный, повѣсивъ голову, какъ человѣкъ, у котораго на душѣ скребутъ мыши, но который, въ то же время, уже принялъ неизмѣнное рѣшеніе.

— Поздравь меня! я сейчасъ въ отставку подалъ! сказалъ онъ мнѣ.

— Что̀ такъ? Помилуй! вотъ чего бы я никогда не ожидалъ! Такая блестящая карьера предстояла впереди— и вдругъ!

— Карьера моя... то бишь, семейное мое положеніе... фу ты! Словомъ сказать не клеится тутъ что̀-то, мой другъ! Быть можетъ, впослѣдствіи... со временемъ... Прощай, голубчикъ!

И такимъ образомъ, благодаря Наденькѣ, государство лишилось одного изъ лучшихъ слугъ своихъ. И на этотъ разъ, узкій индивидуализмъ побѣдилъ государственность. Спрашивается: могла ли бы Наденька такимъ образомъ поступать, еслибы въ институтѣ ей было своевременно преподано ясное и отчетливое понятіе о томъ, что̀ такое государство? Но, увы! не о государствѣ и его требованіяхъ толковали ей, а на всѣ лады пѣли:

L'amour—qu'est que c'est que ça, mam'selle?
L'amour—qu'est que c'est que ça?

И вотъ плоды.

Третій примѣръ.

Кормилицу мою, семидесятилѣтнюю старуху Домну, Богъ благословилъ семействомъ. Двѣнадцать человѣкъ дѣтей у нея, все — сыновья, и всѣ, какъ на подборъ — одинъ другого краше. И вотъ, какъ только, бывало, пройдетъ въ народѣ слухъ о наборѣ, такъ старуха начинаетъ тосковать. Четырехъ сыновъ у нея въ солдаты взяли, двое послужили въ ополченцахъ. Теперь очередь доходитъ до внуковъ. Плачетъ старуха, убивается каждый разъ, словно по покойникѣ воетъ.

— Вотъ и Богъ благословилъ, а радости нѣту! жалуется она мнѣ.

— Напротивъ того, урезониваю я ее:—есть радость,

и даже большая. Дѣти твои государству послужатъ, и этого одного достаточно, чтобъ утѣшить тебя въ разлукѣ съ ними.

И я начинаю ей разъяснять, какъ, что̀ и почему; но, по мѣрѣ того, какъ развиваются мои разъясненія, я и самъ незамѣтнымъ образомъ сбиваюсь съ толку. Вмѣсто того, чтобъ пропагандировать чистую идею государственности, я ударяюсь въ околичности, привожу примѣры, доказывающіе, что многіе солдаты до генеральскихъ чиновъ дослужились, а больше, конечно, до чина прапорщичьяго.

— Такъ-то та̀къ, возражаетъ старуха: — да что̀ радости! вотъ у Петра Васильича сынъ-офицеръ изъ полку пріѣхалъ, взялъ да отца по шеѣ изъ дома и выгналъ!

И затѣмъ опять начинается вой, вой безъ конца, вой, который нельзя утолить ни увѣщаніями, ни государственными соображеніями. Не понимаетъ глупая баба—и все тутъ!

Я могъ бы привести такихъ примѣровъ множество, но думаю, что достаточно и трехъ.

Быть можетъ, мнѣ скажутъ: все это — женщины, которымъ, по неразумію, многое прощается?

Позвольте, господа! Откупщики—развѣ женщины? желѣзнодорожные дѣятели—развѣ женщины? Да и сами женщины — развѣ онѣ не по образу и подобію Божію созданы, хотя бы и изъ ребра Адамова?

Нѣтъ! я знаю одно: въ бывалыя времена, когда еще чудеса дѣйствовали, поступки и рѣчи, подобные тѣмъ, которые указаны выше, навѣрное не остались бы безъ должнаго возмездія. Либо земля разверзлась бы, либо огонь небесный опалилъ бы—словомъ сказать, непремѣнно что̀-нибудь да случилось бы въ предостерегательномъ и назидательномъ тонѣ. Но ничего подобнаго мы

нынче не видимъ. Люди на каждомъ шагу самымъ несомнѣннымъ образомъ попираютъ идею государственности, и земля не разверзается подъ ними. Что же это означаетъ, однакожь?

Я знаю, впрочемъ, что нетолько иностранцы, но и многіе русскіе смотрятъ на свое отечество, какъ на Украйну Европы, въ которой было бы даже странно встрѣтиться съ живымъ чувствомъ государственности. Нельзя и ожидать, говорятъ они, чтобы оголтѣлые казаки сознавали себя живущими въ государствѣ; не здѣсь нужно искать осуществленія идеи государственности, а въ настоящей, заправской Европѣ, гдѣ государство является продуктомъ собственной исторіи народовъ, а не случайною административною поддѣлкой, устроенной ради наибольшей легкости административныхъ воздѣйствій.

Къ сожалѣнію, возраженіе это дѣлается больше по наслышкѣ, причемъ теоретическая разработка идеи государства, всепроникающаго и всеобъемлющаго, смѣшивается съ ея примѣненіемъ на практикѣ.

Несомнѣнно, что наука о государствѣ доведена на западѣ Европы до крайнихъ предѣловъ; правда и то, что всѣ усилія предержащихъ властей направлены къ тому, чтобъ воспитать въ массахъ сознаніе, что существованіе человѣка немыслимо иначе, какъ въ государствѣ, подъ защитой его законовъ, для всѣхъ равно обязательныхъ и всѣмъ равно покровительствующихъ. Представительными собраніями издано великое множество положеній, которыя до мельчайшихъ подробностей опредѣляютъ отношенія индивидуума къ государству; съ другой стороны, учеными издано не меньшее количество трактатовъ, въ которыхъ съ послѣднею убѣдительностью доказывается, что внѣ го-

сударства нѣтъ ни справедливости, ни обезпеченности, ни цивилизаціи. Зная и видя все это, конечно, ничего другого не остается, какъ радоваться и восклицать: вотъ благословенныя страны, для которыхъ ничто не остается неразъясненнымъ! вотъ счастливые люди, которые могутъ съ горделивымъ сознаніемъ сказать себѣ, что каждый ихъ поступокъ, каждый шагъ проникнутъ идеей государственности!

Но есть одно обстоятельство, которое въ значительной степени омрачаетъ эту прекрасную внѣшность. Обстоятельство это — глухая борьба, которая замѣчается всюду и существованіе которой точно такъ же не подлежитъ сомнѣнію, какъ и существованіе усилій къ ея подавленію. Трактаты пишутся, но читаются лишь самымъ незамѣтнымъ меньшинствомъ; законоположенія издаются, но не проникаютъ внутрь ядра, а лишь скользятъ по его поверхности. И здѣсь старуха Домна наполняетъ воздухъ своимъ воемъ и анти-государственными причитаніями.

Отношеніе массъ къ извѣстной идеѣ — вотъ единственное мѣрило, по которому можно судить о степени ея жизненности. Въ томъ еще нѣтъ ничего удивительнаго, что государственные люди и профессора государственнаго права имѣютъ совершенно отчетливое понятіе о значеніи государства въ жизни современныхъ обществъ. Это—ихъ ремесло, за которое они получаютъ соотвѣтствующее вознагражденіе. Можно бы даже и съ тѣмъ примириться, еслибъ съ ихъ стороны было меньше отчетливости, лишь бы массы отрѣшились отъ своей одичалости и, хотя до нѣкоторой степени (и притомъ, конечно, безъ вознагражденія), сообщили своимъ стремленіямъ и дѣйствіямъ характеръ сознательно-государственный. Но тутъ-то именно мы и встрѣчаемся съ тою же сумятицей, которая суще-

ствуетъ и у насъ, съ незначительными лишь видоизмѣненіями въ подробностяхъ.

Вотъ уже цѣлый годъ, какъ я скитаюсь за-границей: сперва жилъ въ южной Германіи, потомъ въ Парижѣ, и наконецъ, въ южной Франціи. И всѣ мои наблюденія сводятся къ слѣдующему: 1) люди культуры видятъ въ идеѣ государственности базисъ для извѣстнаго рода профессіи, дающей или прямыя выгоды въ видѣ жалованья, или выгоды косвенныя — въ видѣ преміи за принадлежность къ той или другой политической партіи, и 2) массы либо совсѣмъ игнорируютъ эту идею, либо относятся къ ней крайне робко и безалаберно. Я даже не думаю, чтобъ послѣднія почувствовали какое-нибудь безпокойство, еслибъ, напримѣръ, отбываніе воинской повинности — одна изъ существеннѣйшихъ прерогативъ государства — было объявлено навсегда упраздненнымъ.

Правда, что южная Германія — больное мѣсто имперіи, созданной войною 1870—71 г., но для наблюдателя важно то, что здѣсь даже рѣзкія перемѣны, произведенныя успѣхами Пруссіи, не помѣшали появленію нѣкоторыхъ симптомовъ, которые въ другихъ частяхъ новосозданнаго государства находится еще въ дремотномъ состояніи. Несмотря на замѣчательную ловкость прусскихъ государственныхъ людей и сильную поддержку, доставляемую имъ печатью, партикуляризмъ нетолько не успокоивается на югѣ Германіи, но, повидимому, съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе ожесточенный характеръ. Конечно (въ особенности, въ городахъ), и теперь встрѣчается не мало людей убѣжденныхъ, которыхъ восторгаетъ мысль о единствѣ и могуществѣ Германіи, о той неувядаемой славѣ, которою покрыло себя нѣмецкое оружіе, раздавивши «наслѣдственнаго врага», и о томъ прекрасномъ будущемъ, которое отнынѣ, по

праву, принадлежитъ нѣмецкому народу; но, вѣдь, эти люди представляютъ собою только газовый конецъ современной южно-германской дѣйствительности. Подъ ними и за ними стоятъ цѣлыя массы субъектовъ, изнемогающихъ подъ гнетомъ вопроса о насущномъ хлѣбѣ, субъектовъ; которые не вопрошаютъ ни прошедшаго, ни будущаго, но зато съ удивительною цѣпкостью хватаются за наличную дѣйствительность и очень безцеременно взвѣшиваютъ и сравниваютъ все, что взвѣшиванію и сравненію подлежитъ.

Пропаганда идеи о германскомъ единствѣ ведется уже такъ давно, что не могла обойти и людей насущнаго хлѣба. Имъ припоминали прогулки Наполеона I-го по Германіи и угрожали подобными же прогулками «наслѣдственнаго врага» въ ближайшемъ будущемъ. Имъ говорили объ общемъ германскомъ отечествѣ, которое тогда только будетъ въ состояніи противостать какимъ бы то ни было присоединительнымъ поползновеніямъ, когда оно сплотится въ единое, сильное и могущественное государство. Что только тогда они могутъ считать себя спокойными за свои семейства и за свою собственность, когда у нихъ не будетъ смѣшныхъ государствъ, въ родѣ Шаумбургъ-Липпе, о которыхъ ни одинъ путешественникъ не можетъ говорить иначе, какъ при помощи анекдотовъ. Что, тѣмъ не менѣе, снисходя къ ихъ человѣческой слабости, можно примирить партикуляризмъ съ объединеніемъ, оставивъ, рядомъ съ общимъ государствомъ, сильнымъ и неприступнымъ, и прежнія частныя государства. И что, такимъ образомъ, для нихъ откроется возможность имѣть разомъ «двѣ высшихъ правды и два вѣрныхъ подданства».

Изъ всего этого люди насущнаго хлѣба отнеслись сочувственно только къ надеждѣ быть спокойными за свою

собственность и за свои семейства; все прочее они выслушали ни сочувственно, ни несочувственно, потому что это прочее составляло для нихъ тарабарскую грамоту. Быть можетъ, нѣкоторымъ и приходилъ въ голову вопросъ: а въ какомъ положеніи будутъ подати и повинности? — но вопросъ этотъ уже потому одному остался безъ послѣдствій, что нѣкому было отвѣтить на него. Война была на носу, и потому все дѣлалось впопыхахъ. Не до разъясненій въ такія минуты, когда требуются деньги и солдаты, солдаты и деньги. Даже представители южно-германской культуры, которые нынче такъ ясно понимаютъ, что промѣняли кукушку на ястреба — и тѣ въ то время должны были молчать. Они находились въ очень фальшивомъ положеніи, ибо надъ ними тяготѣло подозрѣніе въ недостаткѣ сочувствія къ опасностямъ, угрожающимъ общему германскому отечеству.

Такимъ образомъ, и солдаты, и деньги были даны. И вотъ, въ одно прекрасное утро, баварцы, баденцы и проч. проснулись не просто королевскими, но императорско-королевскими подданными. Само собою разумѣется, что это привело ихъ въ восторгъ.

Но это былъ именно только восторгъ, слѣпой и внезапный, а отнюдь не торжество чувства государственности. Это было хмѣльное упоеніе славой побѣдъ, громомъ оружія, стонами побѣжденныхъ — упоеніе, къ которому, сверхъ того, въ значительной долѣ примѣшивалось и ожиданіе добычи, въ видѣ пяти милліардовъ.

Прошло не больше пяти лѣтъ, и путешественникъ уже съ изумленіемъ спрашиваетъ себя: куда дѣвались восторги? что̀ сдѣлалось съ недавнимъ упоеніемъ? гдѣ признаки того *добровольнаго* стремленія къ единству, въ жертву которому приносились солдаты и деньги, деньги и солдаты?

Ничего подобнаго нѣтъ и въ поминѣ. Вмѣсто восторговъ, мы видимъ полное господство низменныхъ интересовъ, вмѣсто добровольнаго стремленія къ успокоенію на лонѣ великаго, единаго государства — борьбу. Да, все политическое существованіе современной Германіи представляетъ отнюдь не торжество государства, а только сплошную борьбу во имя его. Борьбу съ партикуляризмомъ, борьбу съ католицизмомъ, борьбу съ соціалистическими порываніями — словомъ, со всѣмъ, что чувствуетъ себя утѣсненнымъ въ тѣхъ рамкахъ, которыя выработалъ для жизни идеалъ государства, скомпанованный въ Берлинѣ. Но спрашивается: можно ли считать осуществившеюся идею, которая имѣетъ уже за себя право сильнаго, но и за всѣмъ тѣмъ вынуждена бороться за свое существованіе? и можно ли назвать успѣшнымъ такое мѣропріятіе, которое выполняется только потому, что за невыполненіе его грозитъ кара?

Повторяю: покуда низменные, будничные интересы держатъ массы въ плѣну, до тѣхъ поръ для нихъ недоступна будетъ высшая идея правды, осуществляемая государствомъ. Нѣмецъ, ежели онъ не гелертеръ, не присяжный политикъ и не чиновникъ, есть обыватель по преимуществу. Онъ всецѣло преданъ идеѣ насущнаго хлѣба и тѣмъ подробностямъ, которыми эта идея обставлена; затѣмъ, всѣ отношенія его къ государству ограничиваются податями и солдатчиною. Подати имперія значительно увеличила, солдатчину сдѣлала общедоступною. Все это, конечно, необходимо, ради государства, ради его величія и славы, и въ Германіи на этотъ счетъ менѣе, нежели гдѣ-либо, можетъ быть недоразумѣній. Всякому извѣстно, что столько-то милліоновъ употреблено на заказъ пушекъ, столько-то на пріобрѣтеніе ружей новой системы, столько-то на постройку и вооруженіе крѣпо-

стей, и что все это необходимо на страхъ наслѣдственнымъ и ненаслѣдственнымъ врагамъ. Но когда люди думаютъ совсѣмъ о другомъ, то отъ нихъ самыя доказательныя убѣжденія отскакиваютъ, какъ отъ стѣны горохъ.

— Всѣ милліарды, уплаченные Франціей, употреблены на составленіе инвалиднаго фонда, да на вооруженія, да на дотаціи, а на развитіе промышленности ничего не попало! жалуется одинъ нѣмецъ.

— Прежде, мы солдатчины почти не чувствовали, а теперь даже болѣзнью отъ нея не отмолишься. У меня былъ сынъ; даже докторъ ему свидѣтельство далъ, что слабъ здоровьемъ — не повѣрили, взяли въ полкъ. И что̀ жь! шесть мѣсяцевъ его тамъ мучили, увидѣли, что малый дѣйствительно плохъ и прислали обратно. А онъ черезъ мѣсяцъ умеръ! вторитъ другой нѣмецъ.

— У насъ нынче въ школахъ только *завоеваніямъ* учатъ. Молодые люди о полезныхъ занятіяхъ и думать не хотятъ; все — «Wacht am Rhein» да «Kriegers Morgenlied» распѣваютъ! Что̀ изъ этого будетъ — одинъ Богъ знаетъ! разсказываетъ третій нѣмецъ.

— Всѣ наши соки Берлинъ сосетъ...

Понятно, что въ людяхъ, которые такимъ образомъ говорятъ, чувство государственности должно вполнѣ отсутствовать.

Во Франціи это̀ дѣло поставлено иначе. Тамъ партикуляризма, въ смыслѣ политической партіи, не существуетъ во̀все; борьба же съ католицизмомъ ведется совсѣмъ не во имя того, что онъ служитъ помѣхой для исполненія начальственныхъ предписаній, а во имя освобожденія человѣческой мысли отъ призраковъ, ее угнетающихъ. Сверхъ того, во Франціи, съ 1848 года, прак-

тикуется всеобщая подача голосовъ, которая, повидимому, должна бы непрестанно напоминать обывателямъ, вопервыхъ, о томъ, что они живутъ въ государствѣ, и, вовторыхъ, о томъ, что косвенно каждый изъ нихъ участвуетъ и въ выборѣ правителей страны, и въ самомъ управленіи ею.

Тѣмъ не менѣе, все это отнюдь не устраняетъ множества недоразумѣній, которыя и тутъ, какъ и вездѣ, ставятъ идею государства въ условія, весьма для нея неблагопріятныя.

Несмотря на нѣсколько революцій, во Франціи, какъ и въ другихъ странахъ Европы, стоятъ лицомъ къ лицу два класса людей, совершенно отличныхъ другъ отъ друга и по внѣшнему образу жизни, и по понятіямъ, и по темпераментамъ. Во главѣ государства стоитъ такъ-называемый правящій классъ, состоящій изъ уцѣлѣвшихъ остатковъ феодальной аристократіи, изъ адвокатовъ, литераторовъ, банкировъ, купцовъ и вообще всевозможныхъ наименованій буржуà. Внизу — кишитъ масса управляемыхъ, т. е. городскихъ пролетаріевъ и крестьянъ. И тотъ, и другой классы относятся къ государству совсѣмъ неодинаковымъ образомъ.

Въ средѣ правящихъ классовъ стремленіе къ государственности высказывается довольно опредѣленно. У буржуà государство не сходитъ съ языка, такъ что вы сразу чувствуете, что этотъ человѣкъ даже не можетъ мыслить себя внѣ государства, ибо слишкомъ хорошо понимаетъ, что это единственное его убѣжище противъ разнузданности страстей. Государство ограждаетъ его собственность; оно устроиваетъ въ его пользу тысячи разнообразнѣйшихъ удобствъ, которыя онъ никакъ не могъ бы имѣть, предоставленный самому себѣ; оно охраняетъ *его предпріятія* противъ завистливыхъ притязаній одича-

лыхъ массъ и, въ случаѣ надобности, встанетъ за него горой. Взвѣшивая всѣ эти выгоды и сравнивая ихъ съ тѣми жертвами, которыя государство, взамѣнъ ихъ, отъ него требуетъ, буржуà не можетъ не сознавать, что послѣднія почти ничтожны, и потому рѣдко ропщетъ по ихъ поводу (между прочимъ, онъ понимаетъ и то, что всегда имѣетъ возможность эти жертвы разложить на другихъ). И жизнь его течетъ легко и обильно, проникнутая сознаніемъ тѣхъ благъ, которыя изливаются на него государствомъ, и рѣшимостью стоять за него, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока этой рѣшимости не будетъ угрожать серьёзная опасность.

Но самая эта увѣренность въ возможности всегда найти для себя защиту подъ покровомъ государства имѣетъ свою невыгодную сторону. А именно: она дѣлаетъ буржуà самонадѣяннымъ и даже привередливымъ; она пріучаетъ его неряшливо относитьтя къ тому самому предмету, передъ которымъ онъ долженъ только благодарно благоговѣть. Убѣжденный, что будущее, во всякомъ случаѣ, принадлежитъ ему, буржуà уже не довольствуется тѣмъ, что у него есть государство, которое не дастъ его въ обиду, но начинаетъ разсуждать вкривь и вкось о формѣ этого государства и признаетъ законною только ту форму, которая ему люба. Есть буржуà монархисты, и есть буржуà республиканцы. Монархистовъ три сорта: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты; республиканцевъ тоже три сорта: лѣвый центръ, просто лѣвая сторона и, наконецъ, крайніе лѣвые. И всѣ эти прихотливые буржуà видятъ другъ въ другѣ смертельныхъ враговъ, предаются безпрерывнымъ взаимнымъ пререканіямъ и въ этихъ чисто внѣшнихъ эволюціяхъ доходятъ иногда до такого паѳоса, что издали кажется, не забыли ли они, что у всѣхъ у нихъ одна цѣль: чтобъ государство оставалось непри-

косновеннымъ и чтобъ буржуà былъ сытъ, стоялъ во главѣ и благодушествовалъ.

Изъ области государства дѣло переходитъ въ область вопроса о кличкахъ и о принадлежности тому или другому хозяину. Является предательство, измѣна, желаніе лучше утопить страну, нежели дать возможность восторжествовать противнику. Словомъ сказать, всѣ тѣ скандалы, которыми такъ обильно было существованіе недавно канувшаго въ вѣчность національнаго собранія и которые такъ ясно доказали, что политическая арена слишкомъ легко превращается въ арену для разрѣшенія вопроса: при комъ или при чемъ выгоднѣе? — благоразумно при этомъ умалчивая: для кого?

Результатомъ такого положенія вещей является, конечно, не торжество государства, а торжество ловкихъ людей. Не преданность странѣ, не талантъ, не умъ дѣлаются гарантіей успѣха, а пронырливость, наглость и предательство. И Франція доказала это самымъ дѣломъ, безропотно, въ теченіи двадцати лѣтъ, вынося иго людей, которыхъ, по счастливому выраженію одной англійской газеты, всякій честный французъ счелъ бы позоромъ посадить за свой домашній обѣдъ.

Такимъ образомъ, и государство, и все, что до него относится, находится во Франціи, такъ сказать, на откупу у буржуазіи. Что же касается до массъ, то онѣ коснѣютъ въ полномъ невѣдѣніи чувства государственности и въ совершенномъ равнодушіи къ тѣмъ политическимъ пререканіямъ, которыя волнуютъ буржуазію. И здѣсь, какъ и вездѣ, очень мало сдѣлано въ этомъ отношеніи, и здѣсь, какъ и вездѣ, государство представляется исключительно въ видѣ усмирителя и сборщика податей, а не въ видѣ убѣжища. Надъ массами тяготѣютъ два закона: надъ *городскими* пролетаріями — законъ отчаянія, надъ обыва-

телями деревень — законъ безсознательности. Отъ этого первые, при удобномъ случаѣ, такъ легко ударились въ коммуну; отъ этого вторые, во время прусской войны, массами бѣжали съ поля сраженія. Первые не понимали, что они разрушаютъ, вторые — что имъ предстоитъ защищать. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ — увѣренность, что формы правленія безразличны и что всѣ онѣ имѣютъ въ виду только вящшее утучненіе и безъ того тучнаго буржуа, увѣренность печальная и даже неосновательная, но, тѣмъ не менѣе, сообщающая самому акту всеобщей подачи голосовъ характеръ чистой случайности.

Послѣдній опытъ всеобщей подачи голосовъ, происходившій въ февралѣ настоящаго года, далъ торжество республиканской партіи. Буржуазія, повидимому, поняла, что республика нисколько не препятствуетъ осуществленію ея стремленій, и, вовторыхъ, что она представляетъ даже больше шансовъ для «благоразумной экономіи». Вслѣдствіе этого, во время избирательнаго періода, Франція была покрыта цѣлою сѣтью комитетовъ, которыхъ цѣль заключалась въ уловленіи массъ. Усилія комитетовъ увѣнчались успѣхомъ. Правда, что почти вездѣ цѣлая треть избирателей воздержалась отъ подачи голосовъ, и, затѣмъ, остальныя двѣ трети выказали въ этомъ случаѣ больше дисциплины, нежели сознательности; но, какъ бы то ни было, поле сраженія осталось за республикой. Естественно, что республиканцы поспѣшили запечатлѣть эту побѣду практическимъ результатомъ. Министерство Дюфора-Бюффе пало и было замѣнено министерствомъ Дюфора-Рикара...

Когда я узналъ объ этомъ изъ газетъ, то, конечно, прежде всего, поспѣшилъ сообщить о происшедшей перемѣнѣ портьѐ того пансіона, въ которомъ я поселился.

— Vous savez, André, сказалъ я ему:—que le mini-

stère Dufaure-Buffet n'existe plus, et que désormais c'est le ministère Dufaure-Ricard qui dirigera les destinées de la France?

Но, къ удивленію, онъ до такой степени не понялъ моего вопроса, что заставилъ меня повторить его. И когда я это сдѣлалъ, то онъ вытаращилъ глаза и произнесъ:

— Est ce que je sais!

А между тѣмъ, этотъ человѣкъ существуетъ (cogito — ergo sum), получаетъ жалованье, устрàиваетъ, кàкъ можетъ, свои дѣлà, и я даже положительно знаю, что 20-го февраля онъ подалъ голосъ за республиканца. И все это онъ дѣлаетъ, ни разу въ жизни не спросивъ себя: чтò такое государство?

Можно ли такъ жить?

ТЯЖЕЛЫЙ ГОДЪ

(За двадцать лѣтъ назадъ).

Прошу читателя перенестись мыслью въ эпоху 1853—1855 годовъ.

Я жилъ тогда въ одномъ изъ опальныхъ захолустьевъ Россіи. Въ Крыму, на Черномъ морѣ, на берегахъ Дуная гремѣла война, но мы такъ далеко засѣли, что вѣсти о перипетіяхъ военныхъ дѣйствій доходили до насъ медленно и смутно. Губернія наша была не дворянская, и потому въ ней не могли имѣть мѣста шумныя демонстраціи. Не было у насъ ни обѣдовъ по подпискѣ, ни тостовъ, ни адресовъ, ни просьбъ о разрѣшеніи идти на брань съ врагомъ поголовно, съ чадами и домочадцами. Мы смирно радовались успѣхамъ роднаго оружія и смирно же горевали о неудачахъ его. За отсутствіемъ дворянства, интеллигенцію у насъ представляло чиновничество и весьма немногочисленное купечество, высшіе представители котораго, въ этой мѣстности, искони промѣняли народный зипунъ на нѣмецкій сюртукъ. Къ интеллигенціи же причисляло себя и довольное количество

опальныхъ, бо́льшая часть которыхъ принадлежала къ категоріи такъ-называемыхъ «политическихъ». И чиновники, и купцы, и даже опальные — все это былъ людъ, на столько занятой и разсчетливый, что затѣвать подписные обѣды было рѣшительно нѐкому и нѐкогда. Было, правда, между опальными нѣсколько шулеровъ, дѣлателей фальшивыхъ ассигнацій и злоупотребителей помѣщичьею властью (былъ даже пожилой, но очень видный мажордомъ, ходившій съ большимъ бриллiантовымъ перстнемъ на указательномъ пальцѣ и сосланный по просьбѣ дѣтей какой-то княгини за «предосудительныя дѣйствія, сопровождаемыя покушеніемъ войти въ беззаконную связь съ ихъ родительницей»), которымъ, казалось бы, представлялся при этомъ отличнѣйшій случай блеснуть, но и они вели себя какъ-то сдержанно, въ той надеждѣ, что сдержанность эта поможетъ имъ пройти въ общественномъ мнѣніи заурядъ съ «политическими». Такое ужь было тогда время, что даже въ захолустномъ обществѣ «политическихъ» принимали лучше, ласковѣе, нежели шулеровъ.

Патріархъ у насъ въ то время былъ старый, беззубый, безволосый, малорослый и совсѣмъ простой. Это было тѣмъ болѣе необыкновенно, что рядомъ, въ сосѣдней губерніи, патріархъ былъ трехъ аршинъ роста и имѣлъ грудь колесомъ. Даже въ нашемъ захолустьи какъ-то обиднымъ казалось появленіе такого человѣка на патріаршескомъ поприщѣ. Тогда времена были строгія, и отъ патріарха требовалось, чтобъ онъ былъ «хозяинъ», или, по малой мѣрѣ, «орелъ». Нашъ же, даже въ сравненіи съ сторожами губернскаго правленія, казался ощипанною курицей. И къ довершенію всего, фамилію онъ носилъ какую-то странную: Набрюшниковъ. Все это, вмѣстѣ взятое, самую губернію какъ бы принижало, пере-

водило отъ высшаго въ низшій классъ, чѣмъ въ особенности обижался вице-губернаторъ.

— Просто курамъ на смѣхъ! негодовалъ онъ:—не патріархомъ ему быть, а въ шалашѣ сидѣть, да горохъ стеречь!

И попалъ онъ къ намъ самымъ страннымъ образомъ. Служилъ онъ нѣкогда въ одной изъ внутреннихъ губерній акушеромъ при врачебной управѣ (въ то время такая должность была, такъ и назывался: «акушеръ врачебной управы»), но акушерства не зналъ, а зналъ наговоръ, отъ котораго зубную боль какъ рукой снимало. Многихъ онъ отъ зубнаго недуга исцѣлилъ, и въ числѣ этихъ многихъ случилась одна изъ мѣстныхъ магнатокъ, графиня Варвара Алексѣевна Серебряная. Прошло послѣ того много лѣтъ; Набрюшниковъ успѣлъ выйти въ отставку съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (чинъ этотъ выхлопотала ему графиня) и поселился у себя въ деревнѣ. И прожилъ бы онъ тамъ спокойно остальные дни живота своего, и по всѣмъ вѣроятіямъ даже изобрѣлъ бы средство избавлять домашнихъ птицъ отъ типуна, какъ вдругъ получилъ отъ графини письмо. «Любезный куманекъ, господинъ Набрюшниковъ! Съ тѣхъ поръ, какъ ты мнѣ услугу оказалъ, отъ зубовъ навсегда избавилъ, не успѣла я тебя еще какъ слѣдуетъ отблагодарить. А нонича мнѣ двоюродной братецъ мой два преотличнѣйшихъ мѣста за любовь обѣщалъ, такъ одно изъ нихъ, пожалуй, не откажи мнѣ, прими. Мѣсто, правда, не бойкое, да вѣдь прокормиться и въ тишинѣ можно. Еще гдѣ потише, пожалуй, для вашего брата сытѣе будетъ. А, впрочемъ, пребываю къ вамъ доброжелательная». И вотъ черезъ мѣсяцъ онъ уже сидѣлъ на «обѣщанномъ за любовь» мѣстѣ, сидѣлъ плотно и поселялъ своимъ видомъ уныніе во всѣхъ сердцахъ, которымъ дороги были достоинство и блескъ губерніи.

Смиренъ онъ былъ до такой степени, что даже акциденціи почти исключительно бралъ провизіей. Подадутъ, напримѣръ, у городскаго головы зернистой икры къ закускѣ, онъ сейчасъ же поманитъ хозяина пальцемъ: нельзя ли, дескать, мнѣ фунтика три прислать. Или узнаетъ, что такой-то купецъ на ярмарку ѣдетъ, сейчасъ ему реестрикъ: изюму столько-то, миндальныхъ орѣховъ столько-то, шепталы, черносливу и т. д. Однажды былъ даже такой случай, что по цѣлому городу мужичекъ съ возомъ мерзлой рыбы ѣздилъ, спрашивая, гдѣ живетъ патріархъ: оковскій, молъ, исправникъ въ презентъ ему рыбки прислалъ. Много было у насъ толковъ по поводу этого случая.

— Ахъ, срамъ какой! восклицалъ совѣтникъ питейнаго отдѣленія, Петръ Гаврилычъ Птенцовъ.—Рыбой!

— Рыбой беретъ! Рыбой! выходитъ изъ себя вицегубернаторъ.

— Не вникъ еще! Еще узы ему Богъ не разрѣшилъ! замѣчалъ уѣздный лекарь Погудинъ, человѣкъ ума остраго и прозорливаго, какъ бы предрекая, что придетъ время, когда узы сами собою упадутъ.

Даже обывателямъ казалось какъ-то постыдно, что съ нихъ такую малость берутъ.

— Ну, возьми онъ! Ну, если ужь такъ надобно... ну, возьми! А то рыбой! Рыбой! восклицали всѣ хоромъ.

Въ тѣ времена о внутренней политикѣ въ примѣненіи къ администраціи еще не было рѣчи, а была только строгость. Но жить, всетаки, было можно. Были, правда, какъ я уже сказалъ выше, «политическіе», но, въ глазахъ всѣхъ, это были люди, удаленные не за какіе-нибудь предосудительные поступки, а за свойственныя дворянскому званію заблужденія. Заблуждаться казалось естественнымъ. «Заблуждаться» — это означало любить оте-

чество по-своему, не такъ, быть можетъ, какъ начальство приказываетъ, но, всетаки, любить. Заблуждались преимущественно дворяне, потому что ихъ наукамъ учили. Ежели бы не учили ихъ наукамъ, то они и не заблуждались бы. Во всякомъ случаѣ, ни о «внутреннихъ врагахъ», ни о «благонадежныхъ элементахъ» тогда даже въ поминѣ не было. Какіе къ чорту «внутренніе враги», которые сидятъ смирно, да книжки читаютъ? И какъ имъ книжекъ не читать, когда ихъ тому въ кадетскихъ корпусахъ учили! Наукамъ учатъ, а заблуждаться не позволяютъ — на что похоже! Таково было тогдашнее настроеніе умовъ нашей интеллигенціи, и вслѣдствіе этого «политическихъ» нетолько не лишали огня и воды, но даже не въ примѣръ охотнѣе принимали въ домахъ, нежели шулеровъ, чему, впрочемъ, много способствовало и то, что «политическіе», по бо̀льшой части, были люди молодые, образованные и обладавшіе приличными манерами. Даже полицеймейстеръ сознавалъ это, и хотя, играя въ клубѣ въ карты, запускалъ по временамъ глазуна въ сторону какого-нибудь «политическаго», но дѣлалъ это почти машинально, потому только, что ужь служба его такая.

Просто было тогдашнее время, а патріархъ нашъ ухитрился упростить его еще больше. Всякій обходился съ нимъ за панибрата, всякій могъ ему противорѣчить и даже грубить. Собственные его чиновники особыхъ порученій, народъ молодой и вѣтренный, въ глаза смѣялись надъ нимъ, разсказывая всякія небылицы. Однажды, его очень серьёзно увѣряли, будто одного изъ его предмѣстниковъ губернское правленіе съумасшедшимъ сдѣлало. Пришелъ, дескать, онъ въ губернское правленіе, закричалъ, загамилъ, на законъ наступилъ, а совѣтники (въ то время вице-губернаторы не были причастны губернскимъ правленіямъ, а въ казенныхъ палатахъ предсѣда-

тельствовали), не будь просты, послали за членами врачебной управы, да и составили вкупѣ актъ объ освидѣтельствованіи патріарха въ состояніи умственныхъ способностей. И Набрюшниковъ повѣрилъ этому.

Панибратство это тоже многимъ казалось обиднымъ, ибо тоже принижало губернію. Всѣ чувствовали, всѣ понимали, что на этомъ мѣстѣ долженъ быть «орелъ», а тутъ вдругъ — тетеревъ! Даже сторожа присутственныхъ мѣстъ замѣчали, что есть въ нашемъ патріархѣ что-то неладное, и ни мало не стѣснялись въ выраженіи своего негодованія.

— Какой это начальникъ! говорили они:—идетъ, бывало, начальникъ — земля у него подъ ногами дрожитъ, а этотъ идетъ, ногами во всѣ стороны дрыгаетъ, словно киселя дать хочетъ!

— За губернію стыдно-съ! вторилъ сторожамъ вице-губернаторъ.

И такъ, вотъ при какой административной обстановкѣ застигла насъ памятная эпоха 1854—1856 годовъ.

Повторяю: вѣсти съ театра войны доходили до насъ туго. Не было въ то время ни желѣзныхъ дорогъ, ни телеграфовъ, а были только махальные. Почта приходила къ намъ изъ Петербурга два раза въ недѣлю, да и то въ десятый день. Собираясь въ почтовые дни въ клубѣ, мы съ жадностью прочитывали газеты и передавали другъ другу извѣстія, полученныя частнымъ путемъ. Но, въ сущности, мы очень хорошо понимали, что всѣ наши тревоги и радости (смотря по содержанію полученныхъ извѣстій) происходятъ, такъ сказать, заднимъ числомъ, и что, быть можетъ, въ ту самую минуту, когда мы, напримѣръ, радуемся, дѣйствительное положеніе дѣла представляетъ картину, долженствующую возбудить чувство совершенно иного, противоположнаго свойства.

Въ особенности много мутили насъ частныя письма, которыми мы, такъ сказать, комментировали загадочность газетныхъ реляцій. То держится Севастополь, то сданъ; то сданъ и опять взятъ. По поводу подобныхъ извѣстій сочинялись цѣлые планы кампаній. Съ картой театра военныхъ дѣйствій въ рукахъ, стратеги въ вицъ-мундирахъ толковали по цѣлымъ часамъ, какимъ образомъ могло случиться, что французъ сперва взялъ Севастополь, а потомъ снова его уступилъ. Встрѣчались при этомъ такія затрудненія, что для разъясненія ихъ обращались къ батальонному командиру внутренней стражи (увы! нынѣ ужь и эта должность упразднена!), который, впрочемъ, только таращилъ глаза и несъ сущую чепуху.

— Все зависитъ отъ того, говорилъ онъ: — какъ начальство прикажетъ-съ. Прикажетъ сдать—сдадимъ-съ. Прикажетъ опять взять—возьмемъ-съ.

Такимъ образомъ, по части внѣшнихъ извѣстій все было мракъ и сомнѣніе...

Былъ, однакожь, признакъ, который даже искренно убѣжденныхъ въ непобѣдимости русскаго оружія заставлялъ печально покачивать головами. Этотъ признакъ составляли: безпрерывные рекрутскіе наборы, сборы безсрочно-отпускныхъ и т. п. За мѣсяцъ и за два, мы знали, что предстоитъ наборъ, по тѣмъ распоряженіямъ, которыя обыкновенно предшествуютъ этой мѣрѣ. Въ палатѣ государственныхъ имуществъ на-скоро составлялись призывные и жеребьевые списки, у баталіоннаго командира, въ швальной, шла усиленная заготовка коммисаріатскихъ вещей. А такъ какъ распоряженія этого рода учащались все больше и больше, то и сомнѣнія невольнымъ образомъ усиливались.

Сидимъ мы, бывало, въ клубѣ и трактуемъ, кто остался побѣдителемъ при Черной, какъ вдругъ въ залу вле-

таетъ батальонный командиръ и какъ-то необыкновенно юрко возглашаетъ:

— Сорокъ тысячъ паръ сапоговъ приказано изготовить-съ.

Или:

— Получено распоряженіе выслать въ К. сто человѣкъ портныхъ-съ!

При этомъ извѣстіи, обыкновенно, наступала минута сосредоточеннаго молчанія. Слово «наборъ» жужжало по залѣ, и глаза всѣхъ присутствующихъ инстинктивно устремлялись къ столу, гдѣ сидѣли за вистомъ предсѣдатель казенной палаты и совѣтникъ ревизскаго отдѣленія, и дѣлали видъ, что ничего не слышатъ. Но всѣмъ понятно было, что они нетолько слышатъ, но и мотаютъ себѣ на усъ. А прозорливый Погудинъ даже прозрѣвалъ весь внутренній процессъ, который происходилъ въ это время въ совѣтникѣ ревизскаго отдѣленія.

— Посмотрите, говорилъ онъ:—какъ у Максима Аѳанасьича лѣвое ухо разгорѣлось! Къ добрымъ вѣстямъ, значитъ. Наборъ будетъ.

И дѣйствительно, наборы почти не перемежались. Не успѣемъ одинъ отбыть, какъ ужь другой на дворѣ. На улицахъ снова плачущія и поющія толпы. Цѣлыми волостями валилъ народъ въ городъ и располагался лагеремъ на площадкѣ передъ губернскимъ рекрутскимъ присутствіемъ, въ ожиданіи пріемки. На всю губернію было въ то время только четыре рекрутскихъ присутствія; изъ нихъ къ губернскому причислено было три съ половиной уѣзда съ населеніемъ около двухсотъ тысячъ душъ, съ которыхъ причиталось до тысячи рекрутовъ (нѣкоторыя волости должны были совершить скорбный путь въ триста слишкомъ верстъ, чтобы достигнуть губернскаго города). Въ рекрутскомъ присутствіи шла дѣятельность без-

примѣрная. Пріемъ начинали съ восьми часовъ утра, кончали въ четыре пополудни, принимая въ день отъ восьмидесяти до ста двадцати человѣкъ. Происходила великая драма, мѣстомъ дѣйствія которой было рекрутское присутствіе и площадь передъ нимъ, объектомъ—податное сословіе, а дѣйствующими лицами—военные и штатскіе распорядители набора, совмѣстно съ откупщикомъ и коммерсантами-поставщиками сукна, полушубковъ, рубашечняго холста и проч.

Я не могу сказать, какъ велика была сила патріотизма въ объектѣ драмы, т. е. въ податномъ сословіи. Въ то время, мы какъ-то не обращали на этотъ предметъ вниманія. Но за то дѣйствующія лица драмы были на столько патріоты, что нетолько не изнемогали подъ бременемъ лежавшихъ на нихъ обязанностей, но даже какъ бы почерпали въ нихъ новыя силы. Максимъ Аѳанасьичъ (совѣтникъ ревизскаго отдѣленія) хотя и жаловался на ломъ въ поясницѣ, но въ рекрутское присутствіе ходилъ неупустительно. Лицо у него сдѣлалось масляное, глаза покрылись неисточимою слезой, и что всего замѣчательнѣе, когда кто-нибудь у него спрашивалъ, какъ дѣла, то онъ благодарилъ, видимо стараясь взглянуть вопрошающему какъ можно прямѣе въ глаза. Предсѣдатель казенной палаты прямо говорилъ, что нетолько въ настоящій наборъ, но если будетъ объявленъ и другой, и третій — онъ всегда послужить готовъ. Управляющій палатой государственныхъ имуществъ смотрѣлъ даже благороднѣе, нежели обыкновенно, и всѣмъ существомъ какъ бы говорилъ: никакая клевета до меня коснуться не можетъ! Откупщикъ, перекрестъ изъ евреевъ, нетолько не сомнѣвался въ непобѣдимости русскаго оружія, но даже до того повеселѣлъ, что, задолго до появленія г. Вейнберга, утѣшалъ общество разсказами изъ еврейскаго быта.

Батальонный командиръ метался словно вьюнъ на сковородѣ: то вытягивался, то свертывался въ кольцо, то предавался боковому конвульсивному движенію.

Одинъ патріархъ продолжалъ на все смотрѣть холодными глазами, и даже никому не завидовалъ.

Однако, послѣ втораго или третьяго набора, стали мы замѣчать, что у старика начинаютъ раздуваться ноздри, какъ будто онъ къ чему-то принюхивается. Первый, разумѣется, замѣтилъ это прозорливый лекарь Погудинъ.

— Помяните мое слово, говорилъ онъ: — что къ слѣдующему набору Богъ ему узы разрѣшитъ!

И точно, мало-по-малу, сталъ онъ подсаживаться то къ предсѣдателю казенной палаты, то къ батальонному командиру, то къ управляющему палатой государственныхъ имуществъ. Сядетъ и смотритъ не то мечтательно, не то словно въ душу проникнуть хочетъ. И вдругъ заговоритъ о любви къ отечеству, но такъ заговоритъ, что предсѣдатель казенной палаты такъ-таки и сгоритъ со стыда.

— «Впроситься» старикъ хочетъ! по секрету сообщилъ предсѣдатель Максиму Аѳанасьичу.

— Похоже на то-съ! меланхолически отвѣтилъ Максимъ Аѳанасьичъ.

И всѣ словно замерли, въ ожиданіи, что̀ будетъ.

И вотъ, однажды, послѣ пульки, подсѣлъ старикъ къ батальонному командиру, и нѣкоторое время до того пристально смотрѣлъ на него, что полковникъ весь съёжился.

— Ну-съ, какъ дѣла, полковникъ? вдругъ произнесъ старикъ.

— Помаленьку, вашество!

— То-то пома-лень-ку! проскандировалъ старикъ, *постепенно* возвышая голосъ, и въ заключеніе почти

ужь крикомъ крикнулъ: — Старика, сударь, забываете! Да-съ!

Съ этими словами онъ всталъ и твердыми шагами вышелъ изъ клубной залы.

Смятеніе было невообразимое; у всѣхъ точно пелена съ глазъ упала. И вдругъ, безъ всякаго предварительнаго соглашенія, въ одно мгновеніе ока, всѣмъ припомнилось давно забытое слово «начальникъ края...»

Это было незадолго до появленія манифеста объ ополченіи...

Пришелъ, наконецъ, и манифестъ. Патріархъ прозрѣлъ окончательно.

Прежде всего, его поразила цифра. Всего, всего тутъ было много: и холста, и сукна, и сапожныхъ подметокъ, не говоря уже о людяхъ. Ядреная, вкусная, сочная, эта цифра разомъ разрѣшила связывавшія его узы, такъ что прежде даже, нежели онъ могъ хорошенько сообразить, какое количество изюма, миндаля и икры представляетъ она, уста его уже шептали:

— Теперь я все самъ. Самъ все сдѣлаю. Да-съ, самъ-съ.

И шепталъ онъ это съ какимъ-то злорадствомъ, словно бы хотѣлъ отомстить всѣмъ этимъ хищникамъ, которые безцеремонно набивали свои карманы, а его держали на балыкахъ да на зернистой икрѣ.

Въ тотъ же вечеръ, онъ призвалъ къ себѣ откупщика и огорошилъ его вопросомъ:

— Ты, любезный, мнѣ что̀ присылаешь?

Откупщикъ стоялъ, какъ опущенный въ воду, и не смѣлъ взглянуть ему въ глаза.

— Два ведра водки въ мѣсяцъ мнѣ посылаешь! Ска-а-ти-на!

Больше онъ ничего не сказалъ, но вѣсть объ этомъ разговорѣ съ быстротою молніи разнеслась по городу, такъ что на слѣдующій день, когда, по случаю какого-то чиновничьяго парада, мы были въ сборѣ, то всѣ уже были приготовлены къ чему-то рѣшительному.

И дѣйствительно, трудно даже представить себѣ, до какой степени онъ вдругъ измѣнился, выросъ, похорошѣлъ. Многимъ показалось даже, что онъ сидитъ на конѣ и гарцуетъ, хотя въ дѣйствительности никакого коня подъ нимъ не было. Онъ окинулъ насъ взоромъ, потомъ на минуту сосредоточился, потомъ раза съ два раскрылъ ротъ, и... заговорилъ. Не засвисталъ, не замычалъ, а именно заговорилъ.

Прежде всего, онъ поставилъ внѣ всякаго сомнѣнія, что удобный для истребленія врага моментъ наступилъ.

— У враговъ нашихъ есть нарѣзныя ружья, но нѣтъ усердія-съ, сказалъ онъ: — у насъ же хотя нѣтъ нарѣзныхъ ружей, но есть усердіе-съ. И, притомъ, дисциплина-съ. Смиррно! вдругъ крикнулъ онъ, грозя на насъ очами.

Затѣмъ, очень лестно отозвавшись объ ополченіи, которому предстоитъ въ близкомъ будущемъ выполненіе славной задачи умиротворенія, онъ перешелъ отъ внѣшнихъ враговъ къ внутреннимъ (онъ первый употребилъ это выраженіе, и такъ удачно, что послѣ того оно вполнѣ акклиматизировалось въ нашемъ административномъ обиходѣ), которыхъ раздѣлилъ на двѣ категоріи. Къ первой онъ отнесъ безпокойныхъ людей вообще и критиковъ въ особенности.

— Ни безпокойныхъ людей, ни критиковъ — я не потерплю, сказалъ онъ. — Критики вообще вредны, а у насъ въ особенности. Государство у насъ обширное, а *потому* и операціи въ немъ обширныя. И притомъ, въ

самоскорѣйшемъ времени-съ. Слѣдовательно, если выслушивать критики, то для одного разсмотрѣнія ихъ придется учредить особую коммисію, а впослѣдствіи, быть можетъ, и цѣлое министерство. А ополченіе тѣмъ временемъ будетъ безъ сапогъ-съ. Не критиковать надобно, а памятовать, что въ мірѣ все подвержено тлѣнію, а аммуничныя вещи въ особенности. Скажу вамъ притчу. Въ прошломъ году, нѣкоторый садоводъ посадилъ у себя въ саду двѣ яблони, а въ нынѣшнемъ ожидалъ получить отъ нихъ плодъ. И точно: одна яблоня дала плодъ, но другая — высохла. Ужели же слѣдуетъ садовода за это критиковать? Подобно сему, и ратницкій сапогъ. Одинъ сапогъ дойдетъ до Севастополя, другой — только до первой станціи. Никакая критика въ этомъ случаѣ не поможетъ, потому что достоинство сапога зависитъ не отъ критики, а отъ сапожника. Законъ это предвидѣлъ, и потому ни въ какомъ вѣдомствѣ должности критика не установилъ-съ.

Къ другой категоріи «внутреннихъ враговъ» онъ отнесъ тѣхъ чиновниковъ «постороннихъ вѣдомствъ», которые, выставляя впередъ принципъ раздѣленія властей, тѣмъ самымъ стремятся къ пагубному административному сепаратизму.

— Многіе изъ васъ, господа, не понимаютъ этого, сказалъ онъ, не то гнѣвно, не то иронически взглядывая въ ту сторону, гдѣ стояли члены казенной палаты: — и потому черезчуръ ужь широкой рукой пользуются предоставленными имъ прерогативами. Думаютъ только о себѣ, а про старшихъ или совсѣмъ забываютъ, или не въ той мѣрѣ помнятъ, въ какой, по закону, помнить надлежитъ. На будущее время, всѣ эти фанаберіи должны быть оставлены. *Я* здѣсь всѣхъ критикую, *я*-съ. А на себя никакихъ критикъ не потерплю-съ.

Высказавши это, онъ, въ заключеніе, воскликнулъ:

— А теперь обратимся къ Подателю всѣхъ благъ и вознесемъ къ Нему теплыя мольбы о ниспосланіи любезному отечеству нашему побѣды и одолѣнія. Милости просимъ въ соборъ, господа!

Рѣчь эта произвела очень разнообразное впечатлѣніе. Губернское правленіе торжествовало, казенная палата казалась сконфуженною, палата государственныхъ имуществъ внимала въ гордомъ сознаніи своего благородства. Батальонный командиръ держалъ руки по швамъ.

Даже и строительная коммисія—и та соображала, нельзя ли и ей примкнуть къ общему патріотическому настроенію, вызвавшись взять на себя хозяйственную заготовку пикъ и другаго неогнестрѣльнаго оружія.

Я ѣхалъ въ соборъ вмѣстѣ съ Погудинымъ.

— А вѣдь рѣчь-то хоть куда! сказалъ я:—и главное, совсѣмъ неожиданно.

— Это бываетъ, отвѣтилъ онъ:—въ моей практикѣ я и не такія чудеса видѣлъ. Позвали меня, однажды, къ попу. Прихожу; лежитъ мой попъ, какъ колода, языкомъ не владѣетъ, не слышитъ, не видитъ, только носомъ нюхаетъ. Домашніе, разумѣется, въ смятеніи; приготовляютъ горчишники, припарки. Не нужно, говорю, ничего, а вотъ поднесите ему къ носу ассигнацію. И что жь бы вы думали? какъ только онъ нюхнулъ, вдругъ вскочилъ, какъ встрепанный! Откуда, что̀ полѣзло: и заговорилъ, и прозрѣлъ, и услышалъ! И сейчасъ же водки попросилъ.

— Ну, вы это ехидничаете. А вы по правдѣ скажите: хороша рѣчь?

— Хороша-то, хороша. И критиковъ заранѣе устранилъ, и на счетъ этой дѣлежки: объ себѣ-молъ думаете, а *старшихъ* забываете... хоть куда! Только вотъ что я вамъ

скажу: не бывать воронѣ орломъ! Какъ онъ тамъ ни топырься, а оставятъ они его, по прежнему, на однихъ балыкахъ!

— Будто бы!

— Право такъ. Взглянулъ я давича на управляющаго палатой государственныхъ имуществъ: ужь такъ онъ благородно смотрѣлъ! Словно такъ вотъ всѣмъ естествомъ и говоритъ: ты только меня припусти къ ополченію, а ужь я тебѣ покажу, гдѣ раки зимуютъ!

— Да вѣдь вы извѣстный пессимистъ!

— Вѣрьте моей опытности. Управляющій палатой государственныхъ имуществъ — это именно тотъ самый человѣкъ, про котораго еще въ древности писано было: и придутъ нѣцыи, и на вратахъ жилищъ своихъ начертаютъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ. А Набрюшникову — балыки!

Когда мы пріѣхали въ соборъ, литургія уже оканчивалась. Потомъ шелъ молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ. Пѣвчіе превзошли себя, протодіаконъ тоже. Набрюшниковъ стоялъ впереди, и отъ времени до времени осматривался назадъ, какъ бы испытывалъ, нѣтъ ли гдѣ «внутреннихъ враговъ». Я случайно взглянулъ на управляющаго палатой государственныхъ имуществъ. Онъ смотрѣлъ благородно и вмѣстѣ съ прочими выражалъ довѣріе въ силу русскаго оружія, но съ тѣмъ лишь непремѣннымъ условіемъ, если ему, управляющему, будетъ предоставлено хозяйственное заготовленіе нужныхъ для ополченія вещей. Не знаю почему, но мнѣ невольно вспомнились при этомъ слова Погудина: «а Набрюшникову— балыки!»

И такъ, «придутъ нѣцыи, и на вратахъ жилищъ своихъ начертаютъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ»...

Не смотря на шуточность тона, предсказаніе Погудина сильно огорчило меня. Увы! оно относилось къ моему пріятелю Удодову, управляющему палатой государственныхъ имуществъ.

Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ былъ самый симпатичный изъ піонеровъ того времени. Еслибъ я былъ женщина-романистъ, то слѣдующимъ образомъ описалъ бы наружность его: «Его нельзя было назвать красавцемъ, но лицо его представляло такое гармоническое сочетаніе линій, что въ немъ, какъ въ зеркалѣ, отражались всѣ свойства прекрасной души. Темные волосы счастливо оттѣняли высокій матовой бѣлизны лобъ, на которомъ мысль врѣзала клеймо свое. То была скорбная, горькая мысль, которая глубоко, до самаго сердца, пускала свои развѣтвленія. Подъ вліяніемъ ея, выразительное лицо его мгновенно вспыхивало, тонкія античныя ноздри нервно вздрагивали, а глубокіе, темные глаза гнѣвно искрились. Эти глаза — ихъ нельзя было забыть. Темносѣрые, вдумчивые, они, какъ живая загадка, выглядывали изъ-за большихъ, темныхъ рѣсницъ. Что̀ сулили они? упоеніе или горечь разочарованія — это была тайна, которую знало только его сердце, да сердце той... Но не будемъ предупреждать со́бытій, и скажемъ только, что тотъ, кто однажды видѣлъ эти глаза, навсегда былъ преслѣдуемъ воспоминаніемъ объ нихъ. Голосъ у него былъ мягкій, вкрадчивый и до такой степени мелодичный, что сердце женщины, внимавшей ему, словно пойманная птичка, трепетало въ груди. Роста онъ былъ небольшого, но строгая соразмѣрность всѣхъ частей организма заставляла забыть объ этомъ недостаткѣ, если можно назвать это не-

достаткомъ въ мужчинѣ, который не предназначалъ себя въ тамбуръ-мажоры. Прибавьте къ этому тончайшій запахъ ess-bouquet, которымъ онъ имѣлъ привычку душить свой носовой платокъ — и вы получите разгадку того обаятельнаго дѣйствія, которое онъ производилъ на женщинъ.

Но я не романистъ и не женщина, а потому скажу просто: Удодовъ былъ піонеръ. Онъ ревностно поддерживалъ и хранилъ тѣ преобразовательныя традиціи, въ силу которыхъ обыватели, съ помощью цѣлой системы канцелярскихъ мѣропріятій, долженствовали быть приведенными къ одному знаменателю. Тогда не было еще рѣчи ни о централизаціи, ни о самоуправленіи, ни объ акцизномъ и контрольномъ вѣдомствахъ, но уже высказывались, хотя и съ большою осторожностью, мнѣнія о вредѣ взяточничества и о необходимости оградить отъ него обывателей при пособіи хорошо устроенной системы опекательства. Это было своего рода вѣяніе времени, не преминувшее разрѣшиться появленіемъ цѣлаго полчища Удодовыхъ, которые бойко принялись за выполненіе предлежавшей имъ реформатской задачи. Въ провинціи, Удодовы были встрѣчены съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ и даже съ боязнью; втихомолку ихъ называли эмиссарами Пугачева.

Владиміръ Онуфріевичъ любилъ блеснуть своими ораторскими дарованіями. Онъ охотно говорилъ обо всемъ: и о народѣ, и о высшихъ соображеніяхъ, и о святости задачи, къ выполненію которой онъ призванъ. У него былъ всегда на готовѣ цѣлый словесный потокъ, который плавно, и порой даже съ одушевленіемъ, сбѣгалъ съ его языка, но сущность котораго опредѣлить было довольно трудно. Такъ, напримѣръ, я никогда не могъ вполнѣ опредѣлительно отвѣтить на вопросъ, дѣйстви-

тельно ли онъ «жалѣетъ» народъ, или, въ сущности, просто-на-просто презираетъ его. Чаще всего мнѣ казалось, что онъ въ народѣ усматриваетъ подходящую anima vilis, надъ которою всего удобнѣе производить опыты канцелярскихъ преобразованій и которую, ради успѣха этихъ преобразованій, позволительно даже слегка поуродовать.

Вообще, это былъ человѣкъ нервный, увлекавшійся не столько собственными идеями, сколько идеями своихъ начальниковъ, которыя онъ воспринималъ необыкновенно живо. Мысль ограждать невѣжественную массу крестьянъ отъ притязаній чиновниковъ-взяточниковъ несомнѣнно увлекала и его самого, но она сдѣлалась для него еще болѣе привлекательною вслѣдствіе того, что къ задачѣ огражденія пристегивали еще, съ начальственнаго соизволенія, воспитательный элементъ. Мало ограждать, надо еще опекать. Пріятно сказать человѣку: ты найдешь во мнѣ защиту отъ набѣговъ! но еще пріятнѣе крикнуть ему: ты найдешь во мнѣ умъ, котораго у тебя нѣтъ! И Удодовъ неутомимо разъѣзжалъ по волостямъ, разговаривалъ съ головами и писарями, старался пріобщить ихъ къ тѣмъ высшимъ соображеніямъ, носителемъ которыхъ считалъ самого себя, всюду собиралъ какія-то крохи, и изъ этихъ крохъ составлялъ записки и соображенія, которыя, по мѣрѣ изготовленія, и отправлялъ въ Петербургъ. Всѣ мужицкіе обычаи представлялись ему вредными, весь мужикъ — подлежащимъ коренной передѣлкѣ. Записки «о средствахъ къ истребленію нерачительности и лѣни», «о необходимости искорененія вредныхъ предразсудковъ» сыпались одна за другою, свидѣтельствуя о неусыпной реформатской дѣятельности Удодова. И что въ особенности дорого было въ этихъ «запискахъ»—это полное совпаденіе ихъ съ тѣмъ обще-опекательнымъ то-

номъ, который господствовалъ въ то время въ одной части петербургскаго бюрократическаго міра. Начальство читало эти записки и думало: вотъ оно! отовсюду одно и тоже пишутъ! — ни мало не подозрѣвая, что оно, такъ сказать, занималось перепиской само съ собою, то-есть, само себѣ посылало руководящія предписанія и само отъ себя же получало соотвѣтствующія своимъ желаніямъ донесенія.

Какъ бы то ни было, но въ общежитіи Удодовъ былъ малый положительно пріятный и любезный. Онъ охотно сближался съ молодыми людьми, и нетолько не важничалъ, подобно прочимъ чинамъ пятаго класса, но даже пускался съ ними въ откровенныя бесѣды, предметъ которыхъ преимущественно составляли: святость его миссіи и бюрократическая его безупречность. Одно было въ немъ нѣсколько подозрительно: онъ слишкомъ часто впадалъ въ нервную раздражительность, слишкомъ охотно злоупотреблялъ «слезою». Это какъ-то напоминало Ипполита Маркелыча Удушьева, о которомъ въ такихъ восторженныхъ выраженіяхъ отзывался Репетиловъ...

Нерѣдко, мы цѣлыми вечерами просиживали съ нимъ одинъ на одинъ, и, право, это были недурные вечера. За стаканомъ добраго вина, онъ передавалъ мнѣ завѣтнѣйшія мечты свои, и, не смотря на полное отсутствіе какой-либо теоретической подготовки, по временамъ даже поражалъ меня силою полета своей мысли.

— Нашъ народъ дитя, говорилъ онъ мнѣ.—Дитя доброе, смышленое, но, всетаки, дитя. Самъ собою онъ управляться не можетъ. Онъ не имѣетъ понятія ни о гражданскомъ союзѣ, ни о союзѣ государственномъ. Весь циклъ его идей вертится около требованій и указаній обычнаго права. Поэтому, для него необходимы добрые правители, которые были бы, такъ сказать, посредника-

ми между нимъ и государствомъ. Государству необходима военная оборона, необходимъ бюджетъ, а народъ ничего этого не понимаетъ. Онъ не умѣетъ обобщать и всего себя пріурочиваетъ къ общинѣ, къ волости, и, въ крайнемъ случаѣ, къ своему уѣздному городу. Въ его глазахъ, фискъ есть нѣчто загадочное, нѣчто такое, что приходитъ, беретъ и уходитъ. Поэтому, надобно его воспитывать. Надобно, чтобъ онъ безпрестанно былъ лицомъ къ лицу съ государствомъ, чтобы послѣднее, такъ сказать, проникло въ самое сердце его. Народъ — дитя, повторяю я, дитя, имѣющее множество предразсудковъ, обычаевъ, привычекъ... дурныхъ привычекъ. Онъ на столько погрязъ во всемъ этомъ, что самъ по себѣ не чувствуетъ отъ этого даже особенныхъ неудобствъ. Но вѣдь дѣло не въ немъ одномъ, а въ государствѣ—въ государствѣ, относительно котораго народъ представляетъ лишь тягольную единицу. Государство должно быть сильно, государство должно быть образованно, государство обязывается имѣть свою промышленность, торговлю и проч. Высшее же выраженіе государства есть правительство, которое и несетъ на себя всю отвѣтственность за него. Отсюда — его права и обязанности. Права: собирать подати для удовлетворенія требованіямъ бюджета, объявлять рекрутскіе наборы для пополненія арміи и флотовъ, поддерживать благочиніе, гармонію и единообразіе. Обязанности: входить въ нужды народа и устроивать его благосостояніе съ такимъ разсчетомъ, чтобы государство отъ того процвѣтало. Такова основная мысль нашего управленія. Мы обязываемся нетолько ограждать подвѣдомственныхъ намъ крестьянъ отъ всевозможныхъ притязаній, но и служить посредниками между ними и государствомъ. Или, другими словами, мы должны требовать и наблюдать, чтобъ ихъ внутренніе распорядки от—

нюдь не противорѣчили высшимъ государственнымъ соображеніямъ. Хотите, я прочту вамъ записку о необходимости увеличить срокъ возраста для вступленія въ бракъ мужескаго пола лицъ изъ крестьянскаго сословія?

И онъ читалъ мнѣ свою «записку», въ которой излагалъ, что, во время разъѣздовъ по волостямъ, онъ неоднократно былъ поражаемъ незрѣлымъ и слабосильнымъ видомъ нѣкоторыхъ молодыхъ крестьянъ, которыхъ онъ принималъ за подростковъ, и которые, по справкѣ, оказывались уже отцами семействъ. Имѣя въ виду, съ одной стороны, что преждевременное исполненіе супружескихъ обязанностей вообще имѣетъ вредное вліяніе на человѣческій организмъ, а съ другой стороны, что ранніе браки въ значительной мѣрѣ усложняютъ успѣшное отправленіе рекрутской повинности, онъ, Удодовъ, полагалъ бы разрѣшать крестьянамъ мужескаго пола вступать въ бракъ не прежде, какъ по вынутіи благопріятнаго рекрутскаго жребія, и, притомъ, по надлежащимъ освидѣтельствованіи, въ особо-учрежденномъ на сей предметъ присутствіи, относительно достиженія дѣйствительнаго физическаго совершеннолѣтія. Что же касается до крестьянокъ-женщинъ, то участь ихъ онъ предоставлялъ на благоусмотрѣніе начальства.

Такимъ образомъ, онъ прочиталъ мнѣ цѣлый рядъ «записокъ», въ которыхъ, съ государственной точки зрѣнія, мужикъ выказывался опутаннымъ такою сѣтью всевозможныхъ опасностей, что еслибъ изъ тѣхъ же «записокъ» не явствовало, что, въ лицѣ моего собесѣдника, мужикъ всегда найдетъ себѣ вѣрную и скорую помощь, а слѣдовательно, до конца погибнуть не можетъ, то мнѣ сдѣлалось бы страшно.

— И вотъ наше существованіе, другъ мой! прибавлялъ онъ грустно:—мы не имѣемъ ни одной свободной минуты,

мы ни объ чемъ другомъ не думаемъ, какъ объ исполненіи обязанностей службы, а между тѣмъ, намъ завидуютъ, насъ называютъ пугачевскими эмиссарами! Ну, похожи ли мы на это?

Иногда онъ былъ даже черезчуръ либералъ, и, быть можетъ, устранилъ бы меня рѣзкостью нѣкоторыхъ своихъ положеній, еслибъ они были высказаны не въ то простодушное время, когда о «неблагонадеженыхъ элементахъ» не было и помина, а «въ настоящее время, когда»...

— Я понимаю одно изъ двухъ, говорилъ онъ — или Россія, или Соединенные Штаты; но никакихъ другихъ административныхъ сочетаній не признаю. Я не отрицаю: Соединенные Штаты... это дѣйствительно... хороши, мой другъ, Соединенные Штаты! Но Россія, по мнѣнію моему, для человѣчества еще полезнѣе. Что̀ такое Россія? спрашиваю я васъ. Это Соединенные Штаты, доведенные до простѣйшаго и, такъ сказать, яснѣйшаго своего выраженія. А потому, ни одно правительство въ мірѣ не въ состояніи произвести столько добра. Возьмите, напримѣръ, такое явленіе, какъ война. Какая страна можетъ разомъ выставить такую массу операціоннаго матеріала? Выставить безъ шума, безъ гвалта, безъ возбужденія распрей? Или напримѣръ, такое явленіе, какъ неурожай. Какая страна можетъ двинуть разомъ такое громадное количество продовольственнаго матеріала изъ урожайной мѣстности въ неурожайную — при помощи одной натуральной подводной повинности? А мы — все это выставимъ и двинемъ! И такъ, дѣло не въ имени, а въ результатахъ. Говорятъ, что у насъ, благодаря отсутствію гласности, сильно укоренилось взяточничество. Но спрашиваю васъ: гдѣ его нѣтъ? И гдѣ же, въ сущности, оно можетъ быть такъ легко устранимо, какъ у насъ? Сооб-

разите хоть то одно, что вездѣ требуется для взяточниковъ судъ, а у насъ достаточно только внутренняго убѣжденія начальства, чтобы вредный человѣкъ навсегда лишился возможности наносить вредъ. Стало быть, стòитъ только быть внимательнымъ и умѣть находить достойныхъ правителей. Вотъ и все. А что̀ такіе люди есть — отвѣтомъ на это служитъ наше вѣдомство.

Наконецъ, онъ былъ совершенно неистощимъ и даже поэтиченъ, когда заходила рѣчь о любви къ отечеству.

— Отечество говорилъ онъ:—это что-то таинственное, необъяснимое, но, въ то же время, затрогивающее всѣ фибры человѣческаго сердца. Спойте передо мной «je m'en fiche, je m'en moque» — и вы найдете меня холоднымъ. Но спойте «не бѣлы снѣги» или даже «барыню»— и я готовъ расплакаться. Почему? А именно потому, что тутъ есть что то необъяснимое, загадочное. Я не могу равнодушно видѣть, когда на театрѣ пляшутъ трепака, хотя въ трепакѣ рѣшительно нѣтъ ничего трогательнаго. Я не могу безъ умиленія видѣть декорацію, изображающую нашу русскую деревню. Темная изба, безконечно вьющаяся дорога, бѣлый саванъ зимы, обнаженныя деревья и внизу, подъ горой, застывшая рѣчка... не правда ли, что тутъ есть что-то родное? N'est ce pas?

По цѣлымъ часамъ заговаривались мы на эту тему и, не ограничиваясь словами, выражали глубину своего чувства дѣйствіемъ. То-есть, затягивали «не бѣлы снѣги» и оглашали унылымъ пѣніемъ стѣны его квартиры до тѣхъ поръ, пока не докладывали, что подано ужинать. За ужиномъ мы опять говорили, говорили, говорили безъ конца...

И вотъ объ этомъ-то человѣкѣ Погудинъ изрекаетъ такой жестокій приговоръ!

Въ самомъ дѣлѣ, со дня объявленія ополченія, въ Удо-

довѣ совершилось что-то странное. Началъ онъ какъ-то озираться, предался какой-то усиленной дѣятельности. Прежде, не проходило почти дня, чтобы мы не видѣлись, теперь — онъ словно въ воду канулъ, Даже подчиненные его вели себя какъ-то таинственно. Покажутся въ клубѣ на минуту, пошепчутся и разойдутся. Одинъ только разъ удалось мнѣ встрѣтить Удодова. Онъ ѣхалъ по улицѣ, и, остановившись на минуту, крикнулъ мнѣ:

— Тяжкія испытанія, мой другъ, наступаютъ для Россіи!

Затѣмъ, пожавъ мнѣ руку горячѣе обыкновеннаго, онъ прослѣдовалъ далѣе.

Что̀ хотѣлъ онъ сказать этимъ? Кто готовитъ тяжкія испытанія для Россіи? Воевода ли Пальмерстонъ, или онъ, Удодовъ?

Наконецъ, разнесся слухъ, что онъ заключилъ оборонительный и наступательный союзъ съ Набрюшниковымъ—съ Набрюшниковымъ, о которомъ никогда до тѣхъ поръ не выражался, какъ тономъ величайшаго негодованія...

И вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, я встрѣтилъ его въ клубѣ. Онъ пришелъ поздно и какъ-то особенно горячо обнялъ меня.

— Я сегодня счастливъ, мой другъ! сказалъ онъ: — нынче вечеромъ на меня возложена вся хозяйственная часть по устройству ополченія. Борьба была жаркая, но я побѣдилъ. Ну, вы, конечно, увѣрены, что я своего кармана не забуду!

Послѣднія слова были сказаны тѣмъ шуточнымъ тономъ, который у мало-мальски благовоспитаннаго собесѣдника долженъ вызвать, по малой мѣрѣ, разувѣряющій простосердечный смѣхъ.

Но я, не знаю почему, вдругъ покраснѣлъ.

— Ѳома невѣрующій! воскликнулъ онъ съ укоромъ.

Затѣмъ, мы сѣли ужинать, и онъ спросилъ шампанскаго. Тутъ же подсѣла и цѣлая компанія подручныхъ устроителей ополченія. Все было уже сформировано и находилось, такъ сказать, на чеку. Все смѣялось, пило и съ довѣріемъ глядѣло въ глаза будущему. Но у меня не выходило изъ головы: «придутъ нѣціи и на вратахъ жилищъ своихъ начертаютъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ».

Это была скорбная пора; это была пора, когда моему встревоженному уму впервые предсталъ вопросъ: что̀ же, наконецъ, такое этотъ патріотизмъ, которымъ всякій такъ охотно заслоняетъ себя, который я самъ съ колыбели считалъ для себя обязательнымъ, и съ которымъ, въ столь рѣшительную для отечества минуту, самый послѣдній изъ прохвостовъ обращался самымъ наглымъ и безцеремоннымъ образомъ.

Теперь, съ помощью Бисмарковъ, Наполеоновъ и другихъ поборниковъ отечестволюбія, я нѣсколько уяснилъ себѣ этотъ вопросъ, но тогда я еще былъ на этотъ счетъ новичекъ.

Въ первый моментъ, всѣхъ словно пришибло. Говорили шопотомъ, вздыхали, качали головой и вообще вели себя прилично обстоятельствамъ. Потомъ, мало-помалу, освоились и каждый обратился къ своему ежедневному дѣлу. Наконецъ, всмотрѣлись ближе, вникли, взвѣсили...

И вдругъ, неслыханнѣйшая оргія взволновала нашъ скромный городъ. Словно молнія, блеснула всѣмъ въ глаза истина: требуется до двадцати тысячъ ратниковъ Сколько тутъ сукна, холста, кожевеннаго товара, полушубковъ, обозныхъ лошадей, провіанта, приварочныхъ

денегъ! И сколько потребуется людей, чтобы все это сшить, пригнать въ самый короткій срокъ!

И вотъ весь мало-мальски смышленый людъ заволновался. Всякій спѣшилъ какъ-нибудь поближе пріютиться около пирога, чтобы нѣчто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силѣ возможности, накласть въ загорбокъ любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, рты оскалились. Съ утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицамъ люди съ алчными физіономіями, съ цѣпкими руками, въ чаяніи воспользоваться хоть грошомъ. Нашъ тихій, всегда скупой на деньгу городъ вдругъ словно ошалѣлъ. Деньги полились рѣкой: базары оживились, торговля закипѣла, клубъ процвѣлъ. Вино и колоніальные товары цѣлыми транспортами выписывались прямо изъ Москвы. Обѣды, балы слѣдовали другъ за другомъ, съ танцами, съ патріотическими тостами, съ пѣніемъ моднаго тогдашняго романса о воеводѣ Пальмерстонѣ, который какой-то проѣзжій итальянецъ положилъ, по просьбѣ полиціймейстера, на музыку и немилосердно коверкалъ, при взрывѣ общаго энтузіазма.

Безсознательно, но, тѣмъ не менѣе, безпощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Продавалось и за грошъ, и за болѣе крупный кушъ; продавалось и за карточнымъ столомъ, и за пьяными тостами подписныхъ обѣдовъ; продавалось и въ домашныхъ кружкахъ, устроенныхъ съ цѣлью наилучшей организаціи ополченія, и при звонѣ колоколовъ, при возгласахъ, призывавшихъ побѣду и одолѣніе.

Кто не могъ ничего урвать, тотъ продавалъ самого себя. Все, что было въ присутственныхъ мѣстяхъ пьяненькаго, неспособнаго, лѣниваго — все потянулось въ ополченіе. На улицахъ и на клубныхъ вечерахъ появи-

лись молодые люди въ новенькихъ ополченкахъ, въ которыхъ трудно было угадать вчерашнихъ неуклюжихъ и ощинанныхъ канцелярскихъ чиновниковъ. Еще вчера, ни одна губернская барыня ни за что въ свѣтѣ не пошла бы танцовать съ какимъ-нибудь коллежскимъ регистраторомъ Горизонтовымъ, а нынче Горизонтовъ такъ чистъ и милъ въ своей офицерской ополченкѣ, что барыня даже изнемогаетъ, танцуя съ нимъ «польку-трамблясъ». И нетолько она, но даже вчерашній начальникъ, вице-губернаторъ, не узнаетъ въ этомъ чистенькомъ офицерикѣ вчерашняго неопрятнаго, отрепаннаго писца Горизонтова.

— А! Горизонтовъ! мило! очень, братецъ мой, хорошо! поощряетъ вице-губернаторъ, повертывая его и осматривая сзади и спереди.

— Сегодня только что отъ портного, ваше высокородіе!

— Прекрасно! очень, даже очень порядочно сшитъ кафтанокъ! И скоро въ походъ?

— Поучимся недѣли съ двѣ, ваше высокородіе, и въ походъ-съ!

— Смотри! Сражайся! Сражайся, братецъ! потому что отечество...

— Намъ, ваше высокородіе, сражаться врядъ ли придется, потому далеко. А такъ, страны свѣта увидимъ...

И шли эти люди, въ чаяньи на ратницкій счетъ «страны свѣта» увидать, шли съ легкимъ сердцемъ, не зная, не вѣдая, куда они путь-дороженьку держать, и какой-такой Севастополь на свѣтѣ состоитъ, что такіе за «ключи», изъ-за которыхъ сыръ-боръ загорѣлся. И большая часть ихъ, впослѣдствіи, воротилась домой изъ подъ Нижняго, воротилась спившаяся съ круга, безъ гроша денегъ, въ затасканныхъ до дыръ ополченкахъ, съ одними воспоминаніями о видѣнныхъ по бокамъ столбовой дороги странахъ свѣта. И такъ-таки и не узнали они, ка-

кіе-такіе «ключи», ради которыхъ черноморскій флотъ потопили и Севастополь разгромили.

Шитье ратницкой аммуниціи шло дни и ночи на пролетъ. Все, что̀ могло держать въ рукѣ иглу, все было занято. Почти во всякомъ мѣщанскомъ домишкѣ были устроены мастерскія. Тутъ шили рубахи, въ другомъ мѣстѣ ополченскіе кафтаны, въ третьемъ — стучали сапожными колодками. Ѣдешь, бывало, темною ночью по улицѣ — вездѣ горятъ огни, вездѣ отворены окна, не смотря на глухую осень, и изъ оконъ несется паръ, говоръ, гамъ, пѣсни...

А объектъ ополченія тѣмъ временемъ такъ и валилъ валомъ въ городъ. Валилъ съ пѣснями, съ причитаніями, съ подъигрываніемъ гармоники; валилъ, сопровождаемый ревущимъ и всхлипывающимъ бабьемъ.

— Волость привели! молодецки докладываетъ волостной старшина управляющему палатой государственныхъ имуществъ, выстроивъ будущихъ ратниковъ передъ квартирой начальника.

Управляющій выходитъ съ гостями на крыльцо и здоровкается.

— Молодцы, ребята! кричитъ онъ по военному: — за вѣру! Помнить, ребята! Съ желѣзомъ въ рукѣ... Съ Богомъ!

И вотъ, изъ числа гостей выступаетъ впередъ откупщикъ, перекрестъ изъ жидовъ. Онъ приходитъ въ такой энтузіазмъ отъ одного вида молодцовъ-ребятъ, что тутъ же возглашаетъ:

— По царкѣ! по двѣ царки на каждаго ратника зертвую! за вѣру!

— Съ Богомъ! трогай! вновь напутствуетъ управляющій толпу:—за вѣ-ѣ-ру!

«Объектъ» удаляется съ пѣснями.

Знаетъ ли онъ, что̀ за «ключи» такіе, ради которыхъ перекрестъ изъ жидовъ жертвуетъ ему по чаркѣ водки на человѣка?

Однимъ словомъ, и на улицахъ, и въ домахъ шла невообразимая суета. Но человѣка, посторонняго дѣлу организаціи ополченія, въ этой суетѣ прежде всего поражало преобладаніе натянутости и таинственности. Общій разговоръ исчезъ совершенно. Въ собраніяхъ, въ частныхъ домахъ — сейчасъ же формировались отдѣльныя группы людей, горячо о чемъ-то между собою перешептывавшихся. Въ виду этихъ группъ, непосвященнымъ становилось просто неловко. На привѣтствіе его отвѣчали машинально; ежели же онъ проявлялъ желаніе присоединиться къ общему разговору, то перемѣняли разговоръ и начинали говорить вздоръ. Приходилось или уединиться, или присаживаться къ дѣвицамъ, которыя или щипали корпію, или роптали на то, что въ нашъ городъ не присылаютъ плѣнныхъ офицеровъ. По временамъ, отъ которой-нибудь группы отдѣлялся индивидуумъ и торопливо куда-то исчезалъ. Черезъ нѣкоторое время, исчезнувшій такъ же торопливо появлялся вновь одинъ или съ новыми индивидуумами, и опять начинался оживленный шопотъ. По временамъ, цѣлая группа куда-то исчезала, вѣроятно, въ домъ къ кому-нибудь изъ заговорщиковъ, у котораго можно было расположиться вольнѣе...

— Да что̀ же такое происходитъ, наконецъ? спросилъ я однажды Погудина, который зашелъ ко мнѣ утромъ посидѣть.

— Топка, батюшка, происходитъ, великая топка теперь у насъ идетъ! отвѣтилъ онъ: — и Богу молятся, и воруютъ, и опять Богу молятся, и опять воруютъ. «И, притомъ, въ самоскорѣйшемъ времени», какъ выразился Набрюшниковъ.

— Неужто и Удодовъ тутъ?

— Удодовъ — по преимуществу. Много тутъ конкуррентовъ было: и голова впрашивался, и батальонный командиръ освѣдомлялся, чѣмъ пахнетъ — всѣхъ Удодовъ оттеръ. Теперь онъ Набрюшникова такъ настегалъ, что тотъ такъ и лѣзетъ, какъ бы на кого наброситься. Только и твердитъ каждое утро полиціймейстеру: критиковъ вы мнѣ розъищите! критиковъ-съ! А враговъ мы, съ Божьею помощью, побѣдимъ-съ!

— А развѣ ужь и критики появились?

— Не мудрыя. Какой-то писаришко анонимное письмо написалъ: новымъ Ровоамомъ Набрюшникова называетъ. Ну, какой же онъ Ровоамъ!

— Стало быть, сдѣлка между Набрюшниковымъ и Удодовымъ состоялась?

— Не хитрая сдѣлка: Набрющниковъ десять процентовъ себѣ выговорилъ. Тутъ, батюшка, сотни тысячъ полетятъ, такъ ежели десять копѣекъ съ каждаго рубля — сочтите, сколько денегъ-то будетъ!

— Послушайте! да не много ли десять-то процентовъ! Вѣдь, ежели Набрюшникову десять процентовъ, сколько же Удодовъ себѣ возьметъ! сколько возьмутъ его агенты!

— Всѣ возьмутъ, да еще увидите, что и «благоразумная экономія» будетъ. А, впрочемъ, знаете ли, что̀ мнѣ приходитъ на мысль: Удодовъ поглядитъ-поглядитъ, да и заграбитъ все самъ. А Набрюшникова на бобахъ оставитъ!

— Ну, это мудрено!

— Ничего мудренаго нѣтъ. Вы вглядитесь въ Удодова, какая у него въ послѣднее время физіономія сдѣлалась. Такъ, вѣдь, и написано на ней: и за что̀ я какому-нибудь тетереву буду десять процентовъ отдавать!

— Такъ вотъ онъ, Удодовъ-то! А какой человѣкъ-то!

Намеднись, сидѣлъ я у него, и зашелъ у насъ разговоръ о любви къ отечеству. «Отечество, говоритъ — это святыня!»

— А «не бѣлы снѣги» какъ поетъ! просто даже слеза прошибаетъ!

Погудинъ даже закручинился подъ вліяніемъ этого воспоминанія. Машинально свѣсилъ голову на бокъ и чуть-чуть самъ не запѣлъ.

— Да̀, сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія:—какая-нибудь тайна тутъ есть. «Не бѣлы снѣги» запоютъ — слушать безъ слезъ не можемъ, а обдирать народъ—это вольнымъ духомъ, сейчасъ! Или и впрямь казна-матушка такъ ужь согрѣшила, что ни въ комъ-то къ ней жалости нѣтъ и никто ничего не видитъ за нею! Ужь на что̀ казначей — хранитель, значитъ! — и тотъ въ прошломъ году сто тысячъ укралъ! Не щемитъ ни въ комъ сердце по ней, да и все тутъ! А что̀ промежду купечества теперь происходитъ — страсть!

— Напримѣръ?

— И грызутся, и смѣются, и анекдоты другъ про дружку разсказываютъ. Хоть и большое дѣло двадцать тысячъ человѣкъ снарядитъ, а всетаки, не всякому туда впроситься удалось. Вотъ и идетъ у нихъ теперь потѣха: кто кому больше въ карманъ накладетъ. Орфенову, напримѣръ, ничего не дали, а онъ у насъ по кожевенной части первый человѣкъ. А подѣлили между собою полушубки и кожевенный товаръ Москвины, да Костромины, а они сроду около кожевеннаго-то товара и не хаживали. Вотъ Орфеновъ и обозлился. Живъ, говоритъ, не буду, коли весь товаръ не скуплю: пущай за тридевять земель полушубки покупаютъ! Такъ его сегодня полиціймейстеръ къ Набрюшникову таскалъ.

— Это зачѣмъ?

— Реприманд Набрюшниковъ дѣлалъ. Отъѣлся, говоритъ, такъ за критики принялся! Знаешь ли, говоритъ, что съ тобою, яко съ заговорщикомъ поступить можно?

— Ловко!

— Да, не безъ пріятности для Удодова. Да собственно говоря, онъ одинъ и пріятность-то отъ всего этого дѣла получитъ. Онъ-то свой процентъ даже сейчасъ ужь выручилъ, а прочимъ, вотъ хоть бы тѣмъ же Костроминымъ съ братіей, кажется, просто безъ всякихъ пріятностей придется на нѣтъ съѣхать. Только вотъ денегъ много за разъ въ рукахъ увидятъ — это какъ будто радуетъ!

— Ну, не станутъ же и они безъ пользы хлопотать.

— А вотъ какъ я вамъ скажу. Былъ я вчера у Радугина: онъ ночью нынче въ Москву за сукномъ уѣхалъ. Такъ онъ мнѣ сказывалъ: «Взялся, говоритъ, я сто тысячъ аршинъ сукна поставить по рублю за аршинъ, и для задатковъ впередъ двадцать пять тысячъ получилъ — сколько, ты думаешь, у меня отъ этихъ двадцати пяти тысячъ денегъ осталось?» — Двѣ синенькихъ? говорю. «Двѣ не двѣ, а... пять тысячъ!!»

— Строгъ же Удодовъ!

— Ужь такъ аккуратенъ! такъ аккуратенъ! Разомъ со всего подряда двадцать процентовъ учелъ. Святое дѣло. Да еще что: реэстриковъ разныхъ Радугину со всѣхъ сторонъ наслали: тотъ то купить проситъ, тотъ — другое. Однихъ дамскихъ шляпокъ изъ Москвы пять штукъ привезти обязался. Признаться сказать, я даже пожалѣлъ его: купи, говорю, кстати и мнѣ въ Москвѣ домишко какой-нибудь немудрящій; я, говорю, и надпись на воротахъ такую изображу: подаренъ-дескать въ знакъ ополченія.

— Удивительнѣе всего, что они даже не скрываются. Такъ-таки все и выкладываютъ!

— Нельзя. Удодовъ пыталъ останавливать, даже грозилъ, да ничего не подѣлаешь. Сначала пообѣщаютъ молчать, а черезъ часъ не выдержатъ — и выболтаютъ. По секрету, разумѣется. Тому по секрету, другому по секрету — анъ, оно и выходитъ, словно въ газетахъ напечатано! Вотъ и я вамъ тоже по секрету.

— Чортъ возьми, однако! Вѣдь, по настоящему, Удодову теперь руку подать стыдно!

— Ничего стыднаго нѣтъ. Рука у него теперь мягкая, словно бархатъ. И самъ онъ добрѣе, мягче сдѣлался. Бывало, глаза такъ и нижутъ насквозь, а нынче больше все подъ лобъ зрачки-то закатывать сталъ. Очень ужь, значитъ, за отечество ему прискорбно! Намеднись, мы въ клубѣ были, когда газеты пришли. Бросился это Удодовъ, конвертъ съ «Вѣдомостей» сорвалъ: «держится! кричитъ: держится еще батюшка-то нашъ!» Это онъ про Севастополь! Ну, да прощайте! Секретъ!

Погудинъ направился-было къ передней, но съ половины дороги вернулся.

— Забылъ! сказалъ онъ: — сегодня ко мнѣ мажордомъ приходилъ — знаете, тотъ самый, что за «покушеніе войти въ незаконную связь съ княгиней ***» къ намъ сосланъ. «А что̀, говоритъ, не махнуть ли и мнѣ, Петръ Васильичъ, въ ополченіе? Ужь очень, говоритъ, Рассеѣ послужить захотѣлось!»—Валяй! говорю.—«Только я, говоритъ, на счетъ чина сомнѣваюсь. Вонъ Горизонтова въ прапоры произвели, а меня какимъ чиномъ примутъ?»— Прямо прохвостомъ, говорю.—«Ну, нѣтъ, говоритъ, мнѣ, по моему положенію, не того надобно!» — А какое же, спрашиваю, твое положеніе?—«А такое, говоритъ, положеніе, что хоша я по просьбѣ князя Павла Павлыча сюда

сосланъ, а онъ самъ—безпремѣнно мой сынъ!»—Врешь, говорю, хвастаешься! за «покушеніе» ты сосланъ — понимаешь! Покушался ты только мерзость сдѣлать, а въ исполненіе не привелъ!.. Такъ онъ даже въ азартъ вошелъ! Вертитъ это перстнемъ у меня передъ глазами: «это, говоритъ, что! развѣ за «покушенія» такіе перстни дарятъ!» Посмотрѣлъ я на перстень—хорошъ! «Хорошъ, говорю, перстенёкъ, а всетаки, никакого другого чина, кромѣ прохвоста, обѣщать тебѣ не могу!» Съ тѣмъ онъ отъ меня и ушелъ... Такъ вотъ оно что значитъ, отечество-то! Даже мажордомъ восчувствовалъ! «Рассеѣ, говоритъ, послужить хочу!»

И все опять запрыгало, завертѣлось. Дамы щиплютъ корпію и танцуютъ. Мужчины взываютъ о побѣдѣ и одолѣніи, душатъ шампанское и устроиваютъ въ честь ополченія пикники и déjeners dansans. Откупщикъ жертвуетъ чарку за чаркой. Бородатые ратники, въ собственныхъ рваныхъ полушубкахъ, въ ожиданіи новыхъ казенныхъ, толпами ходятъ по улицамъ и поютъ пѣсни. Все перепуталось, все смѣшалось въ одинъ общій густой гвалтъ.

И какъ-то отчетисто, рѣзко выдѣляется изъ этого гвалта голосъ Удодова, возглашающій:

— Держится голубчикъ-то нашъ! Не сдается! Нахимовъ! Лазаревъ! Тотлебенъ! Герои! Уррра!

Наконецъ, ополченіе, окончательно сформированное, двинулось. Я, впрочемъ, былъ уже въ это время въ Петербургѣ и потому не могъ быть личнымъ свидѣтелемъ развязки великой ополченской драмы. Я узналъ объ этой развязкѣ изъ письма Погудина.

«Наша ополченская драма—писалъ онъ мнѣ—разрѣшилась вчера самымъ неожиданнымъ образомъ. Удодовъ исчезъ, т. е. уѣхалъ ночью въ Петербургъ, чтобы не возвращаться сюда. Оказывается, что уже двѣ недѣли тому назадъ у него былъ въ карманѣ отпускъ. Все это сдѣлалось такъ внезапно, что самыя приближенныя къ Удодову лица ничего не знали. Вечеромъ, у него собрались два-три человѣка изъ «преданныхъ», играли въ карты, ужинали. Въ полночь онъ послалъ за лошадьми, говоря, что ѣдетъ на сутки на ревизію. И только уже садясь въ возокъ, сказалъ провожавшимъ его гостямъ: господа, не поминайте лихомъ! въ Петербургъ удираю! Набрюшниковъ такъ и остался при малой мздѣ, которая ему была выдана изъ задаточныхъ денегъ. Однако, онъ рѣшился не оставлять этого дѣла, и сегодня же посылаетъ просьбу о разрѣшеніи и ему отпуска въ Петербургъ. Надѣется, хоть на половину суммы Удодова усовѣстить. Усовѣститъ ли?»

ПРИВѢТЪ.

Мы мчались на всѣхъ парахъ по направленію изъ Кёнигсберга въ Верхболово. Вотъ Вёлау, вотъ Инстербургъ, вотъ Гумбиненъ... скоро, теперь скоро! Сердце робѣло, какъ бы припоминая старую привычку болѣть; сосущая тревога распространялась по всему организму; глаза закрывались, словно боясь встрѣтиться съ неожиданностью.

Собственно говоря, впереди не было ничего ни неизвѣстнаго, ни неожиданнаго—напротивъ! Но сложилась на свѣтѣ какая-то особаго рода извѣстность, которую, какъ ни вертись, нельзя назвать иначе, какъ извѣстностью неизвѣстности. Что̀ проку въ томъ, что впереди все до послѣдней нитки извѣстно, если въ чревѣ этой извѣстности нельзя найти ничего другого, кромѣ пословицы: извѣстно, что всѣ мы подъ Богомъ ходимъ. Ахъ! это — самая безсовѣстная, самая унизительная пословица! смыслъ ея горчѣе всякой горькой несправедливости, жесточе самой жестокой кары!

Нехорошо жить тому, кто не можетъ даже опредѣлить для себя: виноватъ онъ, или не виноватъ; не имѣетъ руководящей нити, чтобы угадать, что̀ его ждетъ впе-

реди — награда, или кара. Посреди этой смуты представленій настоящаго и будущаго, конечно, самое разумное—это довести свой искъ къ жизни до минимума, т. е. сказать себѣ: удобнѣе всего быть ни виноватымъ, ни невиноватымъ, не заслуживать ни кары, ни награды; я, дескать, самъ по себѣ, я ничего не требую, ничего не ищу и претендую только на то, что имѣю право жить. Согласитесь, что это немного. Но тутъ-то именно изнуренное прирожденнымъ плѣномъ воображеніе и отъискиваетъ всякаго рода загвоздки. Вопервыхъ, что̀ это за чинъ такой: «самъ по себѣ»? вовторыхъ, какое такое «право жить»? право существовать, то-есть? право ходить по стрункѣ? право жить въ той мѣрѣ...

Мнѣ было стыдно. Я смотрѣлъ на долину Прегеля и весь горѣлъ. Не страшно было, а именно стыдно. Меня охватывала безпредметная тоска, желаніе метаться, биться головой объ стѣну. Что̀-то въ родѣ безсильной злобы раба, который всю жизнь плясалъ и пѣлъ пѣсни, и вдругъ, въ одну минуту, всѣмъ существомъ своимъ понялъ, что онъ весь, съ ногъ до головы, — рабъ.

Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишкомъ долгое время чувствовалъ себя чужимъ среди чужихъ, и потому отвыкъ болѣть. Но намъ это необходимо, намъ нужна ноющая сердечная боль, и покамѣсть это, всетаки — лучшій (самый честный) modus vivendi изъ всѣхъ, которые предлагаетъ намъ дѣйствительность.

Но истинный рабъ имѣетъ впечатлительность скоропреходящую; потому-то именно онъ — и рабъ, что не можетъ сосредоточить свою мысль ни на какомъ ощущеніи. Вспышки совѣсти въ немъ часты, но минутны. Блужданіе между нравственною анеміей и безпорядочнымъ раскаяніемъ — вотъ единственная форма, въ которой воплощаются тѣ проблески общечеловѣческихъ основъ, ко-

торые безсильна заглушить даже безпощадная рабская дисциплина. И чѣмъ сильнѣе вспышки самосознанія, тѣмъ рѣзче слѣдующій за ними общій упадокъ силъ. Даже раскаяніе, эта подвижнѣйшая изъ всѣхъ формъ внутренняго человѣческаго самосуда, слишкомъ тяжеловѣсно, чтобы плечи раба могли выносить его бремя.

Рабъ не перестаетъ быть рабомъ даже въ тѣ минуты, когда у него болитъ сердце. Охваченный бунтующею совѣстью, онъ умиротворяетъ ее не дѣйствительнымъ удовлетвореніемъ ея законныхъ требованій, а тѣмъ, что старается обойти, замять, позабыть. Онъ изобрѣтателенъ на всякія уловки — это одна изъ прерогативъ его званія — и потому безъ труда отъискиваетъ противовѣсъ пробудившемуся сознанію въ готовыхъ представленіяхъ о неизбѣжности и возвратности. И вотъ, крики боли начинаютъ мало-по-малу стихать, и недавній вопль: унизительно, стыдно, больно! смѣняется другимъ: лучше не думать! Затѣмъ, человѣкъ уже дѣлается разсудительнымъ; въ умѣ его постепенно образуется представленіе о неизбѣжномъ рокѣ, о гнетущей силѣ обстоятельствъ, противъ которой безполезно или, по малой мѣрѣ, рискованно прать, и, наконецъ, какъ достойное завершеніе всѣхъ этихъ недостойностей, является краткій, но имѣющій рѣшающую силу афоризмъ: надо же жить!

Да, надо жить! Надо нести иго жизни съ осторожностью, благоразуміемъ и даже стойкостью. Рабъ — дипломатъ по необходимости; онъ долженъ какъ можно чаще повторять себѣ: жить! жить надо! потому что въ этихъ словахъ заключается отпущеніе его совѣсти, потому что въ нихъ утопаютъ всевозможныя жизненныя программы, начиная свободой и кончая рабствомъ.

Мало-по-малу, мой стыдъ пропалъ, и его мѣсто заняло смутное желаніе «увидѣть вновь». Я не объяснялъ се-

бѣ, что̀ предстоитъ увидѣть; я именно твердилъ только эти слова̀: «увидѣть вновь». А такъ какъ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что я «увижу вновь» непремѣнно и не дальше, какъ вслѣдъ за симъ, то мысли мои невольно начали принимать направленіе дѣловое, реальное, которое не мало помогло окончательному умиротворенію потугъ стыда. Я началъ вслушиваться, всматриваться и, мало-по-малу, вполнѣ допустилъ завладѣть собой мелочамъ обыденной, чередовой жизни.

Насъ сидѣло въ купѐ четыре человѣка, все русскіе. Мы выѣхали изъ Берлина наканунѣ, въ восемь часовъ вечера, но, по русскому обычаю, разсѣлись по угламъ, помолчали и, наконецъ, заснули, ка̀къ кто могъ. Только утромъ товарищи мои начали вглядываться другъ въ друга и испускать какіе-то предварительные звуки, которые обнаруживаютъ поползновеніе вступить въ разговоръ. Но въ Кёнигсбергѣ, за завтракомъ, общественное положеніе моихъ спутниковъ объяснилось вполнѣ. Всѣ трое были представителями русской культурности: одинъ, Василій Иванычъ, ѣхалъ изъ Парижа; другой, Павелъ Матвѣичъ — изъ Ниццы; третій, Сергѣй Ѳедорычъ — изъ Баденъ-Бадена, въ соотвѣтствующіе города: Навозный, Соломенный и Непросыхающій. Всѣ трое были женаты; жены ихъ провели ночь вмѣстѣ, въ особомъ вагонѣ для некурящихъ, и довольно близко между собою познакомились. И немудрено: у нихъ былъ общій и очень существенный интересъ. У каждой было по нѣскольку кусковъ матерій, которые надлежало утаить отъ таможеннаго надзора, а это, какъ извѣстно, составляетъ предметъ неистощимѣйшихъ разговоровъ для всякой свободно-мыслящей русской дамы, которая, пользуясь всѣми правами культурнаго срамословія, потому только не мнитъ себя кокоткою, что освобождается отъ взятія желтаго билета. За-

кофеемъ послѣдовало взаимное представленіе мужей, а когда поѣздъ тронулся, то знакомство уже стояло на прочномъ основаніи, и между новыми пріятелями, безъ задержки, полилась вольная русская рѣчь.

Покуда мнѣ было стыдно, я не обращалъ вниманія на происходившій около меня разговоръ; теперь, когда стыдъ мой прошелъ, я, какъ уже сказано выше, началъ вслушиваться. Спутники мои, за исключеніемъ Сергѣя Ѳедорыча, были, очевидно, истыми представителями и ревнителями интересовъ русской культурности, изъ числа тѣхъ, которые помнили времена, когда еще существовали культурные люди, «не позволявшіе себѣ на ногу наступить». Теперь когда наступаніе на ноги, за всесословнымъ его распространеніемъ, пріобрѣло уже до такой степени обычный характеръ, что никого не заставляетъ даже краснѣть, домашнее дѣло этихъ господъ, т. е. защита интересовъ культурности, до такой степени упростилось, что они увидѣли передъ собою пропасть празднаго времени, которое и рѣшились наполнить безцѣльнымъ шатаніемъ по безчисленнымъ заграничнымъ stations de santé, гдѣ праздность находитъ для себя хоть то оправданіе, что доставляетъ занятіе и хлѣбъ безконечному сонмищу коммисіонеровъ, пактрэгеровъ и динстмановъ. И Василій Иванычъ, и Павелъ Матвѣичъ были люди вполнѣ утробистые, съ тою, однакожь, разницею, что у перваго животъ расплывался въ ширь, въ видѣ обширнаго четырехугольника, приподнимавшагося только при очень обильномъ насыщеніи; у второго же животъ былъ собранъ клубкомъ, такъ что со стороны можно было подумать, что у него въ штанахъ спрятана бомба. Василій Иванычъ выглядѣлъ джентльменомъ: одѣтъ былъ щеголевато, лицо имѣлъ чистое, матовое, доказывавшее, что періодическое омовеніе уже вошло въ его привычки;

напротивъ того, Павелъ Матвѣичъ глядѣлъ замарашкой: одѣтъ былъ неряшливо, въ бѣльѣ рыжеватаго цвѣта, лицо имѣлъ пористое, покрытое противною маслянистою слизью, какъ у человѣка, который нѣсколько сутокъ сряду спалъ, лежа въ тарантасѣ, на протухлой подушкѣ. Василій Иванычъ обнаруживалъ нѣкоторое знакомство съ европейскими манерами, т. е. говорилъ резонно и свободно, дышалъ ровно и совсѣмъ не курилъ; напротивъ, Павелъ Матвѣичъ говорилъ отрывисто, почти-что мычалъ, не дышалъ, а сопѣлъ и фыркалъ, курилъ вонючія папиросы, одну за другою, и при этомъ какъ-то неистово захлебывался. Что̀ же касается до Сергѣя Ѳедорыча, то это былъ малый низенькій, вертлявый и поджарый, что̀ прямо обнаруживало, что прикосновенность его къ культурности очень недавняя и, притомъ, сомнительная. Очевидно, онъ былъ когда-то исправникомъ или становымъ, и лишь въ послѣднее время, за общимъ запустѣніемъ, очутился представителемъ интересовъ культурности. Даже фамилія у него была совсѣмъ некультурная—Курицынъ, тогда какъ Василій Иванычъ былъ Спальниковъ, а Павелъ Матвѣичъ — Постельниковъ.

— А, вѣдь, это было когда-то все наше! говорилъ Василій Иванычъ, указывая рукой на долину Прегеля.

Павелъ Матвѣичъ устремилъ въ окно непонятливый взоръ, какъ будто хотѣлъ что̀-то разглядѣть сквозь туманъ, хотя въ дѣйствительности никакого тумана не было, кромѣ того, которымъ сама природа застилала его глаза.

— Когда же? заёрзалъ на мѣстѣ господинъ Курицынъ.

— Да ужь тамъ когда бы то ни было, хоть при царѣ Горохѣ, а все наше было. И это, и дальше все. Отцы наши тутъ жили, мощи нашихъ угодниковъ почивали.

Кёнигсбергъ-то Королевцемъ назывался, а это ужь послѣ нѣмцы его въ Кёнигсбергъ перекрестили.

Павелъ Матвѣичъ зѣвнулъ и произнесъ:

— Пущай ихъ! у насъ и своихъ болотъ дѣвать нѐкуда!

— Однакожь! возразилъ Василій Иванычъ: — довольно не довольно, а всетаки своего всякому жалко.

— Да неужто это правда? встревожился Сергѣй Ѳедорычъ.

— Вѣрно говорю, все наше было. Самъ покойный Михайло Петровичъ мнѣ сказывалъ: поѣдешь, говоритъ, заграницу, не забудь Королевцу поклониться: нашъ, братецъ, былъ! И Данцигъ былъ нашъ — Гданскомъ назывался, и Лейпцигъ — Липовецъ, и Дрезденъ — Дрозды, все наше! И Поморье все было наше, а теперь нѣмцы Помераніей называютъ. Больно, говоритъ. Да что̀ тутъ еще толковать! и по сейчасъ одинъ рукавъ Мемеля Русью зовется, и мѣстечко при устьѣ его — тоже Русь! Вотъ она гдѣ, наша Русь православная была!

— Странно! какъ же мы это такъ... оплошали!

— Объ томъ-то я и говорю, что сротозѣйничали. Не будь этого... ишь-ишь-ишь! сколько земстомъ по полямъ бредетъ!

Павелъ Матвѣичъ взглянулъ въ окно, но только почесалъ носъ.

— Все бы наше было, и земсты наши были бы!

— Не корыстная птица, замѣтилъ Павелъ Матвѣичъ: — я слышалъ, мышами питается.

— Что̀ жь, гадовъ выводитъ — и за то спасибо! Вотъ у насъ этой птицы нѣтъ, оттого и гаду много! Какъ переѣхалъ за Эйдкуненъ — ау, земсты! Ворѐна пошла.

— Въ одномъ мѣстѣ земсты, въ другомъ — ворѐна: нѣ чему водъ!

— Да, вотъ здѣсь крыши черепицей кроютъ, а у насъ — соломой!

— Соломой-то проще! да, вѣдь, и то сказать: у другого крыша хоть и соломенная, да за то подъ крышею...

— По-одъ кры-ы-шею! зѣвнулъ во весь ротъ Павелъ Матвѣичъ: — фу-ты, разоспался! Отъ самаго отъ Берлина въ себя придти не могу! Вы откудова ѣдете?

— Мы — изъ Парижа. Каждый годъ ѣздимъ, поживемъ, закупки сдѣлаемъ — и домой!

— А я изъ Ниццы. Море...

— Я цѣлую зиму въ Баденъ-Баденѣ прожилъ, отозвался и Сергѣй Ѳедорычъ: — всѣмъ хорошо, только праздникъ Христовъ тяжело на чужой сторонѣ встрѣчать!

— Па-а-сха! опять зѣвнулъ Павелъ Матвѣичъ.

— Да̀, побыли, погуляли, а теперь вотъ домой ѣдемъ, дѣломъ займемся, оброки соберемъ. А зимой, ежели захочемъ — и опять заграницу! разсудилъ Василій Иванычъ.

— Хорошо-хорошо заграницей, а дома лучше.

— Дома — чего лучше!

— Пасха пресвята-а-а-я! затянулъ Павелъ Матвѣичъ.

Всѣ трое на минуту смолкли. Павелъ Матвѣичъ повернулся бокомъ къ окну и смотрѣлъ непонятливыми глазами вдаль; остальные двое покачивались.

— Дома — святое дѣло! началъ, наконецъ, Василій Иванычъ: — это такъ только говорятъ, что заграницей хорошо, а ка̀къ же возможно сравнить? Вотъ хоть бы насчетъ ѣды: у насъ ли ѣда, или заграницей?

— Вотъ! именно это я всегда и женѣ говорилъ! помилуй, говорю, у насъ ли ѣда, или въ этой Ниццѣ проклятой! съ какою-то жадностью воскликнулъ Павелъ Матвѣичъ. Онъ весь оживился, и даже непонятливые его глаза какъ будто блеснули.

— Мнѣ, доложилъ, въ свою очередь, Сергѣй Ѳедорычъ:—какъ я заграницу отправлялся, губернаторъ говорилъ: счастливецъ ты, Сергѣй Ѳедорычъ: будешь тюрбо̀ ѣсть! А я ему: это еще, говорю, ваше превосходительство, бабушка на-двое сказала, кто счастливѣе: тотъ ли, который тюрбо̀ будетъ ѣсть, или тотъ, у кого подъ руками и осетринка, и стерлядка, и севрюжка—словомъ, все?

— Да̀, надъ этимъ еще задумаешься! отозвался Павелъ Матвѣичъ и утеръ ладонью носъ.

— Съ однимъ тюрбо̀, хоть онъ растюрбо̀ будь—далеко тоже не уѣдешь! согласился и Василій Иванычъ.

— Вотъ въ Ниццѣ и много рыбы, да чорта ли въ ней!

— То ли дѣло наша стерлядь!

— Одна ли стерлядь! вы возьмите: судакъ! вѣдь, это—какая рыба! куда хотите, туда ее и поверните! и а ля-рюссъ, и съ провансаломъ, и съ кисленькимъ соусомъ—всяко!

— А молодые судачки—на жаркое!

— Вотъ это—такъ рыба! настоящая рыба!

— Осетрина, бѣлужина, севрюжка, бѣлорыбица, сазанъ, налимъ!

— А лещь-то! лещь! тёшку леща зажарить да съ кашей!

— Ну, я вамъ скажу, ежели линя тоже приготовить! хоть и не видная, деревенская это рыба, а ежели подъ краснымъ соусомъ приготовить, да лучку подпустить!

— А про лососину-то и забыли!

— Ну, лососина, пожалуй, и у нихъ есть. У насъ въ Баденъ-Баденѣ...

— Что̀ въ Баденъ-Баденѣ! Бывалъ я и въ Баденъ-Баденѣ! форель—только и свѣту въ окнѣ! Ну, еще лососина, пожалуй... кусочекъ съ горошину подадутъ... Нѣтъ, вы про сига нашего вспомните! нѣтъ нашего сига! нигдѣ нашего сига нѣтъ!

— Какого тутъ сига искать! щуку ѣдятъ, назовутъ «брошѐ» — и ѣдятъ!

— А у меня щуку люди не станутъ ѣсть. При крѣпостномъ правѣ ѣли, а теперь — ба̀ста! Попы — тѣ и сейчасъ щукъ ѣдятъ.

— Тюрбо̀ да тюрбо̀! а его только и можно ѣсть, что подъ бѣлымъ соусомъ!

Дойдя до такого почти безнадежнаго результата, спутники мои чувствуютъ, однако, что зашли ужь слишкомъ далеко. Поэтому, въ мнѣніяхъ ихъ происходитъ минутная реакція, выразителемъ которой, къ удивленію, является Павелъ Матвѣичъ.

— Ну, положимъ, и не одно тюрбо̀! говоритъ онъ, не безъ хитрости подмигивая однимъ глазомъ: — вспомните-ка!

— Конечно, не одно тюрбо̀, уступаетъ и Василій Иванычъ: — ежели все-то вспомнить, такъ и у нихъ рыба есть — ка̀къ рыбѣ не быть!

— Тоже народъ живетъ — пить-ѣсть надо! присовокупляетъ Сергѣй Ѳедорычъ.

— Соль, барбю — это, вѣдь, въ своемъ родѣ...

— Соусы-съ!

— Соусы — это вѣрно, что соусы. Я и самъ сколько разъ гарсону въ кафѐ Ришъ говорилъ: что̀ ты меня, Филиппъ, все соусами кормишь! Съ соусомъ-то я тебѣ перчатки свои скормлю! а ты настоящее дѣло подавай!

Это замѣчаніе опять настроиваетъ мысли на патріотическій ладъ.

Соусъ? что̀ такое соусъ? Есть ли это настоящая пища, или только та̀къ, какое-то мнимое, недостигшее преосуществленія антремѐ?

— Ѣлъ я ихъ пресловутую буйль-абессъ, говоритъ

таинственно Павелъ Матвѣичъ:—это у нихъ вмѣсто нашей ухи!

— Ну, ужь! куда ужь!

— У насъ уху-то подадутъ — а?! Со стерлядью да съ налимьими печенками... зо-ло-та-а-я! Да растегаи къ ней...

— Что̀ ужь!

— У меня коли уху готовятъ: сперва изъ мелкихъ стерлядей бульонъ сдѣлаютъ, да луку головку туда бросятъ, потомъ сквозь чистое полотенце процѣдятъ да въ этомъ-то бульонѣ ужь и варятъ настоящую стерлядь! Такъ она такъ на зубахъ и брызжетъ!

— Что̀ ужь!

— А то буйль-абессъ! А они даже и ее только по праздникамъ ѣдятъ — диковина!

— И опять-таки: буйль-абессъ эта — совсѣмъ не уха, а соусъ!

— Все соусы! за что̀ ни возьмись — все соусъ!

— Зато они въ соусахъ — мастера! то-есть, впрочемъ, французы только... Мастера̀, бестіи, соусы приготовлять!

— Еще бы! субизъ, морнѐ, беарнезъ, борделезъ... пальчики оближешь!

— Хитёръ народъ! настоящей провизіи нѣтъ, такъ на соусахъ выѣзжаютъ!

— Настоящей провизіей только у насъ, въ матушкѣ Россіи, и можно разжиться!

— Только у насъ — это вѣрно! Насчетъ чего другого, а насчетъ провизіи — къ намъ пріѣзжай!

Всѣ трое затихаютъ и погружаются въ себя, словно отъискивая въ тайникахъ души какую-нибудь новую провизію для сравненія. Надо, впрочемъ, сказать, что Сергѣй Ѳедоровичъ, вообще, принималъ довольно ограничен-

ное участіе въ этомъ разговорѣ. Какъ человѣкъ новый, въ нѣкоторомъ родѣ мѣщанинъ во дворянствѣ, онъ, вопервыхъ, опасался компрометировать себя какимъ-нибудь слишкомъ простымъ кушаньемъ, а вовторыхъ, находилъ, что ему предстоитъ единственный, въ своемъ родѣ, случай поучиться у настоящихъ культурныхъ людей, чтобы потомъ, по пріѣздѣ въ Непросыхающій, сдѣлать соотвѣтствующія примѣненія, которыя доказали бы его знакомство съ послѣдними результатами европейской культуры.

— Сравните, теперь нашего цыплёнка съ ихнимъ пулѐ! начинаетъ Павелъ Матвѣичъ.

— Велика Ѳедора да дура! отзывается Василій Иванычъ.

— Нашъ ли цыплёнокъ, или ихній? Нашъ цыплѐнокъ— робёнокъ! его съ косточками, съ головой, совсѣмъ проглотить можно! У него и жиръ-то робячій! Запонируютъ это въ сухарикахъ, да въ сливочномъ маслѣ заколеруютъ — такъ это что̀!

Опять легкая пауза, впродолженіи которой всѣ трое сопятъ.

— У насъ цыплёнка гречневой кашей, да творогомъ, да бѣлымъ хлѣбомъ, да яйцомъ кормятъ — ну, онъ и цыплёнокъ! А у нихъ чѣмъ кормятъ? Былъ я въ жарденъ дакклиматасьонъ — тамъ за деньги кормленіе-то это показываютъ — срамъ смотрѣть!

— Однако, и у нихъ бываютъ... жирные бываютъ пулѐ!

— Еще бы не жирные! будешь жиренъ, какъ стервятиной да дохлятиной кормить будутъ! Да и вообще... развѣ это цыплёнокъ! Подадутъ дылду на столъ, двоимъ врядъ убрать, и говорятъ: пулѐ!

— Пулярка — это правильнѣе.

— Колѝ пулярка, такъ и говори, что пулярка, а пу-

лѐ, молъ, пожалуйте въ Россію кушать. Да опять и пулярка: наша ли пулярка, или парижская — объ нѣмецкихъ ужь и не говорю! Наша пулярка, хоть небольшая, да нѣжная, тонкая, ароматъ у ней есть! а тамошняя пулярка — большая, да прѣсная — чорта ли въ ней, въ этой прѣснятинѣ! Только говоритъ: савёръ да савёръ! а савёру-то именно и нѣтъ!

— Ну, положимъ, пулярки у нихъ, всетаки, еще бываютъ; а вотъ вы мнѣ что̀ скажите: гдѣ у нихъ наша дичь?

При этомъ вопросѣ собесѣдники сначала изумленно переглядываются, потомъ безнадежно махаютъ руками.

— Нашъ рябчикъ, нашъ тетеревъ, нашъ дупель—гдѣ они?

— Утица наша... да кряковная! неосторожно вмѣшивается Сергѣй Ѳедорычъ и тотчасъ же стыдливо потупляетъ глаза.

По холодному блеску глазъ, которыми взглянулъ на него Василій Иванычъ, онъ убѣждается, что сдѣлалъ какой-то непозволительный промахъ. Утица да еще кряковная... что̀ такое утица? Филѐ де-каннетонъ — это еще, пожалуй! это, быть можетъ, даже на дѣло похоже! Крря-ко-вная! Даже Павелъ Матвѣичъ, и тотъ какъ-то добродушно сконфузился при этомъ напоминаніи.

— Тѐтерева-то, коли въ кострюлькѣ да на чухонскомъ маслѣ зажарить, спѣшитъ Павелъ Матвѣичъ перемѣнить разговоръ: —да подрумянить... да чтобы онъ въ кострюлькѣ-то хорошенько вздохнулъ... вѣдь, это—что̀ жь!

— Да коли онъ не лежалый, да ароматъ этотъ въ немъ... вѣдь, это — что̀!

— А рябчика-то на вертелѣ... да перчикомъ, да перчикомъ... бочка̀-то, бочка̀!

— У насъ тетеревъ, рябчикъ, дупель, вальдшнепъ, куропатка, а у нихъ — кайль да кайль!

— А по нашему, кайль-то — перепёлка!

— У насъ дроздъ, а по ихнему гривъ. Думаешь, и Богъ знаетъ что̀ подаютъ — анъ дроздъ простой!

— Ну, есть у нихъ и пердро̀. Это, вѣдь, тоже недурно, особливо коли ежели...

— А вы попробуйте-ка каждый день зарядить пердро̀ да пердро̀, такъ оно у васъ, батюшка, въ горлѣ застрянетъ! Нѣтъ, у насъ — ка̀къ можно! сегодня рябчикъ, завтра тетеревъ, послѣ завтра, пожалуй, пердро̀... Господи! а поросёнокъ-то! объ поросёночкѣ-то и позабыли!

И всѣ вдругъ засмѣялись, но та̀къ любовно, какъ будто блуднаго сына обрѣли.

— Поросёнка заграницей днемъ съ огнемъ не отъищешь! съ знаніемъ дѣла заявилъ Сергѣй Ѳедорычъ.

— Имъ поросёнокъ невыгоденъ. Я не одинъ разъ у Филиппа спрашивалъ: отчего у васъ, Филиппъ, поросёнка не подаютъ? А отъ того, говоритъ, что для насъ поросёнокъ невыгоденъ; мы его затѣмъ воспитываемъ, чтобъ изъ него свинья или боровъ вышелъ — тогда и бьемъ!

— А того не понимаетъ, что свинья — сама по себѣ, а поросёнокъ — самъ по себѣ.

— Поросёночка да молочненькаго, да ежели съ недѣлю еще сливочками подкормить... Это — что̀ же такое!

— Кожица-то у него, ежели онъ жареный... заслушаешься, какъ она на зубахъ-то хруститъ!

— А я, признаться, больше люблю варенаго... Да тепленькаго, да чтобъ сметанки съ хрѣнкомъ...

— Въ англійскомъ клубѣ, въ Москвѣ, въ прежнія времена поваръ былъ... ахъ, хорошо, бестія, поросятъ подавать умѣлъ!

Опять пауза; всѣ трое смотрятъ въ землю, словно по-

давленные воспоминаніями. Наконецъ, Павелъ Матвѣичъ восклицаетъ:

— Ахъ, заграница! заграница!

Я думалъ, что этимъ восклицаніемъ кулинарныя воспоминанія исчерпаются; но, видно, много накипѣло въ душѣ у этихъ людей, и это многое уже не могло держаться подъ спудомъ въ виду скораго свиданія съ родиной.

— Баранина у нихъ — вотъ это такъ! А что̀ касается до говядины, до телятины — все у насъ лучше!

— Крысы у нихъ хороши въ Парижѣ; во время осады, говорятъ, все крысами питались.

— Ну, я, кажется, озолоти меня — не стану крысу ѣсть.

— Однако! смотря потому...

— Съ голода лопну, а не стану!

— А французъ ѣстъ; соусцемъ приправитъ, перчикомъ сдобритъ и ѣстъ. Можетъ, и мы когда-нибудь въ Парижѣ кошку за лапена съѣли.

— И съѣли.

— Вотъ оно, что̀ соусъ-то значитъ!

— Велико дѣло — соусъ!

— У насъ этихъ соусовъ нѣтъ, потому что наша ѣда — настоящая.

— Ка̀къ же возможно! наша ли ѣда, или заграничная!

Всѣ трое разомъ зѣвнули и потянулись: знакъ, что сюжетъ начиналъ истощаться, хотя еще ни однимъ словомъ не было упомянуто объ ветчинѣ. Меня они, повидимому, совсѣмъ не принимали въ соображеніе: или имъ все равно было, есть ли въ вагонѣ посторонній человѣкъ или нѣтъ, или же они принимали меня за иностранца, непонимающаго русскаго языка. Сергѣй Ѳедорычъ высунулся изъ окна и съ минуту вглядывался впередъ.

— Что̀? видно? спросилъ его Василій Иванычъ.

— Богъ знаетъ! видно что̀-то да не разберу!

— Да̀, мудрена Россія-матушка! не скоро ее разберешь!

Павелъ Матвѣичъ только махнулъ рукой и сильнѣе прежняго затянулся папироской.

— И прежде трудно было, сказалъ онъ:— а теперь, какъ вездѣ наслѣдили слѣдовъ, пожалуй, и совсѣмъ не разберешь! Вездѣ для тебя дорога написана, и нигдѣ тебѣ дороги нѣтъ!

— Имянно. У меня, въ Навозномъ, дѣло завелось; самъ-то я заграницу уѣхалъ, такъ ходоку поручилъ—представьте! пишетъ, что четвертый мѣсяцъ начальства ищетъ, не можетъ найти!

— Ка̀къ такъ?

— Да та̀къ вотъ. Исправникъ ныньче никакихъ дѣлъ не принимаетъ, а мировые — одинъ въ отставку вышелъ, другой, по болѣзни, не правитъ, а третій по уѣзду ѣздитъ, поймать нигдѣ нельзя. Нѣтъ начальства — хоть волкомъ вой!

— А вотъ французы, у нихъ начальства даже по закону не положено, а живутъ!

— Спросили бы вы, ка̀къ живутъ-то! тоже, вѣдь, какъ и мы, грѣшные, горе мыкаютъ! Голоштанники да республиканцы — тѣ, конечно, рады! а хорошихъ людей спросите — ой-ой, ка̀къ морщатся!

— Ка̀къ можно безъ начальства! безъ начальства — матъ!

— И хоть бы свобода была! Республика да республика, а посмотришь да поглядишь — право, у насъ свободнѣе!

— Ка̀къ же возможно! у насъ — просторъ!

— У насъ, коли ты сидишь смирно, да ничего не

дѣлаешь, такъ никто тебя не тронетъ — Христосъ съ тобой, хоть два вѣка смирно сиди!

— А захотѣлъ разговаривать — такъ не прогнѣвайся!

— И дѣльно — потому, молчи!

— Насмотрѣлся-таки я на ихнюю свободу, и въ ресторанахъ побывалъ, и въ театрахъ вездѣ былъ, даже въ палату депутатовъ однажды пробрался — никакой свободы нѣтъ! Въ ресторанъ, коли ты до пяти часовъ пришелъ, ни за что̀ тебѣ обѣдать не подадутъ! послѣ восьми — тоже! Обѣдай между пятью и восемью! Въ театръ взялъ билетъ — такъ ужь не прогнѣвайся! ни шевельнуться, ни ноги протянуть — сиди, какъ приговоренный! Во время представленія — жара, въ антрактахъ — сквозной вѣтеръ. Свобода!

— Да̀, посидишь въ тискахъ — запросишь простору! А впрочемъ, правду надо сказать: бестіи эти француженки, можно для нихъ и въ тискахъ посидѣть! Насчетъ, это, лямуру или лишозу...

— Ка̀къ вамъ сказать! вѣдь, и насчетъ лямуру онѣ больше у насъ распоясываются. Знаютъ, что денегъ у русскихъ много — ну, и откалываютъ. А въ Парижѣ и половины тѣхъ штукъ не выдѣлываютъ, что̀ у насъ.

— Говорятъ, Мак-Магонша лямуру не любитъ.

— Да̀, и она. Много она для Франціи полезнаго сдѣлала, а частичка тоже и вреда есть. Главное дѣло — иностранцевъ отъ Парижа отвадила. Возьмемъ хоть бы насъ, русскихъ: кабы настоящимъ-то манеромъ, какъ при Евгеніи, лямуръ выдѣлывали, да насъ бы, кажется, и не отодрать оттолѣ!

— Кричатъ: республика! а свободы не даютъ!

— Скажите, однакожь: я слышалъ, что картинки такія

въ Парижѣ продаются... интересныя, будто бы, картинки пріобрѣсти можно?

— Это для стереоскопа, что̀ ли? Я цѣлую охапку съ собой захватилъ!

— Интересны?

— Отдай все, да и мало!

— Тсс...

— Да у нихъ еще то ли есть! Въ модныхъ магазинахъ показываютъ, какъ барыни платья примѣриваютъ! Пріѣдетъ-это дама — и все изъ большаго свѣта! — раздѣнется декольтѐ, а изъ сосѣдней комнаты кавалеръ на нее сквозь щелочку и смотритъ.

— Ишь ты! а она, сердешная и не знаетъ?

— Иныя и знаютъ, нарочно знакомиться съ кавалерами пріѣзжаютъ. Повертывается она декольтѐ передъ зеркаломъ, а изъ засады—кавалеръ: же лоннёръ... Большіе съѣзды бываютъ.

— И наши, чай, барыньки...

— Чего ужь!

Каждый смотритъ на каждаго вопрошающимъ взглядомъ, словно хочетъ сказать: а что̀, братъ, ужь не твоя ли?

— Ахъ, дамочки наши! дамочки! вздыхаетъ Сергѣй Ѳедорычъ.

— Такъ вы и въ палатѣ депутатовъ побывали? любопытствуетъ Павелъ Матвѣичъ.

— Былъ, въ самый разъ попалъ, амнистію обсуждали. Галдятъ, а толку нѣтъ. Знаютъ, что придетъ Наполеонъ, и всѣмъ имъ одно рѣшеніе выйдетъ — въ Кайенну ушлютъ.

— Вотъ и этого у насъ нѣтъ!

— Зачѣмъ намъ! У насъ, коли ты сидишь смирно, да ничего не дѣлаешь — живи! У насъ все чередомъ дѣлается. Вотъ, пріѣдемъ въ Вержболово — тамъ насъ

разсортируютъ, да всѣхъ по своимъ мѣстамъ и распредѣлятъ.

— Турки-то! турки-то! тоже конституціи запросили! ахъ, прахъ ихъ побери!

— Смѣхота!

— То-то оно и есть! даже у турокъ взбѣленились, а у насъ — спокой!

— Намъ конституціевъ не надо! Мы и безъ нихъ проживемъ! Разъѣдемся теперь по деревнямъ, аммуницію долой—спокой!

Всѣ трое заговорили разомъ: «У насъ кàкъ возможно! У насъ—тишина! спокой! какихъ еще тамъ конституціевъ! долой аммуницію—чего лучше!» Гулъ стоялъ въ отдѣленіи вагона отъ восклицаній, лишенныхъ подлежащаго, сказуемаго и связки.

— Нѣтъ, вы только сообразите, сколько у нихъ, у этихъ французовъ, изъ-за пустяковъ времени пропадаетъ! горячился Василій Иванычъ: — ему надо землю пахать, а его въ окрýгу гонятъ: ступай, говорятъ, голосà подавать надо! Смотришь, анъ, полоса-то такъ и осталась непаханная!

— И нѝшто имъ! пущай безъ хлѣба сидятъ!

— За то у насъ мужичка никто ужь не тронетъ: пашѝ себѣ да пашѝ!

— Развѣ съ подводой выгонятъ, такъ, вѣдь, безъ этого тоже нельзя!

— Подвода—дѣло! а у нихъ чтò!

— Ахъ, французы! французы! жаль ихъ! дѣльный народъ, а на счетъ язычка—слабеньки!

— А вы думаете, что они сами этого не чувствуютъ? не чувствуютъ, чтò ли, что если Россія имъ хлѣба не дастъ, такъ имъ матъ? Чувствуютъ, да еще и ахъ кàкъ *чувствуютъ!*

Опять завопили всѣ разомъ: чувствуютъ! да еще какъ чувствуютъ! Матъ! именно матъ!

— А позвольте спросить, вдругъ надумался Сергѣй Ѳедорычъ:—вотъ вы на счетъ Турціи изволили говорить, будто тамъ конституціи требуютъ; стало быть, это дѣйствительно такъ?

— Чего вѣрнѣе, во всѣхъ газетахъ написано.

— Да! заварили турки кашу! придется матушкѣ Россіи опять ихъ уму-разуму учить!

— А позвольте еще спросить: дворяне у нихъ есть... турецкіе?

Вопросъ этотъ сначала словно ошеломилъ собесѣдниковъ, такъ что послѣдовала короткая пауза, во время которой Павелъ Матвѣичъ, чтобъ скрыть свое смущеніе, поворотился бокомъ къ окну и попробовалъ засвистать. Но Василій Иванычъ, повидимому, довольно твердо помнилъ, что главная обязанность культурнаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы выходить съ честью изъ всякаго затрудненія, и потому колебался не долго.

— Какъ, чай, дворянамъ не быть, отвѣтилъ онъ: — только документовъ у нихъ настоящихъ нѣтъ, а по ихнему — всетаки, дворяне.

— Помилуйте! да у меня въ Соломенномъ и сейчасъ турецкій дворянинъ живетъ, и фамилія у него турецкая— Амурадовъ! обрадовался Павелъ Матвѣичъ:—дѣдушку его Потемкинъ простымъ арабченкомъ вывезъ, а впослѣдствіи сто душъ ему подарилъ, да чинъ коллежскаго ассесора выхлопоталъ. Внукъ-то, когда еще выборы были, три трехлѣтія исправникомъ по выборамъ прослужилъ, а потомъ три трехлѣтія подъ судомъ состоялъ — лихой!

— И бѣлый... изъ лица, то-есть?

— Немножко какъ будто съ точечками, а впрочемъ, какъ есть—русскій: и въ церковь нашу ходитъ, и ругается по нашему.

— У насъ дворяне—жалованные, а у нихъ—тàкъ! пояснилъ Василій Иванычъ:—у нашихъ—правà, а у ихнихъ — правòвъ нѣтъ!

— Сегодня онъ—дворянинъ, а завтра—опять халуй!

— Завтра его подрѣжутъ, да евнухомъ въ гаремъ опредѣлятъ!

— Тсс... а чтò, кабы у насъ такъ?

— Вотъ еще чтò вздумали! у насъ этого нельзя, у насъ — законъ!

— У насъ чего лучше! у насъ, ежели ты по закону живешь, никто тебя и пальцемъ не тронетъ! Ну, а коли ежели не по закону—ау, братъ!

Спутники мои, очевидно, начинали повторяться: знакъ, что скудный запасъ разговора приближается къ концу. Всѣ отяжелѣли: Василій Иванычъ вытянулъ руки вверхъ и съ наслажденіемъ сибарита шевелилъ лопатками; Павелъ Матвѣичъ просто-нà-просто завывалъ, зѣвая; одинъ Сергѣй Ѳедорычъ ёрзалъ на мѣстѣ, но не для того, чтобъ спросить еще чтò-нибудь, а какъ бы ища куда-нибудь половчѣй примазаться. Еслибъ не близость Вержболова, навѣрное, эти люди черезъ минуту заснули бы тѣмъ тревожнымъ, захлебывающимся сномъ, отъ котораго у русскаго культурнаго человѣка стискиваются зубы и лицо, въ самое короткое время, покрывается глянцовитымъ тукомъ. Однако, я былъ убѣжденъ, что еще далеко не все сказано. Не можетъ быть, думалось мнѣ что они такъ-таки и позабыли о ветчинѣ! И дѣйствительно, предчувствіе не обмануло меня: хотя и окольнымъ путемъ, но они пришли, однакожь, къ *ветчинѣ*.

— Обѣдать, что̀ ли, въ Вержболовѣ будемъ? спросилъ Павелъ Матвѣичъ.

— Сперва на страшный судъ сходимъ, а потомъ и отобѣдаемъ!

— Да̀, скажите пожалуйста—я, вѣдь, за границей-то въ первый разъ — что̀ съ нами, собственно говоря, въ Вержболовѣ дѣлать будутъ? интересовался Сергѣй Ѳедорычъ.

— Ничего, голову сперва снимутъ, а потомъ отпустятъ! пошутилъ Василій Иванычъ.

— Нѣтъ, вы серьёзно... поучите! въ первый, вѣдь, разъ!

— А вотъ увидите. Сперва, на одинъ страшный судъ поведутъ — таможенные обшарятъ; потомъ, на другой страшный судъ представятъ—жандармы пачпорта̀ осматривать будутъ.

— Посмотрятъ и отдадутъ?

— Ну, тамъ, глядя по человѣку. Ежели человѣкъ въ книгѣ живота не записанъ — простятъ, а ежели чего паче чаянія—въ пастухи опредѣлятъ, вмѣстѣ съ Макаромъ телятъ пасти велятъ.

— Однако!

— Въ другихъ земляхъ вотъ этого нѣтъ!

— Въ другихъ земляхъ нѣтъ, а у насъ — порядокъ! Я въ полгода всю Европу объѣхалъ — нигдѣ задержекъ не было; а у насъ нельзя! Ни въѣхать, ни выѣхать у насъ безъ спросу нельзя, всѣ мы подъ сумленіемъ состоимъ: можетъ быть, злоумышленникъ!

— И дѣльно.

— Спокойнѣе. Да ежели и есть задержка—развѣ она велика? Коли я ничего не сдѣлалъ, да пачпортъ у меня чистъ — да хоть до завтра его смотри! Я даже съ удовольствіемъ!

— Еще для меня спокойнѣе. Коли хорошенько пач-

портъ-то у меня проэкзаменуютъ, такъ и мнѣ легче. По крайности, увѣренность есть, что ни въ чемъ не замѣченъ.

— Ну, на счетъ увѣренности — это еще бабушка надвое сказала. Начальство — оно тоже съ умомъ: иногда нарочно повадку даетъ, чтобъ ты въ увѣренности былъ, а само, между тѣмъ, примѣчаетъ!

— Что̀ жь, и это дѣльно! будь въ страхѣ! оглядывайся! Кабы мы не оглядывались, да насъ бы...

— Вообще, у насъ порядку больше. Лишняго не позволятъ, да за то и въ яму упасть не дадутъ.

— А коли по правдѣ-то говорить, такъ, вѣдь, это-то настоящая свобода и есть!

— Чего свободнѣе! Просторъ одинъ у насъ какой! зима-то наша! зима-то! Велишь это тройку въ сани заложить — покатывай!

— Да колокольчикъ у коренной подъ дугой заливается, да пристяжныя бубеньчиками погромыхиваютъ, да кучеру пѣсни пѣть велишь... и-ахъ! и-ухъ!

— Въ цѣломъ свѣтѣ такого раздолья не найдешь!

— Опять же на счетъ провизіи! наша ли ѣда, или ихняя!

— Я и сплю и вижу, какъ въ Вержболово пріѣдемъ! сейчасъ же ветчинки кусочекъ спрошу!

— Вота! давича перечисляли-перечисляли ѣду всякую, а про ветчину-то и позабыли!

— А ветчина, между тѣмъ... знаете ли, ѣдалъ я ихнюю ветчину, и вестфальскую, и ліонскую, и итальянскую, всякую попробовалъ — ну, нѣтъ, противъ нашей тамбовской куда ниже!

— Помилуйте, наша ли свинья, или ихняя! наша свинья — чистая, хлѣбная, а ихняя — что̀! Стервятиной свинью кормятъ, да еще требуютъ, чтобъ она вкусомъ

вышла! А ты сперва свинью какъ слѣдуетъ накорми, да потомъ ужь съ нея и спрашивай!

— Трихинъ-то, трихинъ-то, чай, сколько въ ихней ветчинѣ!

— Пожалуй, что, окромя трихинъ, ничего другого и нѣтъ. Признаться, я все время, какъ былъ заграницей, какъ отъ огня, отъ ихней свинины бѣгалъ. Вотъ, стало быть, и еще одинъ предметъ продовольствія изъ реестрика исключить приходится.

— Да и предметъ-то какой!

— Чего еще! Коли безъ опасенія свинину употреблять— хоть на сто манеровъ ее приготовляй! Ветчины захотѣлось: хòшь провѣсную, хòшь копченую — любую выбирай! Свѣжая свинина по вкусу пришлась — буженину заказывай, котлетки жарь, вò щи свининки кусочекъ припусти! Буженина, да ежели она въ соку,—вѣдь это чтò! Опять, колбасы, сосиськи — сколько сортовъ ихъ однѣхъ наберется! сосиськи въ мадерѣ, сосиськи съ чесночкомъ, сосиськи на сливкахъ, сосиськи съ кислою капустой, сосиськи... э, да чтò тутъ!

Разговоръ внезапно оборвался. Эти перечисленія до того взволновали моихъ спутниковъ, что глаза у нихъ заблестѣли зловѣщимъ блескомъ и лица обозлились и осунулись, словно подъ гнетомъ сильнаго душевнаго изнуренія. Мнѣ показалось, что еще одна минута — и они совершенно созрѣютъ для преступленія. Къ счастью, въ эту минуту поѣздъ нашъ началъ мало-по-малу уменьшать ходъ, и всѣ сердца вдругъ забились въ виду чего-то рѣшительнаго.

Мы пріѣхали въ Эйдкуненъ, откуда, послѣ короткой остановки, поѣздъ медленно и какъ-то торжественно повлекъ насъ въ Вержболово. Казалось, Европа сдавала насъ по принадлежности съ какою-то попечительною бла-

госклонностью: вотъ, молъ, они! берите и распредѣляйте ихъ! невинными я ихъ отъ васъ приняла и невинными же сдаю вамъ! А ежели и случился съ ними какой грѣхъ, то виновата въ этомъ я одна, а ихъ — простите! Каюсь, я нетолько открыла имъ доступъ во всѣ рестораны и модные магазины, но многимъ даже развязала языки; однакожь, я увѣрена, что дома, у себя, они съумѣютъ и помолчать! Не правда ли, mesdames et messieurs?

— Помилуйте! да мы! да никогда! да упаси Боже! слышались мнѣ воображаемые голоса соотечественницъ и соотечественниковъ, съ готовностью и съ чистымъ сердцемъ устремляющихся на «страшный судъ».

Но на дѣлѣ никакихъ голосовъ не было. Напротивъ того, во время минутнаго переѣзда черезъ черту, отдѣляющую Россію отъ Германіи, мы всѣ какъ будто остепенились. Даже дамы, которыя въ Эйдкуненѣ пересѣли въ наше отдѣленіе, чтобы предстать на страшный судъ въ сопровожденіи своихъ мужей, даже и онѣ сидѣли смирно и, какъ мнѣ показалось, шептали губами обычную короткую молитву культурныхъ людей: пронеси, Господи!

— Что̀! притихла, небось! обратился Василій Иванычъ къ своей женѣ, высокой и статной брюнеткѣ, которая даже въ Парижѣ, этомъ всесвѣтномъ сборномъ пунктѣ красивыхъ кокотокъ, не осталась незамѣченною.

Но красавица ничего не отвѣтила и продолжала шевелить губами.

— Матерію-то куда спрятала? приставалъ Василій Иванычъ.

Легкая краска, которою покрылось красивое лицо барыни, да какой-то загадочный жестъ внутрь себя, сдѣланный почти безсознательно, послужили отвѣтомъ на

этотъ вопросъ. Дѣйствительно, въ эту минуту красавица показалась мнѣ гораздо полнѣе, вальяжнѣе, нежели въ Кёнигсбергѣ за завтракомъ.

— Чай, аршинъ съ тридцать кругомъ себя обмотала? подмигнулъ Василій Иванычъ своимъ собесѣдникамъ: — а вотъ изъ Вержболова выйдемъ—разматываться начнемъ. Ахъ, барыни! барыни!

Павелъ Матвѣичъ и Сергѣй Ѳедорычъ только махнули руками въ сторону своихъ дамъ, которыя, тоже, послѣ Кёнигсбергской остановки, замѣтно пополнѣли.

Вержболово... свершилось!

Насъ попросили выйти изъ вагоновъ, и, надо сказать правду, именно только *попросили*, а отнюдь, не вытурили. И при этомъ не употребляли ни огня, ни меча— такъ это было странно! Такая ласковость подѣйствовала на меня тѣмъ болѣе отдохновительно, что передъ этимъ у меня положительно подкашивались ноги. Въ головѣ моей даже мелькнула нахальная мысль: да что̀ жь они объ страшномъ судѣ говорили! какой же это страшный судъ! — или, быть можетъ, онъ *послѣ* будетъ?

Но и послѣ никакого страшнаго суда не было. Таможенный чиновникъ съ такою изъисканностью обозрѣлъ наши чемоданы, что дамамъ оставалось только пожалѣть, зачѣмъ онъ и ихъ хорошенько не обыскалъ. Жандармскій офицеръ величаво исполнилъ обрядъ обрѣзанія надъ нашими паспортами, но исполнивши, съ улыбкой заявилъ, что, въ сущности, это—пустая формальность, и что по этой статьѣ, какъ и по всѣмъ прочимъ, ожидается реформа въ самомъ ближайшемъ времени. Даже жандармскій унтеръ-офицеръ Тарара — и тотъ широко улыбался, словно всѣмъ своимъ лицомъ говорилъ:

— Наши! наши пріѣхали!

Я повеселѣлъ окончательно и, въ порывѣ радости, на-

вѣянной свиданіемъ съ родиной, готовъ былъ даже потребовать отъ Василія Иваныча строгаго отчета:

— Гдѣ же, милостивый государь, тотъ страшный судъ, которымъ вы изволили насъ стращать?

Но онъ предупредилъ мой вопросъ. Въ рукахъ его была паспортная книжка, на которую онъ смотрѣлъ съ какимъ-то недоумѣніемъ, словно ему казалось страннымъ, что послѣдній листокъ, заключающій отмѣтку о возвращеніи, вдругъ исчезъ.

— Ну, теперь, братъ, крѣпко! проговорилъ онъ вслухъ: — теперь, братъ, ау! ужь никуда не убѣжишь!

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРАГО ТОМА.

	стр.
Опять въ дорогѣ	1
По части женскаго вопроса	57
Семейное счастье	104
Еще переписка	142
Кузина Машенька	186
Непочтительный Коронатъ	235
Въ дружескомъ кругу	286
Въ погоню за идеалами	324
Тяжелый годъ (за двадцать лѣтъ назадъ)	353
Привѣтъ	388

Stanford University Libraries
3 6105 124 447 918

PG3361
S3B5
1876
v.2

N162

72

7

AK 1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.